Юрий Безелянский

99 имен Серебряного века

ЭКСМО

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — своеобразная энциклопедия по Серебряному веку русской литературы. Поэты, прозаики, критики, философы, публицисты, издатели — всего 99 имен. Их краткие биографии написаны в форме эссе. Они предельно информативны, но при этом включают в себя не только веки жизни и творчества, но и выдержки из произведений, дневников, писем, воспоминаний современников и другие документы эпохи.

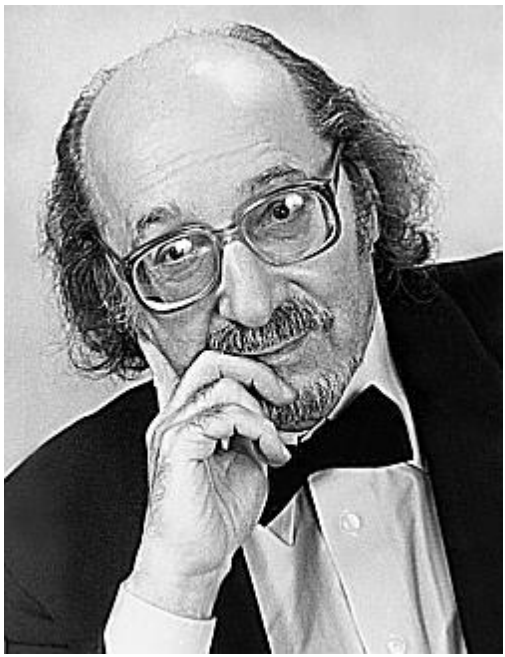
- Юрий Безелянский
  - БЕЗЕЛЯНСКИЙ
  - СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК — КРАТКИЙ МИГ В ИСТОРИИ
  - ПОЭТЫ, ПРОЗАИКИ, КРИТИКИ
    - АВЕРЧЕНКО
    - АГНИВЦЕВ
    - АДАМОВИЧ
    - АЙХЕНВАЛЬД
    - АМФИТЕАТРОВ
    - АНДРЕЕВ
    - АННЕНСКИЙ
    - АРЦЫБАШЕВ
    - Анна АХМАТОВА
    - БАЛЬМОНТ
    - АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
    - БЛОК
    - БРЮСОВ
    - БУНИН
    - БУРЛЮК
    - ВЕРБИЦКАЯ
    - ВОЛКОНСКИЙ
    - ВОЛОШИН
    - ВОЛЫНСКИЙ
    - ГИЛЯРОВСКИЙ
    - ГИППИУС
    - ГОРОДЕЦКИЙ
    - ГОРЬКИЙ
    - ГОФМАН
    - ГУМИЛЕВ
    - ДОН-АМИНАДО
    - ДОРОШЕВИЧ
    - ЕВРЕИНОВ
    - ЕСЕНИН

- ЗАЙЦЕВ
- ЗАМЯТИН
- ЗЕНКЕВИЧ
- ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
- ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
- РЮРИК ИВНЕВ
- КАМЕНСКИЙ
- КЛЫЧКОВ
- КЛЮЕВ
- КОРОЛЕНКО
- КРУЧЕНЫХ
- КУЗМИН
- КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА
- КУПРИН
- ЛИВШИЦ
- МИРРА ЛОХВИЦКАЯ
- МАКОВСКИЙ
- МАНДЕЛЬШТАМ
- МАЯКОВСКИЙ
- МЕРЕЖКОВСКИЙ
- МИНСКИЙ
- МУРАТОВ
- НАРБУТ
- ОДОЕВЦЕВА
- ОЦУП
- ПАСТЕРНАК
- ПРИШВИН
- РЕМИЗОВ
- ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
- ФЕДОР СОЛОГУБ
- ТОЛСТОЙ
- ЛЕВ ТОЛСТОЙ
- ТЭФФИ
- ФОФАНОВ
- ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
- ХОДАСЕВИЧ
- ЦВЕТАЕВА
- ЧАРСКАЯ
- САША ЧЁРНЫЙ
- ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК
- ЧЕХОВ
- ЧУКОВСКИЙ
- ШАГИНЯН
- ШМЕЛЁВ

- ЭРЕНБУРГ
- ФИЛОСОФЫ
  - БЕРДЯЕВ
  - БУЛГАКОВ
  - ГЕРШЕНЗОН
  - ИЛЬИН
  - КРОПОТКИН
  - ЛОССКИЙ
  - ЛУНАЧАРСКИЙ
  - РОЗАНОВ
  - СОЛОВЬЕВ
  - СТЕПУН
  - СТРУВЕ
  - ТРУБЕЦКОЙ
  - ФЕДОРОВ
  - ФЕДОТОВ
  - ФЛОРЕНСКИЙ
  - ФРАНК
  - ЛЕВ ШЕСТОВ
  - ШПЕТ (ШПЕТТ)
- ИЗДАТЕЛИ
  -
  - Ф.А. БРОКГАУЗ — И.А. ЕФРОН
  - МАВРИКИЙ ВОЛЬФ
  - АДОЛЬФ МАРКС
  - ЗИНОВИЙ ГРЖЕБИН
  - БРАТЬЯ САБАШНИКОВЫ
  - АЛЕКСЕЙ СУВОРИН
  - ИВАН СЫТИН
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Юрий Безелянский
99 имен серебряного века

БЕЗЕЛЯНСКИЙ Юрий



Московский журналист, писатель, культуролог. Лауреат премии Союза журналистов РФ 2002 года в номинации «Профессиональное мастерство». Автор 24 книг — «От Рюрика до Ельцина», «Вера, Надежда, Любовь», «Улыбка Джоконды», «5-й пункт, или Коктейль „Россия“», «Ангел над бездной», «Огненный век» (панорама российской истории XX века), «Московский календарь», «Культовые имена», «Прекрасные безумцы», «Все о женщинах» и т. д. Автор более 1500 публикаций в газетах и журналах России и США.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК — КРАТКИЙ МИГ В ИСТОРИИ

Такого научного термина, как «Серебряный век», не существует. В Литературном энциклопедическом словаре (1987) он никак не выделен, хотя, по идее, должен находиться между двумя понятиями: «Сербская литература» и «Серенада». «Сербская литература» в словаре наличествует, о «серенаде» все можно прочитать, а вот «Серебряного века» нет. Стало быть, «Серебряный век» — понятие не филологическое, не литературное, а скорее мифологическое, обозначающее некую реальность условного периода времени.

Словосочетание «Серебряный век» ввели в оборот сразу несколько человек (о приоритете можно спорить) — поэт Николай Оцуп, философ Николай Бердяев и художник Сергей Маковский. Кто-то из современников определил это явление броско: «Расцвет искусства при разгуле капитализма».

Точной даты появления (рождения, начала) Серебряного века, конечно, нет. Сергей Маковский в своих воспоминаниях «На Парнасе Серебряного века» настаивает, что он начался с выходом в 1899 году журнала «Мир искусства». Некоторые историки считают, что у Серебряного века была другая точка отсчета — выход в 1894 году «Критических заметок к вопросу об экономическом развитии России» Петра Струве. На 1894 годе настаивают и историки: 20 октября 1894 года скончался император Александр III. Этот «богатырь» и «исполинский мужик» держал Россию в крепкой узде. Власть перешла к слабовольному Николаю II — и все сразу ослабло, помягчало, потекло по разным направлениям. Подняла голову экономика. Проснулись от тяжелого сна все виды культуры. Все засверкало и забурлило…

А можно сказать иначе. Как выразился наш современник Вадим Крейд: «После смерти Александра III медленно занялась заря свежей, скоротечной, трагически колоритной эпохи».

«Время тысячи вер» — как определил его Николай Гумилев. В обществе появилось стремление забыть суровую реальность и обратиться к мечте. Отсюда интерес к философии Ницше, драмам Ибсена, парадоксам Оскара Уайльда. Русские поэты, писатели и философы стали искать новые выходы и прорывы. Не случайно в статьях запестрели такие выражения, как «новый трепет», «новая литература», «новое искусство» и даже «новый человек». В этих исканиях и создавался ренессанс культуры, именуемый Серебряным веком. «Век мятежный, богоищущий, бредящий

красотой» (Сергей Маковский).

Определений можно подобрать великое множество, и каждое из них звучит на свой лад. Как писал Дон-Аминадо, «эпоха развертывалась вовсю — в великой путанице балов, театров, симфонических концертов и всего острее в отрывном и ядовитом и нездоровом дыхании литературных мод, изысков, помешательств и увлечений».

Вот что вспоминал деятель Серебряного века критик Юлий Айхенвальд:

«Литературная Москва того времени… распадалась, как известно, на два лагеря: реалистов и символистов. Для реалистов литература была прежде всего общественным служением, а критика — социологическим анализом отраженной в литературе жизни. Для символистов — или „чистым“ искусством (Брюсов), или художественным преломлением религиозно-метафизической жизни (Белый), для критиков — или философом, вскрывающим нормы и каноны эстетического творчества, или глашатаем литургической основы жизни.

Между двумя лагерями велась ожесточенная борьба. В то время как Горький воспевал пролетариат и громил интеллигенцию, Андреев клеймил войну и смертную казнь, а Скиталец бряцал на гитаре и бил в набат, в „Весах“, в здании „Метрополя“ на Театральной площади, где в качестве черного мага царствовал „демонический лабазник“ Брюсов, и в издательстве „Мусагет“ на Пречистенском бульваре закладывался фундамент новой русской культуры. Здесь собирались пушкинианцы и гетеанцы, соловьевцы и тютчевцы…»

Слишком академическая картинка? Тогда приведем другую, написанную в хлестких, саркастических тонах. Вот что писал Дон-Аминадо в книге «Поезд на третьем пути»:

«Москва жила полной жизнью.

Мостилась, строилась, разрасталась.

Тянулась к новому, невиданному, небывалому.

Но блистательной старины своей ни за что не отдавала и от прошлого отказаться никак не могла.

С любопытством глядела на редкие, лакированные автомобили, припершие из-за границы.

А сама выезжала в просторных широкоместных каретах, неслась на тройках, на голубках, а особое пристрастие питала к лихачам у Страстного монастыря…

…И трактир Соловьева яснее ясного в Охотном ряду с парой чая на чистой скатерти, с половыми в белых рубахах с косым воротом, красный поясок о двух кистях…

А в углу, под окном, фикус чахнет, и машина гудит, жалобно

надрывается.

— Восток? Византия? Третий Гимн Мережковского?

Или державинская ода из забытой хрестоматии:

Богоподобная царевна
Киргиз-кайсацкия орды…

А от Соловьева рукой подать, в „Метрополь“ пройти, — от кайсацких орд только и осталось, что бифштекс по-татарски, из сырого мяса с мелко нарубленным луком, черным перцем поперченный.

А все остальное Европа, Запад, фру-фру.

Лакеи в красных фраках с золотыми эполетами: метрдотели, как один человек, в председатели совета министров просятся; во льду шампанское, с желтыми наклейками, прямо из Реймса, от Моэта и Шандона, от Мумма, от Редерера, от вдовы Клико, навеки вдовствующей.

А в оркестре танго играют.

Иван Алексеевич Бунин, насупив брови, мрачно прислушивается, пророчески на ходу роняет:

— Помяните мое слово, это добром не кончится!..

Через год-два так оно и будет.

Слишком хорошо жили.

Или, как говорил Чехов:

— А как пили! А как ели! И какие были либералы!..

А покуда что, живи вовсю, там видно будет.

Один сезон, другой сезон.

Круговорот. Смена.

Антрактов никаких.

В Благородном Собрании музыка, музыка, каждый вечер концерт.

Из Петербурга приехал Ауэр…

К Чайковскому возвращаются, как к первой любви.

Клянутся не забыть, а тянутся к Рахманинову.

В большой моде романсы Глиэра.

Раздражает, но волнует Скрябин…

Театр, балет, музыка.

Художественные выставки, вернисажи.

Третьяковская галерея, Румянцевский музей, коллекции Щукина, — все это преодолено, отдано гостям, приезжим, разинувшим рот провинциалам…

На смену пришел „Мир искусства“, журнал и выставки молодых, новых, отважившихся, дерзнувших и дерзающих.

Вокруг них шум, спор, витии, „кипит словесная война“.

Академические каноны отвергнуты.

Олимпу не по себе.

Новые созвездия на потрясенном небосклоне.

Рерих. Сомов. Стреллецкий. Сапунов.

Судейкин. Анисфельд. Арапов.

Петров-Водкин. Малютин.

Миллиоти. Машков. Кончаловский.

Наталья Гончарова. Юон. Ларионов.

Серов недавно умер, но обаяние его живо.

Есть поколения, которым непочтительность не к лицу.

Продолжают поклоняться Врубелю.

Похлопывают по плечу Коровина.

Почитают Бенуа.

А еще больше Бакста…

Вроде возникших в пику уже не многоуважаемой Третьяковской галерее, а самому „Миру искусства“ — футуристических выставок, где процветали братья Бурлюки, каждый с моноклем, и задиры страшные.

А Москва и это прощала.

Забавлялась недолго и добродушно забывала.

Назывались выставки звонко и без претензий.

„Пощечина общественному вкусу“.

„Иду на вы“.

И „Ослиный хвост“.

Во всем этом шумном выступлении была, главным образом, ставка на скандал, откровенная реклама, и немалое самолюбование…»

Прервем этот бурный поток, извергаемый Доном-Аминадо, и скажем, что такая пестрота и блескость были характерны не только для Москвы, но и для Петербурга и других российских городов.

Ну, а теперь более серьезно. В предисловии к «Воспоминаниям о Серебряном веке» (Москва, 1993) Вадим Крейд писал:

«Иногда говорят, что Серебряный век — явление западническое. Действительно, своими ориентирами он избрал или временно брал эстетизм Оскара Уайльда, индивидуалистический спиритуализм Альфреда де Виньи, пессимизм Шопенгауэра, сверхчеловека Ницше. Серебряный век находил своих предков и союзников в самых разных странах Европы и в разных столетиях — Вийона, Малларме, Рембо, Новалиса, Шелли, Кальдерога, Мальро, Гюисманса, Стриндберга, Ибсена, Пшибышевского, Метерлинка, Уитмена, д’Аннунцио, Готье, Бодлера, Эредиа, Леконта де Лиля, Блейка, Верхарна. Их

произведения переводили на русский язык многие, в том числе наши большие поэты. Пристальный интерес писателей распространялся не только на европейскую прозу, поэзию, драму. Столь же велик был интерес к творениям западных духовидцев — Экхарта, Франциска Ассизского, Якоба Беме, Сведенборга и других. Окно в Европу было прорублено вторично…

Никогда еще русские писатели не путешествовали так много и так далеко: Андрей Белый — в Египет, Гумилев — в Абиссинию, Бальмонт — в Мексику, Новую Зеландию, на Самоа, Бунин — в Индию… Это лишь несколько примеров, не считая бесчисленных путешествий по странам Европы…»

Образно говоря, Россия на рубеже XIX и XX веков стала примерять на себя западные одежды. Но это западничество носило ярко выраженную русскую специфику. Валентин Валентинов (1871–1929) писал:

Что француз нам ни сболтнет,
Выйдет деликатно;
Ну, а русский как начнет,
Берегись, понятно.
У французов шоколад,
А у нас рассольник;
По-французски депутат,
А у нас крамольник.
По-французски сосьете,
А по-русски — шайка;
У французов либерте,
А у нас — нагайка.
У французов пепермент,
А у нас сивушка;
У французов парламе́нт,
А у нас ловушка.
По-французски друг и брат,
А у нас изменник,
У французов бюрократ,
А у нас мошенник.
По-французски дилетант,
А у нас любитель;
У французов интендант,
А у нас грабитель.
По-французски декаданс,
И по-русски то же,
У французов «Vive la France»,
А у нас по роже.

У французов чтут спрутаó,
А у нас налима;
У французов балетта,
А у нас Цусима.
По-французскому протест,
Здесь — борьба всех классов,
У французов манифест,
А у нас Дубасов.
По-французски мадмазель,
А по-русски милка;
У французов карусель,
Здесь же «предварилка».
У французов стиль нуво,
А у нас мочало,
Как дошел до Дурново,
Начинай сначала!

Эти сатирические строки написаны в конце 1905 года. Напомним молодому поколению, что в 1905–1906 годах Петр Дурново был министром внутренних дел и, как писали в советское время, «жестоко подавил революционное движение».

Теперь снова вернемся к определению эпохи Серебряного века. В предисловии к книге воспоминаний Андрея Белого «Начало века» Лев Каменев в июне 1933 года писал: «Начало XX века в России — начало грандиозного катастрофического периода, приведшего к величайшим историческим сдвигам, затронувшего и перевернувшего все области человеческой практики и теории, увенчанного Октябрем».

И далее Каменев коснулся литературы: «…Глубокие потрясения организма страны, предвещавшие крушение капиталистического мира в России, и генеральная репетиция его в 1905 году не создали ни Толстого, ни Достоевского. Но, разменявшись на более мелкую монету, буржуазная интеллигенция этой эпохи сверкнула целой плеядой поэтов и художников, отрицать одаренность и талантливость которых было бы смешно, а пренебрегать художественными достижениями которых — глупо. Но в области вопросов общего мировоззрения все они оказались банкротами. Целостной и единой системы буржуазная мысль и буржуазное искусство создать уже не могли…»

Устами Каменева выражено отношение большевиков, хозяев новой России, к Серебряному веку и его творцам. Талантливые «ребята», но все же банкроты. В статьях Льва Троцкого можно

найти определения и похлеще; вот что, к примеру, он писал о Мережковском: «Слишком много словесной косметики! Слишком много цветов — увы, бумажных! Как бы тонка ни была бумага, и как бы изящна ни была работа, вы после нескольких минут пребывания в этой обстановке испытываете злое раздражение и непреодолимую потребность разом смять всю эту сухую шуршащую красоту и бросить под стол, в корзину…» (25 ноября 1908).

Прыток был Лев Давидович, прыток, а после Октября еще прытче и злее.

Если смотреть на литературу Серебряного века не глазами идеологов революции и затем победившего пролетариата, а нормальными глазами обыкновенного любителя изящной словесности, то отмечаешь прежде всего талантливость людей, творивших в Серебряном веке, их безупречное владение как поэтическим, так и прозаическим мастерством. Мастеровитость их поистине виртуозна. Но дело не только в отточенности стиля, а еще в том, что «серебристы» выразительно и ярко отобразили свое время, бурное и сложное, выразили свое отношение к власти и народу, заглянули за пределы всяких мистических и космических тайн.

И тут возникает тема сравнения Золотого и Серебряного веков. Золотой век — это, конечно, Пушкин, «первая любовь России». Еще — Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Тютчев, Толстой, Достоевский и другие наши вершинные классики.

В статье «„Серебряный век“ русской поэзии» (1933) Николай Оцуп писал: «Запоздавшая в своем развитии Россия силой целого ряда исторических причин была вынуждена в короткий срок осуществить то, что в Европе делалось в течение нескольких столетий. Неподражаемый подъем Золотого века отчасти этим и объясним. Но и то, что мы назвали „веком серебряным“, по силе и энергии, а также по обилию удивительных созданий, почти не имеет аналогии на Западе: это как бы стиснутые в три десятилетия явления, занявшие, например, во Франции весь девятнадцатый и начало двадцатого века…»

И далее:

«В серебряном веке русской поэзии есть несколько главных особенностей, отличающих его от века золотого.

Меняется русская действительность.

Меняется состав, так сказать, классовый, социальный русских писателей.

Меняется сам писатель как человек.

К худшему или к лучшему все эти изменения?..»

По поводу иностранного влияния:

«Французский символизм с его приблизительностью и певучей затуманенностью, выдающей его германское происхождение, лишь в начале декадентства находит аналогию в поэзии русской. После трагически-напряженных колебаний, выраженных лучше всего в поэзии Блока и Гумилева (германское начало у первого и романское — у второго), серебряный век русской литературы окончательно определяется углубленным проникновением в судьбы национальные…»

«Ты и во сне необычайна…», — восклицал Блок. И он же: «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..»

Серебряный век породил декадентство. А декадентство, по словам Оцупа, «перешло все пределы морали, вкуса и здравого смысла. Самообожание, нарциссизм, поверхностное ницшеанство доводят самого диктатора тогдашнего модернизма, Брюсова, до открытого некрофильства…»..

О, это уже идет критика Серебряного века. Было бы неправильно петь Серебряному веку только дифирамбы и гимны. Были у него противники среди современников и среди последующего затем советского периода истории. Отрицали Серебряный век не только пламенные большевики и их литературные клевреты, но и представители, можно сказать, оппозиционных кругов. К примеру, Наум Коржавин. В статье «Анна Ахматова и Серебряный век» Коржавин открыто говорит: «…я вообще не поклонник этой эпохи — яркой, но несколько блудной, особенно на периферии… Боязнь банальности — один из главных соблазнов и грехов „серебряного века“ и его наследия».

«То, что я сейчас пишу, отнюдь не филиппика, — продолжает поэт. — Среди деятелей этого „века“ было много чистейших людей. Но проповедовали они часто худое: допустимость грязи, подлости, даже убийства (если только, как оговорился Блок, оно освящено великой ненавистью). Не о сложности человеческих ситуаций тут речь, а только о безграничном праве неповторимых личностей на самовыражение и самоутверждение. А уж это само вело к необходимости такой личности быть, во всяком случае претендовать на силу чувства, при которой „все дозволено“. В поэзии эти претензии проявились невероятной „поэтичностью“ (разными видами внешней экспрессии) и утонченностью (форсированной тонкостью). Это значило стимулировать и форсировать в себе все эти качества и восприятия. И естественно, взыгрываться в разыгрываемые роли, а потом и писать от их имени, веря, что от своего. Как ни странно, это воспринималось как стремление к крайней (противоестественной, но противоречие это почему-то не замечалось) непосредственности.

Были люди — самоубийством кончали, если выяснялось, что не выдерживают экзамена на исключительность…»

Коржавин здесь говорит о личных судьбах деятелей Серебряного века. Но личные судьбы, а главное — творчество, влияли и на судьбы народные. К чему-то подталкивали… Варлам Шаламов, трагический летописец современности, считал русских писателей-гуманистов XIX века ответственными за кровь, прилитую «под их знаменами» в XX веке. Шаламов имел в виду не только Достоевского и прочих классиков, но, очевидно, и представителей Серебряного века.

Такая точка зрения существует. Академик Александр Панченко считает, что «интеллигенция проторила дорогу революции, увлекшись марксистскими идеями». «Передовые люди России, — пишет академик, — которые могли образумить народ, сами были в жутком духовном состоянии и ничему хорошему научить народ не могли… Какую же сильную разрушительную инъекцию получил народ от этих самых своих кумиров! Что они писали о жизни? Что писали, безумцы! Послушаем „властителя дум“ Брюсова:

Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века,
Родину я ненавижу,
Я люблю идеал человека.

…Яд этот был просто разлит в воздухе. Интеллектуальная элита нации — злая и слепая — накликала беду. Как они относились к власти? Ужасно. Бальмонт так аттестовал Николая II:

Наш царь…
Зловонье пороха и дыма…
Наш царь — убожество слепое…

Так что, когда мы ругаем большевиков за содеянное, не забудем присоединить к ним дурачка Бальмонта, равно как и многих других представителей Серебряного века. Они призывали народ к бунту, они вызвали к жизни большевистское чудовище, раздули революционный пожар, и он же их пожрал. Кто сеет семена злобы, пожрет зубы дракона, есть такая точная пословица. Могло ли что путное взойти на таких агрессивных дрожжах? Чему удивляться-то, чему удивляться, ребятки?..» *(Литературная газета, 27 июня 2001 г.).*

Уважаемый академик Панченко, конечно, перехлестывает через край, возлагая основную вину на творцов Серебряного века, но часть их вины, конечно, есть.

Кто виноват в том, что произошло в России в 1917 году, кто вызвал революционную бурю, — об этом еще долго будут спорить историки, но суровая явь пришла. Или, как выразился Дон-Аминадо: «Легенда кончилась, началась заварушка».

Революция расколола русское общество — и народ, и интеллигенцию, и поэтов, и писателей. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию!» — говорил Александр Блок. Для Блока на первых порах революция была музыкой, а вот для Ивана Бунина революция — боль, мука и резкое неприятие «мира поголовного хама и зверя».

В одной из эмигрантских газет были напечатаны вот такие строки:

«Вечерний звон,
Печальный звон» —
Украден там
Уже и он.
Вот это шик,
Вот это власть,
Вечерний звон —
И тот украсть!
Была страна,
Жила, цвела,
Гудели в ней
Колокола.
Был мир и труд,
И — капитал.
Колоколов
Никто не крал.
Но вот совдеп,
Как демон зла,
Пришел и спер
Колокола.
И вот умолк
Вечерний звон,
И много дум
Наводит он…

Серебряный век закончился с революцией? И да, и нет. Одно можно сказать точно, что раскололась русская литература: меньшая часть осталась на родине (Блок, Брюсов, Маяковский,

Есенин, Клюев, Ахматова, Мандельштам…), большая часть эмигрировала (Бунин, Бальмонт, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Ремизов, Шмелев, Аверченко, Тэффи…). Уехали в Берлин, в Константинополь, в Прагу, Софию, Белград, Париж, Рим, Харбин…

Уехали доживать свой «серебряный век». Тосковать по родине. Вспоминать. Болеть душой. Помните песенку Александра Вертинского на слова Раисы Блох (тоже эмигрантки, погибшей в немецком концлагере)?

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний Сад, Фонтанка и Нева.
Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.
Вас не взять, не спрятать, не прогнать.
Надо жить — не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять.
Не идти ведь по снегу к реке,
Пряча щеки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке.
Это было, было и прошло.
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.

Как это ни странно, но многие писатели-эмигранты плодотворно работали на чужбине и создали прекрасные произведения, взять, к примеру, Ивана Алексеевича Бунина. И «Жизнь Арсеньева», и рассказы из цикла «Темные аллеи» — все это было создано не в России, а во Франции. Лучшие свои стихи Георгий Иванов написал, находясь в эмиграции. Все это дает право сказать, что Серебряный век не кончился в 1917 году, он оставил отблеск на многочисленных страницах произведений русских поэтов и писателей, вынужденных жить на Западе. Серебряный век закончился с их смертью.

Несли серебряный отсвет и многие из тех, кто остался на родине. Разве творчество Анны Ахматовой или Осипа Мандельштама — это не стихи-эстафеты из ушедшего старого времени?! «Серебристость», если можно так выразиться, еще долго отражалась на тех поэтах и прозаиках, которые дебютировали в литературе в начале XX века. А параллельно «попутчикам» (так называли в 20-е годы старых, «буржуазных» писателей) вышагивало новое поколение уже истинно советских

писателей с барсуками, цементом и сталью. И долгие десятилетия существовали раздельно две русские литературы — «советская» и «эмигрантская». У поэта-эмигранта Георгия Раевского (1897–1962) есть стихи:

Ты думаешь: в твое жилище
Судьба клюкой не постучит?..
И что тебе до этой нищей,
Что там, на улице, стоит!
Но грозной круговой порукой
Мы связаны, и не дано
Одним томиться смертной мукой,
Другим пить радости вино.
Мы — те, кто падает и стонет,
И те, чье нынче торжество;
Мы — тот корабль, который тонет;
И тот, кто потопил его.

Но будем надеяться, что корабль с названием «Россия» все же не утонул и будет дальше бороздить моря и океаны. Порукой тому то, что в наши дни наконец-то произошло соединение (слияние) двух некогда разных литератур — советской и эмигрантской. Теперь они слились в единый поток. И это вселяет оптимизм.

Какая нынче «на дворе» литература? Судить не нам, пусть будут выносить оценки наши потомки. А наша задача вспомнить один из самых интересных отрезков художественной жизни в России — Серебряный век. Он нынче в моде. Выходят многочисленные воспоминания, составляются антологии, не говоря уж о том, что печатаются — и впервые на родине — интереснейшие тома поэзии и прозы кумиров и законодателей мод Серебряного века.

Книга, которую вы держите в руках, поможет вам разобраться во всех сложностях и перипетиях Серебряного века. Это — своеобразный путеводитель по жизни и творчеству самых громких и звонких его представителей: литераторы, философы, издатели.

Такое деление, конечно, условно, ибо многие из творцов Серебряного века работали в разных жанрах: Бунин, например, писал прозу и стихи, Владимир Соловьев известен как философ и как поэт. О каждом из них рассказывает краткий очерк-эссе. Это живой рассказ о человеке; не только о том, где он родился, какое образование получил и какие книги написал, но и о том, как выглядел по воспоминаниям современников, какие поступки совершил, кем и чем увлекался. О ком-то больше, о ком-то чуть

меньше. Но это уж как написалось…

Отдельные факты, события, подробности, детали, собранные воедино, дают, по мнению автора, примерную картину интеллектуальной и духовной жизни России на рубеже XIX и XX веков, а также жизни российских интеллектуалов в советской России и на Западе.

Так как среди героев этой книги преобладающее место занимают поэты, закончим ее стихотворением Владимира Вейдле. Он родился в 1895 году в Петербурге, а умер в 1979 году в Париже; поэт, профессор-богослов, Вейдле — один из многих, кто не попал в условное число «99», не попал потому, что любую книгу ограничивает объем. Но именно стихотворением Владимира Вейдле я позволю себе закончить вступление о Серебряном веке.

Итак, «Стихи о стихах»:

Неназываемое нечто,
Слиянье правды и мечты,
Того, что — тлен, того, что вечно,
Того, что — ты и что — не ты.
Почудилось, — и вот уж начат
Двуличных слов набор, отбор,
Тех, что, гляди, да и заплачут
Твоим слезам наперекор.
Извилисто, молниеносно,
В разбивку, исподволь, навзрыд,
И неспроста, и «ах, как просто»:
Шажок — стежок — открыт — прикрыт…
Подшито, выверено, спето.
Ну что ж, зови. Подай им весть.
Пусть верят наó слово, что это
Как раз то самое и есть.

На мой взгляд, это тот самый необходимый последний аккорд в предисловии. А дальше — сама книга.

Август 2001, 2007

ПОЭТЫ, ПРОЗАИКИ, КРИТИКИ

АВЕРЧЕНКО
Аркадий Тимофеевич
III.1881, Севастополь — 12.III.1925, Прага

Аркадий Аверченко — писатель-юморист, драматург, театральный критик. И сразу напрашивается эпитет «блестящий».

А там, где кончается
звездочки точка,
месяц улыбается и
заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко, —

писал Маяковский. И действительно, Аверченко умел завертеть строчку в юмористическом танце. Со словом Аверченко был на «ты». И это более чем удивительно, ибо за его спиной было всего лишь два класса гимназии. Но недостаток образования компенсировал природный ум и, конечно, талант.

В одном из писем Аверченко вспоминал о своем детстве: «Девяти лет отец пытался отдать меня в реальное училище, но оказалось, что я был настолько в то время слаб глазами и вообще болезненен, что поступить в училище не мог. Поэтому и пришлось учиться дома. С десяти лет пристрастился к чтению — много и без разбора. Тринадцати лет пытался написать

собственный роман, который так и не кончил. Впрочем, он привел в восторг только мою бабушку».

Трудовую деятельность Аверченко начал в качестве младшего писца, затем конторщика и бухгалтера. Но из службы ничего толком не вышло. Как объяснял сам писатель: «Вел я себя с начальством настолько юмористически, что после семилетнего их и моего страдания был уволен». Юморист и служба — вещи несовместные. Что оставалось делать? Податься в литературу. Первый рассказ Аверченко «Праведник» появился в «Журнале для всех» в 1904 году. Символично: Аверченко и стал писателем для всех. Его любил читать даже сам император Николай II. Весело. Свежо. Остроумно.

С 1908 по 1913 год Аркадий Аверченко редактировал журнал «Сатирикон», а далее, по 1918 год — «Новый Сатирикон». Тот самый «Сатирикон», который, по свидетельству Куприна, «в то смутное, неустойчивое, гиблое время был чудесной отдушиной, откуда лил свежий воздух». В каждом номере Аверченко печатал юмористические рассказы, фельетоны, театральные обозрения, сатирические миниатюры. Вел он и раздел «Почтовый ящик». Вот как, к примеру, это выглядело:

«Ст. Грачево. Ки-мо-но. Посылаю лучшее, что написал:

Бубенцы,
рассыптесь словно бы горох.
Эх, помчись ты, взвейся,
тройка…
— Тпрру… Не надо. Зря скачете».

Откровенный смех и буффонадность стиля Аверченко позволили критикам назвать его русским Марком Твеном. В своих публикациях Аверченко бичевал замшелость общественных устоев России, мещанство с его ленью, жадностью и глупостью, с его стремлением выглядеть непременно красиво. «Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина — держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом…» (рассказ «День человеческий»).

Подчас издевательский смех Аверченко переходил в сатирический вопль. Вот что он писал о цензорах (да разве только о них?): «Какое-то сплошное безысходное царство свинцовых голов, медных лбов и чугунных мозгов. Расцвет русской металлургии».

Как выглядел Аверченко? Он был весьма плотным. Его мясистое лицо, спокойное, казавшееся неподвижным, редко

озарялось улыбкой. Самые смешные вещи Аверченко говорил как бы небрежно, цедя сквозь зубы. Хохот стоит вокруг, вспоминал А. Дейч, а автор шутки невозмутим, и под очками чуть щурятся близорукие глаза.

Внешнее спокойствие и добродушие Аверченко улетучилось с революцией. Февраль вселил некоторые надежды. Октябрь погубил их окончательно. Сначала писатель пытался шутить: «Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла». Но вскоре было уже не до шуток. В 1918-м «Новый Сатирикон» был закрыт, и писатель, спасаясь от ареста, уехал с белыми на юг. Он кипит и возмущается, центральная тема его послереволюционных публикаций: «За что они Россию так?» Аверченко даже обращается к Ленину:

«Брат мой Ленин! Зачем вам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны».

И далее советует вождю: «Сбросьте с себя все эти скучные, сухие обязанности, предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным, вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я… Будем вместе гулять по теплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого, мудрого Диккенса — этого доброго обывателя с улыбкой Бога на устах…»

Напрасно Аверченко призывал Ленина отказаться от сумасшедших революционных идей и стать частным человеком. Пришлось Аркадию Тимофеевичу покинуть Россию, устроенный вождями-большевиками «кровавый балаган», и напоследок швырнуть новой власти свой сборник «Дюжину ножей в спину революции».

После «константинопольского зверинца» в июне 1922 года Аверченко поселился в Праге. Здесь он написал свои последние книги «Рассказы циника» и роман «Шутка мецената». Бывший эстет, развлекатель, обличитель мещанства превратился в откровенного циника. Незадолго до смерти Аверченко сетовал: «Какой я теперь русский писатель? Я печатаюсь, главным образом, по-чешски, по-немецки, по-румынски, по-болгарски, по-сербски, устраиваю вечера, выступаю в собственных пьесах, разъезжаю по Европе, как завзятый гастролер».

Как отмечал современник, Аверченко «болел смертельной тоской по России». Ностальгия перешла в настоящую болезнь сердца. Писатель скончался в пражской городской больнице, похоронен на Ольшанском кладбище.

В некрологе Надежда Тэффи писала: «Многие считали

Аверченко русским Твеном. Некоторые в свое время предсказывали ему путь Чехова. Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без надрывов и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое собственное, я бы сказала — единственного русского юмориста. Место, оставленное им, наверное, долгие годы будет пустым. Разучились мы смеяться, а новые, идущие на смену, еще не научились».

Тут с Тэффи можно поспорить. Смеховая культура в России неистребима: смех и юмор позволяют выжить народу в любых общественных формациях. Ушел Аркадий Аверченко. Пришли новые: Михаил Зощенко, Даниил Хармс, Николай Эрдман и другие смехачи и мастера острого слова. Они пошли дальше по дороге, протоптанной Аркадием Аверченко.

АГНИВЦЕВ
Николай Яковлевич
8(20).IV.1888, Москва — 29.X.1932, Москва

Серебряный век без литературно-артистического ресторана «Вена», театров-кабаре «Бродячая собака», «Летучая мышь», «Кривое зеркало» и других «злачных мест» невозможно представить.

В них отдыхала, веселилась, забавлялась и забывалась от насущных проблем интеллектуальная элита Петербурга и Москвы. Имя основателя знаменитой «Летучей мыши» Никиты Балиева знакомо многим, а вот имя Николая Агнивцева, увы, ушло в тень, а в начале XX века этот поэт, драматург и исполнитель собственных песенок был весьма популярен. Певец блистательного Петербурга.

Санкт-Петербург — гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!..
…И майской ночью в белом дыме,
И в завыванье зимних пург

Ты всех прекрасней — несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!

Агнивцев — дворянин по рождению, но без богатства и связей, увлекся литературой и стал сочинять стихи (тогда все писали стихи, некое российское поветрие). Как определила Литературная энциклопедия 1929 года, основные мотивы поэзии Агнивцева — «экзотика, эротика и идеализация феодально-аристократического мира».

Еще бы! В героях — сплошные короли, принцессы, дофины и маркизы, а еще —

114 гофмейстеров,
30 церемониймейстеров,
48 камергеров,
и 400 пажей!..

Николай Агнивцев был веселым человеком и любил писать смешно. Стихи, куплеты, сатирески — все блистало остроумием и весельем и все было пронизано чуть печальной иронией. Как отмечал один критик: «Было в Агнивцеве немало и жеманства, удальства, иногда безвкусия, но все эти изъяны в конце концов тонули в журчащем течении легкого стиха».

О звени, старый вальс, о звени же, звени
Про галантно-жеманные сцены,
Про былые, давно отзвеневшие дни,
Про былую любовь и измены!..

Агнивцева охотно печатали во многих изданиях, таких, как «Солнце России», «Сатирикон», «Лукоморье», «Стрекоза», «Столицы и усадьбы», «Биржевые ведомости» и других. Его песенки исполняли Николай Ходотов и Александр Вертинский, да и сам Агнивцев выступал в кабаре со своими ариэтками. Короче, Агнивцев был заметной фигурой в среде петербургской богемы.

В 1913 году вышел первый сборник «Студенческие песни. Сатира и юмор», в 1915-м — «Под звон мечей». И, наконец, в 1923 году в Берлине вышла главная книга Агнивцева «Блистательный Санкт-Петербург» (переработанный сборник, вышедший до этого в Тифлисе).

В январе 1917 года в подвале петербургского «Пассажа» открылось кабаре «Би-ба-бо», организаторами и вдохновителями

которого стали Николай Агнивцев и актер Федор Курихин. «Мы идем дальше и заимствуем у Европы ее манеру веселиться — ее кабаре с его смешанным пестрым репертуаром, — мелькающим, веселым, интимным» — так «Синий журнал» отозвался об открытии «Би-ба-бо». «Балаган для избранных».

Однако веселье продолжалось недолго. Основные завсегдатаи кабаре бежали из советской России, и театру пришлось отправиться на гастроли, меняя название «Би-ба-бо» на «Кривого Джимми». Агнивцев создавал репертуар: писал бесчисленное количество номеров: пародий, маленьких пьес и куплетов. Да и стихотворения его были на редкость сюжетны и историчны, например, про «рассеянного короля», который отказался преклонить перед дамой «высокое колено», а далее последовало:

Затянут красным тронный зал!
На всю страну сегодня
Народ дает свой первый бал
По милости Господней.
Как и всегда. Король там был
Галантен неизменно!..
И под ножом он преклонил
Высокое колено!..
Старый Шут, покосившись в зал,
Подняв тонкую бровь, прошептал:
— Он всегда, после бала веселого,
Возвращается без головы!..
Как легко Вы теряете голову!..
Ах, Король, как рассеянны Вы!..

В поэзии Агнивцева была заложена театральность, и поэтому он легко переносился на подмостки. Журнал «Эрмитаж» в 1922 году отмечал, что «это была колоритная личность, характерная для искусства предреволюционного десятилетия. Один из самых репертуарных на эстраде авторов, он принес в артистическую богему семинарский ядреный юмор и острую романтику „жильца восьмого этажа“, мансардника, мечтающего о „коттедже, как у Корнеджи“ и влюбленного в прекрасную даму, которая „служит на Садовой младшей горничной в столовой…“»

Театр-кабаре «Кривой Джимми» с успехом покорил Киев и шествовал дальше по провинции, а Агнивцев не мог забыть своего любимого Петербурга.

Ужель в скитаниях по миру
Вас не пронзит ни разу, вдруг,

Молниеносною рапирой —
Стальное слово «Петербург»?
Ужели Пушкин, Достоевский,
Дворцов застывший плац-парад,
Нева, Мильонная и Невский
Вам ничего не говорят?..

Кочевая судьба привела Агнивцева в Севастополь, а далее, получив парижскую визу, поэт в 1921 году прибыл в Берлин, где в русском издательстве Лажечникова переиздал свой обновленный «Блистательный Санкт-Петербург» (1923). И там же, в Берлине, издал свои «Пьесы». Но —

Пусть апельсинные аллеи
Лучистым золотом горят,
Мне петербургский дождь милее,
Чем солнце тысячи Гренад!..
Пусть клонит голову все ниже,
Но ни друзьям и ни врагам
За все Нью-Йорки и Парижи
Одной березки не отдам!..

В 1923 году Агнивцев вернулся на родину. Снова «Кривой Джимми», пока его не закрыли. Писал он для эстрады, для цирка и даже создал цикл сценариев под общим названием «Халтуркино» для журнала «Советский экран». В результате сотрудничества с молодым композитором Исааком Дунаевским родилась песня — танго «Дымок от папиросы»:

Дымок от папиросы
Взвивается и тает…

В 1926 году выходит последняя прижизненная книжка Агнивцева под характерным названием «От пудры до грузовика». Вот уж действительно приехали!.. Рабочим и крестьянам новой России, а тем более партчиновникам Агнивцев был уже не только не нужен, он был им классово чужд, как та юная маркиза из прелестного стихотворения «Вот и все!»:

В ее глазах потухли блестки
И, поглядевши на серсо,
Она поправила прическу

И прошептала: «Вот и все!»

Николай Агнивцев скончался в 1932 году, в возрасте 44 лет, практически никому уже не нужный, впрочем, как и вся культура Серебряного века. И остались лишь смутные воспоминания о том ушедшем прошлом.

Это было в белом зале
У гранитных колоннад…
Это было все в Версале
Двести лет тому назад!..

АДАМОВИЧ
Георгий Викторович
7(19).IV.1892, Москва — 21.II.1972, Ницца

Адамович родился в Москве, но ребенком был увезен в невскую столицу и там стал петербургским поэтом, продолжателем традиции «петербургской поэтики», камерной лирики, в которой доминируют одиночество, тоска, обреченность… Однако дебютировал как прозаик — рассказом «Веселые кони» (1915). Первый сборник стихов «Облака» вышел в 1916 году, в 1922 — «Чистилище». Третий сборник увидел свет уже в эмиграции в 1939 году, он так и назывался «На Западе», затем — «Единство» (1967). Адамович выступал и переводчиком (Вольтер, Бодлер, Кокто, Эредиа и т. д.). И еще в качестве критика, причем популярность Адамовича-критика и эссеиста затмила известность Адамовича-поэта, но об этом чуть позже.

Адамович учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета и начал писать стихи, будучи студентом. В университетские годы он вошел в литературный мир Петербурга и сблизился с Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом, Георгием Ивановым. На раннем этапе испытал влияние Анненского, Блока и Ахматовой (при непохожести к

«основному душевному тону» Анны Ахматовой). Характерная черта творчества Адамовича — это элегические медитации, внутренние диалоги с собратьями по поэзии, от Пушкина до Блока. Со временем его поэзия утрачивает краски и слова и становится «поэзией ни о чем»; вообще Адамович не уставал повторять, что «поэзия умерла, что надо перестать писать стихи». Апеллировал к молчанию. А если писал, то скупо, сухо, аскетично.

Один сказал: «Нам этой жизни мало…»
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.
И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали, — каждый раз нежней! —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

В 1916–1917 годах Адамович был одним из руководителей 2-го «Цеха поэтов». В 1923 году эмигрировал во Францию и вскоре стал ведущим литературным критиком парижских газет, затем журнала «Звено», позднее — газеты «Последние новости». Его статьи, появляющиеся каждый четверг, стали неотъемлемой частью довоенной культурной жизни не только русского Парижа, но и всего русского зарубежья. К мнению Адамовича прислушивались почти все. Он выступал в роли непререкаемого мэтра.

В докладе «Есть ли цель у поэзии?», прочитанном на «беседах» «Зеленой лампы» у Гиппиус и Мережковского, Адамович видел своих главных оппонентов в большевиках, превративших поэзию в государственное «полезное дело», тем самым произведя «величайшее насилие над самой сущностью искусства».

В 1937 году Адамович опубликовал статью «Памяти советской литературы», в которой утверждал, что «советская литература — сырая, торопливая, грубоватая…». Само понятие творческой личности было в ней «унижено и придавлено», а тысячи «юрких ничтожеств» заслонили в ней «нескольких авторов, мучительно отстаивающих достоинство и свободу замысла».

Адамович был убежден, что сущность поэзии — это «ощущение неполноты жизни… И дело поэзии… эту неполноту заполнить, утолить человеческую душу».

В Париже Адамович постоянно спорил с Ходасевичем. Полемика между ними воспринималась как одно из центральных

событий литературной жизни эмиграции. Суть расхождений Адамовича с Ходасевичем Глеб Струве сформулировал следующим образом: «С одной стороны, требование „человечности“ (Адамович), а с другой — настаивание на мастерстве и поэтической дисциплине (Ходасевич)».

В 1939 году в парижском сборнике «Литературный смотр» Адамович опубликовал эссе «О самом важном» — он видел это «важное» в проблеме соединения правды слова с правдой чувства. Степень правдивости и искренности творчества он определял понятием «лиризма». Свои взгляды на литературу Адамович выразил в книге «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955). В книге объединены статьи и портреты современников Адамовича — от Бунина до Поплавского.

В своих воспоминаниях и особенно в комментариях Адамович выделяется среди многочисленных критиков и мемуаристов нарочитым субъективизмом, особым импрессионизмом и, конечно, стилем изложения материала. «Эти сухие, выжатые, выкрученные строчки как будто потрескивают и светятся синими искрами», — отмечала Зинаида Гиппиус, правда, писала это она о стихах Адамовича, но это определение применимо и к его прозаическому письму.

Оценивая эссеистику Адамовича, Игорь Чиннов писал: «В них больше от абсолютного слуха и интуиции, чем от пристального изучения… Но всякую аргументацию, разборы, медленное чтение — это он всегда оставлял в удел литературоведам».

Адамович часто выговаривал горчайшие истины. К примеру, отчитывал Набокова и Цветаеву, снимая их с пьедестала. Цветаева очень обижалась на критику и называла Адамовича «улиткой на розе». А вот что писал Адамович о Брюсове и Блоке:

«У литературы есть странное, с виду как будто взбалмошно-женское свойство: от нее мало чего удается добиться тому, кто слишком ей предан. В лучшем случае получается Брюсов, пишущий с удовольствием и важностью, поощряемый общим уважением к его „культурному делу“, переходящий от успеха к успеху, — и внезапно проваливающийся в небытие… У Блока — в каждой строчке отвращение к литературе, а останется он в ней надолго».

А вот еще удивительное мнение Адамовича: «…простительно проглядеть Пушкина; но непростительно восхищаться Кукольником».

А как вам нравится такое рассуждение Адамовича: «Когда в России восхваляется что-либо за особенно русскую сущность, можно почти безошибочно предсказать, что дело плохо…»

«Русской сущностью» Адамович, кстати говоря, никогда не

отличался, в эмиграции он просто страдал ностальгией по утерянному им Петербургу: «На земле была одна столица, все другие — города».

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье,
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».
Нет доли сладостней — все потерять,
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты не был к Богу ближе,
Чем здесь, устав скучать, устав дышать,
Без сил, без денег, без любви,
В Париже…

И воспоминания, воспоминания без конца:

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченых шпилей легкий взлет,
Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед…

Словом, в Париже о Петербурге… Однако Адамович жил не только в Париже, с 1951 года в течение 10 лет он обретался в Англии. В 60-е годы находился попеременно то в Париже, то в Ницце. Группировал вокруг себя молодежь и создал целое поэтическое упаднические направление под названием «Парижская нота» — с доминирующей темой о смерти. Как отмечал Юрий Терапиано: «Почти все молодые поэты, начавшие в эмиграции, думали по Адамовичу».

«На Монпарнасе, в отличие от Ходасевича, Адамович не обучал ремеслу, а больше призывал молодых поэтов „сказаться душой“, если не „без слов“, как мечтает Фет в одном из стихотворений, то с минимумом слов — самых простых, главных, основных — ими сказать самое важное, самое нужное в жизни. Так возникла „Парижская нота“» (Игорь Чиннов).

Адамович осуждал метафоры, уверял, что без них стихи лучше, и приводил пример: «Я вас любил, любовь еще быть может…» «Там нет ни одной метафоры. Ни одной», — говорил Адамович.

По воспоминаниям Чиннова, Адамович «был человек большого обаяния. Со всеми без исключения говорил совершенно просто, вежливо и естественно-изящно».

Другой мемуарист Кирилл Померанцев отмечал, что Адамович был совершенно убежден, что мир летит в тартарары, к неизбежной планетарной катастрофе, и поэтому даже не старался разобраться в происходившем: «Да, да, знаю — Индия, Пакистан, новая напряженность на Среднем Востоке… Ну и?.. Вот расскажите что-нибудь „за жизнь“…»

Не приемля жгучую современность, Георгий Адамович перенес Серебряный век в эмиграцию и продлил ему «жизнь». Поэт и критик умер почти совсем недавно — в 1972 году, не дожив всего двух месяцев до 80-летия. Адамович жил с ощущением того, что

Легким голосом иного мира
Смерть со мной все время говорит.

АЙХЕНВАЛЬД
Юлий Исаевич
12(24).I.1872, Балта Подольской губернии
— 17.XII.1928, Берлин

«В пору серебряного века сложилась главная книга Ю. Айхенвальда „Силуэты русских писателей“. После выхода в свет она издавалась снова и снова. Спрос был велик в столице и в провинции…» — так начал очерк об Айхенвальде современный поэт и литературовед Вадим Крейд.

Впервые сборник статей «Силуэты русских писателей» вышел в Петербурге в 1906 году и вызвал громкие и неоднозначные оценки. Писатель Борис Зайцев и философ Семен Франк восторженно отозвались об Айхенвальде как о критике. Другим эта самая айхенвальдовская критика резко не понравилась и не столько стилем, сколь методом, положенным в основу книги. Айхенвальд сам называл его методом «принципиального импрессионизма», в основе которого были отказ от претензий на научность литературоведческого анализа, утверждения невозможности науки о литературе, ибо литература «своей основной стихией имеет прихотливое море чувств и фантазии…

со всей изменчивостью его тончайших переливов… Однако то, что мысль и чувство разнятся между собой, делает литературу „беззаконной кометою в кругу расчисленных светил“». И вообще — «искусство недоказуемо; оно лежит по ту сторону всякой аргументации». Что касается самого писателя, то он, по Айхенвальду, «Орфей, победитель хаоса, первый двигатель, он осуществляет все мировое развитие. В этом его смысл и величие».

Конечно, такой подход Айхенвальда к творческому процессу сразу опрокидывал навзничь трех китов, на которых держались все критические студии, ведущие начало от «неистового Виссариона» — Белинского, — биографию, среду и влияние. Портреты писателей кисти Айхенвальда были всего лишь смутными силуэтами, всего лишь пятнами, импрессионистическими мазками, но при этом они жили и дышали. Новизна Айхенвальда была не столько в области жанра, сколько в его интуиции, видении и прозрении. А что касается жанра, то он был отнюдь не нов. Достаточно вспомнить ранее вышедшие книги: Иннокентия Анненского «Книга отражений», Константина Бальмонта «Горные вершины», чуть позднее Айхенвальда — «Далекие и близкие»; «Русская камена» Бориса Садовского, «Лики творчества» Максимилиана Волошина… Выходили и другие книги о писателях и их творчестве, но все же в этом ряду айхенвальдовские «Силуэты», пожалуй, самые лучшие.

Можно с изрядной долей уверенности сказать, что Юлий Айхенвальд был первым критиком-импрессионистом в России. Сказалось и то обстоятельство, что Айхенвальд был человеком западного толка. Он перевел на русский язык всего Шопенгауэра, причем «Мир как воля и представление» читается в переводе так, словно книга и была написана по-русски. Близки к Айхенвальду были писатели Реми де Гурмон и Оскар Уайльд. И как отмечает Крейд, «у Айхенвальда истоки франко-англо-германские, но видение, пафос, способ прочтения, любовь к литературе — российские».

Теперь непосредственно о самом Юлии Айхенвальде. Он родился в семье раввина. Окончил в Одессе Ришельевскую гимназию и историко-филологический факультет Новороссийского университета, получив диплом 1-й степени и золотую медаль за философскую работу «Эмпиризм Локка и рационализм Лейбница». После переезда в Москву в 1895 году преподавал в гимназии, в университете им. Шанявского, на Высших женских курсах. Айхенвальд состоял членом Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, был ученым секретарем Московского психологического общества и секретарем редакции журнала «Вопросы философии и

психологии». Айхенвальд сотрудничал и печатался во многих журналах и газетах, выступал как литературный критик и как театральный обозреватель. Писал неизменно изысканно и утонченно, чем тоже вызывал недовольство у многих, «просто повидло какое-то приготовлял Айхенвальд», — негодовал Андрей Белый в книге «Начало века». Про суждения Айхенвальда и говорить не приходится, особую ярость оппонентов вызвала его статья о Белинском («позорное легкомыслие» — так отозвались многие). Разгорелась нешуточная полемика, в ответ на грубые обвинения Айхенвальд держался в рамках, как истый «джентльмен-рыцарь», и своим противникам противопоставил книгу «Спор о Белинском».

По словам Бориса Зайцева, Айхенвальд «жил в Москве, на Новинском бульваре, в семье, тихой и трудовой жизнью». Писал, преподавал, выступал с лекциями, разъезжая по России, то есть не покладая рук работал во славу русской культуры. Естественно, такой человек, как Айхенвальд, встретил Октябрьскую революцию с неприязнью. Он был органическим противником всякого насилия и отказался поддерживать новую власть и публиковаться в советских изданиях. В 1922 году один из советских критиков написал, что Айхенвальд — «верный и покорный сын капиталистического общества, твердо блюдущий его символ веры, глубокий индивидуалист».

Второго июня 1922 в «Правде» появилась статья Льва Троцкого «Диктатура, где твой хлыст?», в которой утверждалось, что Айхенвальд «во имя чистого искусства» «называет рабочую советскую республику грабительской шайкой», и предлагалось «хлыстом диктатуры заставить Айхенвальдов убраться за черту в тот лагерь содержанства, к которому они принадлежали по праву…».

В сентябре того же 1922 года Юлий Айхенвальд с группой писателей, ученых и философов был выслан из России на так называемом «философском пароходе». Прочь с советских глаз!..

В Берлине Айхенвальд продолжал активную работу, читал курс лекций «Философские мотивы русской литературы», выступал во многих газетах, и в частности в берлинской газете «Руль», написал книгу «Две жены» — исследование о Софье Толстой и Анне Достоевской. Участвовал в создании литературного общества «Клуб писателей». Вокруг Айхенвальда группировалась молодежь, среди которой был Владимир Набоков, будущая мировая знаменитость. В своих воспоминаниях Набоков охарактеризовал Айхенвальда как «человека мягкой души и твердых правил».

Время повлияло и на позицию Айхенвальда, в эмиграции он

утверждал, что нельзя теперь, как прежде, не быть публицистом. «Во все, что ни пишешь… неудержимо вторгается горячий ветер времени, самум событий, эхо своих и чужих страданий».

Обращая свой взгляд на советскую Россию, Айхенвальд писал, что там установилось «равенство нищеты и нищенской культуры», но «даже там, где беллетристы хотят присоединиться к казенному хору славословия, они то и дело срываются с голоса, потому что правда громче неправды… Талант органически честен».

Искренними, правдивыми художниками в России Айхенвальд считал Льва Лунца, Всеволода Иванова, Михаила Зощенко… Критиковал за сервилизм, тенденциозность и политическую ангажированность Максима Горького, Владимира Маяковского, Алексея Толстого… В воспоминаниях «Дай оглянусь» рассказал о своих встречах с современниками и воссоздал атмосферу ушедших лет.

Юлий Айхенвальд в 56 лет трагически погиб в результате несчастного случая, попав под трамвай.

«Вот и последний… — откликнулся на его смерть Иван Бунин. — Для кого теперь писать? Младое и незнакомое племя… Что мне с ними? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким».

Бунин не мог не принять многих рассуждений и толкований Айхенвальда, например, такое: «Искусство прежде всего — игра, цветение души, великая бесполезность… Талант первее труда. Внутренняя импровизация, божественная забава духа только и придают художнику его бессмертные чары…»

Подобные «капризы импрессионизма» (термин Семена Венгерова) были абсолютно чужды советской литературе. Верные слуги метода соцреализма называли творчество Айхенвальда реакционным и контрреволюционным и на целых семь десятилетий вычеркнули его имя из литературных списков. Лишь в 1994 году «Силуэты русских писателей» снова вернулись к русским читателям и многим из них доставили истинное наслаждение.

И последнее. Судьба сына и внука Юлия Айхенвальда. Сын Александр был расстрелян в 1941 году. Внук, Юрий Айхенвальд, ставший известным поэтом, дважды арестовывался и дважды ссылался. Надорванное сердце остановилось, когда Юрию Айхенвальду было 65 лет, произошло это в начале июля 1993 года.

Сам Юлий Исаевич Айхенвальд стихов, кажется, не писал. Поэтому закончим наш краткий рассказ строчками из Александра Блока:

Пусть эта смерть была понятна, —
В душе под песни панихид
Уж проступали злые пятна
Незабываемых обид…

АМФИТЕАТРОВ
Александр Валентинович,
псевдонимы Old gentleman, Икс,
московский Фауст и др
14(26).XII.1862, Калуга — 26.II.1938, Леванта, Италия

Прежде чем стать прозаиком, драматургом, поэтом-сатириком и публицистом, литературным и театральным критиком, Амфитеатров два сезона пел в оперных труппах Тифлиса и Казани партии второго баритона (учился вокальному искусству в Италии). Но певцом не стал. Перо пересилило голос.

Из всей многогранной деятельности Амфитеатрова следует выделить сотрудничество в 90-х годах с газетой «Новое время», с издателем Сувориным. После разрыва с последним Амфитеатров выступал как журналист в организованной Сытиным газете «Россия», где скандально прославился фельетоном «Господа Обмановы», в котором высмеял русских царей (Романовы-Обмановы) и нелицеприятно изобразил двор. За критику Амфитеатров был сослан в Минусинск. В 1904 году эмигрировал из России и жил во Франции и Италии. Дружил с Горьким — эту пару остряки называли «Герценом и Огаревым русской эмиграции».

За рубежом Амфитеатров работал над циклом романов

«Концы и начала: Хроника 1880–1910 годов» о русской общественной жизни на рубеже веков. Будучи весьма плодовитым, Амфитеатров затевает серию романов «Сумерки божков» и цикл исторических произведений о жизни Римской империи во времена правления Нерона. Романы увлекательные, с лихо закрученным сюжетом, хотя и не очень глубокие. Еще Амфитеатров сочинял всякие «демонические» рассказы. Привлекала писателя и женская тема. Романы «Виктория Павловна», «Дочь Виктории Павловны», «Марья Лусьева», «Марья Лусьева за границей» пользовались огромным успехом. Женщины млели… По отчету библиотечной выставки 1911 года книги Амфитеатрова занимали 2-е место в России после сочинений Вербицкой.

Однако популярность книг Амфитеатрова не смогла затенить его недостатки. Василий Розанов критиковал писателя за тяготение к словесному общественному и политическому «буму». Ругал за торопливость — «бегом через жизнь, не давая ее углубленной трактовки». Не утруждал себя Амфитеатров и утонченной стилистикой, поиском новых языковых звучаний, что было характерно для большинства литераторов Серебряного века. Язык Амфитеатрова, — «живой, с русской улицы, с ярмарки, из трактира, из гостиных, из „подполья“, из канцелярий, из трущоб» (И. Шмелев).

В 1916 году Амфитеатров вернулся в Россию. Приветствовал Февральскую революцию и враждебно отнесся к Октябрьскому перевороту, ибо пошла не жизнь, а, как он определил, «сплошной бред», «лавина ужасов и мерзостей». Писателя трижды арестовывали и допрашивали в ЧК. Опасаясь нового ареста, Амфитеатров срочно уехал (точнее, отплыл на лодке через Финский залив) в Финляндию. Произошло это сразу после расстрела Николая Гумилева.

После европейских скитаний Амфитеатров осел в Италии. Много пишет. Сразу по горячим следам он изливает на бумаге свои «совсем еще свежие раны измученной и оскорбленной души». В 1922 году в Берлине выходит его очерк о красном Петрограде «Горестные заметы». В них он утверждает, что не существует грани между идейным коммунизмом и коммунизмом криминальным. Амфитеатров печалится по поводу краха старой культуры, рухнувшей под напором «извечной азиатчины».

Перед своей эмиграцией Амфитеатров написал письмо Луначарскому, в котором говорил: «Я не вижу перед собою никакой возможности к труду производительному и добывающему, хотя полон сил и работоспособности…» Писатель говорил об условиях для свободного творчества в России. В

эмиграции эта свобода была, и Амфитеатров по своему обыкновению трудился не покладая рук. Продолжил свои исторические серии, написал роман «Лиляша» (1928), создал цикл воспоминаний и этюдов о писателях и актерах и еще многое другое. О работоспособности Амфитеатрова говорит тот факт, что в дореволюционной России успел выйти 37-й том его собраний сочинений. А многое так и осталось неопубликованным. В конце 2000 года издательство «Интелвак» приступило к изданию 10-томного собрания сочинений Амфитеатрова.

В своих произведениях Амфитеатров отдавал предпочтение кризисным ситуациям, любил проводить исторические параллели и сравнения, пытался охватить необъятно много, за что его не раз критиковали, упрекая в «мелкотемье», в «бытописательстве», в «литературе без выдумки». Но сегодня отчетливо видно, что книги Амфитеатрова — бесценный свод сведений и описаний жизни России на рубеже двух столетий. Помимо всего прочего, Амфитеатров уловил и запечатлел отблески и всполохи Серебряного века.

Александр Амфитеатров прожил 75 лет. Когда он скончался, Н. Кривич написал в некрологе: «Ушел последний выдающийся представитель целой полосы в истории русской журналистики».

АНДРЕЕВ
Леонид Николаевич
9(21).VIII.1871, Орел — 12.IX.1919, дер. Нейвала, близ Териоки, Финляндия

Большая советская энциклопедия (БСЭ) в 1950 году так представляла Леонида Андреева: «Развивая традиции Достоевского, Андреев как писатель шел к изображению патологической психологии, инстинктов и раздвоения сознания. Для драматургии Андреева характерны крайний схематизм, трескучая риторика, фантастика кошмаров и ужасов… Типичный представитель реакционно-идеалистической упадочной литературы».

Вот так, наотмашь! Советскому читателю, мол, Леонид Андреев и вовсе не нужен. «Упадочная литература». Правда, позднее все ярлыки с Андреева сняли и именовали его просто: русский писатель.

Так в чем «упадочность»? Корней Чуковский вспоминает, как Леонид Андреев любил закатывать монологи о смерти: «То была его любимая тема. Слово „Смерть“ он произносил особенно — очень выпукло и чувственно: смерть, как некоторые сластолюбцы

— слово „женщина“. Тут у Андреева был великий талант: он умел бояться смерти, как никто. Тут было истинное его призвание: испытывать смертельный, отчаянный ужас. Этот ужас чувствуется во всех его книгах…»

Лев Толстой добродушно-насмешливо говорил про Леонида Андреева: «Он пугает, а мне не страшно».

Иннокентий Анненский в «Книге отражений» отмечал: «Русский писатель, если только тянет его к себе бездна души, не может более уйти от обаяния карамазовщины…» И далее Анненский писал: «У Леонида Андреева нет анализов. Его мысли, как больные сны, выпуклы: иногда они даже давят, принимая вид физической работы…»

Сам Леонид Андреев признавался: «Пишу я трудно. Перья кажутся мне неудобными, процесс письма — слишком медленным… мысли у меня мечутся точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок…»

И тем не менее, по мнению Бориса Зайцева, «Леонид Андреев как-то сразу поразил, вызвал восторг и раздражение… Его имя летело по России. Слава сразу открылась ему. Но и сослужила плохую службу: вывела на базар, всячески стала трепать, язвить и отравлять».

Еще в гимназии Андреев искал ответ на вопрос о смысле человеческого бытия, читал книги по философии, социологии, этике, психологии, был увлечен Шопенгауэром. А в 17 лет, чтобы «испытать судьбу», лег между рельсами под проходивший поезд. Первое литературное произведение Леонида Андреева — рассказ «В холоде и золоте» — о буднях голодного студента. Собственные студенческие годы писатель ознаменовал двумя попытками самоубийства. Его психика была весьма ранима и отзывчива на чужую боль.

Получив юридическое образование, Леонид Андреев выступал в качестве защитника, затем, в ноябре 1897 года, был приглашен на должность судебного репортера в «Московский вестник», с той поры он — профессиональный литератор. Меньше всего он являлся бытописателем, его интересовали главным образом психологические проблемы, психология личности. В дальнейшем Андреев познакомился с Горьким, который считал Андреева «человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в поисках истины». В 1901 году на средства Горького была выпущена первая книга Андреева «Рассказы».

Богоборческая повесть «Жизнь Василия Фивейского» (1904) явилась крупным литературным событием. В ней Леонид Андреев противопоставляет «правде факта» эмоциональный «образ факта»,

то есть фантазию ставит выше жизненной реальности.

Короткое сближение с большевиками дало обратный эффект: Леонид Андреев стал ненавидеть насилие. Но и самодержавие вызывало у писателя отвращение. В 1907 году он заканчивает драму «Жизнь человека» — некую театральную аллегорию всех этапов человеческой жизни, от рождения до смерти. Она была поставлена в Художественном театре в декабре 1907 года Станиславским. 2 октября 1909 года состоялась премьера другой философской драмы Андреева «Анатэма», главную роль в которой блистательно исполнил Василий Качалов. Спектакль был с интересом принят московской публикой (в Петербурге «Анатэма» провалилась). Андреевская идея, что над всем господствует власть Рока, не всем, естественно, пришлась по душе.

Среди других мировоззренческих произведений Леонида Андреева следует упомянуть «Красный смех» (1904), «Елеазар» (1906), «Иуда Искариот и другие» (1907), «Царь Голод» (1908), «Сашка Жегулев» (1911). Вот как, кстати, начинается последний роман: «Жаждет любовь упоения, ищут слезы ответных слез. И когда тоскует душа великого народа, — мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на заклание…»

В начале XX века Леонид Андреев — один из наиболее популярных авторов. Каждое его новое произведение обсуждается критикой, часто вызывая острые дискуссии. Кому-то писатель казался неубедительным и вызывал отторжение. Кому-то он очень нравился и вызывал даже восторг. В «Силуэтах русских писателей» критик Юлий Айхенвальд посчитал Леонида Андреева «самым необязательным и неубедительным из беллетристов». И дал окончательную оценку: «Виртуоз околесицы, мастер неправдоподобия». Александр Блок, напротив, прочитав рассказ «Тьма», обратился к Леониду Андрееву со словами: «„Тьма“ — самая глубокая, самая всеобъемлющая, самая гениальная из всего, что вы написали!»

Похвала Блока пришлась на время расхождения Леонида Андреева с символистами. Писатель оказался чужим в их лагере. Дмитрий Мережковский отмечал, что «мистика Достоевского по сравнению с мистикой Андреева — солнечная система Коперника по сравнению с календарем». Разошелся Леонид Андреев и с реалистами. Жизнь, по Андрееву, — это хаотический и иррациональный поток бытия, в котором человек обречен на одиночество. С такой позицией был категорически не согласен Горький. «Буревестник революции» верил в разум, а Леонид Андреев — нет. Разум, как считал Леонид Андреев, — это порождение зла («Дневник сатаны»).

В 1908 году Леонид Андреев поселился в финской деревне Ваммельсу в роскошном доме и жил там на широкую ногу. Путешествовал на собственной яхте, занимался цветной фотографией, живописью, спортом, постоянно «разбирался» с любимыми женщинами (одна из его любовей — молодая актриса Алиса Коонен, которая его отвергла).

В начале Первой мировой войны писатель призывал к разгрому германского «цезаризма». Но, пережив угар войны, понял всю ее пагубность. Написал повесть «Иго войны. Признания человека о великих днях».

1917 год. Короткая вспышка любви к Февральской революции (мы — «первые и счастливейшие граждане свободной России») и полное неприятие Октября.

Увидев, как «по лужам крови выступает завоеватель Ленин», Леонид Андреев с ненавистью обрушился на установившуюся в России большевистскую диктатуру. Об этом он яростно писал в письмах, в дневнике, в статьях. «Вообще, я думаю, Ленин относится к человеку с величайшим презрением и видит в нем только материал, как видели все революционеры, тот же Петр Великий. И разница между Петром Великим и Лениным не в революционном духе и страсти, одинаковых у обоих, а в уме. Будь Ленин умнее, он стал бы Преобразователем России, сейчас он — ее губитель». С гибнущей Россией «ушло, — по мнению писателя, — куда-то девалось, пропало то, что было творчеством». И крик: «Я на коленях молю вас, укравших мою Россию: отдайте мне мою Россию, верните, верните…»

Трагедия Леонида Андреева — трагедия сострадания. Он воспринимал боль России как свою личную боль, ее трагедию — как трагедию собственную.

В 1994 году в двух издательствах в Москве и Петербурге вышли книги «Верните Россию!..» (сборник публицистики Леонида Андреева 1916–1919 годов) и «S.O.S.» (дневник, 1914–1919, письма, 1917–1919, статьи и интервью, 1919, воспоминания современников, 1918–1919). Как написал один из рецензентов: «Такого Андреева мы не знали». Это надо обязательно читать. Потрясающие документы человеческого страдания и боли.

За три дня до своей смерти Леонид Андреев писал в письме к Василию Бурцеву: «А какой вид будет иметь Россия, когда уйдут большевики? Страшно подумать. Больше всего меня страшит страшная убыль в людях. С одной стороны, защищая себя, большевизм съел среди рабочих и демократии все наилучшее, сильнейшее, более других одаренное. Это они в первую голову гибли и гибнут на бесчисленных фронтах в бесчисленных сражениях и кровопролитиях. И наоборот: наиболее трусливое,

низкое и гнусное остается в ихнем тылу, плодится и множится и заселяет землю — это они палачествуют, крадут, цинически разрушают жизнь в самых основаниях. С другой стороны, нападая, он съел огромное количество образованных людей, умертвил их физически, уничтожил моральной своей системой подкупов, прикармливания…»

Это было написано в сентябре 1919 года, задолго до «философского парохода», истребления кулачества как класса, судебных процессов над неугодными и массовым террором 1937 года. Леонид Андреев оказался истинным провидцем.

А как злободневно звучит такой короткий диалог из рассказа «Так было» (1906):

«— Нужно убить власть, — сказал первый.

— Нужно убить рабов. Власти нет — есть только рабство».

Писатель не чуял своей кончины и собирался в поездку. В письме к И. Гессену он сообщал: «Еду в Америку. Там читаю лекции против большевиков, разъезжаю по штатам, ставлю свои пьесы… и миллиардером возвращаюсь в Россию для беспечной маститой старости».

Тут Леонид Андреев не угадал. Никакой старости. Он прожил всего лишь 48 лет, скончался скоропостижно от паралича сердца. Писательское сердце не выдержало сильного напора страданий. С 1956 года прах Леонида Андреева покоится на Литературных мостках Волкова кладбища в Петербурге.

По литературным стопам Леонида Андреева пошли два его сына: поэт Вадим Андреев (1903–1976) и философ, прозаик Даниил Андреев (1906–1959). Первый, Вадим, оказался в эмиграции и прожил относительно благополучную жизнь. Второй, Даниил, остался в России, прошел вместе с ней весь крестный путь и был арестован в 1947 году как «враг народа»: 25 лет тюремного заключения. В лагере закончил свой потрясающий философский роман «Роза Мира», который увидел свет лишь в 1991 году.

АННЕНСКИЙ
Иннокентий Федорович
20. VIII(1.IX).1856, Омск — 30.XI(13.XII).1909, С.-Петербург

Если взять за условную точку отсчета Серебряного века выход в 1898 году журнала «Мир искусства», отвергшего академизм и провозгласившего свободу искусства, то на этот период времени, в конце 90-х годов в России творило множество поэтов-традиционалистов: Алексей Жемчужников, Константин Случевский, К.Р., Арсений Голенищев-Кутузов, Константин Фофанов, Николай Минский и другие. Все они были птенцами из гнезда Пушкина. А параллельно колдовали над Словом уже поэты новой формации, которых мы объединяем единым понятием «Серебряный век». Это — Сологуб, Мережковский, Бальмонт, Зинаида Гиппиус, Брюсов. Самым старшим среди них был Анненский — в 1898 году ему было 42 года.

Что касается других поэтов Серебряного века, то еще не вышли первые сборники стихов у Вячеслава Иванова, Кузмина и Волошина. Юношеские стихи писали 18-летние Блок и Андрей Белый. В детском возрасте пребывали Хлебников (ему было 13 лет), Ходасевич и Гумилев (12), Северянин (12), Ахматова (9), Пастернак (8), Мандельштам (7), Цветаева (6), Маяковский (5), Георгий Иванов (4), а Есенину было всего 3 года. Так что Инннокентий Анненский действительно был самым старшим

«товарищем». Он был Учителем. Именно так — «Учитель» — назвала свое стихотворение, посвященное памяти Иннокентия Анненского, Анна Ахматова:

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся…

Анна Ахматова не однажды подчеркивала: «Все поэты вышли из Анненского: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский».

И еще одно высказывание Ахматовой по поводу Анненского: «Он шел одновременно по стольким дорогам! Он нес в себе столько нового, что все новаторы оказались ему сродни».

Ну, а теперь, пожалуй, надо привести одно из лучших стихотворений Иннокентия Анненского:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Стихотворение «Среди миров» было написано 3 апреля 1909 года в Царском Селе. И можно только восхищаться его удивительной чистоте и музыкальности строк, какой-то космической возвышенности и одновременно земной безнадежности. Откуда все это? Отчасти истоки лежат в биографии поэта. Ранняя болезнь сердца отторгнула мальчика и юношу Анненского от его сверстников и сузила мир до одиночества. Он выглядел, как свидетельствует мемуарист, «как утонченный цветок городской цивилизации. Чуть не с младенчества увлекся древними языками, потом греческой мифологией, греческой и римской историей и литературой. Античный мир обладал для него особым очарованием, и он скоро ушел в него с головой».

Анненский любил все возвышенное и трагическое и презирал

все элементарное, «банально-ясное». В течение 15 лет он осуществил перевод всех 18 древнегреческих трагедий Еврипида. Филолог-классик Ф. Зелинский подчеркивал, что «Еврипид для него (для Анненского. — *Прим. Ю.Б.*) — часть его собственной жизни, существо, родственное ему самому».

Всю жизнь Анненский служил по ведомству народного просвещения. В 1896–1905 годах был директором Николаевской гимназии в Царском Селе (среди его учеников был Николай Гумилев). В свободное от чиновничества время занимался филологическими исследованиями, переводами (не только Еврипида, но и Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме и других западных поэтов), писал стихи. Анненский — единственный поэт Серебряного века, которого творчество совершенно не кормило. Все, что он писал, — это было вроде хобби, личного увлечения, и в этом Анненский походил на Тютчева.

Размышляя о поэзии в статье «Бальмонт-лирик», Анненский утверждал: «Стих не есть созданье поэта, он даже, если хотите, не принадлежит поэту… Он — ничей, потому что он никому и ничему не служит, потому что исконно, по самой воздушности своей природы, стих свободен и потому еще, что он есть никому не принадлежащая и всеми создаваемая мысль… Стих этот — новое яркое слово, падающее в море вечно творимых…»

В 1904 году в Петербурге вышел единственный прижизненный сборник стихотворений Анненского «Тихие песни». Сборник подписан псевдонимом «Ник. Т-о». (Никто — одно из имен-масок Одиссея.) Название сборника «Тихие песни» сразу отличило его от выходивших в то время книг других поэтов Серебряного века, не очень отличающихся своей скромностью: «Шедевры» Брюсова, «Будьте как солнце» Бальмонта, «Золото с лазурью» Андрея Белого, «Стихи о прекрасной даме» Блока и т. д. А у Анненского никакого шума, эпатажа, вызова. Просто — «Тихие песни».

Когда, сжигая синеву,
Багряный день растет неистов,
Как часто сумрак я зову,
Холодный сумрак аметистов.
И чтоб не знойные лучи
Сжигали грани аметиста,
А лишь мерцание свечи
Лилось там жидко и огнисто.
И, лиловея и дробясь,
Чтоб уверяло там сиянье,
Что где-то есть не наша связь,

А лучезарное сиянье…

В 1906 и в 1909 годах вышли две «Книги отражений», в которых Анненский собрал свою художественную критику. «Я назвал их отражениями. И вот почему, — объяснял Анненский столь странное название. — Критик стоит обыкновенно вне произведения: он его разбирает и оценивает. Он не только вне его, но где-то над ним. Я же писал здесь только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою».

Не случайно Максимилиан Волошин воспринял «Книгу отражений» Анненского как его «интимную исповедь».

Через год после смерти Анненского (он умер в 54 года), в 1910 году вышла главная его книга — «Кипарисовый ларец». Вот с этого сборника и началась слава Анненского. Все вдруг разом увидели и оценили по достоинству то, что он сделал. В стихах Анненского, по словам Брюсова, открылась «душа нежная и стыдливая», но слишком чуткая и потому «привыкшая таиться под маской легкой иронии». Балагурство и некое травестирование не могло никого обмануть. Анненский видел мир таким, каким он был: безжалостным и жестоким к человеческой судьбе.

Стихи Анненского полны трагической напряженности, но они не только личностны (Ego), но и историчны, достаточно прочитать стихотворение «Петербург»:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты…
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,

И прижитая стала наш идол.
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки…
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки.
Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.

Вот так, от гармонического и элегического Пушкина поэзия пришла к сумрачному и пессимистическому Анненскому, от первого — «к последнему из царскосельских лебедей», как выразилась Анна Ахматова.

В поэзии Анненского соединились начала и концы символизма. Анненский ушел от безбрежного индивидуализма, но при этом был придавлен «мировой дисгармонией». В его творчестве слиты воедино три потока: философская рефлексия, трагическая ирония и «поэзия совести». Вечно страдающая «душа-мимоза», разрывающаяся между «этим» и «тем» миром. Высокий стиль Анненского удивительным образом сочетается с простотой разговорной интонации площадей и улиц.

Сергей Маковский оставил такую характеристику Анненскому: «Поэт глубоких внутренних разладов, мыслитель, осужденный на глухоту современников, — он трагичен, как жертва исторической судьбы. Принадлежа к двум поколениям, к старшему — возрастом и бытовыми навыками, к младшему — духовной изощренностью, Анненский как бы совмещал в себе итоги русской культуры, пропитавшейся в начале XX века тревогой противоречивых терзаний и неутолимой мечтательности».

И закончим наш краткий рассказ об Иннокентии Анненском его стихотворением «Тоска возврата»:

Уже лазурь златить устала
Цветные вырезки стекла,
Уж буря светлая хорала
Под темным сводом замерла.
Немые тени вереницей
Идут чрез северный портал,
Но ангел Ночи бледнолицый
Еще кафизмы не читал…
В луче прощальном, запыленном
Своим грехом неотмоленным

Томится День пережитой.
Как серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой…
На гриф умолкшей виолончели.

Только истинный ангел мог сыграть такую прекрасно-изящную мелодию на виолончели поэзии. Имя этого ангелоподобного сочинителя — Иннокентий Анненский. Себя он ангелом не считал: «Я — слабый сын больного поколения» — вот его самооценка.

АРЦЫБАШЕВ
Михаил Петрович
24. X(5.XI).1878, хутор Доброславка, Ахтырский уезд Харьковской губернии — 3.III.1927, Варшава

В начале XX века имя Арцыбашева гремело. Скандально известный писатель. Автор «Санина». Восторги и свист. А сегодня Арцыбашева знают лишь знатоки русской литературы. Отшумевшее и отзвеневшее имя.

Арцыбашева нельзя понять вне исторического контекста. Революция 1905 года окончилась поражением, и интеллигенция мрачно искала выход из социального тупика. Как утверждал Д. Овсянико-Куликовский, метались остатки разгромленной «чеховской» генерации русской интеллигенции. Во что верить? Куда идти? Тут и подоспел роман «Санин» со своим ницшеанством, с «правом человека на жизнь и наслаждение ее благами» (И. Розанов). Как призывал один из героев Арцыбашева: «Живите, как птицы летают: хочется взмахнуть правым крылом — машет, надо обогнуть дерево — огибает».

Аморальность «Санина» для своего времени была вопиющей. «„Санин“, — отмечал критик Александр Измайлов, — это прямой вызов к современному эпикурейству. Человек должен жить для себя, быть сильным, здоровым, эгоистичным, пренебрегать и пустою человеческой условностью, и моральными жупелами,

созданными и окрепшими в веках… На всем просторе бытия Арцыбашев разглядывает только два явления — смерть и похоть… Везде Арцыбашев с огнем выискивает разыгравшуюся плоть, возбужденную похоть. Мужчина для него прежде всего самец, как женщина только самка…»

Некоторые критики восприняли роман как русскую пародию на Заратустру, в которой «напускная жизнерадостность граничит с беспредельным и беспросветным пессимизмом» (Евг. Трубецкой). Корней Чуковский написал разгромную статью, из-за которой Арцыбашев вызвал его на дуэль. Правда, она не состоялась.

Самое время сказать несколько слов об авторе скандального романа. Михаил Арцыбашев родом из оскудевших «дворян московских», по матери поляк. Учился в Харьковской школе живописи и рисования, параллельно сочинял рассказы, писал заметки, репортажи. С переездом в Петербург стал профессиональным литератором. Подражал Чехову и Толстому. В его первых рассказах ощущается протест против «лжи, насилия, животной грубости в общественных и личных отношениях между людьми». Некоторая надрывность стиля Арцыбашева вызвана перенесенными физическими страданиями в юности (туберкулез и глухота). Страдание — одна из главных доминант его творчества. Он страшился и одновременно тянулся к «черной дыре» небытия. Даже делал попытку застрелиться.

В 1907 году вышел роман «Санин», который попал в центр общественного внимания и взорвал читающую публику. Многие посчитали роман чрезмерно натуралистическим, на грани порнографии. Сегодня, читая роман, ничего порнографического в нем обнаружить нельзя. Судите сами. Вот один из смелых пассажей:

«Отчаяние, холодком свивавшееся вблизи самого сердца, подсказывало ей падшие и робкие мысли:

— Все равно теперь, все равно… — говорила она себе, а тайное телесное любопытство как бы хотело знать, что еще может сделать с ней этот, такой далекий и такой близкий, такой враждебный и такой сильный человек».

И вот такой зашторенный, затененный эротизм возмутил общество. В 1908 году местная власть выслала Арцыбашева, лечившегося в Крыму, сначала из Ялты, затем из Севастополя. В 1910 году епископ Гермоген грозил Арцыбашеву анафемой. Состоялось несколько судебных разбирательств по поводу оскорбления нравственности. Но тем не менее дело было сделано: процесс «арцыбашевщины» пошел! Повсюду бурлили жаркие дискуссии по «вопросам пола» (уж не Арцыбашев ли

послужил площадкой для взлета «Крылатого Эроса» Александры Коллонтай?). Организовывались по стране «Лига свободной любви», «кружки санинистов» — всем вдруг захотелось «удовлетворять свои естественные желания», как призывал Санин, всем хотелось купаться в наслаждениях. В следующей книге «Женщина, стоящая посреди: Эротический роман» Арцыбашев окончательно прощается с тургеневским типом женщины и показывает, как идея «свободной половой любви» разрушает семью, губит институт брака.

В 1912–1918 годах выходило полное собрание сочинений Арцыбашева в 10 томах. Итоговым романом писателя следует признать «У последней черты». Вот сущностная выдержка из этого романа: «Я говорю вам о том, что раз и навсегда надо понять, что ни революции, ни какие бы то ни было формы правления, ни капитализм, ни социализм — ничто не дает счастья человеку, обреченному на вечные страдания. Что в нашем социальном строе, если смерть стоит у каждого за плечами; если мы уходим во тьму, если люди, дорогие нам, умирают… если мир прежде всего — огромное кладбище, которое мы зачем-то сторожим. Надо рассеять в людях суеверие жизни… надо заставить их понять, что они не имеют права тянуть эту бессмысленную комедию…»

Естественно, такой мрачный пессимизм многим оказался не по нутру. Максим Горький писал Владимиру Короленко в письме: «Я не люблю Арцыбашева, он — талантлив, конечно, но мне кажется не умным и болезненно злым… франт, но — весь в чужом! Нахватал у Толстого, у Достоевского… все искажает, мнет и, кажется, делает его только для того, чтобы перелеонидить Андреева в пессимизме».

«Ряд гримас Достоевского, Толстого, Чехова» в романе Арцыбашева отмечали и другие критики. Сам Арцыбашев считал себя одним из наследников библейского царя Соломона, его глубокой печали:

«И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдет как след облака, и рассеется как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его. Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не возвращается» (из «Книги премудрости Соломона», глава 2).

Как выглядел Арцыбашев? Один из современников вспоминает, что писатель ничуть не походил на своего анархо-индивидуалистического героя Санина. Был мрачен и молчалив, любил сидеть в одиночестве за столиком в ресторане «Вена». Несколько глуховатый, он прикладывал ладонь к уху, чтобы

слышать. Наблюдая за пировавшими вокруг него собратьями, он сам не увлекался ни вином, ни обильной едой… Словом, Арцыбашев не был «человеком экстремы», как многие пытались его определить, напротив, он был человеком мягким и имел ум рассудительный и логический.

До лета 1923 года Арцыбашев жил в Москве, не участвуя в литературно-общественной жизни. Определившись с польским гражданством, эмигрировал и поселился в Варшаве. В эмиграции выступал с позиций крайнего антисоветизма. Когда в Варшаве белогвардейцем Конради был убит советский полпред Воровский, Арцыбашев писал: «Воровский был убит не как идейный коммунист, а как палач… Убит, как агент мировых поджигателей и отравителей, всему миру готовящих участь несчастной России». Особенно резко нападал Арцыбашев на Ленина, который, по его мнению, являлся «гениальнейшим пройдохой, так полно сочетавшим в себе черты деспота — жестокость и лицемерие». И вывод: «Ни нашествие Батыя, ни кровавое безумие Иоанна не причинили России такого вреда и не стоили русскому народу столько крови и слез, как шестилетняя диктатура красного вождя».

Арцыбашев отрицал и культурную политику большевиков, считая, что никакой пролетарской культуры нет, что все это выдумки и что все равно победит «запах черемухи», под которым писатель понимал любовь, чувство красоты, жажду одухотворенности — «цветет в жизни настоящая жизненная „черемуха“…»

Сам Арцыбашев недолго наслаждался цветением «черемухи». Он прожил в Варшаве всего три с половиною года и умер от менингита, осложненного туберкулезом. Ему шел 49-й год.

На заседании «Зеленой лампы» в Париже Зинаида Гиппиус так отозвалась об Арцыбашеве: «Человек. Любил родину просто: как любят мать. Ненавидел ее истязателей. Боролся с ними лицом к лицу, ни пяди не уступая, не отходя от материнской постели».

Арцыбашева давно нет. Но есть его книги и заветы. И, как говорил его учитель Соломон: «Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью».

Кто против?..

Анна АХМАТОВА
Анна Андреевна ГОРЕНКО, в замужестве ГУМИЛЕВА
11(23).VI.1889, Большой Фонтан, близ Одессы — 5.III.1966, Домодедово, под Москвой

Анна Ахматова — поэт Серебряного века. Звонче и серебристее не бывает. Один из истолкователей поэзии Ахматовой Дмитрий Святополк-Мирский считал: «Анна Ахматова является, после смерти Блока, крупнейшим современным русским поэтом». Давид Самойлов в книге «Памятные записки» писал: «Анна Андреевна Ахматова пережила две славы — славу поэта и славу выдающейся личности в литературе. Это не значит, как думают иные, что было две Ахматовых…» «Ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России», — писал Мандельштам еще в 1916 году.

Да, все начиналось звонко и шумно. Первый сборник Ахматовой «Вечер» вышел в 1912 году (в прекрасной обложке с лирой, оформленной мирискусником Евгением Лансере) и имел оглушительный успех. Тираж в 300 экземпляров разлетелся в один день, и «Вечер» сразу стал библиографической редкостью:

Ржавеет золото,
и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти
все готово.
Всего прочнее на земле —
печаль.
И долговечней — царственное
слово.

Ахматовское поэтическое литье — это действительно царственное слово с печалью пополам. «Ее поэзия, — как отмечал знаток литературы Виктор Шкловский, — конкретна, точна, детальна и вечна». Ничего лишнего. Чеканное серебро.

Иосиф Бродский констатировал: «От ее речи неотделима властная сдержанность. Ахматова — поэт строгих ритмов, точных рифм и коротких фраз».

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки…

Взволнованность чувств. Трепетность. Тончайший эротизм — стиль ранней Ахматовой.

«Ахматова — удивительный поэт, ее стихи поражают кристальной пушкинской прозрачностью, предельной лирической точностью и совершенством. Она существует и будет существовать как лирический поэт одной своей темы, темы великой женской любви, в которой ей нет равных…» — такое мнение высказала Маргарита Алигер. Как после этого не привести ахматовское стихотворение, написанное 8 января 1911 года:

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительный рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».

Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

После сборника «Вечер» Ахматова поверила в себя как в поэта и стала читать стихи перед многолюдной аудиторией — впервые 25 ноября 1913 года, — на Высших (Бестужевских) курсах. По свидетельству современницы: «На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знавшей себе цену» (А. Тыркова).

В эти, 10-е, годы Ахматова — излюбленная модель для живописцев (Н. Альтман, С. Сорин и др.). А до этого в Париже Ахматову с вдохновением рисовал Амедео Модильяни.

В синеватом Париже в тумане,
И, наверно, опять Модильяни
Незаметно бродит за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной.

Слово «бедствий» пророческое. Бедствия почти всю жизнь сопровождали Анну Андреевну: расставание с Николаем Гумилевым, неудачные замужества с Шилейко и Пуниным, аресты сына Льва Гумилева, гонение властей, бездомность, одиночество… Она все вынесла и никогда не жаловалась.

После «Вечера» вышли сборники «Четки» (1914), «Белая стая» (1917). По наблюдению Бориса Эйхенбаума, в Ахматовой созревал поэт, который личную жизнь ощущал как жизнь национальную, историческую. Когда грянула революция, многие представители Серебряного века покинули Россию. Но не Ахматова. В 1917 году она написала:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно

Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Из Серебряного века Ахматова попала в век тоталитарный, железный и кандальный. Но она не захотела отделить себя от своего народа.

Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Покуда советская власть не разобралась с интеллигенцией, в 1931 году вышли два сборника Ахматовой: «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI» («В лето господне 1921»). А потом долгое молчание, если не считать отдельных стихотворений и статей о Пушкине. Но зато постоянные критические стрелы в адрес Ахматовой. Революционный критик Лелевич утверждал, что «социальная среда, вскормившая творчество Ахматовой… это среда помещичьего гнезда и барского особняка», что ее лирика — «тепличное растение, взращенное помещичьей усадьбой». Короче: не наш человек, «внутренняя эмигрантка».

В свою очередь, Ахматова неприязненно относилась к власти, и в частности к Сталину, называя его «усачом»:

— В сороковом году Усач спросил обо мне: «Что дэлаэт манахыня?»

«Монахиня» писала стихи. В стол. Раскрывала «Тайны ремесла». Вот стихотворение «Про стихи»:

Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар,
Это — сотен белых звонниц
Первый утренний удар…
Это — теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это — пчелы, это — донник,
Это — пыль, и мрак, и зной.

А удивительные стихи про Пушкина?

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать

Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..

«…Меня в жизни очень много хвалили и очень много ругали, но я никогда всерьез не печалилась. Я никогда не считалась номерами — первый ли, третий, мне было все равно…», — признавалась Ахматова в августе 1940 года.

В 1946 году она подверглась уничтожающей критике. В постановлении ЦК партии говорилось, что «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии…» За семь лет до литературного остракизма Ахматова писала в 1939 году:

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова.
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то… Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Сколько боли и трагизма!

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою…

Корней Чуковский вспоминал: «С каждым годом Ахматова становилась величественнее. Она нисколько не старалась об этом, это выходило у нее само собою. За все полвека, что мы были знакомы, я не помню у нее на лице ни одной просительной, мелкой или жалкой улыбки… Она была совершенно лишена чувства собственности. Не любила вещей, расставалась с ними удивительно легко… Самые эти слова „обстановка“, „уют“, „комфорт“ были ей органически чужды — и в жизни и в созданной ею поэзии. И в жизни и в поэзии Ахматова чаще всего бесприютна… Она — поэт необладания, разлуки, утраты…»

Сергей Аверинцев охарактеризовал Ахматову так: «Вещунья, свидетельница, плакальщица».

В 60-е годы к Анне Ахматовой, уже тяжело больной (она пережила несколько инфарктов), пришло мировое признание. Награды. Огромные тиражи книг. Слова восхищения.

Когда 3 июня 1965 года корабль из Дувра подходил к лондонскому причалу, на берегу Ахматову ожидала большая толпа поклонников ее таланта. Анна Андреевна, тяжело опершись на плечо своей молодой спутницы, сказала: «Почему я не умерла, когда была маленькой?..»

В автобиографической прозе Ахматова признавалась: «Теперь, когда все позади — даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно проясняется — (как в первые осенние дни), люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств возникает при этом…»

1 марта 1966 года Ахматова из санатория «Домодедово» позвонила Арсению Тарковскому, сообщила, что чувствует себя неплохо, что за время болезни скинула в весе двенадцать килограммов. Она была полна литературных планов на будущее, намеревалась поехать в Париж по приглашению Международной писательской организации. Но… 5 марта все было кончено. Анна Андреевна умерла на 77-м году жизни.

За 8 лет до смерти, в 1958 году, Ахматова писала:

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.
И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…
Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

БАЛЬМОНТ
Константин Дмитриевич
3(15).VI.1867, дер. Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии — 24.XII.1942, Нуази-ле-Гран, близ Парижа

На второй букве русского алфавита «Б» сошлись пять крупнейших поэтов Серебряного века: Блок, Бунин, Андрей Белый, Брюсов и Бальмонт (Бурлюк не в счет). Пять бриллиантов с разными сверкающими гранями.

«Если бы надо было назвать, — писала Марина Цветаева, — Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала: „Поэт…“ Я бы не сказала так ни о Есенине, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке. Ибо в каждом из них, кроме поэта, было еще нечто. Даже у Ахматовой была молитва — вне стихов. В Бальмонте же, кроме поэта, нет ничего».

Если продолжить цветаевскую мысль, то поэт — это житель альпийских высот, горный человек, возвышенный над бытом и живущий в мире поэтических представлений. «В Бальмонте, кроме поэта, нет ничего, — повторяет Цветаева. — До франков и рублей он просто не снисходит. Больше скажу: он вообще с

жизнью не знаком…»

Когда 14 мая 1920 года вся литературная Москва отмечала 30-летие поэтического труда Константина Дмитриевича во Дворце искусств на Поварской, Марина Цветаева обратилась к юбиляру со словами: «Дорогой Бальмонтик!» И далее: «От всей лучшей Москвы и — за неимением лучшего — поцелуй».

В мемуарах Бориса Зайцева говорится: «Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и одним из „зачинателей“ Серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал — новизной, блеском, задором, певучестью».

Краткая канва жизни Бальмонта такова: первые десять лет жизни прошли в деревне. Воспитывался он на произведениях русской классики. Чтение стало его любимым занятием. Книги, женщины и путешествия — вот что интересовало Бальмонта на протяжении всей жизни. Первые стихи написал в десятилетнем возрасте. Учился в гимназии сначала в Шуе, потом во Владимире. Гимназию называл «тюрьмою».

В 1886 году Бальмонт поступил на юридический факультет Московского университета, но не доучился, бросил: «Я не смог себя принудить заниматься юридическими науками, зато жил, истинно и напряженно, жизнью своего сердца, а также пребывал в великом увлечении немецкой литературой» (из письма).

Первые выступления в печати датированы 1885 годом. В 1890-м Бальмонт на собственные средства издал «Сборник стихотворений». Проникнутая надсоновскими мотивами, книга не встретила одобрения. Поэт уничтожил весь тираж, повторив поступок других русских поэтов. С излюбленными темами Надсона — слезами и печалью — было покончено.

В 1894 году появился сборник «Под северным небом», с которого начался собственно Бальмонт: изящество формы, музыкальность стиха и чувство речи (однажды он сказал: «Я не анатом русского языка, я только любовник русской речи»).

Когда луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом, блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким, всем безбрежным…

В сборнике был и ставший знаменитым «Челн томленья»:

Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог,
Бросил берег, бьется с бурей,

Ищет светлых снов чертог…

Следующие сборники — «Горящие здания», «Будем как солнце» и «Только любовь» — приносят Бальмонту славу как одному из ведущих поэтов-символистов. Излюбленный образ Бальмонта — сильный, гордый и «вечно свободный» альбатрос. Современники видели в иносказаниях Бальмонта бунтарский и даже революционный смысл. Призывы к свету, огню, солнцу на фоне всеобщего уныния не могли не импонировать публике. В 1904–1905 годах издательство «Скорпион» выпустило собрание стихов Бальмонта в двух томах. В 1907–1914 годах выходит его полное собрание произведений в десяти томах. Бальмонт — один из популярнейших авторов. Вокруг него вечно вьются истерические поклонницы. Одна из них донимала поэта:

— Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь.

Февраль 1917 года Бальмонт встретил ликующе. Но когда он увидел истинное, грубое и страшное лицо революции, Бальмонт отверг ее. Получив разрешение выехать из советской России на полгода, Бальмонт 25 июня 1920 года уехал навсегда.

«Изгнанник ли я? — спрашивал себя Бальмонт. — Вероятно, а впрочем, я и не знаю. Я не бежал, я уехал. Я уехал на полгода и не вернулся. Зачем бы я вернулся? Чтобы снова молчать как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова видеть, как, несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу…»

Мне кажется, что я не покидал России
И что не может быть в России перемен.
И голуби в ней есть. И мудрые есть змии.
И множество волков. И ряд тюремных стен.
Грязь «Ревизора» в ней. Весь гоголевский ужас.
И Глеб Успенский жив. И всюду жив Щедрин…

Это строки из стихотворения Бальмонта «Дурной сон». И разящие заключительные строки:

Жужжат напрасные, как мухи, разговоры.
И кровь течет не в счет. И слезы — как вода.

В Париже Бальмонта называли «Русский Верлен», сравнивая

его бедственное положение и роковое пристрастие к вину с тяжелой судьбой французского поэта. И тем не менее в эмиграции Бальмонт много работал, писал, переводил. Психическое заболевание оборвало струны его лиры. Нищета, больница, полное забвение. Он умер в оккупированном гитлеровцами Париже в возрасте 75 лет. Вот вкратце и все.

Печальный конец? Но такова жизнь. А в ее начале — энергия, сила, подъем…

Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.
Весною светлой, как вестник мая,
Целую ландыш, в мечту влюбленный,
И внемлет ветру лазурь немая, —
Я вею, млею, воздушный, сонный.
В любви неверный, расту циклоном…

Этот уж точно: «в любви неверный». Три жены, множество поклонниц. Романы бурные и страстные (один из них с поэтессой Серебряного века Миррой Лохвицкой).

Моя любовь — пьяна, как гроздья спелые,
В моей душе — звучат призывы страстные,
В моем саду — сверкают розы белые
И ярко, ярко-красные.

Женщины млели и «пачками» влюблялись в Бальмонта. Как писал Андрей Белый, «Бальмонт выступал, весь обвешанный дамами, словно бухарец, надевший двенадцать халатов: халат на халат…». И, естественно:

Она отдалась без упрека.
Она целовала без слов.
— Как темное море глубоко,
Как дышат края облаков!
Она не твердила: «Не надо»,
Обетов она не ждала.
— Как сладостно дышит прохлада,
Как тает вечерняя мгла!
Она не страшилась возмездья,
Она не боялась утрат.

— Как сказочно светят созвездья,
Как звезды бессмертно горят!

Эротизм Бальмонта удивительно лирический и чистый.

Пойми, о нежная мечта:
Я жизнь, я солнце, красота,
Я время сказкой зачарую,
Я в страсти звезды создаю.
Я весь — весна, когда пою,
Я — светлый бог, когда целую!

Добавьте к эротизму и эгоцентризм Бальмонта. Все крутилось вокруг его «Я» — его чувств и озарений.

Андрей Белый вспоминает о Бальмонте: «На Арбате он в 1903 году, как и в 17-м, ранней весною являлся, когда гнали снег; дамы — в новеньких кофточках, в синих вуалетках; мелькала из роя их серая шляпа Бальмонта; бородка, как пламень, чуть прихрамывая, не махая руками, летел он с букетцем цветов голубых, останавливался, точно вкопанный: „Ах!“ — рывком локоть под руку мне (весна его делала благожелательным); вскидывал нос и ноздрями пил воздух: „Идемте — не знаю куда: все равно… Хочу солнца, безумия, строчек — моих, ваших!“» (А. Белый. «Начало века»).

И начиналось безумное чтение.

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву
И зову мечтателей… Вас я не зову.

Мечтатель, огнепоклонник, светослужитель (последняя книга «Светослужитель» вышла в 1937 году), он почти никогда не описывал социальной жизни. Его интересовали только личные ощущения, только «мимолетности». «Дьявольски интересен и талантлив этот неврастеник», — сказал о Бальмонте Максим Горький. В течение десятилетия Бальмонт, по выражению Брюсова, «нераздельно царил над русской поэзией» (1895–1904).

Им восхищались. Ему подражали. «Душами всех, кто действительно любил поэзию, овладел Бальмонт и всех влюбил в свой звонко-певучий стих» (Брюсов).

Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.
Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей…

Ведь, правда, завораживающе-прекрасно и как музыкально? Какие аллитерации, ассонансы, какая напевность, почти вокализация («Мы плыли — все дальше — мы плыли…»). Бальмонт весь музыкален. «Его стихи — сама стихия» (Северянин). Но следует поставить одно «но»: Бальмонт, как никто другой из «серебристов», написал множество и плохих стихов, появился даже термин «бальмонтовщина»: безглагольно-неопределенная поэзия речевых поворотов. Но в лучших своих стихах Бальмонт все же прекрасен. Звуки его лиры поистине серебряны.

И нет серебрянее звука
В серебряном ушедшем веке.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
Борис Николаевич БУГАЕВ
14(26).X.1880, Москва — 8.I.1934, Москва

Многие не понимали не только творчества Андрея Белого, но и его самого. Характерное признание сделал сам поэт, он же прозаик, философ и теоретик символизма: «Я остался один в 4 года. И с тех пор уже не переставал ломаться даже наедине с собой. Строю себе и теперь гримасы в зеркале, когда бреюсь. Ведь гримаса та же маска. Я всегда в маске! Всегда!»

Маска. Карнавал. Начало XX века вообще вносит какую-то карнавальную сумятицу в среду российской интеллигенции. Духовная жизнь нервно и прерывисто пульсирует. Идет напряженный поиск новых исторических путей. Новых идеалов. Религий. Верований. Творческой выразительности. Рационализм уступает место мистицизму. В моде символисты. И вот в этом вихре упоенно кружится Андрей Белый. Он хочет разгадать «ритмы» и «жесты» истории и культуры. Проникнуть в космические бездны. Хочет найти свою «мистическую любовь». Будучи одной из центральных фигур русского символизма, в своем творчестве Белый строит мост между сиюминутностью и

вечностью, между прошедшим и грядущим, между бессознательным и тем, что он называл надсознательным.

Культура, по Белому, — это оживший ритм, математическое «число» и теософская «карма». Жизнь — не что иное, как «новые вариации на старые темы», если воспользоваться выражением Герцена. И, конечно, карнавал с различными масками. Как отмечает тонкий знаток русской культуры, французский исследователь Жорж Нива: «Это — не столько маски, сколько выражение некоей постоянной неустойчивости, следствие подвижного, танцующего обращения с собственной жизнью». Это замечание касается прежде всего Андрея Белого.

«Биография Белого, — пишет Жорж Нива, — отравила в увеличивающем зеркале потрясения его эпохи. От денди, посещающего симфонические концерты в 1900 году, до жалкого существа, пытающегося „советизировать“ себя в произведениях последних лет и сочиняющего в 1930 году, после ареста Клавдии Николаевны (второй жены. — *Прим. Ю.Б.*), патетическое прошение на имя Сталина, — вот жизнь Белого, с каждым годом все больше и больше напоминающая пустыню; однако жезл Аарона не переставал цвести, и до самой смерти Андрей Белый оставался одним из поразительнейших русских писателей, с подлинным гейзером слов».

Борис Бугаев (впоследствии Андрей Белый) — сын известного московского профессора, был выходцем из блестящей профессорской среды конца XIX века. Его детство прошло под знаком семейных бурь, и можно сказать, что Белый был сыном своей матери, но не был сыном своего отца. Отсюда возникли и все его фрейдистские комплексы. Он всю жизнь избегал борьбы и искал свою «мамочку», чтобы укрыться за ее спиной от жизненных невзгод. Весь его характер состоял из парадоксов. «Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть, добро во зле и зло в добре» (В. Ходасевич).

Колебание из стороны в сторону — характернейшая его черта. Сначала он был поклонником Канта, затем его противником. Кардинально менялись его отношения и чувства к Александру Блоку. Все это так, конечно, но вместе с тем Андрей Белый обладал адским трудолюбием, неутомимой жаждой творчества. Его проза феерична по разбросу, а стихи порой пленительны по звучанию:

Мои слова — жемчужный водомет,
средь лунных слов, бесцельный,
но вспененный, —

капризной птицы лет,
туманом занесенный…

Моя любовь — призывно-грустный звон,
что зазвучит и улетит куда-то, —
неясно милый сон,
уж виденный когда-то.

Кто только не повлиял на Андрея Белого — и Шопенгауэр, и Ницше, и Достоевский, и Владимир Соловьев, и буддизм, и особенно теософ Рудольф Штейнер, в нем Белый нашел своего «отца».

Борис Зайцев вспоминает: «Комната в книгах, рукописях — все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней черная доска, как в классе… не то Фауст, не то алхимик, не то астролог…»

Заряженный высокой энергией, Белый много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. И много писал, непоколебимо веря, что «из искусства выйдет новая жизнь». Но искусство, творимое Белым, было фантасмагоричным. Он любил сталкивать мистическое и бытовое, часто совмещая их. Кто-то из современников назвал Белого существом, «обменявшим корни на крылья». Философ Степун назвал Белого даже «недовоплощенным фантомом». Поэт Пяст выразился так: «Поэзия Белого — страна утонченных мозговых явлений…»

Андрея Белого лишь чую,
Андрея Белого боюсь…
С его стихами не кочую
И в их глубины не вдаюсь… —

так писал Игорь Северянин, и в таком отношении к Белому он был не одинок. В Андрее Белом все было необычно, он даже строил свои литературные произведения по законам музыкального жанра и создал 4 «симфонии». В них Белый ломал все устоявшиеся каноны.

Первая книга Андрея Белого — «Золото в лазури» (1904).

В сердце бедном много зла
сожжено и перемолото.
Наши души — зеркала,
отражающие золото.

Вторая книга — «Пепел» — один из самых реалистических сборников Белого, в котором он изобразил бесконечные просторы России, где рыщет Оторопь и где слышны крики боли и льются беспросветные слезы.

Я — просторов рыдающих сторож,
Исходивший великую Русь, —

так представил себя в «Пепле» Андрей Белый, а свою родину — «роковая страна, ледяная»

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья,
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать… —

прорыдал поэт и не смог сдержать отчаянного вопля:

Туда, — где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

Андрей Белый был очень чувствителен и восприимчив, обладал даром предвидения и провидения. Жил в ожидании апокалипсических событий, взрыва конца, чувство развернувшейся бездны не покидало его. Даже личная жизнь Белого была своеобразной бездной, в которую он падал и падал и никак не мог «зацепиться» ни за одну женщину: платоническая любовь к Маргарите Морозовой, несостоявшаяся любовь к Нине Петровской, истерическая — к Любови Менделеевой, жене своего друга Блока, двусмысленная — к Асе Тургеневой (не то жена, не то сестра). И только последняя женщина Белого — Клавдия Васильева, которая «была похожа на монашку», сумела как-то удержать около себя вечно мятущегося поэта.

Среди обширного творческого наследия, помимо сборников стихов, следует выделить интереснейшие статьи по теории символизма, повести «Серебряный голубь» и «Котик Летаев», и

особенно роман «Петербург» (1913–1914), который, кстати, имел четыре редакции (стремление радикально менять текст — одна из особенностей Белого как творца). По мнению большинства критиков, «Петербург» — шедевр Белого и одно из величайших творений XX века. Это сложнейший роман, в котором сплавлены пафос, лирика и сатира. В центре его проблема борьбы Востока и Запада в России, и она у Белого решена оригинально: Петербург «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, то есть весь мир» (Д. Лихачев).

В конце жизни Андрей Белый много занимался мемуарами — книги «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934). Белый упорно продолжал свои формальные искания и, как считал Евгений Замятин, «до конца остался „русским Джойсом“». А «Петербург» с его «мозговой игрой» (сложная языковая конструкция, связь семантики слова с его фонетикой и т. д.) буквально заворожил многих прозаиков XX века — Набокова, Замятина, Пильняка и всех представителей русского «орнаментализма» 20-х годов. Все блуждали и получали удовольствие, бродя по лабиринту слов, шли по маршруту Андрея Белого и создавали свои «языковые идиомы». К сожалению, еще одна грандиозная языковая «фреска» — роман «Москва» — не был завершен Белым.

В заключение вернемся к биографии Андрея Белого. Революция застала его на Западе, где он мучался от нехватки времени (и здесь он много работал) и нехватки денег (о, эти постоянные финансовые затруднения!). К революции, до ее прихода, Белый относился как к колыбели новой церкви, которая принесет обновление всей российской жизни, но вернулся он к совершенно другому — к гражданской войне, голоду, холоду, террору и хозяйственной разрухе, к «монгольскому делу», как он провидчески обронил в своем «Петербурге».

Владислав Ходасевич вспоминает о послереволюционных годах Андрея Белого: «Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ театрального отдела (что-то о театрах в эпоху французской революции), исписывая вороха бумаги, которые наконец-то где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал „Записки чудака“, книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое».

В октябре 1921 года Андрею Белому удалось вырваться в Германию, но вписаться в эмиграцию он не смог, страдал от одиночества и неприкаянности и осенью 1923-го вернулся в советскую Россию. Отчаянно пытался стать советским писателем. Любопытно мнение Михаила Булгакова об Андрее Белом: «Всю жизнь, прости господи, писал дикую ломаную чепуху. В последнее время решил повернуться лицом к коммунизму. Но повернулся крайне неудачно».

Андрей Белый и тоталитарная система — конечно, нонсенс! Он не выдержал обрушившейся на него критики и скончался от кровоизлияния в мозг в возрасте 54 лет. Когда-то в молодые годы Белый составил автоэпитафию:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Нет, сумел, но по-своему. Страница Андрея Белого в Серебряном веке одна из самых ярких и драматических.

БЛОК
Александр Александрович
16(28).XI.1880, С.-Петербург — 7.VIII.1921, Петроград

Тема Блока неисчерпаема, как бездонный колодец — черпать и черпать… А тут надо писать коротко — задача адова, так что, уважаемый читатель, приберегите критические стрелы для другого случая и посочувствуйте автору. Ну, а теперь — Блок.

23-летняя Марина Цветаева в апреле 1916 года восторженно писала стихи Блоку:

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно-единственное движенье губ.
Имя твое — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту…

…Имя твое, — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век.
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток,
С именем твоим — сон глубок.

Зинаида Гиппиус свое посвящение поэту начала так:

Стихия Александра Блока —
Метель, взвивающая снег…

Еще одно определение вывел Иван Новиков:

Блок не солнечный, а лунный:
Приглушенный рокот струнный,
Хруст апрельского снежка;
Голоса издалека…

Александр Кочетков:

Он был угрюм и тверд, как сталь,
Смотрел вокруг холодным взглядом.
В глазницах, опаленных адом,
Ютилась звездная печаль…

И наконец, Анна Ахматова:

И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

Сам Александр Блок считал: «В стихах каждого поэта 9/10, может быть, принадлежит не ему, а среде, эпохе, ветру».

Блок оказался одним из самых пророческих поэтов своей переломной эпохи — рубежа двух столетий. «Открой мои книги: там сказано все, что свершится…», — писал он. Блок действительно ощутил «подземный шорох истории» и «новый порыв мирового ветра». «Обнаженной совестью» назвал его Алексей Ремизов.

«Вся современная жизнь людей есть холодный ужас, — писал Блок С. Тутолминой, — несмотря на отдельные светлые точки, —

ужас надолго непоправимый». Это трагическое ощущение жизни было присуще Блоку изначально. Он делал героические попытки не сломаться в этом извечном противоборстве «света» и «тьмы» и убеждал самого себя:

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Что стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен…

Но как раз с оптикой у Блока было не все в порядке: подчас он видел прекрасное там, где его вовсе и не было. И одно из главных его заблуждений — поклонение Прекрасной Даме. На эту роль он выбрал вполне обыкновенную, плотскую и чувственную девушку — Любовь Менделееву. Она была для Блока «светлой», «лучезарной», «непостижимой», «таинственной». За шесть лет (1898–1904) Блок посвятил Любе, сначала своей возлюбленной, а потом жене, 687 (!) стихотворений. Первый сборник поэта «Стихи о Прекрасной Даме» вышел в 1904 году и стал одним из главных произведений русского символизма и одним из шедевров любовной лирики. «Стихи Блока о любви, — считал Константин Паустовский, — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, угорать от их томительных напевов и без конца удивляться тому, как они входят в память внезапно и навсегда…»

Но любовь у Блока была странная, не совсем реальная, а в духе идей Владимира Соловьева о Вечно-женственном, Софии, мировой душе, так сказать, любовь в символистской упаковке. Но от этого, конечно, не менее пленительная.

Я и молод, и свеж, и влюблен,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе,
Зеленею, таинственный клен,
Неизменно склоненный к тебе…

Тема «Блок и женщины» — увлекательный любовный детектив с неизменным трагическим концом. После Менделеевой страсть-поклонение к Наталье Волоховой и Любови Дельмас и

циклы-книги стихов «Снежная маска», «Фаина», «Кармен». И снова своеобразная блоковская оптика. Дельмас для всех была «рыженькая и некрасивая», а поэт увидел ее иначе: и «зубов жемчужный ряд», и «певучий стан», и «хищную силу» прекрасных рук. Влюблялся Блок пылко, как гимназист.

И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

«О, как блаженно и глупо — давно не было ничего подобного. Ничего не понимаю», — записывает Блок в период увлечения Любовью Дельмас. «Все поет».

Были у Александра Блока и другие женщины. Были и проститутки. Была и самооценка: грешный «завсегдатай ночных ресторанов», «падший ангел».

Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег,
О разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?..

…Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить.
И мчаться в снег и темноту…

И тут же раскаянье, похмельная тоска, «двойник» поэта шепчет:

Устал я шататься,
Промозглым туманом дышать,
В чужих зеркалах отражаться
И женщин чужих целовать…

Записные книжки Блока полны отчаянных и трагических записей: «А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко».

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!

Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться…
Вольному сердцу на что твоя тьма?..

«Лунатик лиризма», как назвал Блока Юлий Айхенвальд, поэт-Дионис был и социальным поэтом, он точно вписался в контекст истории и не мыслил себя вне путей России.

О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Это строки из стихотворения «На поле Куликовом» (1908) и там же хрестоматийные строки:

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль…

Блок из серафимического «отрока», влюбленного и тоскующего, постепенно превратился в «угрюмого скитальца», в «печального» человека, расставшегося со своей мечтой и придавленного безысходной унылой действительностью. И он пишет цикл под характерным названием «Страшный мир» (1909–1916). И опять же постоянно цитируемое:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Нет, революция все в корне изменила. «Музыка революции», которую задолго до ее появления слышал Блок, обернулась страшным возмездием для России, для народа, для интеллигенции, лично для Блока. Наш современник Владимир Корнилов вывел ряд: «Возмездие, Россия, мрак и Блок». А сам поэт в своей поэме писал:

Двадцатый век… еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла.
(Еще чернее и огромней

Тень Люциферова крыла.)

В Россию, как и предвидел Александр Блок, пришли варвары, разрушители, скифы:

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
С раскосыми и жадными очами!
(30 января 1918)

И возвращаясь к «Возмездию»:

И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные рубежи.

«Неслыханные перемены» коснулись и лично Блока. В отличие от многих деятелей Серебряного века он не покинул России, более того, пытался сотрудничать с новой революционной властью. Последний поэт-дворянин стал советским мелким чиновником и трудился не покладая рук в чрезвычайной комиссии по расследованию деятельности бывших царских министров и сановников. Голод, холод. Одна из последних записей в дневнике: «До каких пределов дойдет отчаянье? Сломан на дрова шкапик — детство мое и мамино» (17 ноября 1919).

После революционных потрясений Блок уже не поэт. Последний всплеск — поэма «Двенадцать». Гениальная. Но странная и противоречивая.

И идут — без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль…

Именно эти «двенадцать» и пальнули в святую блоковскую Русь. И непонятна при этом роль впереди идущего Христа. Максимилиан Волошин полагал, что Христос не ведет красногвардейцев, а преследуется ими, носителями «заблудшей души русской разинщины», потерявшей Христа. Но власть решила

иначе: «Двенадцать» — гимн революции, и зачислила Александра Блока в советские классики. В 1934 году на первом съезде писателей СССР Николай Бухарин говорил: «Блок — за революцию, и своим „да“, которое он провозгласил на весь мир, он завоевал себе право на то, чтобы в историческом ряду стоять на нашей стороне баррикады».

Чуть позднее Блок осознал, что написал что-то не то и пытался уничтожить тираж «Двенадцати». Твердил перед смертью: «Прости меня, Господи!»

Александр Блок умер в 40 лет в мучительном страдании. Его, возможно, мог спасти выезд за границу на лечение, но власть недопустимо промедлила с оформлением документов.

«Отчего ж он все-таки умер? — спрашивал Ходасевич. — Неизвестно. Он умер как-то „вообще“, оттого, что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти».

«Блок страдал „бездонной тоской“», — писал Максим Горький Ромену Роллану, — болезнью многих русских, ее можно назвать «атрофией воли к жизни».

По словам Иванова-Разумника, Блок был «конкретным максималистом» и умер «от великой любви и великой ненависти».

«Он ничего не делал — только пел», — записал в дневнике после похорон Блока Корней Чуковский. А «петь» в 1921 году было уже невозможно, да и что петь?!.

И в заключение стихи Александра Блока:

Но не за вами суд последний,
Не вам замкнуть мои уста!
Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит, я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.

БРЮСОВ
Валерий Яковлевич
1(13).XII.1873, Москва — 9.X.1924, Москва

Советская литературная энциклопедия (1962) вознесла Брюсова в певцы труда. Еще бы! «Октябрьскую революцию поэт принял безоговорочно и тотчас же начал сотрудничать с советской властью». Не то, что всякие там мережковские и гиппиусы, которые не приняли Октябрь и сбежали на Запад. Все эти не принявшие, сбежавшие, злобствующие и сомневающиеся (Бунин, Замятин и прочие) были надолго вычеркнуты из советской литературы. А вот Горький, Брюсов, Маяковский — укрупнены, расширены, освящены и разукрашены.

Сегодня, конечно, не пишут «певец труда», а просто перечисляют сферы деятельности Брюсова: поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед. Ну, а мы в свою очередь добавим: русский классик, один из столпов Серебряного века. В своем сборнике «Медальоны» Игорь Северянин так оценил Брюсова:

Никем не превзойденный мастер,
Великий ритор и мудрец,
Светило ледовитой страсти,
Ловец всех мыслей, всех сердец.

Разламывающая сила
Таится в кованых стихах.
Душа рассудок научила
Любить, сама же пала в прах.

И оттого — его холодность:
Душа, прошедшая сквозь ум…
Его бесспорная надмодность
Не столь от чувства, сколь от дум…

Вот это превалирование ума над чувствами у Брюсова, отсутствие песенного начала отмечали многие современники. «Он знал секреты, но он не знал тайны» — такой вывод сделала Анна Ахматова.

Писать Брюсов начал в раннем возрасте, поверил в свое предназначение и рано осознал себя мэтром, вождем и учителем. «В 1900–1901 годах Брюсов ходил по Москве с записной книжечкой и с карандашиком, организуя поэтов в литературную партию, сухо налаживая аппараты журналов, уча и дуря, подстрекая, балуя, и весь осыпаясь, как дерево листьями, ворохом странных цитат из поэтов, непризнанных, — Франции, Бельгии, Англии, Чехии, Польши, Германии, — сковывая свой таран стенобитный с воловьим упорством» — так писал Андрей Белый в своих мемуарах «Начало века».

Чего добивался Брюсов? Он воевал против старой литературы, взрывал постпушкинскую замшелую поэтику, свергал устоявшиеся авторитеты и был, как выразился Андрей Белый, «чистильщик авгиевых литературных конюшен». Литературный Петр I.

В 1894–1895 годах Брюсов издал три сборника «Русские символисты», составленных главным образом из собственных стихов и ставших первой коллективной декларацией модернизма в России. Ну, а самому Брюсову критики определили роль «вождя новой школы», задача которого, по словам Брюсова, была «выразить тонкие, едва уловимые настроения», первый проблеск мысли, ее «зачаток, еще не представляющий резко определенных очертаний». Для традиционалистов это был, естественно, эпатаж, градус которого еще больше повысился, когда Брюсов написал вызывающее двустишие:

О закрой
свои бледные ноги!

Слово Ходасевичу: «В девятисотых годах Брюсов был лидером модернистов. Как поэта, многие ставили его ниже Бальмонта, Сологуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее литераторами, чем Брюсов. К тому же никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом месте в литературе. Брюсову же хотелось создать „движение“ и стать во главе его. Поэтому создание „фаланги“ и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа — все это ложилось преимущественно на Брюсова. Он основал „Скорпион“ и „Весы“ и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна…»

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа и Дьявола
Хочу прославить я —

вот принципы творчества, которые декларировал Брюсов. Он много работает, трудится, как настоящий труженик пера: стихи, проза, переводы, теоретические работы, одна из них — «Далекие и близкие» вышла в 1912 году и посвящена отечественным поэтам, начиная с Тютчева, в котором Брюсов видел предтечу символизма.

В 1913 году вышел 21-й том Полного собрания сочинений и переводов поэта — французская лирика. Кстати, в 1994 году был выпущен объемный том (896 страниц) переводов Брюсова, который потрясает широчайшим подбором имен: поэты Древнего Рима и Древнего Востока, Данте, Петрарка, Вийон, Расин, Мольер, Гюго, Гете, Гейне, английские романтики, французские символисты, Верхарн, Метерлинк, Мицкевич…

Брюсов служил искусству неистово, недаром он в программном стихотворении «Поэт — музе» восклицал:

Не знаю, жить мне много или мало,
Иду я к свету иль во мрак ночной, —
Душа тебе быть верной не устала,
Тебе, тебе одной!

Даже на фоне всезнающих деятелей Серебряного века поражает энциклопедическая образованность Брюсова. Вот что писал он сам о себе:

«Прекрасно знаю историю русской поэзии… Я специалист по биографиям Пушкина и Тютчева… Осведомлен во всеобщей истории литературы… Знаю магию, оккультизм, спиритизм, осведомлен в алхимии, астрологии, теософии. В последнее время изучал Вергилия… В разные периоды жизни я занимался еще, более или менее усердно, Шекспиром, Байроном, Баратынским, Данте… Я довольно хорошо знаю французский и латинские языки, сносно итальянский, плоховато немецкий, учился английскому и шведскому, заглядывал в грамматики арабского, еврейского и санскрита… Мечтал быть математиком, много читал по астрономии…»

Далее Брюсов, перечисляя и другие свои занятия и увлечения, с печалью отмечал: «…но боже мой! боже мой! как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю…»

И еще одну брюсовскую цитату нельзя не привести: «Когда мне становится слишком тяжело от слишком явной глупости моих современников, я беру книгу одного из „великих“, Гете или Монтеня, или Данте, или одного из древних, читаю, вижу такие высоты духа, до которых едва мечтаешь достигнуть, и я утешен…»

Мне Гете — близкий, друг — Вергилий,
Верхарну я дарю любовь…

А любовь к женщинам? В жизни Брюсова их было немало: рано умершая Евгения Павловская, единственная жена Иоанна Рунт, поэтессы Нина Петровская, Надежда Львова, покончившая жизнь самоубийством, поздняя связь с Адалис… В романе «Огненный ангел» (1907) Брюсов не без иронии описал безумно-любовные отношения Нины Петровской, которая металась между Брюсовым и Андреем Белым. Но еще раньше в стихотворении «Встреча после разлуки» (1895) провозгласил «программу» своего отношения к искусству и женщинам:

…Ищу в себе томительную дрожь,
Роптание живительных предчувствий…
Нет! прочь слова! себе ты не солжешь!

Сокровища, заложенные в чувстве,
Я берегу для творческих минут,
Их отдаю лишь в строфах, лишь в искусстве.

А в жизни я — как выпитый сосуд;
Томлюсь, дрожа, весь холоден, ликуя,
Огни страстей лишь вспыхнут, как умрут.

Дитя, прости обманы поцелуя:
Я лгу, моля, твердя «люблю», я лгу.
Нет, никого на свете не люблю я,
И никого любить я не могу.

Так что в смысле пожара чувств Брюсов — не Блок и не Бальмонт. Не горел и не пылал. Холодный математический человек. И все же одна страсть владела Брюсовым. Проницательная Зинаида Гиппиус отмечала, что «Брюсов — человек абсолютного, совершенно бешеного, честолюбия. Я говорю „честолюбия“ лишь потому, что нет другого, более сильного слова для выражения той страстной жажды всевеличия и всевластия, которой одержим Брюсов. Тут иначе, как одержимым, его и назвать нельзя». А далее Гиппиус говорит, что женщины, их любовь для Брюсова — это «только ряд средств, средств, средств…». Опять же для честолюбия, для популярности, для славы.

Как поэт, Брюсов совершил эстетическую эволюцию — от символизма пришел к ранее бойкотированному им реализму и включению его в «число исконных, прирожденных властелинов в великой области искусства». Он как бы предчувствовал, что грядет революция, и новой России не нужны будут заумные игры в символы и тайны.

А далее произошло немыслимое: бывший вождь модернизма, «сын греха», «искатель островов», «безумец», «маг», «теург» назвал Октябрь «торжественнейшим днем земли» и решительно встал на сторону советской власти. Брюсов один из очень немногих представителей Серебряного века, который поменял серебряный цвет на красный. Даже Николай Бухарин удивился, что бывший «„король символистов“, идеолог верхов промышленной радикальной буржуазии, венчанный всеми лаврами и хризантемами славы в меценатских салонах буржуазной аристократии» перешел в лагерь большевиков. На вопрос «почему?» Бухарин дал такой ответ: «Брюсов жадно прислушивался к железным шагам истории, он восторгался героикой великих событий, и пафос горных вершин человечества все время раздувал холодный голубой пламень его

замечательного жадного ума».

Почти все его бывшие коллеги по перу осудили «кульбит» Брюсова, его поклонение коммунизму как новому самодержавию. Большевики предоставили Брюсову ряд постов, и он с упоением заседал и председательствовал, «заседая, священнодействовал», по замечанию Ходасевича.

Брюсов умер 9 октября 1924 года, не дожив двух месяцев до 51 года. «Смерть эта никого не удивила — не огорчила — не смягчила… Смерть Блока — громовой удар по сердцу; смерть Брюсова — тишина от внезапно остановившегося станка…» — так жестко отозвалась на кончину Брюсова Марина Цветаева.

И далее она написала: «…место Брюсова — именно в СССР… его страсть к схематизации, к механизации, к систематизации, к стабилизации… Служение Брюсова коммунистической идее не подневольное: полюбовное… Как истый властолюбец, он охотно и сразу подчинился строю, который в той или иной области обещал ему власть… Бюрократ-коммунист Брюсов» (М. Цветаева, Прага, 1925).

«Застегнутый наглухо поэт» — такую оценку Брюсову дала Цветаева и провела параллель с Бальмонтом: «В Брюсове тесно, в Бальмонте — просторно. Брюсов: глухо, Бальмонт: звонко… Бальмонт — бражник, Брюсов — блудник…»

Но Брюсов как человек и политик умер. В истории литературы остался Брюсов-поэт. Величайший из поэтов-символистов. Давид Бурлюк писал, что «Брюсов был первым поэтом русским большого города. Он был отцом урбанистической поэзии. Моя поэзия, а затем и Маяковского, имела в начале с ней тесную связь…».

Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты — чаровательь неустанный,
Ты — неслабеющий магнит, —

писал Брюсов дифирамб «Городу». И сам он, подобно Микеланджело, рубил мрамор. Мрамор стиха. И пусть он холоден и гладок, но это все же мрамор настоящей поэзии. В конце концов сад поэзии должен быть разнообразным: и корабельные вековые сосны Пушкина, и милая березовая роща Есенина, и соловьиный посвист Пастернака, и мраморные глыбы Брюсова.

БУНИН
Иван Алексеевич
10(22).X.1870, Воронеж — 8.XI.1953, Париж

Советские критики прозвали Брюсова «великолепным пришельцем с чужих берегов», а Бунин при жизни так и остался на чужом берегу. Он клокотал ненавистью к «Совдепии», отвергал новую действительность как «окаянные дни», как «великий дурман» (как ом выразился в докладе, прочитанном им в деникинской Одессе), поэтому в Стране Советов Бунину приклеили ярлыки злого антисоветчика, «певца дворянских могил» и утверждали, что «в произведениях эмигрантского периода сказался явный упадок художественного таланта писателя» (Энциклопедический словарь, 1953). После смерти Ивана Алексеевича его приняли в семью советской и русской литературы. И даже со временем стали печатать то, что не печатали раньше по идеологическим соображениям, например одно из стихотворений, написанных Буниным в июле 1922 года:

…А если б даже Божья сила
И помогла, осуществила
Надежды наших темных душ,
То что с того?
Уж нет возврата

К тому, чем жили мы когда-то.
Потерь не счесть, не позабыть,
Пощечин от солдат Пилата
Ничем не смыть — и не простить.
Как не простить ни мук, ни крови,
Ни содроганий на кресте
Всех убиенных во Христе.
Как не принять грядущей нови
В ее отвратной наготе.

Несколько штрихов из жизни Бунина. Из оскудевшего дворянского рода. С детства отличался редким воображением и впечатлительностью. Его наставником и учителем был старший брат Юлий. Стихи начал писать семи-восьми лет. Первое выступление в печати в 16 лет. В девятнадцать Бунин начал сотрудничать с «Орловским вестником» и «был всем, чем придется, — и корректором, и передовиком, и театральным критиком…». Первая книга стихов вышла в 1891 году, но, кроме разочарования, ничего не принесла, зато сборник «Листопад» (1901) был встречен публикой восторженно. Далее Бунин чередовал стихи и прозу. В 1912 году вышла повесть «Суходол» о процессе распада родовых устоев в России, до этого — «Деревня» — о русской душе со всеми ее светлыми и темными сторонами. В «Суходоле» крестьянка убеждена в том, что «у господ было в характере то же, что и у холопов: или властвовать, или бояться».

В 1902–1909 годах вышло первое «Собрание сочинений» в 5-ти томах. Бунин — признанный и почитаемый почти всеми талант.

Стиль письма Бунина отличается от многих: он аристократичен, сдержан, строг. Никакой фальши, никаких декадентских вывертов. «На фоне русского модернизма поэзия Бунина выделяется как хорошее старое, — отмечал в „Силуэтах русских писателей“ Юлий Айхенвальд. — Она продолжает вечную пушкинскую традицию и в своих чистых и строгих очертаниях дает образец благородства и простоты… Его строки — испытанного старинного чекана; его почерк — самый четкий в современной литературе; его рисунок — сжатый и сосредоточенный. Бунин черпает из невозмущенного кастальского ключа».

Из множества прекрасных бунинских стихов приведем одно:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне…
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

Как утверждают буниноведы, писатель жаждал солнца, счастья, красоты, но полной мерой принял пустынный хлад одиночества, не зная своей посмертной славы на родной земле, под родными звездами.

В жизни Бунина сыграли определенную роль два писателя — Максим Горький и Лев Толстой. На первых порах Горький помогал Бунину, считая его «первым писателем на Руси». В ответ Бунин посвятил Горькому поэму «Листопад», хотя, как потом признался, посвятил по его, Горького, «бесстыдной просьбе». Они разошлись, потому что были слишком разные люди: Горький — человек высокого общественного темперамента и при этом умеющий приспособляться к обстоятельствам и идти на компромиссы. Бунин — не общественный человек, к тому же бескомпромиссный и гордый.

Что касается Льва Толстого, то Бунин почитал его божеством. И бесконечно сравнивал себя с ним. И всегда помнил слова Толстого, сказанные ему: «Не ждите многого от жизни… счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими…» На столе умирающего Бунина лежал томик Толстого. Он перечитывал «Войну и мир» 50 раз…

Возвращаясь к биографии Бунина, отметим, что он встретил Февраль, и особенно Октябрь, с резкой враждебностью. В Одессе, куда он уехал из Москвы, писатель написал дневник «Окаянные дни» — одно из самых яростных обличений революции и власти большевиков. 26 января 1920 года Бунин отплыл в Константинополь и в конце марта прибыл в Париж. Началась эмиграция…

Случай с Буниным особый. Эмиграция для него стала предельной высотой его писательской карьеры. Здесь, на Западе, он впервые почувствовал себя классиком и защитником традиций классической литературы. И это несмотря и вопреки тяжелым

условиям жизни в чужой стране. В старинном прованском городке Грассе, на родине художника Фрагонара, прожил Бунин более 21 года: 16 лет на вилле «Бельведер» и 5 лет — на вилле «Жаннет». В Грассе писатель много работал. Там он написал «Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», серию рассказов и книгу прозы «Темные аллеи».

«Мне казалось почти невероятным видеть из окон вашей виллы в Грассе пейзаж французского юга, а не русскую степь, туман, снег и белые березовые рощи, — писал Бунину Андре Жид. — Ваш внутренний мир брал верх и торжествовал над миром внешним: он-то и становится подлинной реальностью. Вокруг вас я ощущал ту необычную притягательную силу, которая позволяет братски сближаться человеку с человеком, вопреки границам, общественным различиям и условностям».

Свое 60-летие Бунин отметил публикацией самого крупного своего произведения — романа «Жизнь Арсеньева», метко названного кем-то «вымышленной биографией». Там все достоверно и вместе с тем волшебно преображено. Георгий Адамович сказал, что «Жизнь Арсеньева» напоминает ему «монолог человека перед лицом судьбы и Бога». И конечно, в «Жизни Арсеньева» фигурирует Россия, «погибшая на наших глазах в такой волшебно краткий срок».

Очарованный «Жизнью Арсеньева», Константин Паустовский писал: «Это не биография. Это — слиток из всех земных очарований, горестей, размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной-единственной человеческой жизни».

9 ноября 1933 года Бунину была присуждена Нобелевская премия «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе русский характер». А хранитель библиотеки шведской академии Оке Эрландссон сказал: «Премия Бунина была извинением перед русской литературой за Льва Толстого».

В 1934–1936 годах в Берлине издавалось новое собрание сочинений Бунина. В 1937 году писатель завершил философско-художественную книгу «Освобождение Толстого». А потом — война, старость. 30 марта 1943 года Иван Алексеевич писал в одном из писем:

«Живу, конечно, очень, очень плохо — одиночество, голод, холод и страшная бедность — все, что осталось от премии, блокировано и все сношения с моими издателями теперь уже совершенно прерваны… Дни протекают в великом однообразии, в слабости и безделии… Много читаю — все, что под руку попадется… Больше же всего думаю — очень, очень грустно».

Именно в 1943 году в Америке вышло первое издание книги «Темные аллеи» — очень своеобразный бунинский гимн женщине: «Ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них» (рассказ «Записки»).

Тут уместно вспомнить всех реальных бунинских женщин: и гувернантку Эмилию Фехнер, и первую жену Варвару Пащенко, которая бросила Бунина: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом». Писатель был на грани самоубийства. И вторую жену Бунина — Анну Цакни — и тоже печальный разрыв. И долгую совместную жизнь с третьей женой Верой Муромцевой, хотя брак этот был как лед (вялая Муромцева) и пламень (бурно рефлектирующий Бунин). И последний закатный роман Ивана Алексеевича с молодой Галиной Кузнецовой, принесшей ему больше страданий, чем радости.

«Ян сошел с ума на старости лет. Я не знаю, что делать», — была в смятении Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Нет, Ян — так звала она мужа — не сошел с ума. Просто он магически тянулся к любви, к молодым женщинам, сокрушаясь при этом по поводу несправедливости человеческой судьбы: «…как скоро пройдет их молодость, начнется увядание, болезни, потом старость, смерть… До чего несчастны люди! И никто еще до сих пор не написал этого как следует!»

Тема смерти всегда волновала писателя. За 37 лет до своей кончины Бунин писал:

Настанет день — исчезну я,
А в этой комнате пустой
Все то же будет: стол, скамья
Да образ, древний и простой.

И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку,
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.

И так же будет неба дно
Смотреть в открытое окно,
И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой.

В конце жизни, после войны, у Бунина был выбор — вернуться на родину (его звали и сулили золотые горы) или уехать в Америку, где было бы сытно и вольготно. Бунин однако остался во Франции, в неуюте и в безденежье. Одному из корреспондентов на вопрос «почему?» писатель ответил: «Литературной проституцией никогда не занимался».

В последние месяцы Бунина одолевали мысли «о прошлом, о прошлом думаешь… об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих… недальновидности…».

8 ноября 1953 года в своей небольшой парижской квартире Иван Алексеевич Бунин скончался в возрасте 83 лет. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем.

И что в заключение? Однажды Бунина спросили, к какому литературному направлению он причисляет себя. «Последний классик» (еще один титул Бунина) ответил так:

«Ах, какой вздор все эти направления! Кем меня только не объявляли критики: и декадентом, и символистом, и мистиком, и реалистом, и неореалистом, и богоискателем, и натуралистом, да мало ли еще каких ярлыков на меня не наклеивали, так что в конце концов я стал похож на сундук, совершивший кругосветное путешествие, — весь в пестрых, крикливых наклейках. А разве это хоть в малейшей степени может объяснить сущность меня как художника? Да ни в какой мере! Я — это я, единственный, неповторимый — как и каждый живущий на земле человек, — в чем и заключается самая суть вопроса».

Нам, потомкам Ивана Бунина, еще узнавать и узнавать единственность и неповторимость писателя: не все издано, не все увидело свет. В декабре 1999 года Лидским университетом в Англии издан каталог архивов Буниных и их друзей. Фонд самого Ивана Алексеевича состоит из 10 763 единиц хранения. А это — сотни стихотворений, более 120 рассказов, статьи, воспоминания, дневники, письма. Так что еще изучать и изучать.

…Раскрыв глаза, гляжу на белый свет
И слышу сердца ровное биенье,
И этих строк размеренное пенье,
И мыслимую музыку планет.

Все — ритм и бег. Бесцельное стремленье!
Но страшен миг, когда стремленья нет.

Это, правда, изданный Бунин. Стихотворение помечено днем

9 августа 1912 года. Бунину 42 года.

БУРЛЮК
Давид Давидович
9(21).VII.1882, хутор Семиротовщина Харьковской губернии — 15.I.1967, Лонг-Айленд, США

Вначале шуточное прозвище «отец русского футуризма» впоследствии оказалось нешуточным и вполне обоснованным. Давид Бурлюк — поэт, художник, критик, мемуарист, издатель — один из вождей русского художественного и литературного авангарда, организатор выставок и диспутов, автор полемических статей, брошюр, листовок и манифестов. И еще — собиратель молодых талантов.

Как часто, деловит и плотен,
Персидский выпучив жилет,
Взметнув лорнет к больному глазу,
Оглаживая свой сюртук,
Цинизмом сдобренную фразу
Здесь расплетал Давид Бурлюк…

Так представлял Бурлюка Сергей Спасский. Цинизм во фразах, в стихах, в картинах, — да, он, конечно, был, но вот что отмечал искусствовед Эрих Голлербах, автор первой монографии

о Бурлюке: «В некоторых произведениях Бурлюка есть, если угодно, цинизм, — но он у Бурлюка — далек от пошлости. Цинизм — как бы наивность мудрости… Даже в нарочито примитивных своих вещах Бурлюк вовсе не так наивен, как это может показаться неопытному взгляду. Продолжая дешифровку привычных, но так часто ложно трактуемых терминов, назовем наивность цинизмом невинности».

Давид Бурлюк учился в художественных училищах Казани, Одессы и Москвы, в академии искусств в Мюнхене и в школе изящных искусств в Париже. И сразу определил себя художником-авангардистом. И также в поэзии пошел исхоженными тропами. Первые стихи его появились в сборнике «Студия импрессионистов» (СПб., 1910). Вместе с Хлебниковым, Гуро, Каменским и другими поэтами Бурлюк выпустил в том же 1910 году «Садок судей» — первый сборник поэтов-«будетлян». Сборник шокирующий и эпатажный, находящийся, как определил его Брюсов, «почти за пределами литературы», наполненный «мальчишескими выходками дурного вкуса, и его авторы прежде всего стремятся поразить читателя и раздразнить критиков».

«Когда в типографии немец „Садок судей“ печатал, — вспоминал Давид Бурлюк, — крутились, вертелись обои — не желали принять на себя новые словеса, зародыши, сперму новой литературы, души века предзнаменованья революционного. Лысина немца покрывалась каплями пота, и плевал он сугубо… Сопел и смешивал слова из языка Шиллера с матерщиной гениально-виртуозною рязанских и московских, и новгородских округ посадов; немец печатал… Дарил ее миру… Явочным порядком…»

И все дальнейшее, вышедшее из-под пера Давида Бурлюка (о соратниках-футуристах особый разговор), вызывало у эстетов недоумение, раздражение и неприятие. Бурлюк, к примеру, писал:

Мне нравится беременный мужчина
Как он хорош у памятника Пушкина
Одетый в серую тужурку
Ковыряя пальцем штукатурку
Не знает мальчик или девочка
Выйдет из злобного семечка?..

Не мог не возмутить и вопрос Бурлюка, обращенный непосредственно к читателю: «Ты нюхал облака потливую подмышку?» Или вот такой призыв:

Каждый молод молод молод

В животе чертовский голод
Так идите же за мной…
За моей спиной.
Я бросаю гордый клич
Этот краткий спич
Будем кушать камни травы
Сладость горечь и отравы
Будем лопать пустоту
Глубину и высоту
Птиц зверей чудовищ рыб
Ветер глины соль и зыбь.

Именно Давиду Бурлюку пришла идея создать группу единомышленников, ниспровергателей старого искусства, под названием «Гилея». Ее участники стали называть себя футуристами, потом группа развилась на кубофутуристов и эгофутуристов.

Бурлюк считал, что «надо ненавидеть формы существовавшие до нас» и что главная цель искусства — новизна формы. И призывал «разгромить старое буржуазное „жречество“, мистиков, символистов, бульваристов, порнографистов и академиков».

Вот декларация Бурлюка: «Футуризм не школа, это новое мироощущение. Футуристы — новые люди. Если были чеховские безвременцы, нытики-интеллигенты, — то пришли — бодрые, не унывающие… И новое поколение не могло почувствовать себя творцом, пока не отвергло, не насмеялось над поколением „учителей“, символистов».

А насмехаться футуристы умели.

Это серое небо
Кому оно нужно
Осеннее небо
Старо и ненужно, —

писал Бурлюк. В вышедшем в 1912 году альманахе «Пощечина общественному вкусу» Бурлюк солировал, а ему подпевали Хлебников, Крученых и Маяковский. В «Пощечине» провозглашались революционные принципы: «Гармонии — противуполагается дисгармония… Симметрии — дисимметрия… Конструкции противуполагается — дисконструкция…»

В стихотворении «Щастье циника» Бурлюк утверждал:

Шумящее весеннее убранство

Единый миг затерянный в цветах
Напрасно ждешь живое постоянство
В струящихся быстро бегущих снах
Изменно все и вероломны своды
Тебя сокрывшие от хлада льдистых бурь
Везде во всем красивость шаткой моды
Ах, циник, щастлив ты! Иди и каламбурь.

Бурлюк «со товарищи» и каламбурил, и эпатировал, и возмущал безмерно. «Боже, до чего плоско, вульгарно — какой гнусный показатель нравов, пошлости пустоты новой литературной армии!» — негодовал Бунин. В футуристах видели «разновидность хулиганов», а Измайлов их назвал «печальными рыцарями ослиного хвоста». Скандал — это было именно то, чего и добивались молодые поэты во главе с Бурлюком. «…благодаря ненависти, насмешкам окружающих… стало ясно, что мы — новое племя, — вспоминал Бурлюк. — Ремизов назвал нас опричниной русской литературы. Началась непримиримая война за новое в искусстве».

Бурлюк вместе с Маяковским, Хлебниковым, Б. Лившицем, Крученых и другими поэтами подписал манифест, объявивший об уничтожении ими знаков препинания, сокрушении ритмов, о своем понимании гласных как «времени и пространства (характера устремления»), отводя согласным роль «краски, звука, запаха…» Словом, долой мелодику стиха, да здравствует какофония и эквилибристика слов.

На трапециях ума
Слова вертятся вверх ногами, —

писал позднее Бурлюк в книге «Энтелехизм». Но это уже было в Америке, а в дореволюционной России Бурлюк пытался издавать «Первый журнал российских футуристов», организовывал поездки кубофутуристов по стране. В одной из поездок по Сибири Бурлюку кто-то из публики задал вопрос, что будет потом? Бурлюк, нарочито гнусавя, ответил: «А потом котлеты с макаронами».

Потом пришла революция, и «первый истинный большевик в литературе», «отец российского пролетарского футуризма» оказался чуждым своей стране. И очутился в Америке, где в 1930 году принял американское гражданство. Журнал «За пролетарское искусство» так «тепло» писал о Бурлюке в 1931 году: «Д. Бурлюк, который когда-то заявлял во всеуслышанье:

„поэзия — истрепанная девка, а красота — кощунственная дрянь“, дает серию картин безработных в Америке, тематически приближается к революционному искусству, а по существу, продолжает все те же старые буржуазные традиции „ослиного хвоста“ и „мишени“, традиции того течения, которому даже такой буржуазный идеолог, как Андрей Белый, дал весьма подходящее название „обозная сволочь“».

Парадокс: советская Россия не любила Давида Бурлюка (эмигрант! — этим сказано все), а он любил свою покинутую родину и пропагандировал советское искусство, считая себя его представителем «в стране хищного капитала». «Если другие футуристы, особенно второй призыв, после революции и получили признание, — писал в 1929 году Бурлюк, — то я лично, волею судеб попавший на другие материки нашей планеты, продолжая всежильно работать на пользу страны Рабочих и Крестьян, моей великой революционной родины, никакого признания у себя на родине так и не видал, а унес в ушах своих начальный смех генералов и толстосумов и прихвостней так называемого „казенного искусства“, щедро оплачиваемого правящими классами до самого октябрьского переворота. При таких обстоятельствах нельзя человека обвинять в некоторой нервности…»

От родины дальней,
От Руси родимой
Унес меня тягостный рок.

Но ностальгия не мешала Бурлюку плодотворно работать. Он активно участвовал в работе литературных групп «Серп и молот» и «Джон Рид клуб», издавал журнал «Цвет и рифма», писал книги, воспоминания, рисовал, на его счету около 30 персональных выставок на Западе, причем — и это следует отметить — в последние годы Бурлюк рисовал в сугубо реалистической манере. Дважды (в 1956 и 1965 годах) приезжал в СССР.

И последнее. Как вспоминал Василий Каменский, «в Бурлюке жило великое качество находить талантливых учеников, поэтов и художников и начинять, заряжать их своими глубинными знаниями превосходного новатора, педагога, мастера искусства». Так, Давид Бурлюк рассмотрел талант в молодом Владимире Маяковском. «Всегдашней любовью думаю о Бурлюке, — говорил Маяковский. — Прекрасный друг. Мой действительно учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца».

И не только говорил, но и материально помогал, «чуть не

содержал», «выдавал по 50 коп.» и, главное, утверждал в Маяковском веру, что он настоящий, самобытный поэт. Бурлюк издал трагедию «Владимир Маяковский». Снимался вместе с Маяковским в фильме «Не для денег родившийся» по сценарию своего молодого друга и ученика.

Имена Маяковского и Бурлюка часто ставят вместе в пору их совместного футуристического прошлого. Но какие разные судьбы! Маяковский сделался ангажированным поэтом и изо всех сил пытался понравиться власти, запутался в своих любовях к женщинам и в 36 лет окончил жизнь самоубийством. А великий и страшный футурист Бурлюк всю свою жизнь подчинялся только «безумным прихотям искусства» и прожил почти 86 лет, да притом с одной женщиной — Марией Еленевской (56 лет вместе!)

В старости Бурлюк оказался Афанасием Ивановичем, бережно охраняемым своей Пульхерией Ивановной, своей «мамочкой», как он ее называл — Марией Никифоровной. И никакого трагизма. Давид Давидович оказался мудрым человеком. Буйная молодость и спокойная старость.

ВЕРБИЦКАЯ
Анастасия Алексеевна,
урожденная ЗЯБЛОВА
11(23).II.1861, Воронеж — 16.I.1928, Москва

Мы говорим «Серебряный век», но, как правило, подразумеваем под ним тончайший культурный слой российского общества — высокопрофессиональных литераторов, артистов, музыкантов, высоколобых философов, знатоков, эстетов, «голубую кровь» и «белую кость». Но в это же время, на рубеже двух столетий, тянулась к культуре, к знаниям и довольно значительная демократическая часть населения — студенты, учащиеся, курсистки, чиновники, различный служивый люд, горничные, лавочники, торговцы и т. д. И у этой публики не всегда пользовались успехом, к примеру, изящно-интимнейший Михаил Кузмин или поэт-ученый Вячеслав Иванов. У нее были свои, более простые и понятные кумиры. Один из них — Анастасия Вербицкая со своими «Ключами счастья».

Говоря иначе, во все времена параллельно существовали две культуры — элитарная и массовая. В одной парил высокий дух, в другой преобладали «развлекаловки» для разнообразия

житейской прозы, что постоянно вызывало недоумение, а порой и гнев культурного истэблишмента. Не случайна запись в дневнике Александра Блока: «Молодежь самодовольна, „аполитична“, с хамством и вульгарностью. Ей культуру заменили Вербицкая, Игорь Северянин и пр. Языка нет. Любви нет. Победы не хотят, мира — тоже. Когда же и откуда будет ответ?» (10 ноября 1915). И блоковский вывод: «Одичание — вот слово…»

С Блоком, конечно, можно поспорить, но в данном случае нас интересует прежде всего Вербицкая.

Несколько биографических данных автора некогда нашумевшего романа «Ключи счастья». Вербицкая родилась в небогатой дворянской семье, в которой царил культ театра. Как отмечает биограф писательницы А. Грачева: «Начиная с самого детства, Вербицкая не только существовала в реальных, во многом неблагоприятных житейских обстоятельствах, но и в мире своей фантазии, построенной на основе сублимации. В нем росла красавица-девочка, имеющая гениальную актрису-бабушку, роковую, прекрасную и любящую мать, благородного старика-отца и окружающих, постоянно восхищающихся внешностью и необычными и разнообразными талантами ребенка, а затем девушки. Впоследствии многие героини произведений Вербицкой явились реализацией этого фантастического образа ее „эго“, как бы переселившегося из фантастического мира авторского воображения в более осязаемый, но менее воображаемый макрокосм ее произведений…»

Прежде чем стать писательницей, Вербицкая окончила Елизаветинский институт, училась в московской консерватории, которую пришлось оставить из-за недостатка средств. Преподавала пение в гимназиях, была гувернанткой. Вышла замуж по любви, за малообеспеченного инженера Вербицкого, и родила троих сыновей. И всю жизнь билась в тисках материального неблагополучия и боролась за утверждение женской независимости. Работала переводчицей, корректором, публицистом в газете «Русский курьер».

В 26 лет Анастасия Вербицкая дебютировала повестью «Первые ласточки», вышедшей в журнале «Русская мысль» под редакционным названием «Разлад». «Первые ласточки» — история о талантливой писательнице Валентине Каменевой, которая растрачивает свои силы на журналистскую поденщину и активно борется за свои женские права: «Знайте… только одинокие сильны… Только они проложат новые пути и создадут женщине счастливое будущее… Стремитесь к общественной деятельности. В ней, только в ней — наше освобождение… надо выйти из теплого угла на холод и мрак улицы, на работу, на борьбу и

лишенья, навстречу всему неведомому… Туда — в широкий мир…» Этот призыв Вербицкой, вложенный в уста ее героини, прозвучал весьма революционно для своего времени.

Тему «Первых ласточек» и последующих своих книг Вербицкая определила как «страстный протест личности против любви, дружбы, семьи». Почти все героини Вербицкой фанатически отстаивали свою независимость ценою даже своей гибели. С 1902 года Вербицкая занялась издательским делом и опубликовала более двадцати книг иностранных писательниц, посвященных «женскому вопросу»: «Женщина, которая осмелилась», «Свободная любовь», «Третий пол», «Ницшеанка», «Право на любовь» и другие. Короче, Вербицкая как сочинительница, как переводчица и как издательница пробивала (лучше сказать — проламывала) идеи феминизма в России.

Идея феминизма, идея равенства женщин с мужчинами, как все любые идеи, приходят в Россию с Запада. И с большим опозданием. Достаточно вспомнить одну из первых бунтарок американку Абигайл Смит Адамс, которая в конце XVIII века протестовала против абсолютной власти мужчин над женами. В 1792 году вышел труд англичанки Мэри Уоллстонкрафт «В защиту прав женщины». Чуть позднее американская суфражистка Энн Гарлин Спенсер ратовала за вклад женщин в общественную культуру. Но все эти новации пришли в Россию лишь на рубеже столетий, и одной из провозвестниц феминизма явилась именно Вербицкая.

Революция 1905 года подтолкнула Вербицкую, которая, по ее словам, пережила «красоту и экстаз декабрьского восстания», на создание романа «Дух времени». Роман стал бестселлером. За четыре года он выдержал три издания общим тиражом 51 000 экземпляров. Главный герой «Духа времени» не женщина, а мужчина — артист Андрей Тобольцев, но и он весь погружен не только в революцию, но и в бурю любовных переживаний, воплощает собою ницшеанский тип «человека-артиста», разрушителя старой морали. Новую мораль в интерпретации Вербицкой критики определили как «свободу от любви».

В 1910 году вышел роман Вербицкой «Ключи счастья» в шести книгах общим объемом почти в 1400 страниц да к тому же большим тиражом. Роман, который прославил Вербицкую и одновременно вызвал волну резкой критики. О «Ключах счастья» спорили до хрипоты: «Лев Николаевич Толстой или Анастасия Алексеевна Вербицкая? Кому из них володеть мыслью и княжить в сердце современного русского читателя?» Согласно данным библиотек и читален, спрос на Вербицкую значительно опередил спрос на книги Толстого и Чехова. «Ключи счастья» увлекли

«киношников», и были поставлены две экранизации — в 1913 и 1917 годах, — ставшие громкими боевиками эпохи.

Чем привлек читателей роман «Ключи счастья»? Помимо драматической и почти бульварной истории жизни и взаимоотношений некоей Мани Ельцовой и ее любовника барона Штейнбаха («Она чувствует на своих ногах его поцелуи», и тому подобное в огромных дозах), роман Вербицкой, как выразился один критик, — это «универмаг с широким выбором современных идей, представлений и предубеждений», покруче даже арцыбашевского «Санина». В «универмаге» Вербицкой читатели могли познакомиться с интерпретациями из Маркса, Дарвина, Ницше, Оскара Уайльда и других модных авторов. Как отмечал Анатолий Луначарский, «Ключи счастья» оказались пленительными «для нашей полуобразованной демократии больших городов, а вместе с тем для студенческой молодежи, для провинциальных читателей и особенно читательниц». Хвалил роман и Максим Горький, утешая одновременно автора: «Наплюйте на критику».

А критика была зубодробительная: мол, все творчество Вербицкой — «бульвар», сама она — «бульварная писательница», пишет для «праздной и неразвитой толпы». Корней Чуковский выразился даже резче: Вербицкая пишет для «культурных дикарей» — для парикмахеров и лавочников. Чуковскому возражали критики-либералы: «Найти путь к мыслям и чувствам простого человека; после трудового дня дать ему несколько минут чистого эстетического наслаждения — это значит, по мнению буржуазной критики, торговать фальшивыми алмазами». Сама Вербицкая уверенно считала себя «поэтом новых людей».

Критика бесновалась, множились многочисленные пародии на писательницу: «Любовные похождения м-мъ Вербицкой», «Новейшие любовные похождения мадам Вербицкой», «Отмычки счастья» и т. д. Но смоделированный Вербицкой образ «новой женщины» притягивал к себе читателей, и медички, и бестужевские курсистки, по свидетельству современников, «жадно записывались в очередь на чтение „Ключей счастья“». Это была вершина писательского успеха.

Далее последовал почти исторический роман «Иго любви», но он уже явно отстал от изменившегося «духа времени». Грянула революция. И тут начался в отношении Вербицкой «великий откат»: Наркомпрос постановил сжечь весь склад книг Вербицкой за «порнографию, юдофобство и черносотенство», несовместимые с моралью победившего пролетариата. И только благодаря защите Горького книги Вербицкой были спасены от сожжения, а специально созданная комиссия установила, что книги

«безвредны», более того, роман «Дух времени» был рекомендован к переизданию.

В 20-е годы Вербицкая, понимая, что ее писательское имя одиозно, стала писать под псевдонимами, в основном для детей («Как Лютик сделался коммунистом», «Наши пионеры» и другие совершенно непримечательные полумарксистские поделки). В 1924 году Вербицкая снова попала в список запрещенных писателей, и ее книги изъяли из всех магазинов и библиотек. В журнале «На боевом посту» прошла дискуссия о творчестве и взглядах Вербицкой. И вновь у нее среди ретивых ненавистников нашелся защитник. Это был сам нарком Луначарский. Он отозвался о ней как о писательнице «по внешней форме приятной и занимательной, по своим устремлениям инициативной и прогрессивной, хотя в идеологическом отношении наивной» и высказал мнение, что «для некоторых очень отсталых слоев провинциальных читателей… чтение произведений Вербицкой было бы прогрессом и могло оставить в их душе светлый след».

У самой Анастасии Вербицкой никакого светлого следа в душе не осталось. Успех был позади. Ее постоянно унижали и критиковали молодые пролетарские идеологи от литературы. Материально жилось туго: все, что было нажито, пришлось в революционное лихолетье продать. А тут еще и болезнь сердца… Вербицкая умерла, не дожив одного месяца до 67 лет. В одном из некрологов отмечалась «бесспорная заслуга ее — в создании особого жанра выше бульварного, по типу французских романов с занимательной интригой, идеями и доступной всем эрудицией».

Что касается «Ключей счастья», то — где эти ключи? И где вообще это мифическое счастье? Вербицкая боролась за женскую независимость, за равноправие с мужчинами и за свободу выбора в любви. Спустя десятилетия российская женщина все это получила сполна, и даже возможность трудиться в самых тяжелых мужских профессиях. И что ей все это дало?..

ВОЛКОНСКИЙ
Сергей Михайлович, князь
4(16).V.1860, имение Фалль, близ Ревеля Эстляндской губернии — 25.X.1937, Ричмонд, штат Виргиния, США

Князь Сергей Волконский — не только один из ярких представителей Серебряного века, но и его выразитель, глашатай, адепт. По своим интересам он был многогранен: театральный деятель, художественный критик, прозаик, мемуарист (хотя Советская Литературная энциклопедия его начисто проигнорировала), теоретик актерской деятельности и ритмической гимнастики. А еще неутомимый путешественник. Изучая искусство, сравнивая и сопоставляя, объездив весь мир, воскликнул в ходе своей очередной итальянской поездки: «Как бедны мы красотой!» Он и внешне был примечательный человек, принесший в Серебряный век старомодную учтивость, аристократические манеры, вельможную осанку и артистизм натуры.

«О князе Сергее Волконском, — писал Александр Бенуа, — можно было бы написать целую книгу, ибо он был одной из самых

характерных и блестящих фигур петербургского общества». Но, увы, в данном случае это не специальная книга, а всего лишь куцые заметки в рамках книги о Серебряном веке, поэтому естественна фрагментарность, клочковатость информации и отрывочность стиля.

Сергей Волконский — внук известного декабриста Волконского и одновременно внучатый племянник знаменитой Зинаиды Волконской. По материнской линии он — правнук небезызвестного графа Александра Бенкендорфа. В Сергее Волконском Бенкендорф и декабристы как бы встретились вновь и великодушно простили обиды друг другу.

Волконский родился в родовом имении 4 мая «в шесть часов вечера, в большой спальне… там были кретоновые занавески с пассифлорами…» — так отметил он в своих воспоминаниях. В доме Волконских жили литературными, художественными интересами, и кто здесь не бывал из знаменитостей, от Тургенева до Достоевского. Сергей Волконский в свои детские годы слышал, как читал стихи Тютчев. Классика навечно вошла в его кровь: он любил Пушкина и обожал Тютчева, в своих книгах часто цитировал А.К. Толстого, Фета и Полонского. Не принял поэзию начала XX века, сделав лишь исключение для Зинаиды Гиппиус. В своих литературных пристрастиях князь был консервативен.

Конечно, он получил блестящее образование и постоянно его пополнял за счет изучения и чтения культурных ценностей мира, за счет широкого круга знакомств с выдающимися людьми, писателями, философами, актерами. Он впитывал в себя красоту, как впитывает влагу губка, и не случайно одной из его первых работ было исследование «Художественное наслаждение и художественное творчество» (1892). В 1896 году князь Волконский отправился в США, где в ряде городов прочитал лекции о достижениях русской культуры; как выразился Владимир Соловьев, Волконский показал иностранцам «человеческое лицо» России. Под влиянием его выступлений в Гарвардском университете была основана кафедра славяноведения, то есть именно Сергей Волконский «породил» первых славистов в США. Лекции его вошли в книгу «Очерки русской истории и русской литературы» и принесли Волконскому литературный успех.

Писал Волконский и рассказы, но больше ему удавались художественно-исследовательские работы: книга «Разговоры» (1912), «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного» (1924) и особенно книга «О декабристах. По семейным воспоминаниям» (1921). Кстати, Волконский у себя в имении в Павловске создал «музей декабриста», который, естественно, был разорен в годы

революции. А в дореволюционные годы Волконский активно печатался в журналах «Аполлон», «Русская художественная летопись», «Мир искусства», «Русская мысль» и многих других. Он выступал как художественный критик, разрабатывая общефилософские и нравственные вопросы искусства.

Большое место в жизни Сергея Волконского занимал театр, который он не просто любил — обожал. С детства мечтал о сцене, играл в любительских спектаклях, позднее горел желанием стать актером в Художественном театре, но Станиславский поставил точку на актерских притязаниях и мечтаниях князя. В одном из писем к Лилиной Станиславский писал в январе 1911 года: «… Вообще кн. Волконский мне нравится. Мне его жаль — он сгорает от жажды играть, режиссировать, томится в своем обществе, а его родственнички его держат за фалды, и все прокисают от скуки в своих палаццо…»

Сергей Михайлович «не прокисал», он всегда находил себе дело, а уж в театральной сфере и подавно. Князь аккомпанировал оперной диве Аделине Патти, давал советы итальянскому трагику Эрнесто Росси, другая звезда Италии Томмазо Сальвими у него жил в доме во время своих гастролей в Петербурге. Волконский знал и общался с Элеонорой Дузе и Полиной Виардо, с Марией Савиной и Верой Комиссаржевской.

Он был человеком театра и отсюда его служебные назначения: сначала камергер, а с 1899 по 1901 год он — директор императорских театров. Но став директором, Волконский столкнулся с неодолимой преградой косности и фаворитизма. Как он отметил в воспоминаниях: «Театральный муравейник Петербурга жил меньше всего интересами искусства». Из-за конфликта с прима-балериной Матильдой Кшесинской Волконский подал в отставку. Но театром не переставал интересоваться, написал несколько книг по теории и практике режиссуры, актерскому мастерству и декламации. Его книги — «Выразительное слово» и «Выразительный человек» (1913) — высоко оценил Станиславский.

И еще одно увлечение князя: ритмическая гимнастика. Организовав курсы и издавая журнал, он пропагандировал собственную «ритмическую утопию» — универсальную систему движений человеческого тела как «материала жизни».

А потом грянули революционные события: имение Волконского разгромили, имущество конфисковали, и ему, «фанатичному жрецу искусства» (Бенуа), сиятельному князю, неожиданно ставшему «буржуем» и «контрой», пришлось скрываться в Борисоглебске от ареста. За ним пришли, когда он направился в гости к одной старой знакомой, чтобы поиграть у

нее на разбитом пианино. А в доме, где он нашел пристанище, уже допрашивали тех, кто дал князю приют:

— Кто он такой? Генерал? Военный? Царский чиновник?

— Нет, бывший князь Волконский, литератор.

— Литератор? Да? Где же он пишет?

— Где — довольно трудно сказать, а книги вот здесь есть; можете посмотреть.

Далее вошедшие с оружием спрашивают:

— А где его револьвер?

— У него нет револьвера и никогда не было; да и стрелять он не умеет.

— А где спрятаны пулеметы?..

Ну, и так далее, в духе красного абсурда первых лет революции.

В 1918 году князь Сергей Волконский приехал в Москву, переодетый в солдатскую шинель, с котомкой белья и платья, — все, что у него осталось от былого богатства. Волконский приехал, чтобы найти какое-то применение своим знаниям в условиях новой власти. Его два дня держали в подвале на Лубянке, потом все же отпустили. И он стал работать, как тогда говорили, «на культурном фронте». Читал лекции, вел занятия по театральному мастерству в разнообразных кружках и студиях, расплодившихся на первых порах без счету. Об одной такой студии Волконский пишет в своих воспоминаниях:

«Я был приглашен читать в красноармейском клубе в Кремле, в Клуб имени Свердлова. В Николаевском дворце, в бывших покоях великой княгини Елизаветы Феодоровны, за чудными зеркальными окнами, из которых вид на Замоскворечье, слонялись по паркетным полам, в шелковых креслах полулежали в папахах и шинелях красноармейские студийцы. Работа была неблагодарная. Слушателей моих гоняли на работу, на дежурства, в караулы, а то и вовсе угоняли на фронт…»

А в один день приходит к Волконскому некто Басалыго и интересуется, что делают красноармейцы:

— Репетиции? Зачем репетиции? Совсем не нужно, это препятствует свободному развитию коллективной личности, это тормозит свободное творчество.

— Да как же пьесы ставить без репетиций? — возражал Волконский.

— Пьесы? Для чего пьесы?

— Да что же ставить?

— Да не ставить. А придут, посидят, расскажут друг другу свои переживания в октябрьские дни, пропоют три раза «Интернационал» и разойдутся. И у всех будет легко и тепло на

душе.

От такой работы у князя Волконского отнюдь не было на душе легко и тепло, а напротив: сумрачно и печально. Советской власти князь был не нужен. Он отчетливо понял, что вместо культуры, вместо знаний в новой России культивируются самодовольство и воинствующее невежество. И осенью 1921 года он тайно перешел границу и стал эмигрантом. Его бегство было оправдано, так как Ленин в письме к Дзержинскому среди «растлителей учащейся молодежи», наряду с Бердяевым, Шестовым, Ильиным, назвал и имя князя Волконского. Письмо вождя означало, что надо принять соответствующие санкции, но Волконский их счастливо избежал.

«Наконец оставил за собой границу, отделяющую мрак советской России от прочего мира Божьего. Стоны, скрежет и плач остались там, во тьме… позади остались насилие, наглость и зверство…»

«Сейчас я уже не на родине — на чужбине, — писал Волконский, находясь на французской земле. — Вокруг меня зеленые горы, пастбища, леса, скалы. Надо мной синее небо, светозарные тучи. Вы скажете, что и там было синее небо, и там светозарные тучи? Может быть, но я их не видел; они были забрызганы, заплеваны, загажены; между небом и землей висел гнет бесправия, ненависти, смерти. И сама „равнодушная природа красою вечной“ уже не сияла. Здесь она сияет…»

В Париже Сергей Волконский стал театральным обозревателем газеты «Последние известия», кстати говоря, такая специальная дисциплина, как театроведение, целиком обязана своим рождением именно князю. Читал он лекции по истории русской культуры, русского театра для своих соотечественников, оказавшихся в эмиграции, выезжал с лекциями в Италию и США. Внимательно следил за театральной жизнью в Европе. Оставаясь верным классическим традициям, не принял авангардизм театральных постановок Арто, отверг новации Мейерхольда и не одобрил новаторство Михаила Чехова. В начале 30-х годов стал во главе Русской консерватории в Париже и объединил вокруг себя музыкантов-эмигрантов.

В эмиграции вышли два тома мемуаров Сергея Волконского «Мои воспоминания», на один из которых — «Родина» — восторженно откликнулась Марина Цветаева, найдя сходство князя Волконского с великим Гете. Дружбу с князем Цветаева по страстности своей натуры пыталась перевести в любовь. Она предложила Волконскому «быть мальчиком твоим светлоголовым» (Волконский был гомосексуалистом), но князь отверг любовь, предпочтя ей исключительно дружбу. Когда

Волконский уехал в Америку, то он и Цветаева переписывались, а когда он приезжал в Париж, встречались. Но не более того.

Князь Сергей Волконский умер в американском городе Ричмонде в октябре 1937 года, в возрасте 77 лет. В Париже по русскому обычаю устроили его отпевание, на котором присутствовали Александр Бенуа, Сергей Лифарь, Матильда Кшесинская, Марк Алданов, Марина Цветаева и другие «звезды» Серебряного века.

В некрологе о Волконском Георгий Адамович написал: «Это был один из самых одаренных, самых своеобразных, живых и умственно-отзывчивых людей, которых можно было встретить в нашу эпоху… Своеобразие было все-таки наиболее заметной его чертой. Князь Волконский ни на кого не был похож, и в каждом своем суждении, в каждом слове оставался сам собой».

ВОЛОШИН
Максимилиан Александрович
КИРИЕНКО-ВОЛОШИН
16(28).V.1877, Киев — 11.VIII.1932, Коктебель

Иногда кажется, что столицей русского Серебряного века был Париж: почти все серебристы, от Анны Ахматовой до Владимира Маяковского, посещали Париж или жили в нем. Особенно «парижанином» слыл поэт, художник, историк искусства и философ Максимилиан Волошин. Андрей Белый считал его «насквозь „пропариженным“ до… до цилиндра».

Марина Цветаева писала про Волошина: «Оборот головы всегда на Францию. Он так и жил, головой обернутый на Париж, Париж XIII века и нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времени был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома был… Париж прошлого, Париж нынешний, Париж писателей, Париж бродяг, Париж музеев, Париж рынков… Париж первой о нем письменности и Париж последней песенки Мистенгетт — весь Париж, со всей его, Парижа, вместимостью,

был в нем вмещен» (М. Цветаева. «Живое о живом»).

Максимилиан Волошин учел совет Чехова, данный ему в Ялте: «Учиться писать можно только у французов». А рисовать? Страсть к живописи возникла у Волошина тоже от Франции. Он и сам выглядел довольно экзотично: «Гривастый лесовик с рыжими кудрями, русское подобие Зевса» (О. Форш). Таким представлял поэта и художника искусствовед из Феодосии Василий Дембовецкий:

И рост, и грудь, и голова кентавра,
И грива, как священный лес,
И круглых глаз нерасточенный блеск,
Таящий небо солнечного Тавра.

Прежде чем обосноваться в Крыму, на своей духовной родине, Максимилиан Волошин познал многое в этом мире. Вот любопытное его признание: «Ни гимназии, ни университету (Московскому университету! — *Прим. Ю.Б.*) я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. 10 драгоценных лет, начисто вычеркнутых из жизни».

Волошин поставил себе цель стать одним из образованнейших людей своего времени по собственной системе, благодаря книгам, музеям, путешествиям. «Земля настолько маленькая планета, что стыдно не побывать везде», — писал он матери в 1901 году. Первое путешествие было в Среднюю Азию, затем — почти вся Европа. И, разумеется, Париж, куда он отправился «на много лет, — учиться художественной форме — у Франции, чувству красок — у Парижа, логике — у готических соборов, средневековой латыни — у Гастона Париса, строю мысли — у Бергсона, скептицизму — у Анатоля Франса, прозе — у Флобера, стиху — у Готье и Эредиа…».

«В эти годы, — отмечал Волошин, — я только впитывающая губка, я весь — глаза, весь — уши. Странствую по странам, музеям, библиотекам: Рим, Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, Андорра… Лувр, Прадо, Ватикан, Уффици… Национальная библиотека. Кроме техники слова, овладеваю техникой кисти и карандаша».

Кредо Волошина:

Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цветы вобрать в себя глазами.
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять — и снова воплотить!
(1904)

Семилетие 1898–1905 годов Волошин назвал «годами странствий», следующее семилетие (1905–1912) — «блуждания». «Этапы блуждания духа: буддизм, католицизм, магия, масонство (в мае 1905-го вступил в масонскую ложу в Париже. — *Прим. Ю.Б.*), оккультизм, теософия, Р. Штейнер. Период больших личных переживаний романтического и мистического характера», — так писал Волошин в своей «Автобиографии».

Оставим в стороне романтическую и мистическую любовь к Маргарите Сабашниковой (он находил, что она похожа на египетскую царицу, жену Аминхотепа III), а также грандиозную мифотворческую историю с Черубиной де Габриак, лучше поговорим непосредственно о литературе. В 1903 году Волошин вернулся в Россию и активно погрузился в литературный процесс, не претендуя ни на какое лидерство (вот уж не Брюсов!), не участвуя ни в каких кружковых раздорах и избегая всякой полемики, — вот что интересно. Как точно отметил Андрей Белый, Волошин «проходит через строй чуждых мнений собою самим, не толкаясь».

Волошин много пишет стихов и статей (он опубликовал более 250 статей, которые вошли впоследствии в циклы книг под названием «Лики творчества»), но только в феврале 1910 года в Москве выходит его первая книга «Стихотворения. 1900–1910», которую весьма одобрительно встретила читающая публика. Хотя, конечно, нашлись и критики, которые увидели в Волошине всего лишь «книжного поэта». Брюсов высказался так: «Стихи Волошина не столько признания души, сколько создания искусства».

Далее последовали Первая мировая война и революция. Весною 1917 года Волошин поселяется в Крыму, в Коктебеле, где «все волны гражданской войны и смены правительств» проходят на его глазах, а поэзия остается «единственной возможностью выражения мыслей о совершающемся».

Советские литературоведы позднее отмечали, что Волошин революции не понял, что он-де исходил из «абстрактно-гуманистический иллюзий». Нет, он не исходил из иллюзий, он все воспринимал из своего философского взгляда на все сущее: каждая отдельная жизнь — это космическое событие. А в годы революции и Гражданской войны человеческая жизнь из космического события перешла в разряд бытовой мелочи: людей убивали тысячами, десятками и сотнями тысяч.

Свидетели великого распада,
Мы видели безумья целых рас,
Крушенья царств, косматые светила,

Прообразы Последнего Суда:
Мы пережили Илиады войн
И Апокалипсисы революций…

Послереволюционные годы кардинально изменили поэта. Он уже никакой не символист и окончательно простился с «блужданиями» собственного духа. Его главной темой становится Россия, судьба страны и народа. Во всех его многочисленных стихах того периода родина осознается как голгофа истории. Образ «Ангела мщенья», выведенный Волошиным в 1906 году, стал зловеще парить над страной: «Народу русскому: Я скорбный Ангел мщенья!/ Я в раны черные — в распахнутую новь/ Кидаю семена…»

В 1919 году Волошин создает цикл стихов о гражданской войне «Неопалимая Купина» с верой в то, что в конце концов Россия не погибнет. Хотя эта вера у поэта порой еле теплится:

С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях.

Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.

О, господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи:
Германцев с запада, монгол с востока.

Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда.

Волошин с болью видит, как гибнет Святая Русь, любимый им Китеж-град, как губят его с двух сторон — красные и белые:

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Такова была позиция Волошина — быть над схваткой, понимать и сочувствовать «фанатикам непримиримых вер». В книге «Паралипменон» есть программное стихотворение «Доблесть поэта» с подзаголовком-посвящением «Поэту революции» (1925). В нем Волошин декларирует:

Творческий ритм от весла, гребущего против течения,
В смутах усобиц и войн постигнуть целокупность.
Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих.
Зритель захвачен игрой — ты не актер и не зритель,
Ты соучастник судьбы, раскрывающей замысел драмы.
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:
Помнить, что знамена, партии и программы
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа — поэт. В государстве нет места поэту.

Итак, поэт — «соучастник судьбы», «совопросник» века. Отсюда и совершенно другая стилистика письма: эпическая, монументальная, торжественная, с зарницами Рока.

В 1922–1929 годах Волошин создает цикл поэм в книге «Путями Каина» и замечательную по историческому охвату поэму «Россия» (1924). В ней есть такое обобщение:

Есть дух Истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли,
Что направлял топор и мысль Петра,
Что вынудил мужицкую Россию
За три столетия сделать перегон
От берегов Ливонских до Аляски.
И тот же дух ведет большевиков
Исконными российскими путями.

Искусствовед Ефим Эткинд утверждает, что «Волошин — первый в России исторический поэт или, если угодно, поэт истории. Во Франции сходную роль сыграли в XIX веке Виктор Гюго („Легенда веков“), Альфред де Виньи („Судьбы“), Леконт де Лиль („Трагические стихотворения“), Эредиа („Трофеи“). В России, по сути дела, поэзии истории не существовало, несмотря

на отдельные опыты Пушкина, Лермонтова („Песня о купце Калашникове“) и А. Толстого (баллады). Волошин оказался первым, кто открыл для русской поэзии эту огромную область».

В 1922 году, откликаясь на гибель двух крупнейших поэтов эпохи — Блока и Гумилева, в стихотворении «На дне преисподней», Волошин писал:

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Странно, что Волошина не тронули. Он уцелел, хотя имел все основания быть пущенным «в расход». И стихи писал не во славу советской власти, а совсем, совсем наоборот, и у себя в Коктебеле устроил подозрительный «Дом поэта», который власти рассматривали не иначе, как антисоветский салон. И все же не взяли, — Волошин вытащил счастливый лотерейный билет и умер в собственной постели, от болезни, в возрасте 54 лет.

В стихотворении «Дом поэта» (1926) писал:

Я — не изгой, а пасынок России,
Я в эти дни — немой ее укор,
Я сам избрал пустынный сей затвор
Землею добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, падений и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.

В «Доме поэта» Волошин все чаще выступал как живописец и писал свои излюбленные акварели с видами Киммерии, и принимал многочисленных гостей. Его дом превратился в некий европейский культурный центр. Здесь побывали Андрей Белый, Вересаев, Горький, Замятин, Мандельштам, Цветаева, Эренбург и многие другие представители литературы. Последние недели своей жизни в Коктебеле провел Валерий Брюсов. Волошин с радостью предоставлял всем кров и творческую мастерскую, он был главной достопримечательностью, хозяином и душой Коктебеля. Его вторая жена Маруся записывала в дневнике: «Какое счастье, что я около Макса! Господи, какой это большой человек!»

На этом можно поставить точку. Но, пожалуй, заметим в конце: в 1999 году был издан полностью дневник Волошина

«История моей души». Всего лишь одна волошинская запись, на десерт: «Я зеркало. Я отражаю в себе каждого, кто становится передо мной».

ВОЛЫНСКИЙ
Аким Львович,
настоящие имя и фамилия
ФЛЕКСЕР
Хаим Лейбович
21. IV(3.V).1861, Житомир — 6.VII.1926, Ленинград

Сегодня мы с грустью констатируем, что исчезает литературная критика, рушится институт рецензирования, днем с огнем не сыщешь аналитиков, способных дать оценку различным явлениям культуры. А в начале XX века на критической сцене выступали замечательные литераторы, с умными головами и золотыми перьями, блестящие эссеисты. Это — Александр Кугель (1864–1928), Михаил Гершензон (1869–1925), Александр Бенуа (1870–1960), Владимир Фриче (1882–1969), Юлий Айхенвальд (1872–1928), Павел Муратов (1881–1950), Корней Чуковский (1882–1969)… И, конечно, Аким Волынский.

Вокруг Волынского всю жизнь кипели страсти: его обожали и ненавидели, хвалили и ругали, о его книгах яростно спорили,

обещая им вечную жизнь или отвергая их начисто. Философ, литературный критик, искусствовед, писатель, балетовед — он обладал непомерной эрудицией, образованность его была настолько велика, что, по единодушному признанию современников, во всем написанном им она отразилась лишь в малой, незначительной части.

По натуре и по мировоззрению Волынский был убежденным пассеистом: в какую бы область он ни вторгался — критика, театр, искусствознание, — он начинал с пересмотра руководящих идей, призывая вернуться к первоисточнику, очистить сложившиеся формы искусства от позднейших наслоений. Он всюду искал первооснову и искал неистово. «Он умел трудиться с такой самоотверженностью, с какой молились древнехристианские отшельники», — писал о нем Константин Федин.

Аким Волынский был истинно книжным человеком: страстным собирателем книг, подлинным библиофилом и сочинителем. Как пишет Вадим Гаевский: «Меблировка его небогатой петербургской квартиры состояла главным образом из книжных шкафов и книжных полок. Старинные фолианты, гроссбухи и волюмы окружали этого человека, читавшего на всех европейских языках и, казалось, вобравшего в себя едва ли не всю книжную мудрость. По типу культуры это был русский энциклопедист, а по внешнему облику он отдаленно напоминал образованного флорентийского монаха…»

«Он производил впечатление добродушного человека, не то большого ребенка, не то „напускающего на себя“ доброго волшебника» — такой портрет Волынского рисует музыковед и композитор В. Богданов-Березовский.

И откуда взялся этот «большой ребенок — добрый волшебник»? Он явился из захолустного Житомира. С детства проявил редчайшие способности к математике и языкам, позже его будут называть «сплошным мозгом». По своим способностям был зачислен на юридический факультет Петербургского университета и сразу на стипендию, что для еврейского юноши было немыслимым успехом. После окончания университета ему предложили остаться на кафедре государственного права, но Волынский отказался: «Я хочу быть не профессором, а литератором». К этому времени он поменял фамилию «Флексер» на псевдоним «Волынский». Именно Акимом Волынским он подписал свою первую самостоятельную работу «Теолого-политическое учение Спинозы».

В 18-летнем возрасте Аким Волынский стал печататься в популярном журнале «Северный вестник», в котором в течение 10

лет, вплоть до закрытия журнала в 1899 году, вел отдел «Литературные заметки». Это были не просто обзоры литературных новинок, но и глубокие статьи о творчестве Толстого, Гончарова, Лескова, Достоевского и других мастеров русской литературы. К этому времени окончательно сформировались взгляды Волынского, и он «ставит впереди всего внутреннее духовное начало, власть души, морали, свободной воли». Исходя из такой идеалистической позиции, Волынский призывал вождей народничества бороться не за социально-политическое переустройство общества, а за духовную революцию, то есть сначала перестроить человека, а уж потом переустраивать общество. Статьи на эту тему были собраны в книге Волынского «Борьба за идеализм» и изданы в 1900 году. Книга вызвала резкое неприятие и справа и слева, со стороны либералов и со стороны консерваторов. Особенно негодовал вождь народников Николай Михайловский.

Такое же неудовольствие вызвал Аким Волынский своей попыткой пересмотреть эстетическое наследие Белинского, Добролюбова и Чернышевского. Теперь возмутился Георгий Плеханов, который увидел в работах Волынского «суд и расправу над своими предшественниками».

В середине 1890-х годов Волынский пытался найти союзников в стане нарождающегося символизма. Он поддерживал контакты и печатал в «Северном вестнике» Зинаиду Гиппиус, Мережковского, Минского и Сологуба, но и с ними не получилось ни любви, ни дружбы. Будучи не компромиссным человеком, Волынский стал критиковать символистов (сначала в статье, а потом в переработанной на ее основе лекции — «Современная русская поэзия»), и они от него отвернулись, оставя его в литературном одиночестве.

Не укрепил творческие связи Волынского и его полемически заостренный большой труд «Леонардо да Винчи» (1900). Но окрепла его репутация как писателя и исследователя. В нем он еще раз доказал, что в эпохе Возрождения он был совсем как дома, недаром в 1908 году его избрали почетным гражданином Милана, а его имя присвоили комнате в библиотеке Леонардо, куда Волынский передал свою коллекцию материалов о великом художнике.

Следует отметить и религиозные поиски Волынского, его стремление сочетать иудаизм и христианство: он даже намеревался уйти «в простую еврейскую среду проповедовать Христа», — об этом он написал в письме к Льву Толстому 5 мая 1894 года. После поездки на Афон Волынский пришел к выводу, что русская религиозность сочетает в себе «метафизическую

византийскую духовность» и исконно русскую, дохристианскую духовность. Тему Бога Волынский развивал в своих работах, посвященных Достоевскому, — «Царство Карамазовых» (1901) и «Ф.М. Достоевский» (1906). Рассматривая полярные начала — богофильское и богофобское, — Волынский считает, что идеальный вариант для России — слияние моральной ясности Толстого с метафизическим размахом Достоевского. Это была кардинальная идея Волынского.

Поиски «новой красоты» в искусстве привели Волынского в театр. В течение некоторого времени он заведовал репертуарным отделом в Драматическом театре Веры Комиссаржевской и существенно повлиял на концепцию постановок «Гедды Габлер» Ибсена и «Чайки» Чехова.

Во время своих «скитаний» по Греции и Италии Волынский, как пишет его биограф Эрих Голлербах, «убедился между прочим в том, что античный театр есть по существу — балетный театр». Балет стал последним увлечением Акима Волынского, ему он отдал свои последние 15 лет жизни. В ритуальных танцах эллинов он увидел первооснову балета и сделал отчаянную попытку реконструировать ритуальный смысл отдельных балетных движений. Свои революционные идеи Волынский изложил в работе «Книга ликований», которая вышла в 1925 году тиражом всего в 3 тысячи экземпляров; не получив официального признания (опять этот «идеализм» Волынского!), она получила неофициальный статус легендарной книги.

Для специалистов балета «Книга ликований» стала не только настольной книгой, но пиршеством слова. В ней Волынский превзошел самого себя в словесной роскоши. Как отмечает Вадим Гаевский, россыпь эпитетов и метафор на каждом шагу напоминает «восточную феерию слов в духе декоративных феерий Льва Бакста». И вместе с тем это очень профессиональная, почти технологическая книга.

Итак, «Книга ликований» стала последним литературным произведением Акима Волынского. Фиеста литературного творчества кончилась, наступило время подневольного, галерного труда. После революционных событий Волынский — активный служака: он заведует итальянским отделом в издательстве «Всемирная литература», является членом совета Дома искусств, председателем петроградского отделения Союза писателей, ведет цикл лекций для учащихся основанного им хореографического техникума «Школа русского балета» (там преподавала знаменитая Ваганова). Учительствовал. Его барочную риторику новое поколение воспринимало с трудом. Вот как вспоминал о Волынском младший Чуковский, Николай:

«Писал витиевато и пышно, и в этом пышнословии, говоря по правде, и заключалась вся суть его статей. Тут были и „дионисизм“, и „вакханалии“, и „менады“, и „эрос“, и „лотос“, и „флейта Марсия“, и „бездна вверху и бездна внизу“ — весь тот набор слов, которым пользовались авторы статей в журнале „Золотое руно“…»

Грустно все это читать, так как это был не «набор слов», это была культура прошлого, которая для новой советской интеллигенции, «для инженеров человеческих душ», незнакома и даже неприятна («Ваше слово, товарищ маузер!»). Волынский был непонятен и чужд, от него, по словам Бориса Эйхенбаума, «веяло сухим жаром пустыни». А советская страна к тому времени являлась гигантской живой стройкой. И вообще время Серебряного века безвозвратно ушло со своим «эросом» и «менадами». Ушел из жизни, как со сцены, и Аким Волынский в возрасте 64 лет в 1926 году, к своему счастью, не дожив до политических процессов и отстрела писателей.

И последний штрих из жизни энтузиаста, романтика и идеалиста. Это — странный многолетний роман с Зинаидой Гиппиус. Вот письмо Зинаиды Николаевны к Волынскому, датированное 28 февраля 1895 года (Волынский накануне своего 34-летия).

«…Неужели Вы когда-нибудь были такой нежный, такой мягкий, такой предупредительный, деликатный, милый, особенно милый и дававший мне таинственные надежды на беспредельное?

Увы мне!

Теперь Вы — требовательны и фамильярны, как после года супружества. Вы меня любите — о, конечно! Но любите без порыва и ужаса, все на своем месте, любовь должна течь по моральному руслу, не превышая берегов нравственности. Вы меня любите — но Вы твердо уверены, что и я Вас люблю, что Вы имеете право на мою любовь — еще бы! Ведь тогда бы и не была я Вашей. Чуть что — до свидания. У меня, мол, дела, некогда мне с Вами разговаривать…

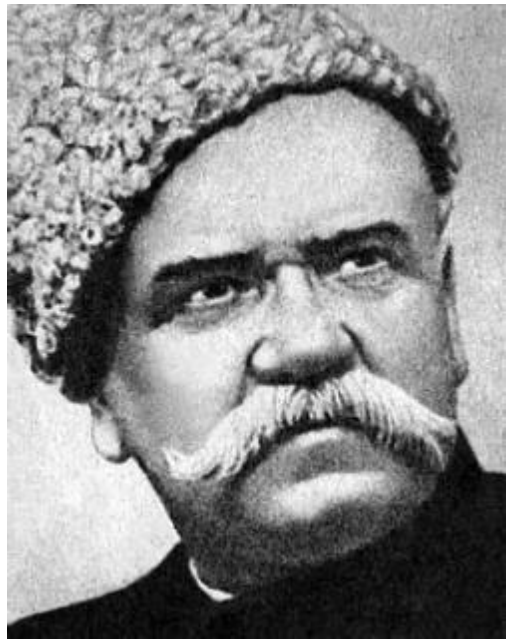
Можете воздвигнуть на меня гонения, можете ссориться со мной, бранить или поучать меня — Вы будете правы. Я хочу невозможного, подснежников в июле, когда солнце сожгло и траву. Хочу, чтобы у Вас не было привычки ко мне и… чтобы было то, чего нет, слепая, самоотверженная вера… нет, доверие ко мне…»

Зинаида Гиппиус требовала от Акима Волынского «чудеса любви», а он по каким-то причинам уклонился от них, и в итоге их взаимоотношения кончились «комедией любви». В своих поздних мемуарах Гиппиус писала о Волынском с

пренебрежением и плохо скрытой ненавистью: «Это был маленький еврей, остроносый и бритый, с длинными складками на щеках, говоривший с сильным акцентом и очень самоуверенный».

Бедный Аким Львович…

ГИЛЯРОВСКИЙ
Владимир Алексеевич,
псевдоним «Дядя Гиляй»
26. XI(8.XII).1853, имение графа Олсуфьева в Вологодской губернии — 1.X.1935, Москва



В Серебряный век жили и творили не только такие интеллектуалы, как Аким Волынский, но и такие народные самородки, как Владимир Гиляровский, дядя Гиляй. Удивительный человек и, как утверждал Влас Дорошевич, предшественник Горького — из народных масс да вровень с элитой. Недаром к Гиляровскому с одинаковым уважением относились и аристократы в светских салонах, и никому не известные, трущобные люди. Гиляровский был свой для всех.

«Гиляровскому бы жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги, — писал Константин Паустовский. — По строю своей души Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на своем превосходном памятнике Гоголю. Он происходил из

исконно русской семьи, отличавшейся строгими правилами и установленным из поколения в поколение неторопливым бытом. Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически сильные. Гиляровский легко ломал пальцами серебряные рубли и разгибал подковы. Однажды он приехал погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу. Глубокий старик, отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу…»

Чехов однажды написал из Мелихова Суворину: «Был у меня Гиляровский. Что он выделывал! Боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил по деревьям, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна…»

Сила молодецкая бурлила в Гиляровском, и кем он только не был в молодые годы: ходил бурлаком, работал грузчиком на пристани, пожарным, рабочим на заводе свинцовых белил, объездчиком лошадей, актером и циркачом, во время русско-турецкой войны ушел солдатом-добровольцем на фронт и был награжден Георгиевским крестом за храбрость.

С 1881 года Гиляровский — москвич, и в этом же году состоялся его литературный дебют: журнал «Будильник» опубликовал стихотворение «Все-то мне грезится Волга широкая…» По словам Гиляровского, это стихотворение открыло ему «дверь в литературу». С этого времени он начал печататься как поэт и репортер. Стихи писал простенькие, немудрящие, а вот газетный репортер из него получился классный: Москву он знал превосходно, оперативно откликался на все знаменательные события и находил интереснейших людей, за что был признан «королем репортажа».

Как-то он подсчитал московские переулки с одинаковым названием: «Безымянных — девятнадцать! Благовещенских — четыре, Болвановских — три! Только три! Мало по нашим грехам! Ей-богу, мало! И Брехов переулок только один!..» — иронизировал Гиляровский.

Профессиональное любопытство Гиляровского было безмерным и заставляло его оказываться в самых неожиданных и опасных местах. Он излазил все дно Москвы и познакомился со всеми его обитателями, в результате чего получилась книга «Трущобные люди» (1887). Власти посчитали книгу чересчур мрачной и сожгли отпечатанный тираж.

Гиляровский неутомимо писал почти во все дореволюционные издания — в «Русские ведомости», «Россию», «Русское слово», в «Журнал спорта» и другие. Репортажи, очерки, рассказы, стихи. Уже после революции вышли его мемуарные

книги «Москва и москвичи» (1926), «Мои скитания» (1928), «Записки москвича» (1931), «Друзья и встречи» (1934). Гиляровскому было что и кого вспомнить. Он был знаком со Львом Толстым и Чеховым, Буниным и Горьким, Репиным и Куприным, Шаляпиным и Блоком, Брюсовым и Ермоловой и т. д. Все они охотно встречались с Гиляровским и дарили ему свою дружбу.

«В нем есть что-то ноздревское, беспокойное, шумливое, — писал о Гиляровском Антон Павлович Чехов, — но человек это простодушный, чистый сердцем, и в нем совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам газетчикам».

К тому же Гиляровский был и остроумцем. По поводу первой постановки пьесы Толстого «Власть тьмы» он сочинил экспромт:

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

Гиляровский прожил большую жизнь, до 82 лет, и оставил о себе добрую память и множество различных легенд.

ГИППИУС
Зинаида Николаевна,
один из псевдонимов —
Антон Крайний
8(20).XI.1869, Белев Тульской губернии —
9.IX.1945, Париж

Расхожее мнение, сформулированное Оскаром Уайльдом, что женщина — это декоративный пол, во всем блеске опровергла Зинаида Гиппиус. Да, она была красива, но ее красота дополнялась умом. «Зинаидой прекрасной» называл ее Брюсов. А критик и публицист Петр Перцов так живописал Зинаиду Николаевну: «Высокая, стройная блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки, в очень шедшем к ней голубом платье, она бросалась в глаза своей наружностью. Эту наружность я назвал бы „боттичеллиевой“…» Но при этой «боттичеллистости» сердце у нее было, как игла, ум насмешливый и язвительный. С годами она поражала всех не только своей необычной внешностью, но и интеллектуальным блеском, аналитическим подходом к жизни.

Разумеется, на первых порах она много набралась у мужа, писателя и мыслителя Дмитрия Мережковского. Мережковский способствовал первой публикации Гиппиус — стихов, написанных под влиянием Надсона. Затем постепенно Зинаида Гиппиус обрела свой собственный голос. Ее стихи отличались внутренней борьбой, некоторым демонизмом и холодно-страстной сдержанностью. И всегда, как отмечал Аким Волынский, слышался «тревожный крик треснувшего стекла».

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает.
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете…
Мне нужно то, чего нет на свете.
Чего нет на свете.

Строка «мне нужно то, чего нет на свете» мгновенно стала крылатой, в ней бился главный нерв всего Серебряного века, всех поисков и метаний.

В 1904-м и 1910 годах в Москве вышли два «Собрания стихов» Гиппиус, утвердившие ее славу как декадентской поэтессы, тяготеющей к метафизическому типу мышления. Вместе с Мережковским и Розановым Гиппиус организовала «Религиозно-философские собрания», редактировала журнал «Новый путь» и выступала как авторитетный литературный критик под псевдонимом Антон Крайний. Что касается проповедуемых Гиппиус взглядов, то в конце одного века и в начале другого они колебались и менялись. Тут были и образы «снегового огня», и метафизические тупики («Не ведаю, восстать иль покориться,/ Нет смелости ни умереть, ни жить»), крайний индивидуализм и шарахание к «неохристианству», и еще многое другое. Зинаида Гиппиус изображала из себя то русалку, то сильфиду, то ведьму (целый карнавал масок), на что Владимир Соловьев отозвался сатирическими строчками в адрес Зинаиды Николаевны:

Я — молодая сатиресса,
Я — бес.
Я вся живу для интереса
Телес.
Таю под юбкою копыта
И хвост…
Посмотрит кто на них сердито —

Прохвост!..

К новациям Гиппиус и Мережковского следует отнести и идею «тройственного устроения мира»: «новый способ троебрачности», когда супруги приняли в семью «третьего» — критика и публициста Дмитрия Философова. Эта интеллектуально-амуреточная игра длилась не один год. Но все это, конечно, не главное в жизни Зинаиды Николаевны, а главное то, что в своей квартире в Петербурге, в «доме Мурузи», у Мережковских регулярно собирался весь петербургско-московский цвет общества — Брюсов, Белый, Сологуб, Розанов, Блок, Бердяев и многие другие. Встречались и обсуждали проблемы творчества и бытия символисты, религиозные философы, «петербургские мистики». Здесь вынашивались с горячим участием Гиппиус утопические проекты обновления жизни, сокращения разрыва между «мыслью» и «жизнью», поиск новых исторических форм жизнеустройства — общественных, бытовых, семейных, сексуальных. Короче, Зинаида Гиппиус в дореволюционный период вела напряженно-интенсивную салонно-творческую жизнь.

В ноябре 1917 года вся эта бурлящая литературная жизнь со спорами и поисками Истины, Добра и новой Гармонии разом рухнула, канула, исчезла. Вместо всего прежнего — мучительное выживание, страх попасть в подвалы ЧК, голод и холод. Октябрьскую революцию Гиппиус определила как «блудодейство», «неуважение к святыням», «разбой». И гневно писала в адрес большевиков:

Рабы, лгуны, тати ли —
Мне ненавистен всякий грех.
Но вас, Иуды, вас, предатели,
Я ненавижу больше всех.

Стихи Зинаиды Гиппиус того периода содрогались от боли и презрения к новой власти:

Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно жить!
Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам.
Плевки матросские размазаны

У нас по лбам.

Прежде надменная и насмешливо-остроумная, Гиппиус превратилась в женщину бешеного общественного темперамента, человека-экстрима. Она кричала, билась не за себя, а за Россию, за ее блестящую культуру, за вековые ценности, гневно возмущалась пассивностью и отстраненностью своих коллег. Вот один из таких «криков», напечатанных в третьем номере декабрьского журнала «Вечерний звон» в 1917 году:

«Наши русские современные писатели и художники, вообще всякие „искусники“, все — варвары. Варвары, как правило, а исключения лишь подтверждают правило. И чем они великолепнее кутаются в „европеизм“ — тем они подозрительнее. О, нахватавшись словечек и щеголяют, как баба Дулеба, напялившая платье от Дусе.

То, что сейчас делают с Россией, все, что в ней делается, и кто что делает — это, видите ли, их не касается. Это все „политика“, преходящие пустяки, а вот „искусство, вечность, красота“, „высокие культурные ценности“ — вот их стихия. И там они „всегда свободны духом“, независимо от того, кто сидит над ними — Каледин, Ленин или фон Люциус» (германский дипломат, сторонник заключения сепаратного мира между Россией и Германией. — *Прим. Ю.Б.*).

«О, поэты, писатели, художники, искусники, культурники! — негодовала дальше Зинаида Гиппиус. — Не обманывайте нас своей „божественностью“! Из дикарей, из руссо-монголов, в боги не прыгнешь, надо перейти через человечность, именно в культурном смысле слова. Или уж не будем лезть и льнуть к Европе, а восхвалим стихийную, земляную силу Таланта, она вне культуры, пожалуй, ярче вспыхивает, то там — то здесь, и — гаснет… „без последствий“…»

И в заключение своего «литературного фельетона» (а в хлесткости Зинаиде Николаевне не откажешь!) Гиппиус приводит примеры решительных действий Ламартина и Жорж Санд, «потому что это были люди…».

«А вы… кто вы, русские болтуны, в тогах на немытом теле? И на что вы России? Сейчас ей куда нужнее какой-то крестьянин, Сопляков, правый ср. — р., член Учр. Собрания, — нужнее, извините меня, пожалуйста!»

Но еще больше, чем «болтунов», Зинаида Гиппиус ненавидела «перебежчиков», которые переметнулись в лагерь новой власти, и этого она им простить не могла. Среди них были некогда любимый ею Александр Блок, Андрей Белый, Александр Бенуа,

Сергей Есенин, Всеволод Мейерхольд, Корней Чуковский и некоторые другие, которые вошли в составленный ею список деятелей культуры со знаком минус. Этот список Гиппиус поместила в своем дневнике, который она вела со времен Первой мировой войны. Сначала это были «Петербургские дневники», затем «Черные тетради», в них Гиппиус рисовала картину сползания России в бездну безумия. Из окна своей квартиры на Литейном она «следила за событиями по минутам». Потом дневники Зинаиды Николаевны будут изданы и обожгут всех своей яростной болью. Своим проницательным умом она увидела то, что многие не видели и не догадывались о будущем России:

> И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
> Народ, не уважающий святынь.

В конце декабря 1919 года Зинаида Гиппиус, Мережковский, Философов и сын их петербургской приятельницы Володя Злобин нелегально пересекают русско-польскую границу. В Польше они ждали свержения большевистского режима, не дождались (в Варшаве Гиппиус сотрудничала с газетой «Свобода») и уехали в Париж, где у них с дореволюционных времен сохранилась квартира (11-бис рю Колонель Бонна).

В Париже Гиппиус и Мережковский возобновили знакомство с Буниным, Бальмонтом, Шмелевым и другими, пребывавшими в статусе русских эмигрантов. Снова сборы, литературные чтения, обсуждения и споры. С 1927 года Зинаиде Николаевне удалось организовать регулярные «писательско-религиозно-философские» (И. Одоевцева) заседания общества под названием, ставшим знаменитым, — «Зеленая лампа».

К Мережковским «ходили все или почти все», как вспоминала Нина Берберова. И вновь, как в Петербурге, на этих литературных вечерах безраздельно царила Зинаида Гиппиус. К тому же она успевала много писать и издавать. В 1921 году увидел свет дневник Гиппиус 1919 года — «Черная книжка» и «Серый блокнот». Вышла книга стихов. В 1925 году в Париже вышел двухтомник мемуаров Гиппиус «Живые лица». Последней ее работой, которая осталась незавершенной, стала биографическая книга «Дмитрий Мережковский».

С годами Зинаида Николаевна менялась и как человек и как литератор. «Ее новые интонации, — писал представитель следующего поколения русской эмиграции поэт Юрий Терапиано, — подлинны, человечны, в них много примиренности и искренней мудрости».

Первым из супругов (52 года вместе!) умер Мережковский в

декабре 1941 года. Зинаида Николаевна пережила его почти на 4 года. Последние ее годы были трудными «для бабушки русского декадентства», как она шутливо называла себя. Она ушла из жизни, не дожив двух месяцев до 76 лет.

И только одно я знаю верно:
Надо всякую чашу пить — до дна, —

написала она когда-то, в молодые годы. И точно: она мужественно выпила чашу до дна.

Чаша выпита. Чаша разбита. И о чем тут разговор!.. «Я покорных и несчастных не терплю…» Это из стихотворения Гиппиус, написанного в 1907 году.

ГОРОДЕЦКИЙ
Сергей Митрофанович
5(17).I.1884, Петербург — 8.VI.1967, Обнинск Калужской обл

Городецкий был одним из многообещающих поэтов Серебряного века, но выданные ему авансы не оправдал. Начал звонко, а кончил глухо и тускло. В стихотворении «Могила поэтов» писал о Гумилеве и Есенине:

Не помня, на каком погосте
Георгиев двух кавалер,
Ты жаждешь новой жертвы в гости,
В проклятый номер Англетер.

Ты бьешь ночной метелью в окна,
И в форточку с Невы свистишь,
Чтобы поэт скорее грохнул
В свою веревочную тишь…

…Довольно. В каменные ночи

Мы новой жертвы не дадим,
Мы победим тебя. А впрочем,
Не мне ли быть твоим шестым?

Никаким «шестым» Сергей Городецкий не стал. Он благополучно дожил до глубокой старости. Плавно перешел из Серебряного века в советскую эпоху и, почти никем не замеченный, ушел из литературного мира. А начало было такое звонкое!..

Сергей Городецкий родился в семье писателя-этнографа. В детстве ощутил тягу к творчеству Николай Лесков подарил ему своего «Левшу» с автографом. Все складывалось, вроде бы, хорошо. В 1902 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и, как сам признавался в автобиографии: «Погнался за тремя зайцами: наукой, живописью и поэзией. Ни одного еще не догнал, но и ни один еще не убежал от меня». В университете подружился с Александром Блоком.

Летние месяцы 1901–1905 годов Городецкий неизменно в деревне Псковской губернии. «Все свободное время я проводил в народе, на свадьбах и похоронах, в хороводах, в играх детей. Увлекаясь фольклором еще в университете, я жадно впитывал язык, синтаксис и мелодии народных песен. Отсюда и родилась моя первая книга „Ярь“, — писал Городецкий.

Сначала стихи этого цикла появились в журнале „Весы“, а в декабре 1906 года вышла книга. Максимилиан Волошин увидел в Городецком „молодого фавна“ и так разъяснял смысл названия его книги: „Ярь — все то, что ярко: ярость гнева, зеленая краска, ярь — медянка, ярый хмель, ярь — всходы весеннего сева, ярь — зеленый цвет. Но самое древнее и глубокое значение слова „Ярь“ — это производительные силы жизни, и древний бог Ярила властвовал над всей стихией Яри…“

Ярила, Ярила,
Высокий Ярила,
Твои мы.
Яри нас, яри нас,
Очима…

Изысканных и отуманенных петербургских декадентов пленили образы древнеславянской языческой мифологии. Сборник „Ярь“ совпадал с многоцветным полуреальным образом Древней Руси, с живописными полотнами Васнецова, Кустодиева и Рериха. „Ярь“ была книгой резких красок и контрастных

звучаний. Как заметил Брюсов, „господствующий пафос „Яри“ — переживания первобытного человека, души, еще близкой к стихиям природы“. Высоко оценили „Ярь“ Вячеслав Иванов и Блок. Пожалуй, лишь Бунин не присоединился в хору похвал и отмечал, что Городецкий „просто выдумал“ имена „не существовавших никогда и ни в чьих представлениях и сказаниях демонов, богатырей, чудовищ…“.

Ярила, Ярила,
Твоя я!
Яри мя, яри мя,
Очима
Сверкая!

Литературная молодежь была в восторге от „Яри“. Далее вышла книга Городецкого „Перун“, где была продолжена языческая тема и стихи поражали богатой звукозаписью:

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.

На заседаниях на „Башне“ Вячеслав Иванов не переставал восторгаться Городецким: „Весь какой-то белый, светлый… Постоянная улыбка. Что-то очень русское, задорное. Какой-то Васька Буслаев“. Но „Буслаев“ как-то быстро отошел от символистов и начал свои идейно-художественные искания. То он — „мифотворец“, то „мистический анархист“, то „мистический реалист“. А в 1911 году Городецкий вместе с Гумилевым основал новое литературное течение — акмеизм. И все время выпускал книги.

По поводу „Ивы“ — пятой книги стихов (1913) Владислав Ходасевич отмечал: „Ива“ писана кое-как, спустя рукава, словно все дело было в том, чтобы написать побольше. Появилась ненужная риторика, безалаберная расстановка слов, повторение самого себя, избитые, затасканные образы. Очень уж не народны эти стихи, которым так хочется быть народными. Их сочинил петербургский литератор для издательства „Шиповник“. За всеми его „Странниками“ и „Горшенями“ очень уж много чувствуется размышлений о России и мало ее подлинной жизни. Не таков Сергей Городецкий, когда писал „Ярь“, не таков он был в „Перуне“. И только начиная с „Дикой воли“ при чтении его

стихов стало навертываться роковое словечко „скука“, равно убийственное и для акмеистов, и для символистов».

С 1908 года Городецкий начинает писать прозу, высказывая желание «быть одновременно прозаиком и поэтом». Однако его рассказы, повести и романы, также как и драматургические произведения, неудачны. «Талантливый поэт, но никуда не годный прозаик», — выносит приговор Борис Садовский. Всплеск ура-патриотической активности в период Первой мировой войны тоже не находит положительного отклика, общее мнение по поводу стихов Городецкого: «кровожадная барабанщина».

Из записи в дневнике Корнея Чуковского в июле 1915 года: «Видел Сергея Городецкого. Он форсированно и демонстративно патриотичен… Пишет патриотические стихи, и когда мы проходили мимо германского посольства — выразил радость, что оно разгромлено. „В деревне мобилизация — эпос!“ — восхищается. Но за всем этим какое-то уныние: денег нет ничего, а Нимфа, должно быть, не придумала, какую позу принять».

Кто такая Нимфа? Это муза («В томленье вешнем уста с устами…») и жена Городецкого: актриса Анна Козельская, на которой он женился в 1908 году и которая, судя по всему, оказывала на него сильное влияние, впрочем, об этом лучше всего осведомлены городецковеды. А я лучше приведу еще одну выдержку из дневника Корнея Чуковского от 14 февраля 1923 года:

«Городецкий! В палатах Бориса Годунова. С маленькими дверьми и толстенными стенами. Комнаты расписаны им самим — и недурно. Электр. лампы очень оригинально оклеены бумагой. Столовая темно-синего цвета, и на ней много картин. „Вот за этого Врубеля мы только что заплатили семь миллиардов“, — говорит Нимфа. Нимфа все та же. Рассказывает, как в нее был влюблен Репин, как ее обожал Блок, как в этом году за ней ухаживал Ф. Сологуб… Пришел Сергей — и показался мне гораздо талантливее, чем в последние годы. Во-первых, он показал мне свой альбом, где действительно талантливые рисунки. Во-вторых, он очень хорошо рассказывал, как спасал от курдов армянских детей — спас около трехсот. В комнате вертелся какой-то комсомолец — в шапке, нагловатый. У Нимфы на пальцах перстни — манеры аристократические — великосветский разговор. Городецкий такой же торопыга, болтун, напомнил прежние годы — милые…»

А что было до 1923 года? Отход Городецкого от акмеистов и новое «увлечение»: в 1915 году он вместе с Алексеем Ремизовым организует литературный кружок «народных писателей», куда входят Клюев, Есенин, Клычков и другие «пейзанисты», как их

называл Блок. Но вскоре союз Городецкого с Есениным и Клюевым распался. Далее последовал кавказский период Городецкого — Армения, Тифлис. В Москву он возвращается в 1921 году и начинает активно служить советской власти. Первая же послереволюционная книга называлась «Серп» — «сплошной гимн советской власти», как отмечала критика. Ради нового своего служения Городецкий вел атеистическую, антицерковную пропаганду в своем творчестве. Пытался писать и для детей — «Веснушки Ванюшки» и что-то в этом роде. Написал новый текст к опере Глинки «Жизнь за царя» под названием «Иван Сусанин». Городецкий изо всех сил пытался понравиться властям, писать по канонам социалистического реализма.

Еще одна дневниковая запись Корнея Чуковского — в ночь на 12 октября 1929 года: «Не сплю. Очень взволновал меня нынешний вечер — „Вечер Сергея Городецкого“. Ведь я знаком с этим человеком 22 года, и мне больно видеть его банкротство. Он сегодня читал свою книжку „Грань“ — и каждое стихотворение пронзало меня жалостью к нему… бессильно, бесстильно и, главное, убого. Чем больше он присягает новому строю, тем дальше он от него, — тем чужее. Он нигде, неприкаянный. Стихи не зажигают. Они — хламны, непостроены, приблизительны…» И далее Чуковский приводит слова писателя Ромашова, что Городецкий — мертвец.

«Мертвец» жил еще долго. Чуковский однажды заметил: «Вообще из всего нашего поколения мы оказались самыми прочными старцами. Но сохранились у нас — только почерки». На что Городецкий ответил:

> И разошлись: седой Корней
> И я, седин еще не знавший, —
> Вы, демон первых вешних дней,
> И я, веснянок ангел падший.

«Веснянок ангел падший» прожил 83 года и все писал и писал, однако он давно утратил серебряные крылья, и поэзия его не летала…

ГОРЬКИЙ
Алексей Максимович ПЕШКОВ
16(28).III.1868, Нижний Новгород —
18.VI.1936, Горки, под Москвой

Пожалуй, не было в русской литературе фигуры более мифологической, чем Максим Горький. Сначала миф о нем был сложен в конце XIX века, затем уже в советские времена. Начнем с последнего образа. Максима Горького представляли так: великий русский писатель, «крупнейший представитель пролетарского искусства» (Ленин), основоположник литературного социалистического реализма, родоначальник советской литературы, ближайший друг и соратник Ленина и Сталина…

«Величие Горького в том, — говорил один из вождей партии и советского государства Вячеслав Молотов, — что его светлый ум, близость к народу и самоотверженный гигантский труд над освоением достижений культуры человечества сделали его беззаветным другом трудящихся и великим вдохновителем борьбы за дело коммунизма» (Энциклопедический словарь, 1953).

Каков стиль? Стиль соцреализма, основателем которого был сам Алексей Максимович.

В 1936 году Иван Бунин написал очерк о Горьком, в котором спрашивал: «Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии… Все повторяют: „Босяк, поднялся со дна моря народного…“ Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: „Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 68-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторы; мать — дочь богатого купца-красильщика…“ Дальнейшее — никому в точности неведомо, основано только на автобиографии Горького…»

Что касается «близости к народу», то тот же Бунин писал:

«Горький уничтожал мужика и воспевал „Челкашей“, на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку».

Удивительно: Горький в молодые годы исколесил почти всю Россию, сменил множество профессий, — не то российский Франсуа Вийон, не то российский Джек Лондон (сам сделал себя), но странно то, что горьковское «хождение в народ» не сблизило его с крестьянами, которых он явно презирал. Ему не по нраву были крестьянская долготерпимость и покорность.

Босяк всея Руси был большим поклонником Фридриха Ницше и даже усы носил, как у немецкого философа. «Босяцкое ницшеанство» Горького советские критики позднее переименовали в «революционный романтизм». Ранние герои Горького — Челкаш и Мальва — суть сверхчеловеки босяцкого дна. Это импонировало самому Алексею Максимовичу: он не хотел быть заурядным человеком и простеньким писателем, а сверхчеловеком и непременно классиком русской литературы. И в отдельные периоды жизни он чувствовал себя и тем, и другим.

Как писал Георгий Адамович: «В девяностые годы Россия изнывала от „безвременья“, от тишины и покоя: единственный значительный духовный факт тех лет — проповедь Толстого — не мог ее удовлетворить. Нужна была пища погрубее, попроще, пища, на иной возраст рассчитанная, — и в это затишье, полное „грозовых“ предчувствий, Горький со своими соколами и буревестниками ворвался как желанный гость. Что нес он с собою? Никто в точности не знал, — да и до того ли было?..»

Аресты и посадки Горького в тюрьму тоже способствовали его популярности (ах, как любят у нас гонимых и преследуемых!). Об освобождении Горького из-под стражи хлопотал Лев Толстой. Он писал, что этот «полицейский набег на литературу» демонстрирует лишь «злобствующую растерянность русского

правительства и не останется безнаказанным». Когда Горький сидел в нижегородской тюрьме, в «Жизни» появилась «Песня о Буревестнике» (1901). Журнал вскоре закрыли, но «птичка» выпорхнула — «самого Горького стали называть не только „буревестником“, но и „буреглашатаем“, так как он не только возвещает о грядущей буре, но зовет бурю за собою», — доносил властям цензор.

Максим Горький шел путем, отличным от всех русских писателей-интеллигентов. Он посвятил себя ордену революционеров. Роковая связь с Лениным и большевистской партией лишь укрепляла в нем мечту о всеобщем равенстве и братстве, и вот тут Буревестник и крякнул: «Буря! Скоро грянет буря!»

Уже в Париже, вспоминая минувшие годы, Алексей Ремизов писал: «Суть очарования Горького именно в том, что в круге бестий, бесчеловечья заговорил он голосом громким и в новых образах о самом нужном для человеческой жизни — о достоинстве человека… Место его в русской литературе на виду».

Однако отношение Горького к человеку было весьма избирательным. «…Нередко смеясь над интеллигентами и приват-доцентами, склоняя одного из них к обнаженным ногам Вареньки Олесовой, он зато на испитые лица своих босяков налагал словесные румяна, — отмечал Юлий Айхенвальд и делал вывод: — Теперь босяки обуты, теперь приват-доценты обездолены. Стало ли лучше России?..»

Горький свято верил в очистительную миссию революционной бури. Персонаж его пьесы «Враги» (1906) молодой рабочий Ягодин говорит: «Соединимся, окружим, тиснем — и готово».

Соединили. Окружили. Тиснули. И одним из первых, кто ужаснулся новой жизни, был Максим Горький. Его знаменитые статьи-протесты 1917–1918 годов были собраны в сборник «Несвоевременные мысли». Политика насилия и кровь, пролитая большевиками, испугали Буревестника, хотя он и не отказался от сотрудничества с новой властью. Как писал Евгений Замятин: «Писатель Горький был принесен в жертву: на несколько лет он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи голодающей интеллигенции…»

Я не согласен с Замятиным, с его выражением «был принесен в жертву». Никакая это была не жертва, сам Максим Горький по личной воле играл роль, по выражению Ольги Форш, человека-моста. Между Веком Серебряным и Веком Железным русской культуры и государственности. Его деятельная натура жаждала

деятельности, и ему было предоставлено широчайшее поле. «Я всегда дивился, — писал Бунин о Горьком, — как это его на все хватает: изо дня в день на людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти-шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом…»

Горький после Октября постоянно заседал, организовывал, помогал и спасал многих, играя роль некоего жреца-спасателя. Он многих спас от кровавых лап ЧК, не случайно у него не сложились отношения с лидером петроградских большевиков Зиновьевым. Клевала Горького и партийная печать. Журнал «На посту» прямо заявлял, что «бывший Главсокол ныне Центроуж».

В конце концов Горького спровадили за границу, там он осмысливал пережитое в революционной России и хмуро писал Ромену Роллану: «…меня болезненно смущает рост количества страданий, которыми люди платят за красоту своих надежд».

В его итальянском доме всегда находились постоянные жильцы, гости и приживальщики. За помощью к Алексею Максимовичу обращались многие эмигрантские писатели. Он всем помогал, всех кормил, а на себя тратил ничтожную малость: папиросы да рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади. Все это дало повод съехидничать Василию Розанову в одном из писем: «Наш славный Massimo Gorki».

И все же Россия тянула к себе Горького, к тому же новый хозяин страны Сталин предпринимал немалые усилия заполучить писателя. Горький со своей популярностью, авторитетом, влиянием и значением в мировой культуре должен был украсить фасад СССР. Гуманизм Горького, по идее Сталина, должен был прикрыть преступления режима.

Интересно читать переписку Сталина и Горького. Писатель написал вождю более 50 писем, а всего, кстати, эпистолярное наследие Горького насчитывает гигантскую цифру — 10 тысяч писем, — из которых до сих пор не опубликовано более 15 процентов.

Поначалу Горькому по возвращении на родину все понравилось. Он поверил даже в сфабрикованные политические процессы. «Если враг не сдается — его уничтожают» — печально знаменитая статья Горького в «Правде» от 15 ноября 1930 года. Горький дружил с Ягодой. «Осветил» рабский труд заключенных на Беломорканале. Провел первый съезд советских писателей (1934). Он много сделал позитивного для Сталина и Страны Советов. Был за это возвеличен и восхвален (город Горький,

улица Горького, театр имени Горького и т. д.). Жил Горький в своеобразной золоченой клетке, бдительно охраняемой НКВД, многое не увидел и многого не понял, но постепенно начал прозревать; не случайно, что он так и не написал панегирик о Сталине, которого от него так ждали. Рука не поднялась?..

«Предлагаю назвать нашу жизнь Максимально Горькой», — как-то пошутил Карл Радек. Но писателю было не до шуток. Отношения с вождем становились все более напряженными, смею предположить, что оба — Горький и Сталин — разочаровались друг в друге.

Горький дважды пережил драму личного сознания: в начале революции в 1917–1918 годах и в середине 30-х на взлете строительства социализма. Судя по его письмам и высказываниям, он горько жалел, что стал соавтором и соучастником величайшего иллюзиона XX века — строительства государства справедливости и правды, счастливого единения рабочих и крестьян при массовом истреблении остальных «враждебных классов».

Буревестник умер в клетке. В сетях. Скованным и фактически замурованным. Он выполнил свою историческую миссию «освящения» революций и вынужден был покинуть сцену. Роль сыграна. Мавр оказался больше не нужным.

Христианский мыслитель, историк культуры и, естественно, эмигрант Георгий Федотов в 1936 году откликнулся статьей «На смерть Горького». «…Горький никогда не был русским интеллигентом, — писал Федотов. — Он всегда ненавидел эту формацию, не понимал ее и мог изображать только в грубых карикатурах… Горький не был рабочим. Горький презирал крестьянство, но у него всегда было живое чувство особого классового самосознания. Какого класса?.. Тех классов или тех низовых слоев, которые сейчас победили в России. Это новая интеллигенция, смертельно ненавидящая старую Россию и упоенная рационалистическим замыслом России новой, небывалой. Основные черты нового человека в России были предвосхищены Горьким еще 40 лет тому назад. Он всегда был с еретиками, с романтиками, с искателями, которые примешивали крупицу индивидуализма к безрадостному коллективизму Ленина… Добрая прививка ницшеанства в юности сблизила Горького с Лениным в этой готовности бить дураков по голове, чтобы научить их уму-разуму. Но в отличие от Ленина, Горький не заигрывал с тьмой и не раздувал зверя. Тьме и зверю он объявлял войну и долго не хотел признавать торжества победителей. Горький эпохи Октябрьской революции (1917–1922) — это апогей человека. Никто не вправе забыть того, что

сделал в эти годы Горький для России и для интеллигенции…»

Говоря о 30-х годах, Федотов восклицает: «Как он мог не заметить страданий народа, на костях которого шла стройка?.. Что это? Слепота? Наивность?.. В каком-то смысле слепота усталости, которая не хочет правды. Слишком горька правда, а старый человек хочет успокоиться на подушке „достижений“…»

Федотову было легко в эмиграции писать все, что он знал и думал. Но Горький жил в центре ГУЛАГа, о чем кричит одна из его записок: «Как собака: все понимаю, а молчу».

Можно согласиться с выводом Дэна Левина в книге «Буревестник» (1965), что Горький осознал, что прожил жизнь «не на той улице», и вложил это трагическое признание в уста Егора Булычева.

Как у человека, личности, у Максима Горького трагическая судьба. А как писателя? Тоже непростая. Он хотел писать, как Бунин и Леонид Андреев, а писал, естественно, как Максим Горький, как моралист и дидактик. «Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха, — отмечал Юлий Айхенвальд. — Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и шири».

Мнение Бориса Зайцева: «Литературно „Буревестник“ убог… невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-разбойник. Посвист у него довольно громкий…»

Другие оценки: реалист, бытовик… Лучшая книга Горького, на мой взгляд, роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина» — история головокружительных прыжков русской интеллигенции. Но вот Борис Парамонов думает иначе: «мемуары плебея-комплексанта». Впрочем, горьковский вопрос: «А был ли мальчик?»

ГОФМАН
Виктор-Бальтазар-Эмиль Викторович
14(26).V.1884, Москва — 13.VIII.1911, Париж

У Оффенбаха есть опера «Сказки Гофмана», ее либретто написано по новеллам печального романтика и едкого сатирика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В России «Сказки Гофмана» были поставлены в Мариинском театре 17 февраля 1899 года. Отечественному поэту Серебряного века Виктору Гофману было на год премьеры 15 лет, и он писал свои поэтические «сказки». И верил:

Счастье придет.
Дни одиночества, дни безнадежности,
Дни воспаленной тоскующей нежности,
Счастье как светом зальет, —
Счастье придет…

Естественно, никакое счастье не пришло. Но все по порядку. Виктор Гофман родился в семье австрийского подданного,

богатого мебельного фабриканта и декоратора. Учился в 3-й московской гимназии, которую окончил в 1903 году с золотой медалью.

«Я вспоминаю прозрачную весну 1902 года, — можно прочитать у Ходасевича. — В те дни Бальмонт писал „Будем, как Солнце“ и не знал, и не мог знать, что в удушливых классах 3-й московской гимназии два мальчика: Гофман Виктор и Ходасевич Владислав читают, и перечитывают, и вновь читают и перечитывают всеми правдами и неправдами раздобытые корректуры скорпионовских „Северных Цветов“. Вот впервые оттиснутый „Художник-дьявол“, вот „Хочу быть дерзким“, которому еще только предстоит стать пресловутым, вот „Восхваление луны“… Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы. Шестнадцать лет, солнце светит, а в этих стихах целое откровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычайно!.. А Гофман, стараясь скрыть явное сознание своего превосходства, говорит мне: „Я познакомился с Валерием Брюсовым“. Ах, счастливец!..»

Да, юный Гофман сблизился с Брюсовым и Бальмонтом и считал их своими литературными учителями, а по своей юности приобрел репутацию юноши-пажа при мэтрах символизма. Гофман рано начал печатать стихи, что, однако, не помешало его учебе на юридическом факультете Московского университета. Он учился сам и учил других в своих рецензиях и даже написал теоретическую статью «Что есть искусство». Кстати, символизм Гофман трактовал «как систему выражения невыразимого».

В январе 1905 года вышел первый сборник стихов Гофмана «Книга вступлений. Лирика. 1902–1904». Одни рецензенты увидели «гибкий и свежий талант», другие, и среди них Брюсов, подвергали творчество Гофмана критике: «…он не ищет новых форм, он однообразен… своего стиля у него нет» и т. д.

Да, форма, стиль, темы — все старые: любовь, любовь и любовь.

О, дева, нежная, как горние рассветы,
О, дева, стройная, как тонкий кипарис,
О, полюби любви моей приветы,
О, покорись…

В «Силуэтах русских писателей» Юлий Айхенвальд любовно писал: «Виктор Гофман — это, прежде всего, влюбленный мальчик, паж, для которого счастье — нести шелковый шлейф королевы, шлейф того голубого, именно голубого платья, в каком он представляет себе свою молодую красавицу. Даже не королева

она, а только инфанта, и для нее, как и для весеннего мальчика, который ее полюбил, жизнь и любовь — еще пленительная новость. В старую любовную канитель мира Гофман вплетает свою особенную, свою личную нить; он начинает, удивленно и восхищенно, свой независимый роман и, может быть, даже не знает, что уже и раньше на свете столько раз любили и любить переставали. Это все равно: для него пробудившееся чувство имеет всю прелесть новизны, всю жгучесть первого интереса…»

Прервем Айхенвальда и процитируем одно из стихотворений Виктора Гофмана:

> У меня для тебя столько ласковых слов и созвучий,
> Их один только я для тебя мог придумать, любя.
> Их певучей волной, то нежданно-крутой, то ползучей, —
> Хочешь, я заласкаю тебя?
>
> У меня для тебя столько есть прихотливых сравнений,
> Но возможно ль твою уловить, хоть мгновенно, красу?
> У меня есть причудливый мир серебристых видений —
> Хочешь, к ним я тебя отнесу?
>
> Видишь, сколько любви в этом нежном, взволнованном взоре?
> Я так долго таил, как тебя я любил и люблю.
> У меня для тебя поцелуев дрожащее море, —
> Хочешь, в нем я тебя утоплю?

А теперь продолжим почти панегирик Юлия Айхенвальда про поэта: «…Душа его, полная стихов, поет свои хвалебные мелодии, и проникает их такая интимная, порою фетовская музыка. В ее звуках сладострастие рисуется ему, как девочка-цветок в сиреневом саду, как живая мимоза, которая только мальчику, певучему, мальчику влюбленному позволила прикосновения и сама в ответ на них „задрожала нежной дрожью“. Ребенок только что перестал быть ребенком. Юный ценитель нежных ценностей, бессознательный грешник, Адам-дитя, он должен будет уйти из Эдема, — неумолим строгий и старый Отец. Но пока стоит еще отрок на пороге рая…»

Но рано или поздно порог надо переступить. Переступил и Гофман: разошелся с родителями и стал сам зарабатывать деньги газетной поденщиной. Или, выражаясь словами Айхенвальда, покинул «обольстительные сады Эдема» и вышел на

«негостеприимные стогны мира». И сразу ощутил холод большого города, разъединенность людей и их недружелюбие.

Вечер. Вечер. Не надо рыданий.
Город спит. Остывает гранит.
Над опаловой тканью закатных мерцаний
Опускается облачный щит.

Я искал вдохновений, славословящей муки,
Я хотел быть наперсником грез.
Опускаются ветви, как скорбные руки
Зеленеющих, тонких берез.

Не горят, не сверкают кресты колоколен,
Точно мертвые — спят наверху.
Мне не надо бороться. Я болен, я болен.
Обрученный и верный греху…

Эти строки из второй книги Виктора Гофмана «Искус», которая вышла в конце 1909 года. В ней Гофман уже не «дамский поэт», по определению Городецкого, более того, звучат мотивы явного отторжения, в частности, в стихотворении «Ушедший»:

Проходите, женщины, проходите мимо.
Не маните ласками говорящих глаз.
Чуждо мне, ушедшему, что было так любимо.
Проходите мимо. Я не знаю вас…

И концовка стихотворения, новая вера:

Горе всем припавшим к соблазнам и покою,
Горе полюбившим приветную тюрьму.
Горе всем связавшим свою судьбу с чужою,
Не понявшим счастье всегда быть одному!

Другими словами, прощание с «упоительными напевами» и «душными грезами по ночам» — весь этот любовный ассортимент Гофман передал (естественно, как бы) Игорю Северянину, который весьма восторгался его стихами. Сам Виктор Гофман от стихов переходит к прозе и к переводам (переводит Мопассана, Генриха Манна). Но как-то не может окончательно определиться с

самим собой и найти свое место. В письме к Шемшурину от 6 января 1910 года он признается: «Я… все больше как-то отстаю от декадентов и на плохом у них здесь счету. И с реалистами тоже дружбы не налаживается…»

В июне 1911 года Виктор Гофман отправляется в Европу, а в августе в Париже кончает жизнь самоубийством. Роковой выстрел. И покой…

Не надо теперь никаких достижений,
Ни истин, ни целей, ни битв…

Жизнь Виктора Гофмана завершилась на отметке «27 лет». Через год, в 1912 году посмертная публикация книги «Любовь к далекой. Рассказы и миниатюры. 1909–1911 гг.». Критики положительно оценили книгу и вздохнули по поводу того, что ее автор не успел полностью выразить себя в прозе, не сумел открыть новых граней и новых перспектив.

«Был он задумчивый, грустный, изящный… — вспоминал Юлий Айхенвальд Виктора Гофмана. — В огромном городе, в Париже, он не выдержал и покончил с собой. Жизнь выпила его душу, а без души, с вечной тоскливостью и ощущением пустоты, он жить не захотел».

В молодые годы (до своих полных 27 лет) Гофман написал:

Я боюсь умереть молодым,
На заре соблазнительных грез,
Не упившись всем счастьем земным,
Не сорвавши всех жизненных роз…

Не упился. И не сорвал. А больно укололся о шипы.

ГУМИЛЕВ
Николай Степанович
3(15).IV.1886, Кронштадт —
25(?).VIII.1921, близ Петрограда

По сей день Гумилев — самый экзотический, редкий поэт. Действительно, знание Гумилева дальше «конквистадора в панцире железном», капитанов, рвущих из-за пояса пистолет, «так, что сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет», да «изысканного жирафа», который бродит на «озере Чад», не идет. И это не удивительно. Поэт только недавно вернулся к читателям после многих десятилетий советского забвенья. Теперь он с нами, но по-прежнему в творчестве Гумилева читается лишь поверхностный экзотический слой.

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны…

Так признавался поэт. Но вместе с тем капитан Серебряного века (а Гумилева можно назвать именно так) тяготел к бурям и иным мирам. Он увлекался восточной мистикой и восточными

культами.

Все мы, товарищи, верим в море,
Можем отплыть в далекий Китай.

Бродяга и путешественник — по странам и времени, континентам и эпохам, — «поэт географии» (Айхенвальд) Гумилев прославлял в стихах скитальца морей Синдбада, скитальца любви Дон Жуана и скитальца вселенной Вечного Жида. Эти три имени могли бы войти в геральдику его поэзии. В пантеоне его богов мирно уживались и христианский Бог, и Будда, и Аллах, и боги черной Африки, и всевозможные причудливые духи. Гумилев верил в карму (судьбу) и сансару (перевоплощение) и тяготел к астральному мистицизму. Все это, вместе взятое, позволило Блоку и Горькому считать Гумилева иностранцем в русской литературе, он, по его же признанию, «чужих небес любовник беспокойный». И вместе с тем Гумилев — поэт русский. Пусть странный, но русский.

Открытый лоб — как свод небесный,
И кудри — облака над ним;
Их, верно, с робостью прелестной
Касался нежный серафим.

И тут же, у подножья древа,
Уста — как некий райский цвет,
Из-за какого матерь Ева
Благой нарушила завет.

Все это кистью достохвальной
Андрей Рублев мне начертал,
И в этой жизни труд печальный
Благословленьем Божьим стал.

Биография Николая Гумилева ныне хорошо известна. Царскосельская гимназия, преклонение перед Иннокентием Анненским. В последнем классе Гумилев выпустил первый сборник стихов «Путь конквистадоров». Продолжение образования во Франции. Вторая книга — «Романтические цветы». Путешествие по Африке. Сотрудничество с журналом «Аполлон». В 1910 году выходит третья книга — «Жемчуга». Гумилев

становится лидером нового литературного течения — акмеизма. Об этом надо рассказать чуть-чуть подробнее.

Акмеизм рождался под насмешки: никто не хотел принимать его всерьез, но из акмеизма вышли три крупнейших поэта России: Гумилев, Ахматова и Мандельштам. Да еще с десяток других: Кузмин, Городецкий, Нарбут, Зенкевич, Георгий Иванов, Шенгели, Оцуп, Адамович и другие.

Кризис символизма (который отчасти возник из-за споров между символистами) привел к образованию литературной группы «Цех поэтов» (первое собрание состоялось 20 октября 1911 года). Руководителями цеха были избраны Сергей Городецкий и Николай Гумилев, секретарем — Анна Ахматова. В «Цехе поэтов» было поднято «новое поэтическое знамя» — акмеизм. Гумилев отмечал, что символизм неотвратимо «падает», потому что скучен, абстрактен, нецеломудрен и холоден, а вот акмеизм — это совсем другое дело. В статье «Наследие символизма и акмеизм» (журнал «Аполлон», 1913) Гумилев провозгласил четыре эстетических принципа, каждый из которых связан с тем или иным классиком: соединение внутреннего мира человека (Шекспир) с «мудрым физиологизмом» (Рабле) и безоговорочного жизнеприятия (Франсуа Вийон) с совершенством художественных форм (Теофиль Готье).

Во время революции «Цех поэтов» распался. В 1921 году его воскресил Гумилев. Все эти годы шли ожесточенные споры между Блоком и Гумилевым, старым кумиром читающей публики и новым. Как отмечал Георгий Шенгели: «Волевой закал гумилевских стихов быстро сделал его одним из любимых поэтов молодежи».

Корней Чуковский так описывал литературную дуэль: «Гумилев со своим обычным бесстрашием нападал на символизм Блока:

— Символисты — просто аферисты. Взяли гирю, написали на ней „десять пудов“, но выдолбили всю середину, швыряют гирю так и сяк, а она пустая.

Блок однотонно отвечал:

— Но ведь это желают все последователи и подражатели — во всяком течении. Символисты здесь ни при чем. Вообще же то, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы как-то слишком литератор… Вы француз?..»

Блок и Гумилев. Две противоположности русской поэзии. Блок — сама стихия лиризма. Гумилев, напротив, чужд лиризму. Он тяготел к чистой изобразительности, не случайно стихи Гумилева зрительно воспринимаются как полотна живописца. Его

любимый прием — рассказать «историю» или описать нечто: жирафа, портовую таверну, Венецию, осенний день — что угодно…

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать долго, долго,
Припоминая вечера,
Когда не мучило «вчера»
И не томили цепи долга,

И в море врезавшийся мыс,
И одинокий кипарис,
И благосклонного Гуссейна,
И медленный его рассказ,
В часы, когда не видит глаз
Ни кипариса, ни бассейна…

Это начало стихотворения «Ослепительное» из книги «Чужое небо» (1912). Но вся эта живописность и образность поэзии Гумилева носит в себе некий секретный шифр, для раскодирования которого нужен именно оккультный ключ. И вообще сущность гумилевского поэтического мировидения, как отмечают специалисты, это — религиозно-эзотерическая, апокалипсически-утопическая, гностически-оккультистская. Трепетное благоговение перед астральным миром, перед сверхмиром, поиск Бога и запредельного рая (поэма «Сон Адама», 1910 и притча «Блудный сын», 1912). Мотив бренности всего сущего — один из главных мотивов в поэтической музыке Гумилева.

Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Все мы — смешные актеры
В театре Господа Бога.

Это первые строки стихотворения «Театр», а вот и концовка:

Боль вознеслася горою,
Хитрой раскинулась сетью,
Всех, утомленных игрою,
Хлещет кровавою плетью.

Множатся пытки и казни…
И возрастает тревога,
Что, коль не кончится праздник
В театре Господа Бога?!

Тема мужества и страданий, гибели и смерти — это гумилевские основные темы. И еще — любовь. У Николая Гумилева довольно длинный донжуанский список, но вот вопрос: что он искал в любви? Отнюдь не «чувственную вьюгу», если воспользоваться словами Есенина. Гумилев искал вечно ускользающий идеал. Сам он писал:

Моя мечта надменна и проста:
Схватить весло, поставить ногу в стремя,
И обмануть медлительное время,
Всегда лобзая новые уста…

Уже в молодые годы у Гумилева было ощущение любви в неразрывной связи со смертью, ощущение жизни как сновидения, как иллюзии:

Льется ль песня тишины
Или бурно бьются струи,
Жизнь и Смерть — ведь это сны.
Это только поцелуи.

Первая настоящая любовь и первое любовное крушение — Анна Ахматова. Любовь получилась странной, брак еще более странным. Два поэта в одной берлоге? Конечно, они не ужились. «Муж и жена пишут стихи — это смешно, — говорил Гумилев Ахматовой, — у тебя столько талантов. Ты не могла бы заняться каким-нибудь другим видом искусства? Например, балетом…» Позднее Гумилев признал в Ахматовой поэта. Но было уже поздно.

Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?

Свидетель отношений Гумилева и Ахматовой Сергей Маковский писал: «От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительно-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень…»

Вторая жена Гумилева — Анна Энгельгардт. Анна Вторая была полной противоположностью Анны Ахматовой. Среди других увлечений и романов Гумилева отметим Елизавету Дмитриеву (Черубину де Габриак), Татиану Адамович, Ларису Рейснер, Елену Дебюше из Парижа («Сердце прыгает, как детский мячик…») и других. Последние увлечения — Берберова и Одоевцева, но это уже было после революции.

Революцию Гумилев не то что не принял, а скорее не заметил. По словам Ходасевича, Гумилев проходил по залам Зубовского особняка, где в 1920 году был устроен бал Института истории искусств, и весь его вид говорил: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхали».

Вот и Ирина Одоевцева вспоминает: «Гумилев был мальчишкой в свои 36 лет. Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка, который хотел быть всегда и везде первым. Конечно, он никакой не политик, никакой не конспиратор, он был прежде всего поэтом».

Гумилев активно занимался творчеством. В 1920 году он написал свой знаменитый «Заблудившийся трамвай», в котором не мог разрешить противоречие бытия — «здесь» и «там», хотя и утверждал:

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

В 1921 году вышел один из лучших гумилевских сборников «Огненный столп». Гумилев окружил себя творческой молодежью («щебечущий выводок филологичек», по выражению Андрея Белого) и организовал «Цех поэтов». «Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера» (Виктор Шкловский). Для молодых поэтов он был «великий Гум!».

Одоевцева вспоминает: «В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное… Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с

белым рисунком по подолу, колыхающейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид».

Николай Гумилев хотел донести до молодых стихотворцев «живое слово». У власти была другая задача: поиск врагов. Во враги и попал «филолог, беспартийный, бывший офицер» Николай Гумилев. Его расстреляли вскоре после ареста. Поэт это предвидел: «…умру я не в постели, при нотариусе и враче».

Спустя год после гибели Гумилева Лев Троцкий отмечал в «Правде», что Гумилев и его сподвижники по поэзии «не творцы жизни, не участники в созидании ее чувств и настроений, а запоздалые пенкосниматели, эпигоны чужой кровью созданных культур». И впрямь, советской власти не были нужны ни Александр Блок, ни Николай Гумилев (оба ушли из жизни в августе 1921 года). В идеологический и культурный интерьер новой России вписывались лишь агитки Демьяна Бедного и Владимира Маяковского.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию духа купить билет.

Серебряный век кончился. «Индию духа» закрыли и никаких билетов туда не продавали. И в этом смысле смерть Николая Гумилева выглядела закономерной.

ДОН-АМИНАДО
Аминад Петрович (Аминодав Пейсахович) ШПОЛЯНСКИЙ
24. IV(7.V).1888, Елизаветград Херсонской губернии, — 14.XI.1957, Париж

Картинка о Серебряном веке:

«Что ни человек, то толстый журнал, или Альманах „Шиповника“, или сборник „Знания“ в зеленой обложке.

Арцыбашев, Телешов, Иван Рукавишников.

Алексей Толстой об руку с Наталией Крандиевской.

Сергей Кречетов с женой, актрисой Рындиной.

Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины.

Осип Андреич Правдин, обязательный кружковский заседатель.

Рыжебородый Ив. Ив. Попов.

Морозовы, Мамонтовы, Бахрушины, Рябушинские, Тарасовы, Грибовы — все это московское, просвещенное купечество, на все откликающееся, щедро дающее когда угодно и на что угодно — на Художественный театр, на Румянцевский музей, на „Освобождение“ Струве, на „Искру“ Плеханова, на памятник

Гоголю, на землетрясение в Мессине…»

Так вспоминал об ушедшем времени Дон-Аминадо. Едкий сатирик и задушевный лирик одновременно. Веселый и печальный. Грустный и насмешливый, он вздыхал:

Если б можно было счастье
Удержать на полустанке
И сказать ему: останься!
И останься навсегда…

С Дон-Аминадо дружил Бунин, он считал его «одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение».

Незадолго до отъезда в СССР Марина Цветаева писала в письме к Дон-Аминадо: «Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт… и куда больший поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше лирической жилы, чем во всем их серьезе».

И далее признавалась Цветаева: «Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал на проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где все не на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат…»

Сатира на Руси — это всегда смертельный номер. Любая власть не приемлет ни шуток, ни тем более насмешек. Дон-Аминадо все прекрасно понимал:

Знаю, кесарево кесарю,
Но позвольте доложить,
Что сейчас любому слесарю
Легче кесаря прожить.

Поэт-акробат, родившийся в еврейской мещанской семье, принял звучный псевдоним на испанский манер: Дон-Аминадо. Яркий псевдоним как вызов затхлой действительности. Дон-Аминадо учился на юридическом факультете Одесского университета, но увлекся журналистикой, укатил в Москву и стал жить исключительно на литературные заработки. Писал стихи, юморески, пародии. Печатался в «Нови», в «Утре России», «Будильнике», «Сатириконе», «Кулисах» и в других многочисленных газетах и журналах дореволюционной России. О том периоде уже в эмиграции Дон-Аминадо язвительно

вспоминал:

Расточали каждый час.
Жили скверно и убого.
И никто, никто из нас
Никогда не верил в Бога.
Ах, как было все равно
Сердцу — в царствии потемок!

Пили красное вино
И искали Незнакомок.
Возносились в облака.
Пережевывали стили.
Да про душу мужика
Сколько слов наворотили…

Не жаловал Дон-Аминадо интеллигенцию, без умолку говорящую о народе, о его спасении, а на самом деле весьма далекую от народных нужд:

Был мужик, а мы — о грации.
Был навоз, а мы — в тимпан!
Так от мелодекламации
Погибает даже нация,
Как лопух и как бурьян.

Февральскую революцию Дон-Аминадо встретил, как и многие другие, восторженно (думал, что это очистительная гроза). Но грянул Октябрь — и все было расставлено по местам. 20 января 1920 года на обгоревшем французском пароходе «Дюмон Д'Эрвиль» Дон-Аминадо отплыл в Константинополь, вспоминая мандельштамовские строки: «Здесь обрывается Россия/ Над морем черным и глухим». А далее — Марсель, Париж. «Дым отечества» — так назвал Дон-Аминадо сборник стихов и прозы, вышедший в Париже в 1921 году. В Россию Дон-Аминадо уже не вернулся.

Но именно в изгнанье ярко вспыхнула его литературная звезда. Стихи, фельетоны и книги Дон-Аминадо шли на ура. Сам он стал душой литературной парижской эмиграции. «…Хорошо очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная в движениях и словах свобода, словно вызывающая на поединок — так описывал Дон-Аминадо его знакомый по эмиграции Леонид Зуров. —

Умный, находчивый, при всей легкости настороженный. Меткость слов, сильный и веселовластный голос, а главное, — темные, сумрачные глаза, красивые глаза мага или колдуна».

Дон-Аминадо знал цену жизни и понимал всю ее сложность и трагичность, но всегда всем советовал: «Старайтесь улыбаться…» Сам он улыбался в стихах, хотя улыбка порой выходила печальной. Прочитайте его «Утешительный романс» — и вы поймете все сами:

Что жалеть? О чем жалеть?
Огонек горит, мигая…
Надо все преодолеть,
Даже возраст, дорогая!
Что есть годы? Что число?
Как связать нас может сроком?
Лишь бы только нас несло
Нескончаемым потоком.
Сколько раз, свои сердца
Не спасая от контузий,
Мы шатались без конца
По республикам иллюзий.
Сколько тягостных колец
Все затягивалось туже!
Так уж худо, что конец.
А глядишь… назавтра — хуже.

Эмигрантская жизнь — тяжкая жизнь. Люди, лишенные родины, никак не могли примириться с участью изгнанников и ожесточенно спорили о «способах спасения Руси» и о своем возвращении. Дон-Аминадо не разделял ни этих надежд, ни этих планов. Он строго судил своих соотечественников за политическую возню и грызню между собою. «Вся ваша поэзия, — писала поэту Цветаева, — самосуд эмиграции над самой собой…»

Когда-то до революции 1917 года вся литературная богема упивалась «Ананасами в шампанском» Игоря Северянина. В эмиграции Дон-Аминадо пишет желчный ответ тем, кто никак не может забыть прежнюю роскошь жизни:

Не старайся постигнуть. Не отгадывай мысли.
Мысль витает в пространствах,
но не может осесть.
Ананасы в шампанском окончательно скисли,
И в таком состоянии их немыслимо есть.

Надо взять и откинуть, и отбросить желанья,
И понять неизбежность и событий и лет.
Ибо именно горьки ананасы изгнанья,
Когда есть ананасы, а шампанского нет.

Что ж из этой поэмы, господа, вытекает?
Ананас уже выжат, а идея проста:
Из шампанского в лужу — это в жизни бывает,
А из лужи обратно — парадокс и мечта!..

В 1935 году в Париже вышла книга Дон-Аминадо «Нескучный сад», которая содержала наряду со стихами и циклы афоризмов под названием «Новый Козьма Прутков». В 1951 году была издана книга «В те баснословные годы». И вновь стихи и афоризмы. Вот несколько на выбор:

— Счастливые поколения занимаются шведской гимнастикой, несчастливые — переоценкой ценностей.

— Ложась животом на алтарь отечества, продолжай все-таки думать головой.

— Вставайте с петухами, ложитесь с курами, но остальной промежуток времени проводите с людьми.

В 30 — 40-е годы Дон-Аминадо много сделал для сближения русских с французами и отстаивал демократические ценности, за что был награжден орденом Почетного легиона. Внимательно следил он за событиями в советской России. Ужасался тоталитарным порядкам.

И мир рукоплещет правителю смелому.
И город заклеен большими афишами,
В которых написано черным по белому,
Что рукоплескавшие будут утешены,
Как лучший и подлинный цвет человечества…
А все несогласные будут повешены
Для полного счастья и пользы отечества…

Это строки из стихотворения «Верховный Совет», напечатанного в «Русском голосе» в Нью-Йорке в сентябре 1940 года (Дон-Аминадо активно печатался в Америке). В 1954 году в Нью-Йорке вышла книга мемуаров Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути» (в России она была издана впервые в 1991 году). Искрометная книга, одна из лучших в жанре воспоминаний.

Бури. Дерзанья. Тревоги.
Смысла искать — не найти.
Чувство железной дороги…
Поезд на третьем пути.

«Поезд на третьем пути» — это и своеобразная энциклопедия Серебряного века. Наблюдения. Размышления. Пряные характеристики современников. Вначале я привел картину описания некоторых именитых лиц, а теперь продолжим цитату:

«…И за ними целая ватага молодых, начинающих, ревнующих, соревнующихся поэтов, литераторов, художников, актеров, а главным образом, присяжных поверенных и бесчисленных, надеющихся, неунывающих „помприсповов“.

Декольтированные дамы, в мехах, в кружевах, в накидках, усердные посетительницы первых представлений балета, оперы, драмы, комедии, не пропускающие ни одного вернисажа, ни одного благотворительного базара, ни одного литературного события, от юбилея до похорон включительно…»

Не знаю, как вам, современный читатель, но мне нравится этот широкий мазок Дон-Аминадо. В последние годы он жил уединенно и скончался в возрасте 69 лет.

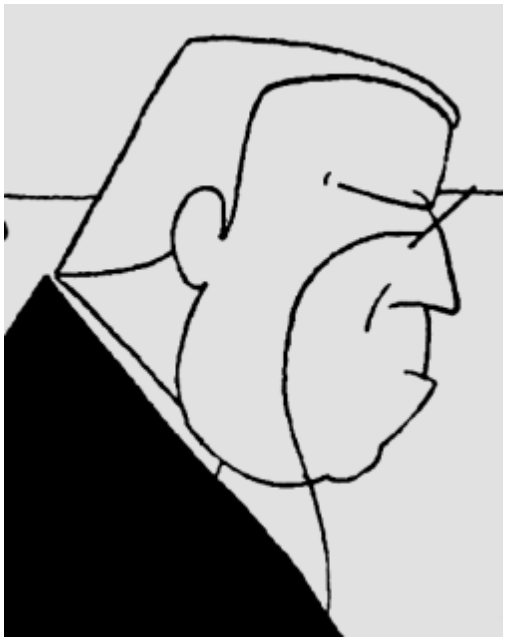
Была весна, которой не вернуть…

Так писал Дон-Аминадо в стихотворении «Уездная сирень» (1929). Грустно все это. Навевает печаль и другое заключение поэта-сатирика:

О смысле дали мировой
Власть идей необорима:
— От Дахау до Нарыма
Пересадки никакой.

И все же будем верить. В пересадку. В оазис. В исключение. А иначе жить трудно.

ДОРОШЕВИЧ
Влас Михайлович
15(17).I.1864, Москва — 20.II.1922, Петроград



Влас Дорошевич — «король фельетона», газетный писатель, критик и публицист. Его судьба — как захватывающий очерк в газете. Полугодовалого мальчика оставила в пустом и холодном доме мать, писательница и журналистка Александра Соколова, скрывавшаяся от полиции. Ребенка подобрал и усыновил бездетный коллежский секретарь Михаил Дорошевич, дав ему имя Влас, ибо к одеяльцу малыша была прикреплена записка: «Ребенок еще не крещен, прощу дать ему имя Власа, в честь Блеза Паскаля». Так появился в миру Влас Дорошевич.

Семья Дорошевича воспитывала неожиданно приобретенного сына, но через несколько лет появилась законная мать, началась судебная тяжба, в конечном счете Власа отдали матери, но отношения между ними никогда не были по-настоящему родственными.

Помимо семейной драмы, Влас Дорошевич прошел и суровую жизненную школу — ему пришлось быть землекопом и

грузчиком, актером и корректором, жить впроголодь и не иметь крыши над головой. Но он не сломался, нашел себя и свое место в жизни. Семнадцати лет Дорошевич был принят в «Московский листок», который издавал Николай Пастухов. Газета стала призванием Дорошевича. Он проявил себя талантливым и хватким репортером, весьма чутким на слово. Со временем хорошо стал разбираться в социальной проблематике, проявил себя как судебный публицист, приобретя славу «четвертого судьи» и «второго прокурора».

Дорошевич выступал во всех журнальных жанрах, от фельетонов до театральных рецензий. Сотрудничал с журналами «Будильник» и «Развлечение», в московских «Новостях дня», в «Одесском листке», в петербургской газете «Россия». Именно «Россия» не без усилий Дорошевича приобрела славу «лидера русского либерализма». Дорошевич выделялся среди многочисленных «щелкоперов», пишущей братии мыслью, стилем, талантом. Не случайно его ценили Лев Толстой, Чехов, Горький, Стасов. Владимир Короленко, считавшийся в ту пору олицетворенной совестью русской интеллигенции, так писал о Дорошевиче:

«Это человек с несомненным талантом, но истинный „сын своей матери“, уличной прессы. Хлесткий, подчас остроумный, совершенно лишенный „предрассудков“… Гордость этих господ состоит в том, что они могут „разделать“ кого угодно и за что угодно. Здесь не спрашивают ни убеждений, ни совести, ни защиты тех или иных интересов…»

Да, иногда Дорошевич кое-кого «раздевал», но «раздевали» и его, как, к примеру, действовал его идейный противник, тоже небесталанный Виктор Буренин, назвавший Дорошевича Кабакевичем.

В конце 90-х годов Дорошевич — один из наиболее популярных журналистов. Он совершил путешествия на Сахалин, в Европу и в Америку. Его путевые впечатления были глубоки и интересны. Дорошевич выступал за серьезную аналитическую публицистику и боролся против откровенно бульварной прессы. То, что писал Дорошевич, всегда читалось взахлеб, ибо его стиль был афористичен и лаконичен. Именно Дорошевич ввел так называемый «стиль короткой строки». Вот небольшой примерчик из фельетона Дорошевича «Последний русский актер»:

«Любопытно набросать силуэт последнего русского актера. Новорожденного. Ему 20 лет…

Он особенно любит говорить о театре.

Больше даже говорит, чем играет…

О старых актерах он слушает со снисходительной улыбкой.

О старом театре тоже…

Новый актер клянется Комиссаржевской, которой никогда не видел, бредит Гордоном Крэгом, о котором знает мало, и Максом Рейнгардтом, о котором, собственно, ничего не знает…»

Весомость и маститость Влас Дорошевич обрел довольно быстро. Как отмечал Дон-Аминадо, «царит, управляет, всех и везде под себя гнет, орет и мордует Влас Дорошевич, редактор и журналист, Богом отмеченный». С неизменным широким черным шнуром-пенсне, которое он то снимал, то снова водружал на свой большой мясистый нос…

После закрытия газеты «Россия» Дорошевич ушел к Ивану Сытину, в «Русское слово». В сложное для страны время, время революционного брожения, в ноябре 1906 года в редакционной статье, в которой легко угадывалось перо Дорошевича, было заявлено:

«Программа газеты в ее названии — „Русское слово“. Прямое, не темное и мрачное, а просвещенное русское слово. Русское слово, несущее не ненависть, не раздор, не распадение страны на десятки враждующих между собой племен, — а зовущее к возрождению общей великой родины.

Наш идеал: единая, неделимая, обновленная и возрожденная Россия…

Первой задачей мы ставим умиротворение родины при помощи быстрого осуществления полностью коренных реформ, а затем дальнейшего развития их соответственно требованиям времени, росту политического сознания народа, насущным нуждам страны. К достижению этой цели и должна быть направлена работа, которой „Русское слово“ отдает все силы. Борьба ежедневная, неустанная, упорная… но борьба словом, борьба мыслью, борьба убеждением, борьба при помощи просвещения масс».

«„Русское слово“ не знает ни „фильств“, ни „фобств“, — писал позднее Дорошевич. — Оно хотело бы справедливости для всех народов, населяющих русскую землю, хотело бы видеть все эти народы любящими и любимыми народами одной семьи, которой великое имя:

— Россия.

Но оно желает добиться этого:

— Русскими устами.

Мы, русские, должны требовать справедливого решения этих вопросов».

«Русское слово» громко звучало до самой революции, и талант Дорошевича на его страницах блистал многочисленными гранями. Но, как писал Дон-Аминадо, «легенда кончилась,

началась заворушка»: в ноябре 1917 года газету «Русское слово» закрыли. Дорошевич пребывал в растерянности, выжидал и занял осторожную, нейтральную позицию. Но, увы, ушло его время, да и здоровье оказалось подорванным.

22 марта 1922 года Корней Чуковский записал в дневнике о своей встрече с Дорошевичем, который страдал отдышкой и был мало похож на живого человека. Чуковский вспомнил тот счастливейший для себя день, когда Влас Михайлович пригласил его на работу в «Русское слово»: «Тогда казалось, что „Рус. Слово“ — а значит и Дорош. — командует всей русской культурной жизнью: от него зависела слава, карьера, — все эти Мережковские, Леониды Андреевы, Розановы — были у него на откупу, в подчинении… Как стремился Маяковский понравиться, угодить Дорошевичу. Он понимал, что тут его карьера. Я все старался, чтобы Дорош. позволил Маяк. написать с себя портрет. Дорош сказал: ну его к черту… И вот — он покинутый, мертвый, никому не нужный…»

Как говорили древние: так проходит земная слава.

Дорошевич умер рано: в 57 лет. Салтыкова-Щедрина он называл «великим и недосягаемым учителем русского журналиста». Для последующих поколений журналистов Влас Дорошевич стал таким же «великим и недосягаемым». Он оставил большое литературное и мемуарное наследство, в котором отстаивал реалистические принципы искусства и высмеивал декадентство.

И последнее. Почти забавное. Бывший коллега Власа Дорошевича по газете «Россия» Александр Амфитеатров писал в своих воспоминаниях: «Будучи на Волковом, на Литературных мостках, подхожу к могилам Белинского и Добролюбова. Смотрю… что же? Между ними улегся Дорошевич. Признаюсь, позавидовал… почему не я?!.»

ЕВРЕИНОВ
Николай Николаевич
13(25).II.1879, Москва — 7.IX.1953, Париж

«Я живу как Арлекин и умру как Арлекин», — говорил Николай Евреинов, один из самых колоритных деятелей Серебряного века. Он унаследовал от матери — француженки Валентины де Гранмезон — живость ума и талант шутника, и это открыло ему двери всех гостиных и салонов Москвы и Петербурга.

В 5 лет он впервые попал в театр, который его околдовал. В юные годы он научился играть на рояле, скрипке, виолончели и флейте. В 13 лет подвизался в бродячем цирке ходить по проволоке.

«Евреинов, можно сказать, родился с мечтой, перешедшей у него в магию, в идеологическую одержимость о театре, преобразующем жизнь в нечто гораздо более выпуклое и яркое, чем жизнь», — так считал Сергей Маковский.

А вот мнение критика и искусствоведа Абрама Эфроса: «Я не видел еще человека, который бы признал Евреинова, как признают серьезную величину в художественном мире. Но я не видел и человека, который бы не имел каких-то внутренних

счетов с ним и не считался с тем фактором, что он живет и действует в области, которая этому самому, не признающему Евреинова человеку, дороже и важнее всего».

Ну, а те, кто восхищался Евреиновым, не скупились на эпитеты: «одаренный», «выдающийся», «непредсказуемый», «гениальный», «великий»…

Действительно, личность по масштабу деятельности редкая: один из реформаторов театра XX века (наряду со Станиславским, Мейерхольдом и Таировым), драматург, теоретик и историк театра, режиссер, художник, композитор… А между тем Николай Евреинов готовился стать правоведом, а его выпускной реферат в училище был посвящен «Истории телесных наказаний в России». Некоторое время Евреинов служил даже в Министерстве путей сообщений, но любовь к театру была сильней, чем спокойная и размеренная чиновничья жизнь. И Евреинов становится театральным автором и постановщиком.

Дебют его как драматурга состоялся 22 декабря 1905 года в Александрийском театре Петербурга, где была поставлена его одноактная драма «Степик и Манюрочка», в которой адюльтер преподносится в духе Серебряного века как выход из «серой паутины будней». «Степик и Манюрочка» — первая в ряду пьес Евреинова, призывающая к «трансформации жизни», «театрализации быта» в стиле эстетики Оскара Уайльда. Пьесы Евреинова пошли и в столицах и в провинции. Параллельно Евреинов выступает и как режиссер.

Вот только некоторые его театральные этапы: «Старинный театр» (1907–1912), «Веселый театр для пожилых» (1909), «Кривое зеркало» (1910–1916), Театр пародии (Париж, 1928), «Летучая мышь» (Париж, 1937)… Два десятилетия триумфальной «моды на Евреинова». Евреинов поражал. Евреинов восхищал. Евреинов будоражил. Евреинов развлекал… Никто не оставался равнодушным от его пародийно-гротескного репертуара.

В 1907 году вышел первый том «Драматических сочинений» Евреинова, в 1914 году — второй. Евреинов свои сочинения называл «театрально-драматическими», подчеркивая тем самым не только приоритет театра над литературой, но и то, что сама жизнь есть вечный театр.

Евреинов написал десятки книг, среди них главные — «Что такое театр» (Петроград, 1921) и «История русского театра» (Нью-Йорк, 1953), не говоря уже о разных работах типа «Ропс», «Бердслей», «Азизел и Дионис», «О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов» и прочее. Помимо книг, перу Евреинова принадлежат тысячи публикаций в периодике о театре и других видах искусства. Ну, и, конечно, многочисленные пьесы,

монодрамы, фарсы и миниатюры. Многие из них были поставлены самим Евреиновым в «Кривом зеркале», например гоголевский «Ревизор», да так успешно, что пришлось делать выездной спектакль в Царском Селе. По воспоминаниям Евреинова, с первых минут спектакля Николай II безудержно предался хохоту.

«Царь, ослабев от „хохотуна“, завладевшего всем его существом, упал головою на барьер своей ложи и слегка стонал в промежутках безостановочного хохота… Хохотал и весь партер, не смея раньше императора начать нам аплодировать. А царь все еще хохотал, продолжая, качаясь, припадать головой к барьеру. Создалось на несколько секунд неловкое положение, из которого никто из зрителей, связанных этикетом, не мог найти надлежащего выхода. Наконец царь, отхохотавшись, начал аплодировать, и все присутствующие, счастливые от „разрешения кризиса“, зааплодировали с таким усердием, что задрожала люстра…

Последний раз в своей тревожной жизни царь Николай II смеялся до упаду, склоняясь на барьер своей императорской ложи!..»

Это был режиссерский успех Евреинова, а еще он пользовался огромной популярностью у художественной интеллигенции как пародист и театральный насмешник. В «Бродячей собаке», а затем в «Привале комедиантов» он выступал с «интимными песенками», частушками, «музыкальными гримасами» — импровизациями на фортепиано и на других инструментах. Публика рыдала…

Однако «веселая театральность» — это лишь часть того, чем занимался Евреинов. Он разрабатывал эпатажные театральные новации: «театр в театре», «театр для себя», принцип «наготы на сцене» (первые «запуски» эротики). Евреиновскую монодраму «В кулисах души» (постановка в «Кривом зеркале» в 1912 году) многие специалисты рассматривают как ранний «театр абсурда». Словом, вклад Евреинова в теорию и практику театрального искусства несомненен; французский исследователь Жерар Абенсур рассматривает его с пяти различных точек зрения:

«— Театральный инстинкт: каждый человек от природы актер; для того чтобы быть счастливым, надо дать свободу действия этому инстинкту.

— Преображение с помощью театра: воздействуя на чувства, театр вызывает внутренние изменения. Чудо театрального представления заключается в том, что оно приводит к духовному преображению путем простого переодевания.

— Существует глубокое различие между театром как таковым и коммерческим театром: последний способен осквернить

стремление к преображению, которого люди ищут в театральной игре, в то же время профессиональный актер может взять на себя роль целителя или священника.

— Театр как лечение: театральная метаморфоза исцеляет общество, больное от того, что оно слишком серьезно к себе относится.

— Театр как религия: если все вышесказанное верно, театр представляет собой истинный храм, где совершаются „мистерии“ современного мира».

Спустя почти столетие мы с вами должны оценить поиски и новации Николая Евреинова, анализируя и сравнивая их с современным театром.

Теперь снова вернемся к биографии Евреинова. В ноябре 1917 года Евреинов покинул Петроград и два года провел в скитаниях по России, читая лекции и ставя спектакли. Осенью 1920 года он вернулся в Петроград и поставил к третьей годовщине Октября массовое революционное действо «Взятие Зимнего дворца». Затем стал одним из организаторов «Вольного театра», где зимой 1921 года состоялась премьера знаковой послереволюционной пьесы Евреинова «Самое главное». Эта пьеса затем триумфально ставилась во многих театрах мира, в том числе в Риме она шла в постановке самого Пиранделло. В пьесе (театр в театре) профессиональные актеры перестраивают мир, в результате чего воцаряется если не счастье, то его иллюзия. Один из героев «Самого главного» говорит: «Театр… — сама жизнь, где иллюзия нужна не меньше, чем на этих подмостках, и где, раз мы не в силах дать счастье обездоленным, мы должны дать хотя бы его иллюзию…»

Однако в советской России иллюзия строилась на крови, и все формальные изыски Евреинова оказались не нужными: не была поставлена его пьеса «Корабль праведников».

С 1925 года Евреинов работает на Западе, с 1937-го постоянно проживает в Париже, где плодотворно работает как драматург, режиссер, сценарист. Ставит «Снегурочку», «Руслана и Людмилу», «Царя Салтана», «Горе от ума» и другие спектакли. Почти все они имели успех. Евреинову только не везло в киномире — фильмы, поставленные по его сценариям, не стали событием.

В 1937 году Евреинов создает пьесу «Шаги Немезиды», в которой события в советской России отражены в духе теории театральности, а выведенный на сцену Сталин, как истинный режиссер, направляет танец из-за кулис.

В 1945 году Евреинов выступал по французскому радио с циклом передач о выдающихся деятелях русской культуры, с

которыми ему приходилось общаться — Горьком, Станиславском, Римском-Корсакове, Маяковском, Таирове и других.

Евреинов прожил 74 года, и вся его сознательная жизнь была наполнена творческим трудом. Арлекин-работяга.

ЕСЕНИН
Сергей Александрович
21. IX(3.X).1895, село Константиново Рязанской губернии — 28.XII.1925, Ленинград

Если бросить маленький мостик от предыдущего имени, то можно сказать так: Евреинов — продукт культуры, а Есенин — дитя природы.

О Сергее Есенине в 30 — 50-е годы — молчок («кулацкий поэт»), а потом, как прорыв плотины: статья за статьей, книга за книгой. В этом бурном половодье носится и моя версия судьбы поэта. Кому интересно, тот может прочитать книгу «Ангел над бездной» («Радуга», 2001) — там представлены три судьбы: Северянин, Маяковский и Есенин. В силу многочисленности публикаций о Есенине вполне можно обойтись без хронологической канвы его биографии. Приведу лишь любопытную выдержку из «Био-библиографического словаря русских писателей XX века», вышедшего в 1928 году и ставшего, естественно, раритетом:

«…Среди мальчишек Есенин был всегда коноводом и

большим драчуном. За озорство часто пробирала бабка, а дед иногда сам заставлял драться, „чтоб крепче был“. Бабка, религиозная старуха, без памяти любила внука, рассказывала Есенину сказки, водила по монастырям. Иногда Есенин мечтал уйти в монастырь. На селе его часто звали „Монаховым“, а не Есениным…»

Современная поэтесса Новелла Матвеева в анкете, посвященной 100-летию Есенина, сказала: «По-моему, он весь состоит из тайны». Тайна, конечно, есть, но нет и тайн, которые нельзя расшифровать. В биографическом словаре «Русские писатели XX века» (уже 2000 год) критик Алла Марченко пишет:

«…На новое народничество в столице был спрос. Промышленный бум конца XIX века, выдвигавший Россию в мировые державы, обострил до накала вражды старую распрю западников и славянофилов, причем, по новой раскладке ролей и интересов, славянофильским центром, благодаря монаршему покровительству и наперекор традиции, становится Петербург. Москва же решительно поворачивается к Европе, и чем быстрее богатеет ее буржуазия, вчерашнее лапотное и бородатое купечество, тем чаще взглядывает она на Запад. В столь специфической обстановке Есенин, разглядевший в торговом рязанском селе, хотя и обезображенном отхожим промыслом, идеальный прообраз самобытной России — Голубую Русь, — был обречен на успех, так же как и Николай Клюев, открыватель и хранитель заповедных сокровищ северной старины…»

В 1912 году Есенин приехал в Москву. В 1914 году появляется в печати первое его стихотворение. Есенин преисполнен дальнейших литературных планов и решает встретиться с главным российским символистом Александром Блоком («Был он для меня словно икона»). Встреча мэтра и крестьянского «самоучки» состоялась, и Блок записывает в дневнике 9 марта 1915 года: «Днем был у меня рязанский парень со стихами. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык».

Темная ноченька, не спится,
Выйду к речке на лужок.
Распоясала зарница
В пенных струях поясок…

Или вот еще из раннего Есенина:

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло…

Побывал Есенин и у другого мэтра Серебряного века — Федора Сологуба.

«Смазливый такой, голубоглазый, смиренный… — неодобрительно описывал Есенина Сологуб. — Потеет от почтительности, сидит на кончике стула — каждую минуту готов вскочить. Подлизывается напропалую: „Ах, Федор Кузьмич!“, „Ох, Федор Кузьмич!“ И все это чистейшей воды притворство! Льстит, а про себя думает, — ублажу старого хрена, — пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, — я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться, что стихов он моих не читал и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, а насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался, — тоже вранье. Кончил, оказывается, учительскую школу. Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлепал по заслугам — будет помнить старого хрена!..»

И тут же, не меняя брюзгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору журнала «Новая жизнь» Архипову тетрадку стихов Есенина.

— Вот. Очень не дурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать — украсят журнал. И аванс советую выдать. Мальчишка все-таки прямо из деревни — в кармане, должно быть, пятиалтынный. А мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью. Не чета нашим тютькам из «Аполлона» (Георгий Иванов. «Петербургские зимы»).

В Петрограде поползли слухи о Есенине как о поразительном «крестьянском поэте». Друг и попутчик Есенина Рюрик Ивнев полувопросительно все время повторял: «Сергей Есенин? Что? Что? Его стихи — волшебство. Что? Посмотрите на его волосы. Они цвета спелой ржи — что?..»

В 1915–1916 годах Есенин особо рьяно дружил с Николаем Клюевым, они оба выступали под единым «крестьянским» знаменем. «Блок и Клюев научили меня лиричности», — признавался позднее Есенин. А когда кто-то из критиков назвал Есенина писателем «из низов», Есенин бросился защищать обидевшегося за друга Клюева: «Мы, — говорит, — Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России…» Вот как

оценивал себя Есенин.

Приведем еще одну цитату из «Петербургских зим» Георгия Иванова: «За три, три с половиной года жизни в Петрограде Есенин стал известным поэтом. Его окружили поклонницы и друзья. Многие черты, которые Сологуб первый прощупал под его „бархатной шкуркой“, проступили наружу. Он стал дерзок, самоуверен, хвастлив. Но странно, шкурка осталась. Наивность, доверчивость, какая-то детская нежность уживались в Есенине рядом с озорным, близким к хулиганству, самомнением, не далеким от наглости. В этих противоречиях было какое-то особое очарование. И Есенина любили. Есенину прощали многое, что не простили бы другому. Есенина баловали, особенно в леволиберальных литературных кругах…»

Тут можно подверстать и отзыв Айседоры Дункан о поэте: Есенин — ангел, Есенин — хулиган. «Изадора», как звал ее Есенин, это одна из многих горько-пьяных есенинских страниц жизни. «Много женщин меня любили, да и сам я любил не одну». Это особая тема и лучше вскользь ее не касаться. А вот хулиганство!.. Юрий Кублановский считает, что «Есенинская скандальность и имморальность — это сама „русская вольница“ в частной сфере». В стихотворении «Мой путь» (1925) Есенин был предельно откровенен:

Россия… Царщина…
Тоска…
И снисходительность дворянства.
Ну, что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.

Посмотрим —
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный сброд
Мочой рязанская кобыла…

Герой Есенина на всех этапах был противоречивым и разным: то «нежный отрок» и «смиренный инок», то «грешник», «бродяга и вор» с разбойным кистенем. Так же полярно менялись Есениным и оценки революции, от восторженной радости («О Русь, взмахни крылами…») до полного неприятия. Новая страна, возникшая после Октября, была не той Страной «Инонией», которую он себе

представлял.

В одном из писем Есенин с горечью писал: «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал… Тесно в нем живому». Эти строки написаны в 1920 году. И в том же году Есенин пишет стихотворение «Сорокоуст» — реквием по уходящей Руси, которая ему, как поэту, метафорически видится в «красногривом жеребенке», на «празднике отчаянных гонок» пытавшемся отчаянно догнать «чугунный поезд», храпящий «железной ноздрей»:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?..

Все послереволюционное творчество поэта — это растерянность и непонимание, куда податься и какое место занять.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Это признание из стихотворения «Русь уходящая» (1924).
Или в стихотворении того же года «Возвращение на родину»:

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»
О Марксе,
Энгельсе…
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал…

И книг таких Есенин не читал, и вообще Есенин категорически был против ангажированности, верноподданнического служения власти, он отказывался идти по стопам Маяковского и Демьяна Бедного:

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений свет.

И что делал? Дебоширил. Пил. Любил женщин. Писал стихи. Организовал вместе с Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем Орден имажинистов и выступал в литературном кафе при Ордене с броским названием «Стойло Пегаса». Под ярким впечатлением бурно прожитых «стойло-пегасных» лет Есенин написал самую популярную свою книгу «Москва кабацкая» (1924).

Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черной жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладилось, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней…

10 мая 1922 года, спустя восемь дней после регистрации брака, Сергей Есенин с молодой супругой, которая была далеко не молодой, отправился в Европу, а затем в США. Пятнадцатимесячное путешествие. И вот что интересно. На Западе могли жить (при всей неустроенности, некомфортности и ностальгии) многие поэты и писатели Серебряного века. Кто чуть хуже, кто чуть лучше. Но только не Есенин. На Западе ему было тяжко, не по себе, поэтому невозможно представить Есенина в роли эмигранта. Вот характерные выдержки из некоторых есенинских писем:

Александру Сахарову из Дюссельдорфа, 1 июля 1922 года:

«…Родные мои! Хорошие! Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстротов, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать — самое высшее музик-холл…»

Анатолию Мариенгофу, Остенде, 9 июля 1922 года;

«…Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая „северянинщина“ жизни, что просто хочется послать это все к энтой матери… Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может…»

Анатолию Мариенгофу, Нью-Йорк, 12 ноября 1922 года:

«…И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа… С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки… В голове у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так по-чеховски…»

Обращаясь к любимой женщине, Есенин писал:

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий…

«Рок событий» — ключевое определение… «Промелькнул в Европе отчаявшийся, сорвавшийся, неудержимо летящий в пропасть Есенин. Вернувшись в Россию, он повесился, предварительно перерезав себе жилы» (Николай Оцуп).

Лучший лирик России XX века ушел из жизни в 30 лет. Ушел, «словно» он «весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне».

Проскакал — и исчез. И все хочется смотреть ему вслед…

ЗАЙЦЕВ
Борис Константинович
29.1(10.II).1881, Орел — 28.I.1972, Париж

Борис Зайцев пережил почти всех своих современников по Серебряному веку. В 1971 году в Париже торжественно отпраздновали 90-летие Бориса Константиновича — «последнего лебедя Серебряного века». Он скончался через год. И успел сказать свое слово в защиту современной русской литературы, написав в 1969 году открытое письмо в поддержку Александра Солженицына. Бориса Зайцева ввел в литературный кружок московских неореалистов Леонид Андреев в 1902 году, и вот спустя десятилетия уже стоящий на сходе Зайцев подает руку Солженицыну, — прощальный привет от Серебряного века.

Борис Зайцев — прозаик, мемуарист, переводчик, — пришел в литературу из дворянской семьи и с хорошим образованием. Кумир молодого Зайцева — Чехов. Он находился и под влиянием Бунина, с которым дружил долгие годы, и Владимира Соловьева. Его первые рассказы — некий лирико-натуралистический модерн. По поводу первой книги Зайцева «Рассказы» (1906) Зинаида Гиппиус писала: «Читая Зайцева — грустишь, но ждешь… Язык простой и круглый… действительно живописный, иногда очень

яркий. Так видел бы природу современный Тургенев… Тургенев без романтизма… и… без тенденции». Соединение натурализма и символизма зафиксировал у Зайцева Андрей Белый.

Интересно, что Зайцев был связан с Москвой (он жил в арбатских переулках) и с Петербургом, где он много печатался и вращался в литературной среде, в частности посещал «среды» на «Башне» Вячеслава Иванова. Нельзя не отметить связь Зайцева с Италией. «С ней впервые я встретился в 1904 году, — отмечал Зайцев в воспоминаниях „О себе“, — а потом не раз жил там (в 1907–1911) — и на всю жизнь вошла она в меня: природой, искусством, голубым своим обликом. Я ее принял как чистое откровение красоты».

Увлечение Италией сблизило Зайцева с Павлом Муратовым, который свое исследование «Образы Италии» посвятил Зайцеву.

Благодаря Италии Борис Зайцев полюбил Данте, в 1922 году вышла его работа «Данте и его поэма». Георгий Чулков, современник Зайцева, подметил интерес Зайцева к «высокому» в мировой культуре: «Мне нравилось в Зайцеве то, что он постоянно искал каких-то больших встреч — то с Гете, то с Данте, то с Италией раннего Возрождения… Сердце у него лирное…»

«Лирное сердце» — прекрасный образ; а вот какую характеристику Бориса Зайцева оставил Андрей Белый: «… образец доброты, простоты, честности, скромности, благородства.

Иногда кажется мне, что просто „святой человек“; иконописный лик его вполне выражает душевную сущность…»

Ну, а в смысле творчества? «Поэтом космической жизни», который «сливает людей с природой», назвал Зайцева критик Аркадий Горнфельд. И, конечно, нельзя не процитировать «Силуэты русских писателей». В них Юлий Айхенвальд так писал:

«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле… Это удивительное сочетание натурализма и поэтичности…»

Россия, Москва, Арбат, лес с брусникой и черникой и все прочее, по Айхенвальду, «колеблются у Зайцева в дымке ненавязчивой меланхолии».

В 1909 году вышла вторая книга рассказов Зайцева, в 1911 году — третья, выходит роман «Дальний край», повесть «Голубая звезда». В 1916–1919 годах публикуются «Сочинения» Зайцева в семи томах. Появляется даже пьеса «Усадьба Ланиных», от которой Зайцев тут же открещивается: «Да я и никакой не

драматург. Это меня Чехов сбил. Правда, к удивлению моему, эта „Усадьба“ шла с большим успехом у Корша… Все равно, театр не мое дело».

Постепенно в своем творчестве Борис Зайцев отходит от импрессионизма (некая дань моде Серебряного века) и окончательно переходит в лагерь реализма.

Война и революция застали Зайцева в имении отца в Притыкино, на Оке в Тульской губернии. Оттуда он пишет открытое письмо к Луначарскому, в котором заявляет протест против удушения свободы слова и заявляет о своем неприятии большевизма. Но тем не менее новую власть пришлось принять. В 1922 году по возвращении в Москву его избирают председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей. Зайцев работает в кооперативной лавке писателей и участвует в работе в «Studio Italiano» (есть рассуждения о Боттичелли, но уже нет никакого «кьянти»). О том тяжелом времени вспоминает Зайцев в своих мемуарах «Москва 20–21 гг.»:

«…Одна беда надвигалась на нас внушительно: голод. Гершензон разузнал, что у Московского совета есть двести пудов муки, с неба свалившихся. В его извилистом мозгу вдруг возникла практическая мысль: съесть эту муку, т. е. не в одиночку, а пусть русская литература ее съест. Наше правление одобрило ее. И вот я снова в Никольском переулке, снова папиросы, валенки, пальто с барашковым воротником, несвязная речь, несвязный ход гершензоновских ног по зимним улицам Москвы…»

Визит к «хозяину» Москвы Льву Каменеву (Зайцев был с ним знаком еще до революции) — и победа: «мука попала к голодающим писателям».

«И далее картина, — вспоминает Зайцев: — Смоленский бульвар, какой-то склад или лабаз. Морозный день. Бердяев, Айхенвальд, я, Вяч. Иванов, Чулков, Гершензон, Жилкин и другие — с салазками, на них пустые мешки. Кто с женами, кто с детьми. Кого заменяют домашние. В лабазе наш представитель, И.А. Матусевич, белый от муки, как мельник, самоотверженно распределяет „пайки“ (пуд, полтора). Назад мы их везем на санках, тоже овеянные питательною сединою, по раскатам и ухабам бульвара — кто на Плющиху, кто к Сивцеву Вражку, кто в Чернышевский. Ну, что ж, теперь две-три недели смело провертимся».

Вот чем обернулся Серебряный век и вот в какие условия попали рафинированные эстеты-интеллигенты. Не мудрено, что многие не выдержали такого тяжкого испытания и всеми правдами и неправдами покинули Россию. Уехала и семья Бориса

Зайцева — 8 июня 1922 года — с визой на выезд за границу для поправки здоровья.

После некоторых скитаний (Германия, Италия) с 1924 года Зайцев обосновался в Италии и о своем выборе никогда не жалел: «Живя вне Родины, я могу вольно писать о том, что люблю в ней — о своеобразном складе русской жизни…, русских святых, монастырях, о замечательных писателях России».

Покинув Россию, Зайцев еще больше полюбил «Святую Русь», и в его произведениях резко повысилась религиозная доминанта. Ни на какие компромиссы с советской властью он не шел. Более того, «победа СССР в 1945 году, по словам Зинаиды Шаховской, была для Зайцева не русской победой, так как не могла послужить возрождению России и освобождению ее народа, и всякое заигрывание или кокетничанье с советскими властями было для него неприемлемо».

В эмиграции Борис Зайцев много пишет, он — один из наиболее уважаемых писателей старшего поколения. 30 сентября 1928 года на белградском съезде русских ученых и писателей Борис Зайцев получил, вместе с Зинаидой Гиппиус и Куприным, из рук короля Югославии Орден Св. Саввы (покровителя искусств) 2-й степени.

Из творческого наследия зарубежного периода следует выделить воспоминания «Москва» (1939), «Далекое» (1965), роман «Золотой узор» (1926), автобиографические романы («Путешествие Глеба», «Тишина», «Юность», «Древо жизни»). Последний рассказ «Река времени» был написан Зайцевым в 1964 году — Зайцеву шел 83-й год.

О своем житье-бытье во Франции Зайцев написал роман «Дом в Пасси» (1935). К 950-летию крещения Руси Зайцев сотворил «Слово о Родине». В нем прозвучала мысль о целостности духовного облика России, не разрушенного ни «татарщиной», ни веками трудной и трагической истории. «Для русского человека в изгнании, — отмечал Борис Зайцев, — мировая слава Родины и сознание мировой значительности духа русского несет и еще оттенок: защиты, укрытия в одиночестве и заброшенности. Даже больше — связи, соединения».

Слова Бориса Зайцева всегда звучали весомо и убедительно, и не случайно он в 1947 году был избран председателем Союза русских писателей и журналистов во Франции. Именно во Франции Борис Зайцев нашел свой излюбленный «град Китеж», и русские березки склонились на его могиле на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

ЗАМЯТИН
Евгений Иванович
20. I(1.II).1884, Лебедянь Тамбовской губернии — 10.III.1937, Париж

Блестящий ученик Гоголя, языкотворец, один из создателей русской сатиро-утопической литературы, вечный бунтарь и отрицатель Евгений Замятин в своей автобиографии отмечал:

«По самой середине карты — кружочек: Лебедянь — та самая, о какой писали Толстой и Тургенев. В Лебедяни родился… Рос я под роялем: мать — хорошая музыкантша. Гоголя в четыре — уже читал. Детство — почти без товарищей: товарищи — книги».

Гимназию Замятин окончил с золотой медалью. И хотя его «коньком» были сочинения по русскому языку, из «упрямства» он «выбрал самое что ни на есть математическое» — кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института. Стал «студентом-политехником косовороточной категории» (студенты щеголяли тогда в синих косоворотках). В 1908 году он окончил институт в звании морского инженера и был оставлен при кафедре корабельной архитектуры. Замятин был хорошим корабелом, а мог стать и просто замечательным, если бы литература не захватила его целиком. И тем не менее Замятин, командированный в Англию, участвовал в создании там пяти ледоколов для России.

Было у Замятина и еще одно увлечение — революция. «Революция была юной, свободной, огнеглазой любовницей, — и я, — признавался Замятин, — был влюблен в Революцию». Революция — как протест против затхлой власти, как надежда на лучший, лучезарный мир, как вечная иллюзия молодости!..

Увлечение идеей переустройства общества привело Замятина в ряды РСДРП, в революцию 1905 года и в одиночную камеру на Шпалерной (потом он туда же угодил в 1922 году, после победы революции). В «орден революционеров» Замятин пришел из среды «русских студентов, для которых бунт в ту пору был такой же священной традицией и непременной принадлежностью, как голубая студенческая фуражка». С одной стороны, традиция, а с другой — желание быть там, где труднее и опаснее. Характерное признание Замятина: «В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления: и я был тогда большевиком…»

К октябрю 1917-го Замятин — уже крупный писатель. Его литературный дебют состоялся в 1908 году рассказом «Один». Высылка (после того, как он отсидел в тюрьме) активизировала в нем творческий процесс, и, как не без иронии написал он сам: «Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я обязан Петербургскому Охранному Отделению». По словам Виктора Шкловского, Евгений Замятин «вошел в литературу сильно и уверенно, как ледокол, ломая перед собой лед. Редко кто сразу так хорошо начинает».

Повесть Замятина «Уездное» стала произведением на уровне Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В нем писатель правдиво, емко и колоритно изобразил темный и провинциальный быт России. Создал повесть-антижитие — процесс расчеловечивания Анфима Барыбы (слова, обращенные к нему: «Души-то, совести у тебя — ровно у курицы…»). Гротескное сравнение антигероя с воскресшей нелепой русской курганной бабой имеет у Замятина символический смысл.

В последующий повести «На куличках» и многочисленных рассказах писатель был по-гоголевски глубок и ярок, по-лесковски мастеровит в языке, а поверх его серьезности и почти суровости проглядывала специфическая замятинская ухмылочка сказителя-сатирика.

После Октября 17-го Замятин много работает, преподает, пишет, превращает петроградский «Дом искусств» в «своего рода литературную академию», участвует во всех «затеях: издать классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать в театре всю историю всего мира» — такие были тогда гиперболические идеи, такой был всемирный замах.

Но было и другое. Приглядевшись к «огнеглазой революции», а точнее, к тому, что она принесла, Замятин напрочь от нее отвернулся. Строящаяся страна Утопия, с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым часом показывала свои отвратительные черты: насилие, уравниловку, обезличивание человека. Увидев это, Замятин содрогнулся и написал роман «Мы», предвосхитив утопии Оруэлла и Хаксли.

Роман «Мы» написан в 1920 году, но Замятин сумел заглянуть в 30 — 40-е и последующие тоталитарные годы, когда обезличенные люди, покорные «нумера» славят «Благодетеля», когда быть счастливым означал лишь долг каждого по отношению к государству, когда все личное исчезало в сиянии «Единого Государства». В романе Замятина жизнь всего народа спланирована, централизована, и даже любовь подвергнута жесткой регламентации: лишь в определенно указанные дни гражданам выдавались «розовые талончики» на получение «сексуального продукта».

Слава Богу, в советские времена до этого не дошли, но ведь могли! Разве мы с вами не участвовали в выборах, о которых Замятин писал в романе «Мы»: «Это всегда был самый величественный момент праздника. „Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим ключи от незыблемой твердыни нашего счастья…“»

Естественно, роман «Мы» напечатать в СССР не удалось. Он вышел впервые в английском переводе в 1924 году, затем на чешском и французском языках. В рукописи роман ходил и по России. Власти не могли принять книгу Замятина. Возмутились и дали команду «фас!», после чего началась открытая и оголтелая травля писателя.

Критик Левидов припечатывал: «Замятин — писатель с подлинным прошлым, сомнительным настоящим и несомненным отсутствием будущего». Замятин же считал, что будущего нет как раз у советских писателей, ангажированных и прикормленных властью. В знаменитой статье «Я боюсь» (1921) он писал:

«Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не менее старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее — ее прошлое».

Настоящую литературу, утверждал Замятин, делают не исполнительные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. Но заметим: у всех у них была

незавидная судьба в годы советской власти: кому вышел расстрел, кому ссылка, кому немота…

После 1929 года Замятина перестали печатать. «По существу вина Замятина по отношению к советскому режиму заключалась в том, что он не бил в казенный барабан, не „равнялся“, очертя голову, но продолжал самостоятельно мыслить и не считал нужным это скрывать», — отмечал близко знавший Замятина художник Юрий Анненков.

8 ноябре 1931 года благодаря посредничеству Горького Замятин выехал из страны грез и слез. С февраля 1932 года он живет в Париже. Газете «Ле нувель литтерер» он дал интервью о романе «Мы»: «Этот роман — сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечности от гипертрофированной власти машин и власти государства — все равно какого».

До конца жизни Замятин сохранял советское гражданство и не считал себя эмигрантом. В Париже продолжал работать над последним своим романом «Бич Божий», в котором размышлял на тему смены цивилизаций: «Запад — и Восток. Западная культура, поднявшаяся до таких вершин, где она уже попадает в безвоздушное пространство цивилизации, — и новая, буйная, дикая сила, идущая с Востока, через наши, скифские степи». Все те же блоковские скифы…

Замятин умер в черном от крови 1937 году, но умер у себя в постели, от тяжелого приступа стенокардии, в возрасте 53 лет. В день похорон 12 марта шел дождь. Гроб опустили прямо в воду, залившую могилу. Цветаева вспоминала о похоронах: «Было ужасно, растравительно бедно — и людьми и цветами — богато только глиной и ветрами — четырьмя встречными». Вот так «ледокол» Замятин ушел под воду вечности.

На портрете Замятина кисти Кустодиева писатель сидит небрежно-элегантно, полуразвалясь, с папиросой в тонкой руке, — ни дать, ни взять английский денди с пробором, с едва язвительной улыбочкой.

Взгляни на этот пробор,
На этот ехидный взор, —

с шутовским лукавством писал сам Замятин в «Балладе о блохе».

Всматриваешься в портрет: и русофил, и западник. Хотя Алексей Ремизов высказался весьма определенно: «Замятин из Лебедяни, тамбовский, чего русее, и стихия его слов отборно русская… лебедянский молодец с пробором!..»

Из воспоминаний Юрия Анненкова: «Для меня же Замятин —

это прежде всего замятинская улыбка, постоянная, нестираемая. Он улыбался даже в самые тяжелые моменты своей жизни. Приветливость его была неизменной».

Улыбка. Доброта и полная непрактичность (нет, не западник!). «Как писатель я, может быть, что-то из себя представляю, — говорил Замятин, — но в жизненных трудностях я — совершенный ребенок, нуждающийся в нянькиных заботах. Людмила Николаевна в таких случаях — моя добрая няня».

Вы догадались: Людмила Николаевна — это жена. Детей у них не было. «Мои дети — мои книги; других у меня нет», — говорил Замятин.

Но какие книги!..

ЗЕНКЕВИЧ
Михаил Александрович
9(21).V.1886, село Николаевский городок Саратовской губернии — 14.IX.1973, Москва

Последний акмеист Зенкевич пережил всех своих единомышленников и единотворцев по цеху, однако нельзя сказать, что его судьба сложилась счастливо. Акмеист в тоталитарную эпоху — это абсурд.

Немного биографии. После окончания гимназии в Саратове Зенкевич два года изучал философию в университетах Берлина и Иены. Был образованным человеком, знал французский, английский, немецкий, что в дальнейшем позволило ему выжить за счет переводов. Первая публикация в Саратове — стихотворение «Казнь» как отклик на расстрел лейтенанта Шмидта. В период 1907–1917 годов Зенкевич жил в Петербурге. В 1908-м принес стихи в журнал «Весна», которые оценили так: «Они вычурны, но образны». В 1909 году «златоглавый Миша» (так его называли) знакомится с Гумилевым и входит в «Цех поэтов». Вместе с поэтом Нарбутом Зенкевич считал себя «левым

флангом акмеизма».

В начале марта 1912 года выходит первая книга стихов Зенкевича «Дикая порфира» тиражом 300 экземпляров. Одновременно в типографии Вольфа был отпечатан сборник «Вечер» Анны Ахматовой. 10 марта состоялось заседание «Цеха поэтов» — чествование дебютантов (теперь это называется иначе — «презентация»). Сергей Городецкий сплел из каких-то цветов венки и возложил их на Ахматову и Зенкевича. Молодые поэты принимали похвалы и комплименты. Читали стихи…

Книга «Дикая порфира» вызвала большой интерес своей необычной тематикой — от картин земной праистории до грядущей космической катастрофы.

И он настанет — час свершения,
И за луною в свой черед
Круг ежедневного вращения
Земля усталая замкнет.

И, обнаживши серебристые
Породы в глубях спящих руд,
От полюсов громады льдистые
К остывшим тропикам сползут…

Среди «героев» сборника Зенкевича были ящеры-гиганты, махайродусы, владетели суши «в третичные века гигантских травоядных», жидкие пары металлов, араукарии, оранжевые пауки, Навуходоносор, Марк Аврелий и другие. Брюсов сразу провозгласил попытку Зенкевича «вовлечь в поэзию темы научные». Ему возражал Вячеслав Иванов: «Пафос? вовсе не научный пафос… Зенкевич пленился материей, и ей ужаснулся…» Георгий Чулков усмотрел в стихах молодого поэта «державинскую торжественность». А Гумилев назвал Зенкевича «вольным охотником».

В декабре 1917 года Зенкевич вернулся в Саратов. Участвовал в гражданской войне — был секретарем полкового суда, лектором пехотно-пулеметных курсов. По окончании войны заведовал саратовским отделением РОСТА. Весной 1923-го переехал на постоянное жительство в Москву. В 1925–1935 годах работал редактором отдела иностранной литературы в издательстве «Земля и Фабрика» и в Гослитиздате. Выходили книги: «Пашня танков» (1921), «Под пароходным носом» (1926), «Поздний пролет» (1928), «Избранные стихи» (1932), биографическая книга «Братья Райт» в серии ЖЗЛ (1933) и другие.

Борис Пастернак называл Зенкевича «поэтом предельной крепости» и «удивительным метафористом». В стихах Зенкевича почти не осталось поэтической нежности акмеизма, зато был избыток физиологизма.

Видел я, как от напрягшейся крови
Яростно вскинув трясущийся пах,
Звякнув железом, заросшим в ноздрях,
Ринулся бык к приведенной корове.

Видел, как потная, с пенистым крапом,
Словно хребтом переломленным вдруг
Разом осела кобыла, и с храпом
Лег на нее изнемогший битюг…

Или вот такие строки Зенкевича:

Хотелось в безумье, кровавым узлом поцелуя
Стянувши порочный, ликерами пахнущий рот,
Упасть и, охотничьим длинным ножом полосуя,
Кромсать обнаженный и мучительно-нежный живот…

Некий биологизм явно присутствовал в творчестве Зенкевича, а еще — физиогномика машины; достаточно прочитать стихотворения «Пашня танков», «Голод дредноутов», «Страда пехоты», «Авиареквием», «Стакан шрапнели» и другие. В дальнейшем Зенкевич проявил тяготение к стиху ясному и почти классическому.

Все прошлое нам кажется лишь сном,
Все будущее — лишь мечтою дальней,
И только в настоящем мы живем
Мгновенной жизнью, полной и реальной.

В 30 — 40-е годы, в годы репрессий, Зенкевичу было нелегко и порой страшно: все его коллеги по акмеизму были уничтожены или раздавлены. Встречавшийся с Зенкевичем Лев Озеров вспоминал: «Было для меня заметно, что Михаил Александрович намеренно загнал себя в тень. Ему было неуютно в эту эпоху. Неуютно и зябко. Зябко и тягостно… Он был застенчив. В этой застенчивости укрывался страх. Страх — повсеместный недуг

времени…»

В «Лексиконе русской литературы XX века» немецкий славист Вольфганг Казак упрекнул Зенкевича в том, что он «приспособился к требованиям партии». Да, приспособился и в 1947 году даже вступил в ряды партийцев. Писал стихи о советских летчиках и о величии Сталина: он был глубоко напуган судьбой Гумилева и Мандельштама. Вот почему Зенкевич держался особняком и почти не участвовал в литературных танцах вокруг власти. Много писал в стол. И много переводил (Шекспир, Гюго, Уитмен…). Остановиться не мог, считая, что «поэзия — наркотик».

В период оттепели Зенкевич вздохнул с облегчением и совершил ряд поездок — в Великобританию, Венгрию, Югославию и весною 1960 года в США. Зенкевич был американофилом и боготворил Америку. В 1969 году вышла его книга «Американские поэты в переводах М. Зенкевича».

Пойми — другого нет пути:
В поэзии, как и на сцене,
Тот должен вовремя сойти,
Кто дар лирический свой ценит, —

так считал Михаил Зенкевич. Но сам творил до самого конца. Он дождался выхода книги «Избранное» в 1973 году и скончался в сентябре того же года, в возрасте 82 лет. Его похоронили на Хованском кладбище. Поэт избавился наконец от своих наваждений:

Мне страшен летний Петербург. Возможен
Здесь всякий бред, и дух так одинок,
И на площадках лестниц ждет Рогожин,
И дергает Раскольников звонок…

Это — «Петербургский кошмары» (1912). А советские?..

В 1994 году вышла объемная книга Михаила Зенкевича «Сказочная эра», в которую вошли лучшие его стихотворения из ранних сборников, а также стихотворения, впервые напечатанные, и беллетристические мемуары «Мужицкий сфинкс». И в них — много кое-чего из Серебряного века, «с губами, пахнувшими свежестью невского ледохода и настоем только что выпитого ликера».

Ах, этот Серебряный век! У Зенкевича он был с волжским оттенком:

Эх, если бы украсть тебя от мужа
И ночью, голую, не прошептав «люблю»,
В кошму закутать, прикрутить потуже,
Да припустить коня по ковылю…

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
Вячеслав Иванович
16(28).II.1866, Москва — 16.VII.1949, Рим

Вячеслав Иванов — одно из самых громких имен Серебряного века, одна из вершин русской культуры.

В книге «История русской литературы: XX век: Серебряный век», выпущенной французским издательством «Файяр», Вячеслав Иванов представлен так: «Крупный и своеобразный поэт, признанный лидер и виднейший теоретик символизма, эрудированный филолог-классик и религиозный философ, человек Ренессанса по многообразию интересов и, без сомнения, самая образованная личность в России своего времени, „Вячеслав Великолепный“ выделялся масштабом даже на фоне ослепительной плеяды своих современников от Владимира Соловьева до Осипа Мандельштама».

«Вячеслав Иванов — редчайший представитель среднеземноморского гуманизма, в том смысле, какой придается этому понятию, начиная с века Эразма Роттердамского, и в смысле расширенном — как знаток не только античных авторов, но и всех европейских культурных ценностей… Философов, поэтов, прозаиков всего западного мира он читал в подлиннике и перечитывал постоянно, глубоко понимал также и живопись, и музыку…» (Сергей Маковский).

А теперь в качестве курьеза, и курьеза печального, приведем характеристику выдающегося деятеля Серебряного века из БСЭ 1933 года: «Мертвенное, чуждое даже для его современности, искусство Иванова оказалось близким лишь для кучки вырождающихся дворянских интеллигентов».

Да, советские литературоведы выдвинули на первый план «революционного поэта» Блока и задвинули на задний какого-то там Вячеслава Иванова, который в феврале 1922 года заявил: «Я, может быть, единственный теперь человек, который верит в греческих богов, верит в их существование и реальность».

Крупнейший русский культуролог и исследователь античности, Вячеслав Иванов ощущал античность своей прародиной. Человек европейского образования, поэт культуры и духовности, он считал, что поэт и народ, толпа и рапсод — «немыслимы в разделении», и мечтал о соборном искусстве. Как отмечал философ Федор Степун, «в нем впервые сошлись и примирились славянофильство и западничество, язычество и христианство, философия и поэзия, филология и музыка, архаика и публицистика…»

Про Вячеслава Иванова ходила присказка: «Иванов — сложный поэт? Ничего подобного! Достаточно знать немного по-латыни, по-гречески, по-древнееврейски, чуть-чуть санскрита — и вы все поймете».

Навскидку строки из цикла «Золотые завесы»:

> Мне Память вдруг, одной из стрел-летуний
> Дух пронизав уклончивей, чем Парф,
> Разящий в бегстве, — крутолуких арф
> Домчит бряцанье и, под плясуний,
> Псалдоний стон…

и т. д. из жизни фараонов.

Немного биографической канвы. Из заносчивого и деспотического мальчика Вячеслав Иванов превратился в юношу и далее в мужчину, который упорно шел по пути сурового труженичества. И не спешил становиться поэтом, поставив себе цель достичь всестороннего образования. Занимался в Берлине у известного историка Древнего мира Теодора Момзена. Просиживал днями в парижской Национальной библиотеке. Учился в Германии. Много путешествовал. Прожил за границей до 1905 года, лишь изредка наезжая в Россию.

Первая книга Иванова «Кормчие звезды» вышла в 1902 году, когда ему было 36 лет. В ней он утверждал: «Есть Млечный путь в душе и в небесах». Помимо связи космоса и человека, есть связь и

между различными этапами человеческой культуры, именно человеческая память побеждает небытие:

Над смертью вечно торжествует
В ком память вечная живет.

Вторая книга Вячеслава Иванова «Прозрачность» вышла через два года — в 1904-м. В ней доминирует та же тема памяти — «вечного возвращения». И все пронизано творческой аурой гигантов прошлого — Вергилия и Данте, Гете и Бетховена, Пушкина и Тютчева. Афористично звучит самооценка поэта: «Мы — вечности обеты в лазури Красоты».

Не будем перечислять последующие сборники Вячеслава Иванова, а попытаемся уловить общую суть творчества поэта. Основной пафос поэзии Вячеслава Иванова, как считал Брюсов, — это сочетание жажды полноты жизни с христианским культом жертвы, страдания.

Мнение Федора Степуна: «Лирика Вяч. Иванова занимает совершенно особое место в истории русской поэзии. Своею философичностью она отдаленно напоминает Тютчева, но как поэт Иванов, с одной стороны, гораздо отвлеченнее и риторичнее, а с другой — перегруженнее и пышнее Тютчева…» Некоторую витиеватость и ученую тяжеловесность можно продемонстрировать стихотворением «Родина»:

Родина, где ты?
В тайной пещере —
Видимо вере —
Светятся светы.

Кто не ослеп
В веке свирепом,
Людным и лепым
Видит вертеп.

Где невидимый
Зиждут соборне
Храм, — там и корни
Руси родимой.

По мнению Александра Блока, поэзия Вячеслава Иванова

«предназначена для тех, кто не только много пережил, но и много передумал».

«Вячеслав Иванов, как поэт, занимает в группе русских символистов почетное, но, скорее, второстепенное место, — утверждал Георгий Иванов. — Зато не может быть спора о его значении, как теоретика и основоположника русского символизма. Здесь он был первым. Был в буквальном смысле слова мозгом движения и его вождем…»

Тут следует заметить, что поэзия символистов искала выход в мистике посвятительного знания, тяготела к своего рода жречеству. Как теоретик, Вячеслав Иванов возглашал, что символ «многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине» — так он писал в своем сборнике теоретических работ «По звездам» (1909). Нужно идти «тропой символа — к мифу». «Миф — это образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения, народного и вселенского…»

Вячеслав Иванов находился под большим влиянием Фридриха Ницше, однако не во всем с ним соглашался и считал, что поэт не «изобретает» истину, а «обретает» ее. Не преобразует мир на свой лад, а преображает его согласно Божьему замыслу о нем. Религиозность — одна из сущностных черт Вячеслава Иванова как человека и как поэта.

Я посох мой доверил Богу
И не гадаю ни о чем.
Пусть выбирает сам дорогу,
Какой ведет меня в свой дом.

А где тот дом — от всех сокрыто;
Далече ль он, — утаено.
Что в нем оставил я, — забыто,
Но будет вновь обретено.
Когда, от чар земных излечен,
Я повернусь туда лицом,
Где — знает сердце — буду встречен
Меня заждавшимся Отцом.

Кто-то заметил, что если русская литература вышла из гоголевской «Шинели», то поэзия символистов если не вышла из ивановской «Башни», то прошла через нее. Все модернисты-декаденты-символисты-акмеисты, начиная с Бальмонта, — Зинаида Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Брюсов, Волошин, Гумилев, Ахматова — проделали этот путь.

С осени 1905 года Вячеслав Иванов с женой Лидией Зиновьевой-Аннибал превратил свою петербургскую квартиру № 25 по Таврической улице в литературно-художественный салон. В этой угловой квартире, именуемой «Башней», по средам стали проходить журфиксы — сборы всех знаменитостей Петербурга и Москвы. Небезынтересна картинка, нарисованная Сергеем Городецким:

«Мансарда была оклеена обоями с лилиями и освещалась свечами. Огромная рыжая Зиновьева-Аннибал, жена Вяч. Иванова, в белом хитоне металась в тесноте. У печки скромно грелся небольшой человек с острым взглядом — Федор Сологуб. Реял большерукий Корней Чуковский. Вдали, у окна, за которым меркли звезды (звезды, свеча — это все было тогда символами, а не простыми предметами), за ломберным столиком заседал синклит собрания. Оттуда несся картавый голос карлика с лицом сектанта — Мережковского, высовывался язык страдающего тиком черноволосого красавца Бердяева, вырезывалась голова Блока, шариком выскакивала круглая фигурка приват-доцента Аничкова, вскакивал череп единственного в этом бедламе марксиста Столпнера, рыжело взбитыми волосами, а может быть уже париком, злое и еще красивое лицо Зинаиды Гиппиус рядом с дворянски-невозмутимой маской Философова и многих других лиц, масок, профилей и физиономий».

Колоритно, не правда ли?..

В «Башне» все происходило на манер барочных итальянских академий, в атмосфере утонченной игры — чтения, дискуссии, споры, разыгрывание театральных и музыкальных пьес. В них участвовали маститые и начинающие, литераторы в славе и поэты на подступах к ней, и всех соединял Вячеслав Иванов, называвший себя «зодчим мостов». Внешностью, блестящим разговором, осанкой «жреца» он был русским «почти Гете» — так воспринимал его, по крайней мере, Георгий Иванов. И фрагмент его же воспоминаний:

«1911 год. В „Башне“ — квартире Вячеслава Иванова — очередная литературная среда. Весь „цвет“ поэтического Петербурга здесь собирается. Читают стихи по кругу, и „таврический мудрец“, щурясь из-под пенсне и потряхивая золотой гривой, — произносит приговоры. Вежливо-убийственные, по большей части. Жесткость приговора смягчается только одним — невозможно с ним не согласиться, так они едко-точны. Похвалы, напротив, крайне скупы. Самое легкое одобрение — редкость…»

Далее Георгий Иванов вспоминает, как на «среде» Анна Ахматова читала стихотворение «Так беспомощно грудь

холодела…», а после чтения к ней подошел Вячеслав Иванов и поцеловал ей руку: «Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии».

Приведем кусочек из воспоминаний Бориса Зайцева: «Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для мужчин. Он и считался больше водителем, учителем». «Когда дело касалось поэзии, он чувствовал себя непременным предводителем хора…» — это уже из воспоминаний Сергея Маковского.

Журфиксы отжурчали в 1917 году. Под впечатлением Февральской революции Вячеслав Иванов молил:

Боже, спаси
Свет на Руси,
Правду Твою
В нас вознеси,
Солнце любви
Миру яви,
И к бытию
Русь обнови.

Молитвы не помогли. «Революция протекает внерелигиозно…» — отмечал поэт. Примечательно: на складе издательства Сабашниковых сгорели все экземпляры только что напечатанной книги Вячеслава Иванова «Эллинская религии страдающего бога». В тяжелейших условиях советского быта Вячеслав Иванов продолжает напряженно работать и летом 1920 года попадает в московскую «здравницу для переутомленных работников умственного труда». Жизнь в одной комнате с историком и своим другом Михаилом Гершензоном дала возможность написать удивительную книгу «Переписка из двух углов» (1921) — образец культурной полемики о смысле бытия, смерти и бессмертия.

Затем Вячеслав Иванов с семьей уехал в Кисловодск, а далее в Баку, где он защитил докторскую диссертацию на тему «Дионис и прадионисийство» (опять ничего советского!). О бакинском периоде изданы удивительные воспоминания «Разговоры с Вячеславом Ивановым», которые вел молодой филолог Моисей Альтман.

Запись от 25 ноября 1920 года: «Сегодня говорил с Вяч. Ивановым. Он, оказывается, остается на зиму в Баку и будет читать лекции (по греческой трагедии, Достоевскому и римскому театру) в университете. Меня это так радует, и я горжусь иметь его учителем своим. Ведь он так много знает и так много

умеет…»

Бакинский период кончился, и 28 августа 1924 года Вячеслав Иванов покидает Россию. И в первом стихотворении, написанном в Риме, он уподобил Россию сгоревшей Трое, а беглецов из России — спутникам Энея, вынесшим из пламени отеческих богов.

«Я еду в Рим, чтобы там жить и умереть», — говорил Вячеслав Иванов. Он всегда считал Рим своей второй духовной родиной.

Вновь арок древних верный пилигрим
В мой поздний час вечерним «а е Рома»
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, — вечный Рим.

С 1926 по 1934 год Вячеслав Иванов был профессором в университете Колледжио Борромео в Павии и читал лекции о русской культуре. Общался с Муратовым, который жил в Риме. Принимал дальних гостей — Бунина, Зайцева, Мережковского. Написал удивительный цикл стихов «Римский дневник 1944 года». А так, жил уединенно на виа Монте Тарпео — отшельником «Тарпеевой скалы». 17 марта 1926 года перешел в католицизм и стал одним из провозвестников экуменического движения. Не успел закончить роман-поэму «Светомир». И за месяц до своей смерти признался эстонскому поэту Алексису Ранниту с улыбкой, что, «если ему на том свете не дадут возможность читать, говорить и писать по-гречески, он будет глубоко несчастен».

Вячеслав Иванов скончался в возрасте 83 лет.

Итальянский писатель Джованни Папини причислил Вячеслава Иванова к семи великим старикам (наряду с Бернардом Шоу, Гамсуном, Метерлинком, Клоделем, Ганди и Андре Жидом), в лице которых минувший век жил еще в культурной реальности послевоенного мира, семи великих из плеяды поэтов и мифотворцев, на ком лежала, хотя бы частично, ответственность за катастрофу XX века.

Мысль спорная. В конечном счете виноваты политики, а отнюдь не поэты. Поэты витают в облаках, а политики вершат на земле свои конкретные черные дела.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
Георгий Владимирович
29. X(11.XI).1894, Студенки Ковенской губернии — 26.VIII.1958, Йер де Пальма под Ниццей

Среди поэтов-эмигрантов Серебряного века Георгий Иванов, пожалуй, был единственным, кого вычеркнули из истории литературы за его явно антисоветские стихи, к примеру, такие:

Россия, Россия «рабоче-крестьянская» —
И как не отчаяться! —
Едва началось твое счастье цыганское,
И вот уж кончается.

Деревни голодные, степи бесплодные…
И лед твой не тронется —
Едва поднялось твое солнце холодное,
И вот уже клонится.
(1930)

Литературная энциклопедия (1966) с неприязнью писала: «Стихи И. насыщены настроениями неясной тоски, утомленности, эротич. мотивами, романтич. картинами старины; их лирич. герой весь в прошлом, он растерян и ищет утешения в религии».

Так кто он такой, Георгий Иванов? Отец — дворянин, бывший военный, мать из родовитой голландской семьи, баронесса Вир ван Бренштейн (из-за нее поэта в молодые годы звали «баронессой»). Как и у Блока, у Георгия Иванова детство было поистине золотое: живописное имение с великолепным парком и прудами, любящие родные, комфортный быт, частые приемы, музыкальные вечера, пикники и фейерверки. А потом все исчезло. Имение сгорело, отец покончил жизнь самоубийством.

Согласно семейной традиции Георгий Иванов избрал военное поприще: поступил во второй кадетский корпус в Петербурге, но курс не закончил. Юного кадета увлекла поэзия.

«Осенью 1909 года Георгий Чулков привел меня к Блоку, — вспоминает Георгий Иванов. — Мне только что исполнилось пятнадцать лет. На мне был кадетский мундир. Тетрадку моих стихов прочел Чулков и стал моим литературным покровителем».

Блок отнесся к стихам начинающего поэта с бережным вниманием. Перед Блоком Георгий Иванов благоговел: «Залита солнцем большая мансарда, Ваш лик в сиянье, как лик Леонардо» («Письмо в конверте»). И до конца своей жизни Георгий Иванов сохранил память об Александре Блоке. Отзвук блоковских мелодий часто слышится в его стихах:

Этот звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег.
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.

Дебют Георгия Иванова в печати состоялся в 1910 году в журнале «Все новости литературы, искусства, техники и промышленности». Решив стать профессиональным литератором, Георгий Иванов оставил кадетский корпус, вопреки желанию матери и сестры.

Первая книга «Отплытие на о. Цитеру», как вспоминал на закате своих лет Георгий Иванов, «…целиком написана на школьной парте роты его Величества… Вышла осенью 1911 года в 200 экз… Через месяц после посылки этой книжки в „Аполлон“ — получил звание члена „Цеха поэтов“. Вскоре появились очень лестные отзывы Гумилева в „Аполлоне“ и Брюсова в „Русской

мысли“. И я легко и без усилия нырнул в самую гущу литературы, хотя был до черта снобичен и глуп» (письмо В. Маркову от 7 мая 1957).

Затем последовал выпуск других сборников — «Горница» (1914), «Памятник славы» (1915), «Вереск» (1916) и «Сады» (1921) — изящная миниатюрная книжечка, оформленная Михаилом Добужинским. Как заметил один из критиков, своего рода шедевр лирического герметизма, рекордная для русской поэзии демонстрация отключенности от презренной реальности.

Уже бежит полночная прохлада
И первый луч затрепетал в листах,
И месяца погасшая лампада
Дымится, пропадая в облаках.

Рассветный час! Урочный час разлуки
Шумит влюбленных приютивший дуб,
Последний раз соединились руки,
Последний поцелуй холодных губ…

Первые поэтические шаги Георгия Иванова отмечены явным подражательством Михаилу Кузмину, которого копировал и во внешности, Игорю Северянину, Анне Ахматовой. Его стихи ранней поры чересчур литературны и представляют собой некие изысканные лирические импровизации, герои которых — мечтательный пастух, Диана, Хлоя, а также купидоновские сети, брызги фонтана, небосвод светлее сердолика и прочий набор романтических мечтаний и грез. Во всем этом чувствуется поиск своего места в поэзии, и не случайно, что Георгий Иванов примыкает то к одному направлению в поэзии, то к другому.

Вначале его привлек звонкий эго-футуризм, но, как признавался сам поэт: «Из моего футуризма ничего не вышло. Вкус к писанию лиловых „шедевров“ у меня быстро прошел». Затем Георгий Иванов вступает в ряды акмеистов. Много пишет. Его стихи и рассказы появляются в разных изданиях: «Аргусе», «Огоньке», «Ниве», «Голосе жизни», «Лукоморье»… После отъезда Гумилева на фронт Иванов становится обозревателем поэзии в модном «Аполлоне». Выступает с докладами.

Георгий Иванов — участник столичной жизни, завсегдатай «Бродячей собаки», самого популярного литературного кафе дореволюционных лет. Вино, женщины, горячие споры, неуемные фантазии.

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.

Эти строки Георгия Иванова стали словами одной из песенок Александра Вертинского. Все, что пишет Георгий Иванов, изящно и красиво. Гумилев отмечает «безусловный вкус» и «неожиданность тем и какую-то грациозную „глуповатость“ в той мере, в какой ее требовал Пушкин» (журнал «Аполлон», 1912).

Талант, ум и вкус в стихах Георгия Иванова отмечал и Блок. Общее мнение о раннем Георгии Иванове, пожалуй, подытожил внимательный летописец времени Корней Чуковский: «Какой хороший поэт Георгий Иванов, но послал бы ему Господь Бог простое человеческое горе, авось бы в своей поэзии почувствовалась душа».

Друг Георгия Иванова Георгий Адамович (их, кстати, обоих звали Жоржиками) писал о том же: «Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастья».

И Корней Чуковский, и Адамович исходили из старой проверенной формулы: поэта делает страдание. А коли его нет, то нет и истинной поэзии. Горе и страдание пришли вместе с революцией в октябре 1917 года и почти всех коснулись сразу. Гумилев был расстрелян. Блок задохнулся в бездуховной атмосфере. А вот Георгий Иванов сначала и не почувствовал особых перемен, гнета и давления новых властей. Все дело в том, что он как поэт развивался медленно и по-настоящему во весь голос заговорил уже в эмиграции. Как большой поэт он по существу родился вне родины.

Пять лет Георгий Иванов прожил в советизированной России. Активно работал, сотрудничал со многими журналами, с издательством «Всемирная литература», переводил. Отстраняясь от политики, упивался культурой.

О, муза! Гофмана я развернул вчера
И зачитался до рассвета…

Вместе с Георгием Адамовичем он возглавил второй «Цех поэтов», вокруг которого группировалась талантливая постакмеизмическая молодежь: Ирина Одоевцева, Всеволод Рождественский, Сергей Нельхиден и другие. Академические штудии проходили на фоне хозяйственной разрухи, голода и

холода. Долго жить в такой обстановке было трудно, и Георгий Иванов добивается командировки в Берлин «для составления репертуара государственных театров» и осенью 1922 года вместе со своей второй женой Ириной Одоевцевой покидает родину.

«1922 год, осень. Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой — проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему. Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург!..» (Г. Иванов. «Петербургские зимы»).

Покинув Россию, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева жили сначала в Берлине. Потом перебрались в Париж. Когда началась война, супруги переехали в Биарриц. Потом снова Париж. Денег не было. Стихи никто не покупал. И что оставалось?

Я не знал никогда ни любви, ни участья.
Объясни, что такое хваленое счастье,
О котором поэты толкуют века?..
Ледяное, волшебное слово: Тоска.

Конечно, не все было мрачно. Случались и просветы. Радость приносила работа. Георгий Иванов и Адамович очень авторитетны среди литераторов в эмиграции. Они были властителями дум русского Монпарнаса, создали особый стиль, «парижскую ноту», как тогда говорили, объединили многих молодых писателей и поэтов тех лет. Георгий Иванов помог талантливому поэту Борису Поплавскому. Открыл поэта Владимира Смоленского. Оказал поддержку и многим другим. Но, как известно, другим помогать легче, чем самому себе. К тому же Георгий Иванов был мало приспособлен к добыванию денег, и в некоторые периоды жизни они жили преимущественно на гонорары от рассказов и романов Одоевцевой.

Георгий Иванов тяжело переживал разлуку с Россией. Никуда не ездил, не желал путешествовать, из французских писателей читал одного лишь Стендаля.

В 1931 году в Париже вышел сборник Георгия Иванова «Розы», и по замечанию маститого литературоведа Константина Мочульского, Георгий Иванов «перестал быть изысканным стихотворцем, став поэтом». По отзывам других ценителей поэзии, Георгий Иванов превратился в «королевича» русской поэзии.

Над закатами и розами —
Остальное все равно —
Над торжественными звездами

Наше счастье зажжено.
Счастье мучить или мучиться,
Ревновать и забывать.
Счастье нам от Бога данное,
Счастье наше долгожданное,
И другому не бывать.

Все другое — только музыка,
Отраженье, колдовство —
Или синее, холодное,
Бесконечное, бесплодное
Мировое торжество.

В сборнике «Розы» звучат уже не прежние мотивы печали и тоски, а истинной боли, ибо поэт никак не может «соединить в создании одном прекрасного разрозненные части». Мир расколот. Кругом зло. Как с ним бороться?.. Адамович отмечал черты христианской литературы в поэзии Иванова, но не тему грядущего спасения, а тему грядущей, весьма близкой гибели. Не тема рая, но — ада.

«В годы эмиграции, — писал В. Завалишин, — Георгий Иванов, как поэт, сильно вырос, достиг высокого формального совершенства… от Верлена Георгий Иванов взял прежде всего умение превращать слово в музыку, с ее тончайшими нюансами. Но при этом поэзия Иванова не утрачивает пушкинской чистоты и прозрачности. Сделав ритм своих стихов по-новому музыкальным, что позволило воспроизвести сложные оттенки настроений, Георгий Иванов не отрекся от ясновидящей чеканности классического стиха. В этом сочетании музыкальности и классичности — секрет обаяния поэзии Иванова… Поэзия Георгия Иванова воспринимается как траурный марш, под скорбную и величественную музыку которого уходит в сумрак былая Россия…»

Из новой России шли тяжелые вести о репрессиях, о лагерях, о гибели многих писателей и поэтов. Особенно горько переживал Георгий Иванов гибель Мандельштама, друга своей юности. Отсюда его строки:

Мне больше не страшно. Мне темно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу…

Поэт действительно летел в пропасть: болезни и нищета, «старческий дом» на юге Франции. Написанный Георгием Ивановым «Посмертный дневник» — один из самых пронзительных документов, отчеканенный в великолепных стихах. В нем он обращается к прошлому, к Пушкину:

Вы мне все роднее, вы мне все дороже,
Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже
Захлебнуться горем, злиться, презирать,
Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

Георгий Иванов скончался, немного не дожив до 64 лет, на больничной койке. Он оставил нам блестящие воспоминания о Серебряном веке: «Петербургские зимы», мрачную и апокалипсическую книгу «Распад атома» (1938), неоконченный роман «Третий Рим» и «Посмертный дневник» (1958) — по существу реквием, моцартианский по музыке, шекспировский — по духу.

Георгий Иванов, воплотивший в своих стихах трагизм существования, по оценке Романа Гуля, был единственным в русской литературе экзистенциалистом, экзистенциализм которого уходит корнями «в гранит императорского Петербурга».

РЮРИК ИВНЕВ
Михаил Александрович КОВАЛЁВ11(23).II.1891, Тифлис — 19.II.1981, Москва

Поэт-долгожитель. Декадент? Футурист? Имажинист? Соцреалист? И то, и другое, и третье… А точнее, романтик, которому выпало жить в бурное время и который, к удивлению, выжил, минуя все рифы и преграды. Его лодка, в отличие от лодки Маяковского, не разбилась о быт. И он, не в пример Есенину, не полез в петлю. Поэт-конформист, хотя в данном случае это не должно звучать как осуждение. Каждому — свое. Кому — буря и натиск. Кому — тишь и гладь.

Михаил Ковалев родом из дворянской семьи, и согласно семейной традиции должен был стать военным, но им не стал, хотя и закончил Тифлисский военный корпус. Однако, обучаясь там военному делу, начал писать стихи, подражая модному Надсону, и, возможно, «отрава стихов» его и погубила, и он пошел по скользкой поэтической дорожке. Сначала учился в Петербургском университете, а потом закончил юрфак Московского, и в 1915–1917 годах служил в канцелярии

государственного контроля в Петрограде. Его запомнили как корректного, благоразумного, безукоризненно аккуратного молодого человека, но при этом он удивлял своими поэтическими «безумствами». В 1912 году на страницах большевистской газеты «Звезда» напечатал протест против «сытых»:

Веселитесь! Звените бокалом вина!
Пропивайте и жгите мильоны…

…Веселитесь! Зачем вам томиться и знать,
Что вдали за столицей холодной?..

Многие подумали: родился новый поэт-демократ, но Ковалева, будущего Рюрика Ивнева, мало интересовали политические и социальные вопросы, его больше трогала собственная судьба, собственные метания и крайности:

Я вчера задыхался от счастья,
А сегодня кричу от боли…

В 1913 году выходит первая книга стихов «Самосожжение», подписанная псевдонимом «Рюрик Ивнев». В ней тревога, смятение, боль, сплошная лирическая рефлексия:

Я — раб, незнающий и жалкий,
Я — тела бледного комок…

Затем вышли сборники «Пламя пышет» (1913), «Золото смерти» (1916).

Ах, не надо жестокостей и уколов —
Я изнервничался, дайте мне покой.
Вокруг, будто осенью, все голо,
И нельзя побеседовать с сочувствующей душой.

Поэтесса Вера Аренс увидела в Ивневе родственную душу и назвала его «поэтом города, его неумолимых законов, его ужаса и грязи». Михаил Кузмин посчитал его самым талантливым из молодых поэтов. Но были и другие мнения, некоторые критики отмечали в стихах Рюрика Ивнева сладострастное самобичивание, манерную истерику. «Карамазовщину» и

«Передоновщину».

Душу измученную и перепачканную,
Отвратительную, но родную мою,
Господь, укрепи своею подачкою,
Видишь: я на краю…

Вращаясь в литературных кругах Петербурга, посещая литературные салоны и кабаре, общаясь со всем поэтическим Парнасом, Рюрик так окончательно и не определил для себя, с кем ему быть. Символисты ему были, вроде бы, не по возрасту. Футуристы — ровесники, значит, ближе, но, как заметил Корней Чуковский, Ивнев «футуристом лишь притворялся». В «Новом журнале для всех», в сентябрьском номере за 1915 год появилась такая оценка Ивнева: «Под обложкой с кубическими мальчиками остался обыкновенный петербургский мальчик, беспомощный и грустный, как-то по-женски несчастный и… безалаберный, интимно и нервно рассказавший нам о Петербурге… и о себе… изнервничавшемся, усталом и больном».

Познакомившись с Сергеем Есениным, Рюрик Ивнев забросил футуризм и примкнул к имажинизму. В своих мемуарах Анатолий Мариенгоф вспоминает, как шумно проходил в кафе поэтов вечер «Явление народу имажиниста Рюрика Ивнева» и какой успех имело его четверостишие:

Выхожу из вагона
И лорнирую неизвестную местность.
А со мной всегдашняя бонна —
Моя будущая неизвестность.

А неизвестность стояла уже на пороге и имя у нее было волнующее красивое: Революция!

Как все пустынно! Пламенная медь.
Тугих колоколов язвительное жало.
Как мне хотелось бы внезапно умереть,
Как Анненский у Царскосельского вокзала —

так писал Рюрик Ивнев в декабре 1918 года. Но это в стихах. А в жизни надо было думать о… жизни! И он становится сначала добровольным помощником, а затем официальным секретарем у большевистского наркома Анатолия Луначарского. В письме к

Брюсову 4 декабря 1920 года Луначарский писал: «…т. Ивнев уже по одному тому, что он буквально в самый день Октябрьской революции явился ко мне с предложением своих услуг по немедленному налаживанию связи между Советской властью и лучшей частью интеллигенции, по тому, что он с большим мужеством в один из ближайших к революции дней выступил с горячей защитой в то время отвергаемой почти всей интеллигенцией новой власти, заслужил самое внимательное к себе отношение».

Итак, Рюрик, товарищ Ивнев попал в «лучшую часть интеллигенции», а посему Луначарский не только рекомендует его стихотворения к изданию, но и способствует тому, что в 1920 году Ивнев становится председателем Всероссийского союза поэтов. Можно сказать и так: Рюрик Ивнев сделал в жизни правильную ставку. Однако вышедший при советской власти первый сборник «Солнце во гробе» свидетельствовал, что противоречивые бури в душе Рюрика не улеглись.

По изрытым как оспа дорогам
Судорожно мечется
Душа — проклятая, оставленная Богом,
Еще теплая от ласк вечера…

Дальнейшая жизнь Рюрика Ивнева пошла по накатанной дороге, строго придерживаясь правил, установленных советской властью. О нем пишут «как о горячем приверженце социализма» и совсем не упоминают его предреволюционные литературные грехи и метания.

В 1936–1950 годах он жил в Грузии, с 1950-го в Москве. Выходили многочисленные сборники стихов, прозаические произведения — трилогия «Любовь без любви» (1925–1928), автобиографические повести «Богема» и «У подножия Мтацминды» (1973), перевод поэмы Низами «Семь красавиц»… Как спецкор «Огонька» Рюрик Ивнев много путешествовал по стране. Основная тема его творчества: природа и любовь. Давно забыты футуристическо-имажинистские выверты, Ивнев — признанный мастер ясного, прозрачного, классического стиха.

Листьев вечереющих прохлада,
Облака проходят не спеша.
Сколько тысяч лет прожить мне надо,
Чтобы успокоилась душа?..

Значит, все же болела. Как и любому старому человеку, а тем более поэту, не давала покоя. В 1966 году в свои 75 лет Рюрик Ивнев пишет стихотворение «Ночь в Барвихе»:

О, неужели все пойдет насмарку —
И эта ночь, и эта тишина,
И эти зеленеющие арки
Листвы, в которых прячется луна?
О, неужели все пойдет насмарку —
Сонаты Гайдна, и стихи Петрарки,
И болдинских деревьев желтизна?
О, неужели вместо звезд огарки
В последний раз мелькнут нам из окна?..

Ведь правда, чувствуется в этих строках рука мастера, учившегося еще в Серебряном веке?..

Рюрик Ивнев прожил 90 лет и за несколько часов до смерти думал о жизни, но уже «на другом берегу».

КАМЕНСКИЙ
Василий Васильевич
5(17).IV.1884, близ Саратова (на пароходе) — II.XI.1961, Москва

Бурно-разливной Серебряный век, как любая переходная эпоха, породил полярное разнообразие человеческих типов, соответственно, и поэтов, разных не только по степени таланта, но и по темпераменту и по психофизиологическому складу. Жеманно-интимный Кузмин и шумноголосый, наступающий на ноги и на горло Маяковский, расстегнутый нараспашку Есенин и застегнутый наглухо, надменный Ходасевич, тоскливо рыдающий Рюрик Ивнев и радостно-хмельной от жизненного бытия Василий Каменский.

«Певец былинных богатырей, и сам богатырь, задорный по нраву, но добрый и чуткий к людям, — таким я вижу своего ровесника по эпохе и соседа по творчеству», — писал о Каменском Сергей Городецкий.

Василий Каменский — самый мажорный из всех футуристов, для него футуризм был всего лишь веселой игрой. «Вечный искатель и звонарь молодости» — так характеризовал себя сам Каменский. А в стихотворении «Моя карьера» (1916) по-северянински представился:

Поэт — мудрец и авиатор,
Художник, лектор и мужик,
Я весь изысканный оратор,
Я весь последний модный шик.

Звенит, как сонная аорта,
Мой наркотический лиризм —
Я от деревни до курорта
Провозглашаю футуризм.

Сама жизнь Каменского — это авантюрный роман в стиле Дюма, только главный герой — не мушкетер чести д'Артаньян, а любимый герой Каменского — Стенька Разин, анархист из анархистов.

Сарынь на кичку!
Кистень за пояс,
В башке гудит.
Разгул до дна…

Разгул по-каменскому — это жизнь взахлеб в постоянном движении и изменении по полной программе: все перепробовать и все изведать. Первое появление на свет — и уже оригинальность: «Я родился в пароходной каюте деда — на Каме, меж Пермью и Сарапулом», — свидетельствовал Каменский в автобиографической книге со знаменательным заголовком: «Путь энтузиаста». В четыре года круглый сирота. Далее церковно-приходская школа и пермское городское училище. С одиннадцати лет «писал стихи о сиротской доле, о горестях человеческих, о несчастных. Сам писал, сам читал, сам ревел». Но это по детскости лет — в Некрасовы идти не собирался.

В 16 лет начал работать конторщиком на Пермской железной дороге. При конторе была библиотека, и Каменский читал «запойно» все подряд, и «мечтал сделаться писателем». Однако молодого книгочея сманил театр: сцена более волнительная штука, чем конторская сидячая жизнь. На несколько лет Каменский стал актером (под псевдонимом Васильковский) и кочевал по российской провинции вместе с сезонными труппами. Играл в различных пьесах, типа «Убийство на почте» или «Притон четырех принцев», где согласно афише: «В пьесе 77 трансформаций, 21 выстрел, восемь убийств, четыре ограбления, два пожара, локомотив, пароход, пляска, пение, апофеоз».

Провинциальная публика ревела от восторга.

Встреча с Всеволодом Мейерхольдом положила конец театральным скитаниям. Мейерхольду приглянулся молодой человек с явными литературными способностями, и он посоветовал Каменскому бросить театр:

— Да, да, лучше оставить, интереснее заниматься литературой, а провинциальный театр — болото, ерунда. Провинциальный театр отнимет все и ничего не даст.

Но прежде чем вступить на литературный путь, Каменский хлебнул различной жизни: влюбился в севастопольскую гимназистку, в Николаеве спал у приятеля в похоронном бюро в гробу, поучаствовал в забастовке рабочих и посидел в тюрьме, совершил путешествие в Стамбул и Тегеран, в Петербурге поучился на сельскохозяйственных курсах, а уж потом начал резвиться (глагол именно для Каменского) в литературных садах. В 1908 году Каменский стал секретарем журнала «Весна», где познакомился со всеми петербургскими знаменитостями и «навеки подружился» с Давидом Бурлюком и Велимиром Хлебниковым.

Но это не все. Учился живописи и участвовал в выставке «Импрессионисты». Вместе с Хлебниковым, Бурлюком и Еленой Гуро организовал группу «кубофутуристов» и выпустил скандальный футуристический сборник «Садок судей» (1910). Поиграл, натешился и увлекся новой идеей: авиацией. В феврале 1911 года Каменский приобрел моноплан типа «Блерио XI», и вот он уже летчик. Чтобы совершенствоваться в полетах, Каменский отправился в Париж на окончательную выучку к авиамэтру Луи Блерио, по возвращении из Франции получил диплом пилота-авиатора Императорского аэроклуба. В 1912 году Каменский совершал показательные полеты в России и Польше, а после полетов читал лекции об авиации.

29 апреля во время полета в Польше, в грозу, потерпел крушение и чудом остался жив. Аэроплан разбился, а Каменский отделался несколькими переломами, после чего «поэт всемирного динамизма, пришелец-вестник из будущего», как называл себя Каменский, поутих и уехал на Урал «зализывать раны». Охота, рыбалка и игра на гармошке полностью восстановили его силы.

И снова Каменский бросился в волны футуризма. 11 ноября 1913 года в Москве в Политехническом музее Каменский принял участие в «Утверждении российского футуризма» — еще один вызов символистам. После вечера — длительное турне футуристов по российским городам и весям. Концерты, лекции, скандалы: «Желтая кофта Маяковского, аэроплан на моем лбу, собака на щеке Бурлюка, невероятные сверхстихи и горластые

речи непризнанных гениев — все это до скрежета дразнило „в шик опроборенных“ охранителей эстетики в духе парфюмерного символизма», — писал Каменский.

Сам Каменский почти всюду читал своего «Степана Разина», запрещенного цензурой за «восхваление атамана разбойников»:

«Сарынь на кичку!»
Ядреный лапоть
Пошел шататься
По берегам.
Сарынь на кичку!
В Казань!
В Саратов!
В дружину дружную
На перекличку,
На лихо лишное
Врагам!
Сарынь на кичку!

Явный эпатаж. И пощечина общественным вкусам. Но молодецкие силы распирали Васю Каменского, и хотелось разгуляться вовсю, не случайно его обращение к дружку Маяковскому:

Дай бог здоровья себе да коням!
Мы на работе загрызем хоть кого!
Мы не сгорим, на воде не утонем,
Станем — два быка — вво!

Это было написано в 1915 году. А за год до этого знаменитое «Танго с коровами», которое начинается с признания, что «жизнь короче визга воробья», а посему:

Ну вас — к черту —
Комолые и утюги!
Я хочу один-один плясать
Танго с коровами…

Коровы, лошади… Во время своих цирковых выступлений в Тифлисе в 1916 году Каменский выезжал на арену на белой лошади в костюме Стеньки Разина и декламировал свои стихи, все тоже грозно-лихое «Сарынь на кичку!».

Как ни странно, но с революцией ухарство Каменского стало сходить на нет. Правда, всплески еще были, вроде «Декрета о заборной литературе, о росписи улиц, о балконах с музыкой, о карнавалах искусств». Но дальше все как-то застопорилось, хотя Каменский и провозглашал:

Я — машинист паровоза Союза,
Я — капитан корабля «Социал».

Каменский много писал: книги «Звучаль веснянки», автобиографическая «Его-моя биография», мемуары «Путь энтузиаста» (1931) и «Жизнь с Маяковским» (1940), поэмы о Каме, «Урал», «Колхозная честь» (1937), романы «Скандальный мертвец» (1927), «Пушкин и Дантес» (1928), прозаические произведения переделывал в пьесы, где не Дантес убивал Пушкина, а Пушкин убивал Дантеса, и т. д. Но все писания Каменского, по справедливому утверждению критиков, оставались за пределами большой литературы.

Революция была давно забыта, в СССР строилась новая империя, которой был нужен большой имперский стиль, а не художественное новаторство, и поэтому формула Каменского «Поэзия — праздник бракосочетания» уже никак не работала.

Звени, знойный, разудалый,
русский алый день.
Звездидень!
Звездидень! —

это никого не трогало и никого не интересовало. Стихи Каменского стали отыгранной лирической картой. Что касается истинных знатоков, то Каменский их давно перестал интересовать. Примечательна запись в дневнике Корнея Чуковского в марте 1922 года: «Сегодня я писал о Вас. Каменском. Это все равно, что после дивных миниатюр перейти к маляру».

Маляр — это Каменский, а кто автор «дивных миниатюр»? Американский писатель Генри Джеймс.

Свое 60-летие Каменский встретил в тбилисской больнице, где ему ампутировали ногу (застарелый тромбофлебит). Через год — вторую. Но даже будучи инвалидом, Василий Васильевич сохранял бодрость духа. И продолжал писать без каких-либо трагических нот. До конца своих дней Каменский был в упоении языковой стихией и пребывал в безудержном «песне-пьянстве». Творил оставшуюся незаконченной поэму «Ермак Тимофеевич».

Ко всем недугам прибавился и тяжелый инсульт. В середине 50-х годов, владея только одной левой рукой, Каменский в Сухуми, куда его вывезли, рисовал веселые пейзажи в стиле народных примитивов. И еще он любил рисовать летящих птиц, очень напоминающих самолеты.

Богатырь, веселый футурист и «голубоглазый летчик» скончался в Москве, в возрасте 77 лет. «Чурлю-журль» отзвенел и отсмеялся.

КЛЫЧКОВ
Сергей Антонович
24. VI(6.VII).1889, дер. Дубровки Тверской губернии — условная дата — 8.X.1937, в заключении

В народе популярна песня «Живет моя отрада в высоком терему», а иногда можно услышать и такое выражение: «К порке да к корке… народ наш привычен». И песня и выражение принадлежат поэту и прозаику Сергею Клычкову. Ныне имя его мало кто вспоминает, а жаль: удивительный был лирик, стихи которого «выпекались из сердца и покоряли живой лиричной сказочностью», — как сказал о нем его университетский друг П. Журов. А Сергей Городецкий написал о Клычкове:

Родятся в комнатах иные,
А ты — в малиновых кустах.
Зато и губы наливные,
И сладость алая в стихах.

Появился на свет Сергей Клычков в крестьянской старообрядческой семье и действительно «в малиннике», где «меня мать скинула, спутавши по молодости сроки», — писал Клычков в «Автобиографии». Начальное образование получил в Талдоме и Москве. Затем учился на двух факультетах Московского университета (на естественном и историко-филологическом), но ни одного не закончил и в 1913 году был исключен из университета. В Москве сблизился с Борисом Пастернаком, Сергеем Коненковым и Борисом Садовским.

Первые книги: «Песни: Печаль-радость. Лада. Вова» (1911) и «Потаенный сад» (1913). Если первая книга вызвала в основном критические отзывы («Не хватает складной речи» — М. Волошин), вторая, напротив, — хвалебные, мол, появился «прелестный и нежный поэт». Клычков, по существу, возродил жанр народной лирической песни и ввел в свои стихи образы Леля, Лады, царевны Дубравны и других сказочных героев. В целом его «Потаенный сад» — это прибежище от всех зол машинной цивилизации, которую поэт начисто отрицал. Поэзию Клычкова критик Вячеслав Полонский сравнивал с «зеленым клейким листочком только что распустившейся почки», которая «несет большую радость, ибо говорит истомленной душе о весне и солнце».

Клычков резко выступал против футуристов-имажинистов, отстаивая позиции классической ясности, строгой простоты и народности.

И пускай мне выйти не в чем,
Пусть темно в моем углу,
Все ж пою я сердцем певчим
Жизни славу и хвалу.

Клычков, по словам его современницы Надежды Павлович, «был похож на стилизованного былинного доброго молодца. И говорил он непросто, медленно, с запиночкой, разузоривая свою речь прибаутками; казалось, он подчеркивает, что вот я вроде и темный человек, балакирь, а науку превзошел и Клюева, Белого, Блока и Брюсова знаю, в московском кружке „Свободная эстетика“ бывал. Но чувствовалось в нем что-то простодушное, а главное, уж очень любил он слово как таковое, и вышивал он свою речь этими народными словами, любуясь ими, а не собой, потому что был он поэтом по всему своему душевному складу, даже когда писал свою прозу».

Среди архива Клычкова есть «Неспешные записи». Вот одна из них: «Книги — как блудницы: одни нежатся в шелковых и

сафьянных альковах переплетов, другие, как римские волчицы около термы, щеголяют в чем мать родила. Ни того, ни другого я не люблю, хотя сам лично в книгах стараюсь не лгать, не отказывая себе в этом удовольствии в жизни».

Но вернемся к биографии. Сергей Клычков — участник декабрьского восстания 1905 года в Москве. Участник Первой мировой войны. Революцию принял безоговорочно. «В 1917-м в Балаклаве один из первых снял с себя офицерский мундир и перешел в солдаты, — отмечал Клычков в „Автобиографии“. — Когда началась гражданская война, выступал на митингах в защиту большевиков. Был контужен, лежал в санатории Александра III в Москве».

Выпускает сборники «Кольцо Лады», «Дубрава», «Домашние песни». Затем Клычков обращается к прозе: «Сахарный немец» (1925), «Чертухинский балакирь» (1926), где все сплетено из мифов, преданий и поверий; «Князь мира» (1927). Планы у Клычкова были грандиозные: раскрыть жизнь русской деревни, начиная с времен крепостничества и кончая революцией. Но этим планам не суждено было сбыться… Последняя книга Клычкова — сборник стихов «В гостях у журавлей» вышла в 1930 году. К этому времени Клычкова уже рвали на куски. Ему прочно приклеили ярлык «бард кулацкой деревни», и одна из эпиграмм гласила:

Не рви волос,
Не бейся лбом о стену
И не гнуси: «О РУСЬ, СВЯТАЯ РУСЬ!»
Мы «журавлям» твоим узнали цену,
КУЛАЦКИЙ ГУСЬ.

Как Клычков попал в «кулацкие гуси»? Клычков любил «дремучую, медвежью, ажурную, овинную и лесную Русь», как написал один критик. Любил деревню, ее быт, традиции и не мог спокойно наблюдать, как новая власть ставит деревню на дыбы, лишает крестьян земли и заставляет объединяться в какие-то непонятные сельхозартели.

Мы отошли с путей природы
И потеряли вехи звезд…

Пугало Клычкова то, как варварски большевики обращались с природой, как наступала на человека «бесовская» машинная цивилизация. Вот что писал Клычков, холодея от ужаса:

«Город, город! под тобой и земля не похожа на землю… Убил,

утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железной спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в мыти… Оттого выросли на ней каменные корабли, оттого она и вытянула в небо несгибаемые ни в грозу, ни в бурю красные пальцы окраин — высокие, выше всяких церквей и соборов, фабричные трубы… От того-то и прыгает по этой земле человек… вечно спешит он, не знает он покоя, не ведает тишины, уединенья не знает даже в ночи… спит городской человек, грезя и бредя во сне недоделанными делами, то ли молот держа в усталых руках, то ли холодный рычаг от бездушной машины…»

Проклиная город, Клычков вздыхал по старой Руси, которая могла низать слова, как жемчуг; Русь — хохотунья, игрунья, певунья, плясунья, статная, ладная, ненаглядная красавица Русь…

Конечно, Клычков идеализировал старую Русь и был не прав, восставая против машин и цивилизации. Вот стихотворение, датированное сначала 1914 годом, а потом дополненное 1927-м.

Грежу я всю жизнь о рае
И пою все о весне…
Я живу, а сам не знаю —
Наяву али во сне? —

Грусть, как радость, сердце нежит…
Жизнь убога и проста,
Словно в поле холмик свежий
Без заметы и креста.

Как же жить в земле печальной,
Не сронив слезы из глаз?
Словно встреча — час прощальный,
Словно праздник — смертный час…

За несговорчивость и упертость в крестьянских вопросах Клычкова, Клюева, Есенина, Орешина и других поэтов нещадно критиковали и травили, называли «мужикопоклонниками» и «деревнелюбами». Критика была зубодробительной. Журнал «На подъеме» (1929) в одном из номеров уведомил читателей, что «старые реакционные писатели типа Клычкова и Клюева к крестьянским писателям Советского Союза не имеют никакого отношения». Александр Фадеев пошел дальше и назвал Клычкова «классовым врагом». Клычков сделался хрестоматийным «реакционером». И уже молодому поэту Павлу Васильеву,

ерничая, советовали:

Штоба не погибнуть в войске казацком —
Надоть слязать с клычковского коня!

«Мое впечатление: Клычков никогда не был в душе ни мракобесом, ни контрреволюционером, — писала в дневнике его вторая жена и верный друг Варвара Горбачева, соединившая с ним судьбу в 1930 году. — Был плоть от плоти русского народа. Жил в туманной сказке, а не в политике, в которую его насильно вовлекли критики, делая из него кулацкое пугало. Погиб напрасно, погубив свой могучий стихийный талант. Как он говорил: „Попал под колесо истории“. Как художник не высказался и не раскрылся. „Замыслов у меня — на триста лет“. „Писать — некогда“. Боже мой, мне ли не знать, какие у него были возможности! Вот подлинная трагедия».

Клычков понимал, куда все катится:

Стерегут меня злючие беды
Без конца, без начала, числа…

Это написано в середине 30-х годов. И тогда же:

Впереди одна тревога
И тревога позади…
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди!..

Никакой творческой свободы для «кулацкого писателя» не было, и пришлось Клычкову в поисках заработка заниматься переводами — с киргизского, с марийского…

В понедельник 31 июля 1937 года за Сергеем Клычковым пришли. Вот что вспоминала жена: «Я повела их в комнату Сергея Антоновича. Он зажег свечу, прочитал ордер на арест и обыск… и так и остался сидеть в белом ночном белье, босой, опустив голову в раздумье. Очень он мне запоминался в этой склоненной позе, смуглый, очень худой, высокий, с темными волосами, остриженными в кружок. В неровном, слабом свете оплывающей свечи было в нем самом что-то такое пронзительно-трогательное, неизбывно-русское, непоправимое… Хотелось кричать от боли…»

Клычкова обвинили в том, что он является членом антисоветской организации «Трудовая крестьянская партия» и

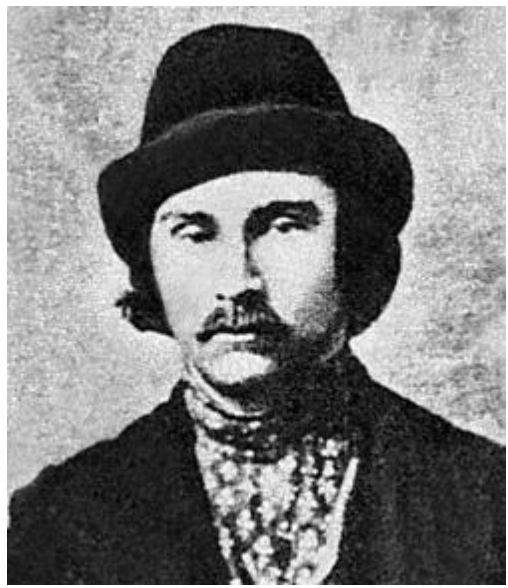
имел связь со Львом Каменевым. Приговор: десять лет без права переписки. Это означало: расстрел. Жена Клычкова написала отчаянное письмо «дорогому Иосифу Виссарионовичу» и поставила вопрос: «Так ли нужна его (Клычкова) гибель для торжествующей и победной революции?..»

Вместо ответа последовал расстрел. Условная дата роковой развязки: 8 октября. Где расстреляли 48-летнего Сергея Клычкова, точно неизвестно. Посмертная реабилитация поэта произошла в 1956 году. С 1985 года вновь стали выходить книги.

Свое стихотворение «Предчувствие» в 1917 году закончил Клычков такими строчками:

И сгустила туман над полями
Небывалая в мире печаль…

КЛЮЕВ
Николай Алексеевич
10(22).X.1884, дер. Каштуги Олонецкой губернии (ныне Вологодская обл.) — погиб в период 23–25.X.1937 в Томске в заключении



На Парнасе Серебряного века у Николая Клюева особое место. Он — представитель народа, фольклорный певец, мастер-стилизатор народных преданий и сказаний. Клюев действительно вышел из народа, хотя многое о себе сочинил сам: «Сын великих озер», «Гомер русского Севера», «Олонецкий Лонгфелло», «правнук Аввакума», «Королевич Еруслан» и т. д. И одевался он нарочито по-народному: смазные сапоги, домотканая рубаха-косоворотка, армяк, крест. А под всем этим скрывался довольно сложный, противоречивый человек, прирожденный актер, изображающий из себя «олонецкого мужичка». Его хотели видеть мужиком, он и старался им быть.

«Приехав в Петербург, — писал Георгий Иванов, — Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужика-травести». И далее в «Петербургских зимах» Георгий Иванов вспоминает:

«Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером Отель де Франс, с целым ковром и широкой турецкой тахтой.

Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-бусурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей… — Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубе. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то, — он подмигнул, — если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

— Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно — сейчас обряжусь…

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

— Ну, вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз и не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно…»

«Чудесный поэт, хитрый и умный», — свидетельствовал о Клюеве Сергей Городецкий. Сам же Клюев называл себя «поэтом великой страны, ее красоты и судьбы».

Первое свое стихотворение Клюев опубликовал в петербургском альманахе «Новые поэты» (1904), и называлось оно «Не сбылись радужные грезы…» Символическое название всей жизни Клюева. Он грезил о Китеже, древнем граде, опустившемся на дно озера Светлояр. Создал миф об «избяной Индии» — стране райского блаженства, идеале мужицкой мечты. А жизнь преподнесла совсем иное. Китеж обернулся жесткой тоталитарной системой. «Избяная Индия» стала железной и раздавила самого поэта.

Теперь несколько слов о детстве. Большое влияние на Клюева имела мать Прасковья Дмитриевна, происходившая из старообрядцев. Она внесла в душу будущего поэта «песенный склад и всякую словесную мудрость». Добавили старцы на Соловках, куда 14-летнего Клюева послала мать «на выучку».

Далее в судьбе Клюева возникла тюрьма (1906) — «за подстрекательство крестьян к неплатежу податей и в агитации среди крестьян противозаконных идей Всероссийского крестьянского союза». Это были первые для Клюева «тюремные

кошмары». Вторые — армия, в которой он не хотел служить, так как считал грехом воевать и носить оружие. Однако по состоянию здоровья Клюев в конечном счете был освобожден от службы.

Важный этап в жизни Клюева — сначала переписка (с 1907 года), а затем встреча (1911) с Александром Блоком. «Барин»-поэт и поэт-«мужик». В архиве Блока сохранилось 55 стихотворений, присланных Клюевым с просьбой оценить их и помочь напечатать. Клюев для Блока был интересен как выразитель религиозно-патриархальной и вместе с тем бунтующей и мятежной России. «Огненные», «золотые слова» Клюева притягивали к себе Блока. Раскольничья народная Русь на какой-то период была для Блока приглядней, чем упорядоченная помещичья аристократическая Россия.

Блок был не менее интересен для Клюева. Сначала Клюев выступал перед Блоком как проситель перед господином, затем начал говорить с ним на равных, как поэт с поэтом. И наконец Клюев выступил как обличитель той литературы, к которой принадлежал Блок, предъявил претензии к декадентству: «Творчество художников-декадентов, без сомнения, принесло миру больше вреда, чем пользы». Более того, Клюев пытался перетащить Блока на свою сторону, склонить его к «уходу», к разрыву со своей дворянско-интеллигентской средой. Призывал отказаться от всякой «иноземщины», служить только Божьей России.

Долго ль обветренный флаг
Будет трепаться так жалко?..
Есть у нас зимний очаг,
Матери мерная прялка… —

писал Клюев в одном из стихотворений, посвященных Блоку.

Перевербовать Блока Клюеву не удалось, но с помощью Блока Клюев в Москве издал 3 книги: «Сосен перезвон», «Братские песни», «Лесные были». Сборник «Сосен перезвон» был посвящен «Александру Блоку — Нечаянной Радости».

Такие же противоречивые отношения сложились у Клюева с Есениным. Они познакомились в 1915 году, и между ними возникла идеологическая и мировоззренческая близость. «Что бы между нами ни было, — писал Есенин, — любовь остается, как ты меня ни ругай, как я тебя. Все-таки мы с тобой из одного сада — сада яблонь, баранов, коней и волков… Мы яблони и волки — смотря по тому, как надо».

Клюев и Есенин организовали «новокрестьянскую» группу, в которую вошли Ширяевец, Клычков, Орешин и другие поэты-

аграрии. Однако группа распалась после Октября 17-го, что не помешало в дальнейшем советским критикам нещадно критиковать и бить членов группы как «кулацких поэтов».

Но прежде чем говорить о революции, необходимо хотя бы кратко сказать о том, что «пел» в стихах Николай Клюев. Он пел Россию, пел природу, пел народ. Глагол «пел» не случаен, ибо стихи Клюева — это своеобразные песенные распевы, все эти — «Запечных потемок чурается день…», «Когда осыпаются липы в раскосом и рыжем закате…», «В просинь вод загляделись ивы…», «Я молился бы лику заката…».

Религиозная лексика, языковая архаика, «пестрядь» и «изукрашенность» речи, этнографические детали деревенского быта — все то, что Есенин называл в Клюеве «только изограф, но не открыватель», роднит поэзию Клюева с живописными полотнами Васнецова, Билибина, Нестерова… Поэзия Клюева изукрашена, духовита и ароматна.

Мои застольные стихи
Свежей подснежников и хмеля.

В своих стихах Клюев поет осанну деревне и одновременно клеймит город.

Город-дьявол копытами бил,
Устрашал нас каменным зевом.

Но не только город был противен, противоестествен Клюеву, а и весь урбанистический уклад современной цивилизации, весь этот индустриальный Запад, и, конечно, ему была ненавистна Америка. «Как ненавистен и черен кажется весь так называемый Цивилизованный мир и что бы дал, какой бы крест, какую бы голгофу понес — чтобы Америка не надвигалась на сизоперую зарю, на часовню в бору, на зайца у стога, на избу-сказку…», — писал Клюев Ширяевцу в ноябре 1914 года.

Однако отнюдь не Америка нависла над Россией, а разрушил всю сельскую благодать патриархально-крестьянской России огненный вихрь революции.

Клюев, как и многие другие поэты, вначале приветствовал революцию:

Как буря, без оглядки,
Мы старый мир сметем,
Знамен палящих складки

До солнца доплеснем!

С патетикой он вещал:

Из подвалов, из темных углов,
От машин и печей огнеглазых
Мы восстали могучей громов,
Чтоб увидеть небо в алмазах.

В 1917–1919 годах Клюев пишет много революционных стихов и даже в подтверждение своей новой «красной веры» вступает в партию большевиков. Одним из первых поэтов обратился к образу Ленина. Он наивно верил, что идущая революция исключительно крестьянская, и она позволит мужику достичь молочных рек и кисельных берегов, что будет «мужицкий рай» —

И цвести над Русью новой
Будут гречневые гении.

Гении пришли другие. Гении зла. Это очень скоро почувствовал Клюев. Уже в 1922 году поэт был полон боли и страха за этот новый мир:

Блузник, сапожным ножом
Раздирающий лик мадонны, —
Это в тумане ночном
Достоевского крик бездонный.

Из партии Клюева исключили из-за его религиозных убеждений. Запретили и изъяли его поэму «Плач о Есенине» (1926) и начали планомерно травить как махрового реакционера и «барда кулацкой деревни».

Дирижер Николай Голованов в письме к певице Неждановой рассказал об одном вечере в декабре 1929 года, на котором Клюев читал свои новые стихи: «…Я давно не получал такого удовольствия. Это поэт с иконописным русским лицом, окладистой бородой, в вышитой северной рубашке и поддевке — изумительное, по-моему, явление в русской поэзии… Теперь его ничего не печатают, так как он считает трактор наваждением дьявола, от которого березки и месяц бегут топиться в речку.

Стихи его изумительны по звучности и красоте… я чуть не заплакал в одном месте…»

В 1934 году последовал арест Клюева и высылка. В июне 1937 года снова арест, обвинение в создании монархической и церковной организации и расстрел. Клюеву исполнилось 53 года, но здоровье его было полностью подорвано из-за тяжких лишений и болезней.

Я умер! Господи, ужели?
И где же койка, добрый врач?
И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!..»

Что остается добавить? В 20-е годы были написаны Клюевым поэмы «Мать Суббота», «Заозерск», «Каин», «Деревня» и так и не опубликованная при жизни «Погорельщина» (1927) — поэма пожара России:

Душа России, вся в огне…

Эсхатологические мотивы у Клюева шли по нарастающей. Одна из его последних поэм «Песнь о Великой Матери» (1930–1931) — где мать-крестьянка, «матушка-Россия», Матерь Божья и мировая душа, объединены в единый образ.

«Не жалко мне себя как общественной фигуры, — писал Клюев в одном из писем в конце 1935 года, — но жаль своих песен — пчел сладких, солнечных и золотых. Шибко жалят они мое сердце. Верно, что когда-нибудь уразумеется, что без русской песенной соли пресна поэзия под нашим вьюжным небом, под шум плакучих новгородских берез».

Все сгинет — ступени столетий,
Опаловый луч на портрете,
Стихи и влюбленность моя.
Нетленны лишь дружбы левкои,
Роняя цветы с мировое,
Где Пан у живого ручья,
Поет золотая тростинка,
И хлеб с виноградом в корзинке —
Художника чарый обед…

Это написано в мае 1933 года.

КОРОЛЕНКО
Владимир Галактионович
15(27).VII.1853, Житомир — 25.XII.1921, Полтава

Серебряный век Короленко встретил после того, как провел 6 лет в тюрьмах, на этапах и поселениях, как политически неблагонадежный человек. Однако революционером писатель никогда не был и считал себя беспартийным писателем. Боролся против произвола властей за простого человека, его свободу и счастье, — это было смыслом его гражданского бытия. Короленко считал, что «человек живет не для того, чтобы служить материалом для тех или других схем… дорогаó его свобода, его возможное на земле счастье…».

Слово «счастье» — ключевое слово в системе жизненных координат Короленко. Калека из его рассказа «Парадокс» (1894) изрекает: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Конечно, вера наивная, но какая красивая!..

Первая книга «Очерков и рассказов» вышела в 1886 году, вторая — в 1892-м. В 1914 году вышло 9-томное полное собрание сочинений Короленко. Его рассказы «Слепой музыкант», «Без

языка» и другие получили широчайшее признание читателей и были переведены на иностранные языки. В своих произведениях Короленко выступал как воспитатель. «Он воспитывает, потому что он добр, и его произведения могут служить школой жалости и любви. Он сострадательно и участливо относится к людям и даже тех, кто ему несимпатичен, пишет в мягких красках. Он осуждает злое дело, но не злого деятеля…» — так писал о Короленко в своих «Силуэтах» Юлий Айхенвальд, отмечая «особую внутреннюю вежливость» писателя.

С 1904 года и вплоть до его закрытия в 1918 году («журнал разгромлен…») Короленко — редактор и издатель «Русского богатства». Жил в основном в Полтаве. В революцию 1905 года, во время крестьянских волнений на Украине, в Первую мировую войну, в революцию 1917 года, в гражданскую войну Короленко занимал позицию демократа и гуманиста, возмущенного творимым вокруг злом и насилием. Резко выступал против гонений на евреев («дело Бейлиса»), против черносотенных расправ, ну, и, конечно, против большевистских репрессий, против арестов, грабежей и расстрелов.

Короленко оказался единственным из выдающихся русских интеллигентов, который не только не умел молчать, но громко протестовал — печатаю, публично. «Во мне вечная оппозиция», — говорил про себя Короленко. «Радуешься тому, — писал Бунин, — что он живет и здравствует среди нас, как какой-то титан». За глубоко отзывчивое сердце Короленко любили душевной любовью. Его называли «нравственным гением», «адвокатом слабых и угнетенных». В глазах всей русской общественности Короленко был «совестью» и «судьей».

По поводу книги Короленко «История моего современника» (над ней писатель работал 20 лет) Александр Амфитеатров воскликнул: «Благоухающая книга!» — и отметил, что много есть писателей «моднее» и «шумнее» Короленко, но он — зеркало русской совести, ибо «нет на Руси другого писателя, которому общество так любовно и твердо верило бы», «в котором полнее видело бы все хорошее, что есть в переживаемом веке» (1911).

Вот и Ленин в дореволюционные времена считал Короленко «прогрессивным писателем», а затем резко изменил о нем свое мнение. Брошюра Короленко «Война, отечество и человечность» (1917) вызвала бешенство Ильича и была объявлена «крамольной». «Буржуазный интеллигент! — в сердцах Ленин обозвал Короленко. — Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками!» Ну, а далее последовала печально знаменитая ленинская оценка интеллигенции вообще: «Г…о!»

В свою очередь Короленко написал несколько писем Луначарскому и пытался объяснить ему свою позицию неприятия «диктатуры штыка». «Вы ввели свой коммунизм в казарму…» — писал Короленко и выразил уверенность, что «рабочая Европа не пойдет вашим путем, а Россия, привыкшая подчиняться всякому угнетению, не выработавшая формы для выражения своего истинного мнения, вынуждена идти этим печальным, мрачным путем в полном одиночестве».

Короленко постоянно выражал протест, доказывал, спорил, гневался по поводу того, что творилось вокруг, но все это, естественно, не меняло положения вещей. Коллега Короленко по редакции «Русского богатства» Аркадий Горнфельд отметил, что «он — как говорил Ницше о Тэне — читает проповеди землетрясению».

Увы, это так. Старая истина: нет пророков в своем отечестве, хотя именно Владимир Короленко высказал горькое и пророческое наблюдение: «Мы, как государство, консервативны только в зле. Чуть забрезжит что-то новое, получше, гуманнее, справедливее, и тотчас гаснет. Приходит „новый курс“ и отбрасывает нас к Иоанну Грозному…» (1911).

«Сильная власть» никогда не была в России властью закона, права и справедливости, а всегда торжеством насилия и бессудностью всея Руси. Это, конечно, «удобно» для правителей, но гибельно для страны, много раз повторял Короленко, предвидя ту катастрофу, к которой фатально приближался государственный корабль России. Как провидец, он предвидел будущие многие беды и несчастия. Но до большой крови Короленко не дожил.

В 1921 году тяжело больному 67-летнему Короленко был предоставлен специальный вагон-салон для поездки за границу на лечение вместе с семьей, однако писатель отказался, воспринимая это как подачку власти. Хоронила его сорокатысячная толпа, в которой были представители всех слоев — и рабочие, и интеллигенция, и духовенство… Когда процессия проходила мимо тюрьмы, заключенные пропели «Вечную память».

Как писал Айхенвальд: «Залитая кровью и слезами, достигшая пределов человеческой несчастности, Россия, среди многих и многого, лишилась недавно и Короленко. В мире других смертей потонула его смерть…»

В 80-х годах XIX века Всеволод Гаршин сказал о Короленко: «Это еще одна розовая полоска на небе».

И вот — «розовая полоска» погасла…

КРУЧЕНЫХ
Алексей Елисеевич
9(21).II.1886, поселок Оливское Херсонской губернии — 17.VI.1968, Москва

Советский поэт Николай Старшинов снисходительно писал:

…Но мы не из ученых,
Но тоже знаем, друг:
Был фокусник Крученых
И был фигляр Бурлюк.
Как бы смеясь над нами,
Они в свой ранний час,
Жонглируя словами,
Опередили вас.
Вот слава им досталась,
Вот было торжество!..
А что от них осталось?
Да в общем — ничего…

Андрей Вознесенский о Крученых написал по-своему: «В свое время он был Рембо российского футуризма. Создатель заумного языка, автор „дыр бул щыл“, он внезапно бросил писать вообще,

не сумев или не желая приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда-то и Рембо в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Крученых были строки:

Забыл повеситься
Лечу
Америку

Образования он был отменного, страницами мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов… Сероглазый принц… утренний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых. Он продал всех и вся, свою жизнь, друзей, стал воришкой, спекулянтом. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен. Жил он на Кировской в маленькой кладовке…»

Оставим на совести Вознесенского наветы «воришка» и «спекулянт», возможно, это всего лишь поэтическое преувеличение. А вообще частная жизнь — это одно, а творчество — это нечто иное. Детали быта мало кого интересуют, а вот бытие…

Великий заумник, дикая роза футуризма, «футуристический иезуит слова» (Маяковский), «легкомысленный максималист» (Б. Лившиц), бука русской поэзии, радикал из радикалов, маргинал из маргиналов, — как только не называли Алексея Крученых, — он появился на свет в бедной крестьянской семье. Отец — выходец из Сибири, мать — полячка. Учился сначала в Херсоне, а потом в Одессе. Окончив художественное училище, получил диплом учителя графических искусств, что позволило ему в дальнейшем самому оформлять свои книги. Он набирал их разными шрифтами, а то вырисовывал литографическим карандашом, располагая слова так, что, кажется, они сошли с ума: слова изгибаются, кувыркаются, запрыгивают друг на друга, что вполне соответствовало зауми слов. Живя в Херсоне, Крученых издал два альбома «Весь Херсон. В карикатурах, шаржах и портретах», по его словам, «сильно взбаламутивших… скучноватую родину».

Осенью 1907 года (ему шел 22-й год) Алексей Крученых приехал в Москву. И закрутилось, и завертелось, и понеслось. Дружба с Бурлюком, Маяковским и Хлебниковым. Вступление в группу кубофутуристов, — и стал Крученых «самым прочным футуристом как поэт и как человек» и, как говорится, на всю оставшуюся жизнь.

По просьбе дам,
хвостом помазав губы,
я заговорил на свеже-рыбьем
языке!
Оцепенели мужья все
от новых религий:
КАРУБЫ
СЕМЕЕ МИР,
задыхается от радости хвост
рыбий.

Непонятно? Но, как говорил Маяковский:

— Учи ученых! —
Сказал Крученых.

Он и «учил», взбудоражив все языкознание своего времени, противопоставив традиционному «сладкогласию» свое «горькогласие», сделав «установку на звук», отсюда все крученовские звуковые выверты:

Дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
рлэз

Немыслимые звуковые комбинации, заумный язык. Как заявлял Крученых, «поэзия зашла в тупик», единственным «почетным выходом» из него мог быть лишь переход к «заумному языку», ибо «заумь — первоначальная (историческая и индивидуальная) форма поэзии». И Крученых приводил пример: «Лилия прекрасна, но безобразно слово „лилия“, захватанное и изнасилованное. Поэтому я называю лилию еуны — первоначальная чистота восстановлена». Эта цитата взята из крученовской книги «Апокалипсис в русской литературе».

И еще одна новация: Крученых ввел понятие «сдвиг» [«давая новые слова, я приношу новое содержание, где все стало скользить (сдвиг)»]. На основе понятия «сдвиг» Крученых в дальнейшем создал «сдвигологию русского стиха» и стал лидером и главным теоретиком наиболее радикально-авангардистского течения в русской поэзии — заумного. Крученых одной из своих

книг предпослал предупреждение: «Читать в здравом уме возбраняю!»

В конечном счете распыление семантического ядра слова на звуко-образы, вся эта заумь была некой лингвистической игрой, которую по сей день разбирают и анализируют отечественные серьезные дяди-литературоведы и слависты из многих стран мира. Они сравнивают заумь Крученых с теоретическими выкладками Маринетти («Технический манифест футуристической литературы»), с его «божественной интуицией», а также со «сверхвосприимчивостью» другого столпа итальянского футуризма — Арденджо Соффици, который заявлял: «Последний шедевр искусства — его саморазрушение». Впрочем, об этих аналогиях Крученых, очевидно, и не догадывался, творя свой «дыр бул щыл».

Свою первую известность Крученых приобрел после выхода в 1912 году книги «Игра в аду», совместной с Хлебниковым поэмы, которая была оригинально оформлена Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой. Затем вышли сборники «Странная любовь», «Помада», «Взорваль», теоретические изыскания — «Новые пути слова», «Черт и речетворцы», «Тайные пороки академиков» и уже после революции — «Сдвигология русского стиха» (1922), «Фактура слова» и «Апокалипсис в русской литературе» (1923).

В 1914 году Крученых уехал на Кавказ; там вокруг него возник «Синдикат футуристов» и вышла в Тифлисе книга «Лакированное трико» (1919). На Кавказе Крученых ничем не изменил себе. Вот, к примеру, концовка стихотворения «Любовь тифлисского повара»:

Страдаю, как молодой Вэртэр,
язык мой, —
голый дьявол, —
скоро попадет на вэртэл!..
Шен генацвали, шен черимэ,
Мэримэ!

Тут следует вспомнить Осипа Мандельштама, который предлагал «откинуть совершенно несостоятельного и невразумительного Крученых, и вовсе не потому, что он левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто ерунда», но при этом Мандельштам отмечал, что «несмотря на это, у Крученых безусловно патетическое и напряженное отношение к поэзии, что делает его интересным, как личность».

Осенью 1921 года Крученых возвращается в Москву и становится деятельным участником группы «ЛЕФ». Пишет

уголовный роман в стихах «Разбойник Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица» (1925), издает пьесы, книги любовной лирики, воспоминания «15 лет футуризма», «Книги Б. Пастернака за 20 лет» (1933), «Книги Н. Асеева за 20 лет» (1934), работает и дальше. Но 1934 год — последний год, когда его печатают. Дальше — тишина. «Выразителю настроений наиболее разложившихся групп литературной богемы», как написано было в Литературной энциклопедии 1931 года, места в советской литературе не оказалось.

Крученых был абсолютно лоялен к советской власти, но даже это его не спасло. Он был ярко выраженным «формалистом» и в окаменелое сталинское искусство никак не вписывался. И что оставалось делать? Поэт ушел в собирательство, в коллекционирование — книг, рукописей, рисунков, автографов, нот, делал различные тематические альбомы, писал воспоминания…

Из всех чертей
неприрученных
Остался дик один Крученых, —

написал о нем Сергей Городецкий. Сидел Крученых в основном дома, иногда появлялся на людях. Видевшие его вспоминают: одет он был крайне бедно, неприглядно. Допотопно-старомодное потрепанное пальто и неизменно еще допотопнее, потрепанней — предмет, некогда называвшийся портфелем, без ручки, замка и других атрибутов, присущих портфелю.

Жил Крученых в квартире № 51, разумеется, коммунальной, в комнатушке без ремонта и почти без уборки, но среди множества книг. Большое окно было затянуто тканью, чтобы книги не выгорали. Оставлен был лишь маленький квадратик для света. Соседка Юнна Тутова вспоминала: вдоль всей комнаты — полки и стеллажи с книгами. Часть стеллажей покосилась, кое-какие книги попадали на пол. Стеллажи тоже были прикрыты тканью, бумагой и пылью…

31 мая 1966 года в ЦДЛ состоялся вечер, посвященный 80-летию Алексея Крученых, на нем поэт читал свои стихи, но очень тихо и без всякого футуристического вызова. Через два года он скончался в больнице Склифосовского. На его гроб в крематории Донского монастыря Лиля Брик, к тому времени тоже старенькая, положила две крупные пунцовые розы. Девушка «из малинового варенья», как когда-то писал Крученых.

Вот и все. Веселое начало — грустный конец. Но как писал Крученых, «с какой поры мы все сентябрим и сентябрим». И он

призывал к столу:

Вот сфабрикованные мной фру-фру,
А кто захочет — есть хрю-хрю,
Брыкающийся окорок!..

…А раньше, чем пройтись по хересам,
Закуски —
Жареный зудак,
Средь моксы корчатся
огромные соленые зудавы
И агарышка с луком!
И для правоверных немцев
Всегда есть —
ДЕР ГИБЕН ГАГАЙ КЛОПС ШМАК
АЙС ВАЙСПЮС, КАПЕРДУФЕН —
БИТТЕ!..

Эти строки из стихотворения Крученых «Весна с двумя угощениями» (1925). И —

Зубайте все!
Без передышки!..

КУЗМИН
Михаил Алексеевич
6(18).X.1872, Ярославль — 1.III.1936, Ленинград

О Кузмине можно сказать так: один из экстравагантнейших русских модернистов — поэт, прозаик, драматург, переводчик и композитор. Блестящий стилист и тонкий стилизатор, строгий критик и беспечный шутник, замкнутый и загадочный человек, разноречивый и в сущности совершенно цельный.

Можно просто перефразировать Вячеслава Иванова: «Кузмин — о, чародей!»

Обратившись к «Петербургским зимам» Георгия Иванова, читаем следующее: «Шелковые жилеты и ямщицкие поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италия и Волга — все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Кузмина… Жизнь Кузмина сложилась странно. Литературой он стал заниматься годам к тридцати. До этого занимался музыкой, но недолго. Почему? Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дому в шестнадцать лет, скитание по России, ночи на коленях перед

иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения без счету. Потом — книги, книги, книги, итальянские, французские, греческие. Наконец первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником. И первые мысли об искусстве — музыке…»

Что в этих словах правда и что вымысел? Где подлинность, а где легенда? Эти вопросы, кстати, можно обратить почти ко всем деятелям и творцам Серебряного века. Разобраться сложно и остается утешаться высказыванием Марины Цветаевой: «О каждом поэте идут легенды, и слагают их все те же зависть и злостность».

Все современники отмечали двуликость Кузмина — эстет, поклонник формы в искусстве и в то же время творец нравоучительной литературы, жеманный маркиз в жизни и творчестве и одновременно подлинный старообрядец, любитель деревенской, русской простоты. Но все же больше — «русский дэнди», «Санкт-Петербургский Оскар Уайльд», «принц эстетов»…

Максимилиан Волошин в книге «Лики творчества» писал: «Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: „Скажите откровенно, сколько вам лет?“, но не решаешься, боясь получить в ответ: „Две тысячи лет…“, в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память… Несомненно, что он умер в Александрии молодым и красивым юношей и был весьма искусно забальзамирован… Мне хотелось бы восстановить подробности биографии Кузмина там, в Александрии, когда он жил своей настоящей жизнью, в этой радостной Греции времен упадка, так напоминающей Италию восемнадцатого века… Но почему же он возник теперь, здесь, между нами в трагической России, с лучом эллинской радости в своих звонких песнях и ласково смотрит на нас своими жуткими огромными глазами, усталыми от тысячелетий?»

Кузмин — необычное явление в русской поэзии, пожалуй, единственный не трагический поэт во всем XX веке. Он исповедовал почти не свойственный русскому национальному духу гедонизм, наслаждение жизнью, каждой ее минутой, наслаждение красотой мира, природы, человеческого тела. Кузмин смотрел на красоту и истину как на составную часть мира, а не на что-то ему противопоставленное.

Дух мелочей, прелестных и воздушных,

Любви ночей, то нежащих, то душных,
Веселой легкости бездумного житья!
Ах, верен я, далек чудес послушных,
Твоим цветам, веселая земля!

Разбирая раннее творчество Кузмина, Валерий Брюсов отмечал: «Изящество — вот пафос поэзии М. Кузмина… везде и всегда он хочет быть милым, красивым и немного жеманным. Все, даже трагическое, приобретает в его стихах поразительную легкость, и его поэзия похожа на блестящую бабочку, в солнечный день порхающую в пышном цветнике».

«Дар стиха, певучего и легкого» отмечали почти все современники Кузмина.

Отрадно улететь в стремительном вагоне
От северных безумств на родину Гольдони…

Но куда улетишь, коль родился в России? А Кузмин родился в ее центре, в Ярославле. Потом Саратов и, наконец, с 1884 года — Петербург. В гимназическую пору Кузмин сближается с Юшей, будущим советским наркомом иностранных дел Георгием Чичериным. Их переписка длилась до 1926 года. Чичерин оказал большое влияние на Кузмина и расширил круг его чтения, включив в него философию, главным образом тогдашних властителей дум Ницше и Шопенгауэра, Ренана и Тэна. Чичерин также ввел в круг интересов Кузмина итальянскую культуру, способствовал тому, чтобы Кузмин выучил итальянский язык, позже именно он вовлек Кузмина в серьезные занятия немецкой культурой … Затем их судьбы резко разошлись: Чичерин подался в революцию, а Кузмин… Вот что он писал Чичерину в письме 18 июля 1893 года: «Я как-то всегда мало интересовался общественной жизнью, интересы класса, товарищество, адреса, концерты — все проходило совершенно незаметно для меня. Личные интересы были всегда для меня на первом плане».

Таким был Кузмин, он и консерваторию не закончил, хотя учился у Римского-Корсакова и Лядова. О своих композиторских занятиях Кузмин высказывался так: «У меня не музыка, а музычка, но в ней есть свой яд, действующий мгновенно, благотворно, но ненадолго…»

Литературный дебют Кузмина состоялся в конце 1904 года (в 32 года!), когда в «Зеленом сборнике стихов и прозы» была напечатана пьеса (точнее, оперное либретто) «История рыцаря Д'Алессио» и 13 сонетов. В 1908 году появился первый

поэтический сборник «Сети». За ним — другие: «Куранты любви» (1910), «Осенние озера» (1912), «Глиняные голубки» (1916) и т. д. Прекрасные, легкие, изящные стихи.

Запах грядок прян и сладок,
Арлекин на ласки падок,
Коломбина не строга.
Пусть минутны краски радуг,
Милый, хрупкий мир загадок,
Мне горит твоя дуга! —

так откликается Кузмин на картины своего друга Константина Сомова, одного из самых тонких художников из группы «Мира искусства». Поэт много печатается в журналах «Весы», «Золотое руно», «Аполлон», и о нем ведутся бесконечные споры, куда его отнести: к поздним символистам или акмеистам?

В начале XX века Михаил Кузмин мелькает всюду: в различных литературных салонах, на «Башне» у Вячеслава Иванова, в театрах, в кафе «Бродячая собака», и везде он, по словам Анны Ахматовой, «общий баловень и насмешник». Читает стихи, поет свои песенки.

В январе 1910 года Андрей Белый приехал в Петербург и провел несколько месяцев на «Башне». Особенно ему полюбились импровизационные концерты, когда ночью или под утро Кузмин садился к роялю и пел свои песенки. Андрей Белый восхищался ими и заказывал свои любимые. В одном из экспромтов он писал:

Мы — в облаке… И все в нем тонет —
Гравюры, стены, стол, часы;
А ветер с горизонта гонит
Разлив весенней бирюзы;
И Вячеслав уже в дремоте
Меланхолически вздохнет:
«Михаил Алексеич, спойте!..»
Рояль раскрыт: Кузмин поет.
Проходит ночь… И день встает…

«Так жили поэты…» (есть такое стихотворение у Александра Блока). Что касается Кузмина, то он продолжительное время жил на «Башне» в семье Вячеслава Иванова. Надо отметить, что Кузмин почти всю жизнь стремился жить не в одиночестве, а в семейном — хоть всегда чужом — кругу. И пел песенки? Да, пел из «Курантов любви», смешливые и ироничные:

Если денег будет много, —
Мы закажем серенаду;
Если денег нам не хватит —
Нам из Лондона пришлют.

Если ты меня полюбишь,
Я тебе с восторгом верю;
Если не полюбишь ты, —
То другую мы найдем.

Веселая, сытая поэзия. И сразу хочется узнать пристрастия и вкусы самого автора «Курантов любви». В двух письмах конца 1907 года Михаил Кузмин писал своему адресату:

«…Я не люблю Бетховена, Вагнера и особенно Шумана, я не люблю Шиллера, Гейне, Ибсена, Байрона. Я не люблю 60-е годы и передвижников…

Я люблю в искусстве вещи или неизгладимо жизненные, хотя бы и грубоватые, или артистически уединенные. Не люблю морализирующего дурного вкуса… Склоняюсь к французам и итальянцам. Люблю трезвость и откровенную нагроможденность пышностей… Я люблю Рабле, Дон Кихота, 1001 ночь… Обожаю Апулея, Петрония и Лукиана, люблю Вольтера… Флобера, А. Франса… люблю Брюсова, частями Блока и некоторую прозу Сологуба… люблю музыку больше вокальную и балетную, больше люблю интимную музыку… Люблю кэк-уоки, матчиши и т. п. Люблю звуки военного оркестра на воздухе… В живописи люблю старые миньятюры, Боттичелли, Бердслея, живопись XVIII века… люблю Сомова и частью Бенуа, частью Феофилактова…

Люблю кошек и павлинов. Люблю жемчуг, гранаты, опалы и такие нетрадиционные камни как „бычий глаз“, „лунный камень“, „кошачий глаз“, люблю серебро и красную бронзу, янтарь. Люблю розы, мимозы, нарциссы и левкои, не люблю ландышей, фиялок и незабудок… Люблю спать под мехом без белья».

В этом перечне указаны также любимые Кузминым Пушкин, Шекспир, Моцарт, Бизе, Дебюсси, Равель. По воспоминаниям Адамовича, Кузмин терпеть не мог Льва Толстого и усмехался, когда при нем называли поэтом Лермонтова.

В 1914–1918 годах выходит собрание сочинений Кузмина — стихи и проза, и в частности, описание жизни графа Калиостро. Много внимания уделяет Кузмин кабаретной драматургии — пьески «Голландка Лиза», «Венецианские безумцы», оперетты; сочиняет музыку. Знаменитые «Александрийские песни». Словом, он плодовит и многогранен.

Потом в России разыгралась не фривольная пьеска в духе Кузмина, а совсем иное — кровавая драма, отсветы и раскаты которой заставили многих представителей и выразителей Серебряного века покинуть родину. А что же Кузмин? Молодой советский критик Виктор Перцов выразил удивление, что «после Октябрьской революции М. Кузмин остался жить в России, продолжал ходить по улицам, продолжал есть, пить и вообще совершать все жизненные отправления, свойственные живому существу».

Отчаянная зима 1920–1921 года. Один из современников так описывает встречу с поэтом, бывшим «жеманником»: «Я с ним столкнулся на улице и был поражен его видом. Он потускнел, увял, сгорбился. Обычно блестящие глаза его были мутны, щеки — землисты, кутался он в потертое пальто. „Что с вами, где вы, отчего вас нигде не видно, почему никогда не зайдете ко мне?“ И голосом, уже не звонким и не грассирующим, он пробормотал что-то сбивчивое и тусклое: „Долго рассказывать, да и не стоит. Помните мою песенку: „Если завтра будет дождик, то останемся мы дома“? Вот дождик и полил, как в библейском потопе, дождик бесконечный без перерыва. Ковчега у меня не оказалось. Сижу я дома“. Он протянул мне руку на прощанье…»

Постепенно жизнь налаживалась, но шла тяжело и со скрипом. Кузмин жил вместе со своим другом и любовником, литератором и художником Юрием Юркуном в большой коммунальной квартире. Писали, рисовали, музицировали. Существовали в основном на случайные заработки Кузмина. Процитируем из книги Николая Богомолова и Джона Э. Мальстада «Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха» (1996):

«Стихи Кузмина решительно пропадают из печати… Лишь чудом увидевшая свет в 1929 году книга „Форель разбивает лед“ показала читателю, что поэт М. Кузмин еще существует не только как переводчик, но и как творец оригинальных произведений. Но после выхода „Форели“ наступило полное молчание, более того — практически не сохранилось стихов, написанных после 1929 года, хотя известно, что своей деятельности Кузмин не прекращал. И в этом смысле его судьба оказалась одной из наиболее трагичных в тридцатые годы: даже от задушенных сталинским режимом Ахматовой, Платонова, Булгакова, Мандельштама и многих других остались рукописи, от Кузмина же — практически ничего…»

Петля затягивалась все туже. Не помогла и встреча с наркомом Чичериным. Впрочем, гордый Кузмин ничего у него не попросил. Здоровье Кузмина стремительно ухудшалось. В феврале 1936 года он попал в бывшую Мариинскую больницу, где

его положили в коридоре; воспаление легких — и конец.

В день похорон летел серый мокрый снег. Играл жиденький оркестр, музыканты в милицейских шинелях и штатских пальто, набранный наспех Союзом писателей. Пришло попрощаться человек сорок друзей и знакомых. «Он лежал заколоченный и, как всю жизнь, — мирный, скромный, тихий». У раскрытой могилы Всеволод Рождественский сказал: «Мы похороним сегодня последнего символиста».

Литературовед Е. Архипов записал в своем дневнике: «…ушел человек, слабый и грешный, но остался прекрасный, нежный поэт, остался писатель тончайшей культуры, подлинный художник, чье благоволие, ироническая мудрость и удивительная душевная грация (несмотря на изрядный цинизм и как бы вопреки ему!), чарующая скромность и простота — незабываемы…»

Анна Ахматова: «Смерть его в 1936 году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году».

За 20 лет до смерти, в 1916 году, Михаил Кузмин в стихотворении «Под вечер выйдь в луга поемные…» писал:

…В таком пленительном горении
Легка и незаметна смерть.
Покинет птица клетку узкую,
Растает тело… все забудь:
И милую природу русскую,
И милый тягостный твой путь.
Что мне приснится, что вспомянется
В последнем блеске бытия?
На что душа моя оглянется,
Идя в нездешние края?..

Что остается добавить? С 1929 по 1989 год в СССР не был опубликован ни один сборник Кузмина. Сейчас — прорыв. Опубликованы даже дневники поэта, которые он вел долгие годы. Многие дневники шокировали своей открытостью, хотя еще в 1906 году Кузмин воспел в романе «Крылья» гомосексуальную любовь. Да и в стихах не раз касался этой темы, к примеру:

Я возьму почтовый лист,
Напишу письмо с ответом,
«Кларнетист мой,
кларнетист,
Приходи ко мне
с кларнетом…

…Мил мне очень инструмент
С замечательным раструбом!..»

В его дневниках много различных «голубых приключений» и сцен «па де труа». Для Кузмина эта была радость и боль. Собственную гомосексуальность он пытался примирить с глубинным православием. Чего только не было — удивительного, неожиданного и парадоксального, — в Серебряном веке! И Михаил Кузмин был его любимым ребенком. Он распевал свои «веселые акафисты» и доказывал: «Любовь — всегдашняя моя вера».

КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА
ПИЛЕНКО Елизавета Юрьевна,
по первому мужу — КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА,
по второму — СКОБЦОВА,
в монашестве МАТЬ МАРИЯ
8(20).XII.1891, Рига — 31.III.1945, лагерь Равенсбрюк

Человеческая судьба Кузьминой-Караваевой заслонила ее поэтическую судьбу. Наше воображение не волнует поэтесса Кузьмина-Караваева, а потрясает жребий матери Марии, который она выбрала сама, когда добровольно шагнула в газовую камеру, спасая незнакомую ей девушку…

И только одного мне жаль,
Что сердце мира не вмещает.

Лиза Пиленко родом из дворянской семьи. Лето в детские годы проводила в Анапе и Ялте, а зимы — в Петербурге. В гимназии начала писать стихи и переводила Новалиса (сам этот выбор о чем-то говорит). В 1909–1911 годах училась на философском отделении Высших женских (Бестужевских) курсов.

Слушала лекции Николая Лосского и Семена Франка. С юности ее привлекали вопросы религии; она была первой женщиной, заочно изучавшей богословие в Петербургской духовной семинарии. При всем этом она никогда не была «синим чулком».

По воспоминаниям Александры Бушен: «Елизавета Юрьевна в то время была высокая, очень полная, обладала редчайшим для Петербурга ярко-румяного цвета лицом, жизнерадостно-чувственная, общительная особа, избалованная матерью и самоуверенная. Одарена была многообразной талантливостью, писала стихи и считалась поэтессой, была художницей и владела своеобразными художественными навыками». Какими? К примеру, владела техникой древнерусского шитья, иконописью, росписью стен, техникой витража… Короче, способностей было через край. Но в душе бродила смута, какая-то щемящая тоска, чего-то жгуче хотелось и чего-то все время недоставало. За ответами на нестерпимые вопросы бытия в 15 лет она отправилась к Александру Блоку.

«Странное чувство, — писала она впоследствии в своих воспоминаниях. — Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа…»

Об этом неожиданном приходе юной незнакомки Блок написал стихи:

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту —
Что же? Разве я обижу вас?
О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько не говорите о печальном,

Сколько не размышляйте о концах и началах,
Все же я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.

В 18 лет, в 1910 году, Елизавета Пиленко выходит замуж за своего двоюродного брата Дмитрия Кузьмина-Караваева, юриста по образованию, который был близок к литературной среде и ввел туда свою молодую супругу. Когда они поженились, то все близкие и знакомые недоумевали: очень они отличались друг от друга и, как говорили, были не парой. Это и сказалось чуть позднее, когда в Кишиневе Кузьмина-Караваева встретила другого человека и полюбила его. Она обратилась к мужу с просьбой дать ей развод, но развода не получила. Когда родилась дочь (Гаяна, что означало: земная), Кузьмин-Караваев дал ей свою фамилию и признал своей дочерью. Но даже это не спасло их брак.

Еще будучи замужней, в 1910 году, Кузьмина-Караваева во второй раз встретилась с Блоком, после чего между ними завязалась переписка. Она писала Блоку: «Когда я была у вас еще девчонкой, я поняла, что это навсегда… а потом жизнь пошла, как спираль… кончался круг, и снова как-то странно возвращалась к вам… С мужем я разошлась, и было еще много тяжести кроме того… и снова человека полюбила… И были вы… Забыть вас я не могу, потому что слишком хорошо чувствую, что я только точка приложения силы, для вас вошедшей в круг жизни. А я сама — ни при чем тут».

Блок ответил ей 1 декабря 1913 года: «Елизавета Юрьевна, я хотел бы написать вам не только то, что я получил ваше письмо. Я верю ему, благодарю и целую ваши руки. Других слов у меня не может быть, не будет долго…»

Кузьмина-Караваева не унимается: «Милый Александр Александрович. Вся моя нежность к вам… Все силы, которые есть в моем духе: воля, чувство, разум, все желания, все мысли — все преображено воедино, и все к вам направлено…»

Последнее письмо к Блоку она направила 4 мая 1917 года:

«…Мне грустно, что я вас не видела сейчас: ведь опять уеду и не знаю, когда вернусь».

Она уехала на юг и уже не вернулась в Россию никогда. О кончине Блока Кузьмина-Караваева узнала в Югославии, где бедствовала с матерью, тремя детьми и вторым мужем. Горе по утрате Блока было беспредельным… Стихи Блока она помнила всегда и часто читала их другим.

Однако вернемся во времени назад. В Петербурге Кузьмина-Караваева бывала на «Башне» Вячеслава Иванова, входила в «Цех поэтов». Посещала кабаре «Бродячая собака» и… заседания религиозно-философского общества (для того времени такой разброс интересов не вызывал удивления). Она дружила с Анной Ахматовой, которая ценила ее как человека «необычайных душевных достоинств», близко знала Гумилева, Волошина, Городецкого.

В 1912 году вышел первый сборник Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки», который был замечен, и Кузьмину-Караваеву поставили в один ряд с Цветаевой, хотя Нарбуту книга не показалась: «Стихи-думы… тяжеловаты, сумрачно и однообразно тягучи».

Я испила прозрачную воду,
Я бросала лицо в водоем…
Недоступна чужому народу
Степь, где с Богом в веках мы вдвоем.

Или вот строки из стихотворения «Послание»:

Как радостно, как радостно над бездной голубеющей
Идти по перекладинам, бояться вниз взглянуть,
И знать, что древний, древний Бог, Бог мудрый, нежалеющий,
Не испугавшись гибели, послал в последний путь.

В первом сборнике Кузьминой-Караваевой особенно поражало необычное сочетание языческого начала с христианством. В 1915 году вышла лирико-философская повесть «Юрали», стилизованная под Евангелие. В уста героя — пророка, певца и сказочника — Кузьмина-Караваева вложила свое кредо: «Отныне я буду нести и грех и покаяние, потому что сильны плечи мои и не согнутся под мукой этой».

В 1916 году вышел второй сборник стихов «Руфь».

Заворожены годами
Ненужных слов, ненужных дел,
Мы шли незримыми следами;
Никто из бывших между нами
Взглянуть на знаки не хотел…

…И тайный трепет сердце гложет,
Пророчит явь, несет беду…

Удивительно, как чувствовала молодая женщина грядущую беду. Беда стояла у порога России, и в ее судьбе не могла не участвовать Кузьмина-Караваева. Она вступает в партию эсеров, становится головой Анапы. Как художник и график изготавливает фальшивые документы для эсеров-боевиков, по одному из таких пропусков Фанни Каплан и проникла на завод Михельсона. Попадает в лапы к белым за сотрудничество с большевиками, ее должны были судить и расстрелять, однако за нее вступился казачий деятель Скобцов-Кондратьев и спас ее. Кузьмина-Караваева стала его женой, и они вместе в 1919 году покинули Россию.

С 1923 года обосновались в Париже. Кузьмина-Караваева сразу активно включилась в общественно-литературную жизнь эмиграции. Много писала и много издала: автобиографическую повесть «Равнина русская» и «Клим Семенович Барынькин» о гражданской войне, в 1927 году вышла «Жатва духа. Жития святых», монографии о Хомякове, Достоевском и Владимире Соловьеве.

Татьяна Манухина вспоминала Кузьмину-Караваеву до ее монашеского пострига: «Внешне Е.Ю. напоминала нашу курсистку-революционерку того старомодного стиля, отличительной чертой которого было подчеркнутое пренебрежение к своему костюму, прическе и бытовым стеснительным условиям: виды видавшее темное платье, самодельная шапочка-тюбетейка, кое-как приглаженные волосы, пенсне на черном шнурочке, неизменная папироса… Е.Ю. казалась такой русской, такой, до улыбки, русской! Можно было только удивляться, как она сумела сохранить в Париже, в центре моды и всякой внешней эстетической вычурности, всем нам знакомый облик русской эмансипированной женщины. И лицо у нее было тоже совсем русское, круглое, румяное, с необыкновенно живыми, „смеющимися“ глазами под темными круглыми бровями, с широкой улыбкой, но улыбкой не наивно-добродушной, а с той русской хитринкой, с той умной

насмешливостью, которая отлично знает относительную ценность слов, людей и вещей».

В 1932 году, после церковного развода со Скобцовым, Кузьмина-Караваева стала монахиней, приняв при постриге имя Марии — в честь Св. Марии Египетской. С тех пор она выступала в печати под именем «монахиня Мария», «мать Мария». Но ее монашество, как все, что она делала, было весьма своеобразным: сочетание иночества с материнством. Она утверждала, что путь к Богу лежит только через любовь к человеку, и на Страшном суде только и спросят: «Накормила ли я голодного, одела ли голодного, посетила ли больного и заключенного в тюрьме?»

Припасть к окну в чужую маету
И полюбить ее, пронзиться ею.
Иную жизнь почувствовать своею,
Ее восторг, и боль, и суету…

Кузьмина-Караваева с головой ушла в благотворительную деятельность, стремясь помочь всем слабым и страждущим. «Для социальной христианской работы всюду и везде беспредельные возможности, — говорила она. — Нужда во всем вопиющая: в просвещении, в нравственной поддержке, в юридической защите, в материальной помощи. В какие трущобы приходилось мне попадать! С какими горестями встречаться!..»

Она пыталась быть матерью всех, кто нуждается в материнской помощи, охране, защите. Она открыла сеть общежитий, столовых, больниц. Одно из первых общежитий — дом на авеню де Сакс. Самый большой приют для бедных помещался на рю Лурмель, 77, здесь жили все — молодежь, дряхлые старушки и даже семейные с детьми. Мать Мария не только управляла этим беспокойным хозяйством, но и сама закупала продукты, готовила еду, мыла помещения, красила стены, топила печи. Общий стиль ее обители был не монашеский, а скорее вольной артели.

Удивительно то, что Кузьмина-Караваева продолжала писать стихи и религиозно-философские статьи, ее духовным отцом был Сергей Булгаков. В 1937 году вышел ее сборник «Стихи».

Не то, что мир во зле лежит не так, —
Но он лежит в такой тоске дремучей.
Все сумерки — а не огонь и мрак,
Все дождичек — не грозовые тучи.

За первородный грех Ты покарал
Не ранами, не гибелью, не мукой, —
Ты просто нам всю правду показал
И все пронзил тоской и скукой.

Внешне Кузьмина-Караваева оставалась деятельной оптимисткой, а в душе… Обращаясь к Создателю, она говорила:

Тебе мучительно быть с нами,
Бессильный грех наш сторожить.
Создал нас светлыми руками, —
Мы ж в свете не умеем жить.

Иногда в ней прорывалось и беспредельное отчаянье:

Убери меня с Твоей земли,
С этой пьяной, нищей и бездарной…

Судьба наносила Кузьминой-Караваевой безжалостные удары: умерла от менингита младшая дочь Настя, уехала в Москву и там скончалась от тифа старшая дочь Гаяна. Потеряла она сына Юрия, но, правда, он погиб чуть позже самой поэтессы.

Когда началась Вторая мировая война, организованное матерью Марией братство «Православное дело» помогало многим: швейная мастерская давала работу, а сотням евреев предоставило убежище. По рукам ходило стихотворение Кузьминой-Караваевой «Звезда Давида». А она сама рыскала по городу, доставая продукты, деньги, вещи, приготовляла посылки для уже сидевших в лагерях, доставала документы для тех, кто еще находился на свободе, и отправляла их в провинцию. Во время массового еврейского погрома в 1942 году, когда тысячи евреев, включая детей, были загнаны на велодром д'Ивер, Кузьмина-Караваева проникла туда и спасла нескольких детей. Но себя она не спасла. Ее отправили в концлагерь Равенсбрюк за укрывательство евреев.

В лагере мать Мария нашла в себе силы поддерживать других, ободрять отчаявшихся. Злу она противопоставила любовь. И с любовью к людям и к Богу погибла в 53 года.

В Париже существует «Общество друзей матери Марии», оно издало в 1949 году ее второй посмертный сборник «Стихи». А первый — «Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере Равенсбрюк» был издан в 1947 году. На родине матери Марии мы впервые узнали о ней со страниц журнала

«Даугава» в 1987 году. У нас в пророках ходил железный Феликс Дзержинский, а отнюдь не какая-то там мать Мария.

КУПРИН
Александр Иванович
26. VIII(7.IX).1870, г. Наровчат Пензенской губернии — 25.VIII.1938, Ленинград

26 сентября 1907 года Лев Николаевич Толстой читал вслух своим родным и гостям рассказы Куприна «Ночная смена» и «Allez!». По окончании чтения Толстой сказал: «Как это верно! Ничего лишнего. Из молодых писателей нет ни одного близко подходящего Куприну».

К толстовской оценке Александр Куприн шел долгим и извилистым путем. Родом он был из небогатой дворянской семьи. В раннем возрасте начал сочинять стихи. Но в дальнейшем пошел не по литературной, а по военной части. Учился в Московском кадетском корпусе и Александровском военном училище. Стал «военной косточкой», что сразу угадывалось в зрелом Куприне. Он был широкоплеч, коренаст, среднего роста с неизгладимыми чертами военной выправки и, как его герой Ромашов из «Поединка»: «всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях».

Пришлось Куприну послужить в военном полку в Подольской губернии, и, после неудачной попытки поступить в Академию Генерального штаба, он вышел летом 1894 года в отставку в чине поручика. А дальше начались поиски своего места в жизни.

Осенью 1894 года Куприн приехал в Киев и начал регулярно выступать в печати (стихи и рассказы он писал еще в военном училище). Несколько лет Куприн скитался, меняя города и профессии, был грузчиком, землемером, псаломщиком, корректором, суфлером в театре и даже сделал попытку стать зубным врачом. То есть повидал и понюхал жизнь.

В 1897 году вышел первый сборник рассказов Куприна «Миниатюры». Но более привлекли к себе внимание читающей публики его очерки «Киевские типы». Из ранних произведений писателя выделялся рассказ «Дознание», где впервые появился любимый герой Куприна — молодой человек, мягкий, интеллигентный, рефлектирующий, совестливый, горячо сочувствующий «меньшому брату» (солдату, мужику, рабочему) и в то же время — безвольный, трагически подчиняющийся давящей силе среды и обстоятельств.

После остро социальной повести «Молох» (1896) Куприн обратился к теме прекрасной, дикой и величественной природы — повесть «Олеся» (1898). Надо отметить, что Куприн всегда любил природу, простор лесов, буйство трав. В 1925 году из Парижа он писал своей первой жене Куприной-Иорданской: «Если бы мне дали пост заведующего лесами Советской республики, я бы мог оказаться на месте…»

В конце ноября 1901 года Куприн приезжает в Петербург, и начинается наиболее яркий и плодотворный период его творческой жизни. Он пишет свои лучшие рассказы «В цирке», «На покое», «Мирное житие», «Белый пудель» и другие. В мае 1905 года появляется повесть Куприна «Поединок». Шла русско-японская война, поражения следовали одно за другим, и «Поединок» весьма громко прозвучал в обществе. Демократически настроенная критика встретила повесть восторженно, а консервативно настроенная — определила «Поединок» как клевету на русскую армию.

Далее выходят в свет такие знаменитые вещи Куприна, как «Гамбринус» (1907), «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911). Как написал Дон-Аминадо, «пользовался немалым успехом нарочито сентиментальный, чуть-чуть слащавый „Гранатовый браслет“ Куприна».

В феврале 1909 года увидела свет первая часть повести «Яма», где уже не было ни грамма сентиментальности и слащавости, — зато явный перегруз натурализма. Создавая свою «Яму», Куприн поставил перед собой высокую цель — помочь обществу очиститься от язвы проституции, считая ее «еще более страшным явлением, чем война, мор и т. д.» Но при этом Куприн вынужден был признать, что «к сожалению, мое перо слабо, и я

только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор». Купринская «Яма», как и «Поединок», была оценена неоднозначно.

В 1912–1915 годах в издательстве Маркса вышло полное собрание сочинений Куприна в 9 томах, а затем в другом издательстве — в 11-ти томах. К Куприну пришли и слава, и деньги, и у него закружилась голова. Репортеры «желтой прессы» обожали Куприна за его кутежи и скандалы. По двум столицам гуляла шутка: «Если истина в вине, то сколько истин в Куприне?» Гулял и пил Куприн, как говорится, без просыпа. Утро начинал с шампанского, а завтракал с водкой. Обожал гнать лихачей и устраивать пиры в ресторанах — в «Норде», «Капернауме», а особенно в «Вене» на углу Гоголя и Гороховой.

Ах, в «Вене» множество закусок и вина,
Вторая родина она для Куприна —

так кто-то из остряков написал о писателе. А он тем временем гулял напропалую с цыганским табором и устраивал в пьяном виде дебоши, однажды даже бросил пехотного генерала в бассейн (это случилось в ресторане «Норд»).

Первая жена Куприна — Мария Давыдова, впоследствии Иорданская, пыталась остановить и образумить писателя, но не смогла. Это удалось второй жене — Елизавете Гейнрих, незаконной дочери писателя Мамина-Сибиряка. Она стала пестуньей и целительницей Куприна. Как вспоминает одна мемуаристка: «Совсем не пить он уже не мог, но от сплошного, дикого пьянства она его отвела».

Приведем воспоминания и хорошо знавшей Куприна другой мемуаристки Ариадны Тырковой-Вильямс: «Привязать на веревочку общительного и независимого Куприна было нелегко. Ему надо было всех и все повидать, всюду побывать. Он был полон любопытства к вещам, к происшествиям, к людям, к зверям. Цирк любил больше, чем театр… Несмотря на свои разгулы, Куприн был джентльмен и людей зря не задирал. Если кто-нибудь ему был не по душе, он старался с ним не разговаривать, становился вежлив до дерзости».

Все это, конечно, детали, особенности личности Куприна, главное другое — его писательский талант. Современный критик Борис Евсеев отмечает: «Куприн неподражаем. Даже велик. Велик — как чистый беллетрист-изобразитель, а вовсе не как пророк-мыслитель. Он — Репин прозы. Его славянско-тюркский „хищный“ глазомер — не слабей бунинского. А вот слог —

доходчивей, теплей, потаенней, стремительней. В этой тайностремительной доступности — секрет особой любви русского читателя к Куприну» («Книжное обозрение», № 26, 1999).

Но вернемся к биографии Куприна. В 1918–1919 годах он работал в созданном Максимом Горьким издательстве «Всемирная литература». Жил в собственном особняке в Гатчине, а потом в Гатчину пришли белые войска, и Куприн стал редактировать газету, издаваемую штабом армии генерала Юденича. Будучи возмущен жестокостью большевистского режима и участием его в разрушении традиционного уклада русской жизни, Куприн в октябре 1919 года уехал сначала в Финляндию, потом в Париж и 17 лет пробыл в эмиграции.

Вдали от родины Куприн продолжает работать. Создает очерки о Франции, повести «Колесо времени» и «Жанета», автобиографический роман «Юнкера». «Я хотел бы, — говорил Куприн своему знакомому по Парижу Юрию Говоркову, — чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. „Юнкера“ — это мое завещание русской молодежи…»

Практически все произведения Куприна эмигрантского периода пронизаны ощущением грусти по уходящей России, исчезающей русской культуре.

Жилось Куприну несладко. «Знаменитый русский писатель, — вспоминал коллега по перу Николай Рощин, — жил в великой бедности, питаясь подачками тщеславных „меценатов“, жалкими грошами, которые платили хапуги-издатели за его бесценные художественные перлы, да не очень прикрытые нищенством в форме ежегодных благотворительных вечеров в его пользу».

Сам Куприн о своей эмигрантской жизни писал: «Жилось ужасно круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать — хуже, чем в Совдепии, ибо это несравнимо. Там была моя личность уничтожена, она уничтожена и здесь, но там я признавал уничтожающих, я на них мог глядеть с ненавистью и презрением. Здесь же она меня давит, пригибает к земле. Там я все-таки стоял крепко двумя ногами на моей земле. Здесь я чужой, из милости, с протянутой ручкой. Тьфу!»

Своему приятелю, беллетристу Борису Лазаревскому жаловался из Парижа в письме от 10 сентября 1925 года (и, как обычно, с применением ненормативной лексики): «…Здесь скверно, как нигде и никогда еще не было. Кормят плохо. Есть некого. Выпить не с кем. Что за город, если на вопрос: „Есть ли у

вас бляди?“ собираются извощики, трактирщики, почтальоны, гарсоны и даже встречные, молодые и старые… И вот уже месяц ни слова по-русски! От этого такое ощущение, будто бы у меня рот заплесневел…»

Худо было Куприну в Париже. На фоне нищеты и тоски резко ухудшилось здоровье, и он решил вернуться на родину, вслед за Алексеем Толстым, но при этом Куприн сказал: «Уехать, как Толстой, чтобы получить „крестинки иль местечки“, — это позор, но если бы я знал, что умираю, что непременно и скоро умру, то и я уехал бы на родину, чтобы лежать в родной земле».

Так оно и вышло. 31 мая 1937 года Куприн вернулся в Москву, а через год и три месяца скончался.

Отъезд Куприна из Парижа вызвал многочисленные отклики в эмигрантских кругах. «Осуждать его нелегко. Могу только пожелать ему счастья», — писал Марк Алданов. Алексей Ремизов отозвался более сдержанно: «Что ж — поехал, и Бог с ним. Я его ничуть не осуждаю. А голодал он и нуждался очень. Но разве не испытывают и другие писатели эмиграции постоянную и острую нужду?»

Не удалось уговорить Бунина, зато заполучили Куприна, — и в СССР ликовали. В газетах появились заявления и восторженные очерки Куприна, которые, однако, писал не он. Давний спор о том, чьим «достоянием» является Куприн — красным или белым, — окончился в пользу красных. Александр Куприн был торжественно внесен в пантеон советской литературы. А он был ни красным, ни белым. Он был общепланетарным. Достаточно прочитать то, что он писал в парижской газете «Утро» в 1922 году:

«Двадцатый век пошел еще более жадным, головокружительным темпом… Производство находится почти в полном подчинении у человека, и, по всем данным, в распоряжении у него должно было бы оказаться гораздо более свободного времени.

Но нет, наоборот, мы видим, как победитель пространства с каждым днем все более и более становится рабом времени. День человека нашей эпохи — это сплошная порывистая судорога, кидающая его от слухового аппарата к телеграфному, из автомобиля в экспресс, из банка на биржу. Летят, говорят, любят и думают люди как-то мимоходом, на бегу, урывками. Нервы обострились до крайней степени, времени все более и более не хватает, бешеная быстрота жизни уже не удовлетворяет нас. Скорее, еще скорее. Минутное промедление телефонной барышни заставляет наш голос дрожать от злости. Двое суток от Петербурга до Ниццы в поезде-молнии рисуется в нашем

воображении как нудная бесконечность.

И как много эта жизнь, бесполезно выиграв в скорости, потеряла в красоте и в невинной радости…»

И в этой же статье о литературе: «Теперь уже немыслима очаровательная простота Мериме, аббата Прево и пушкинской „Капитанской дочки“. Литература должна им (читателям. — *Прим. Ю.В.*) приятно щекотать нервы или способствовать пищеварению».

Нет, воистину Куприн оказался если не пророком, то, по крайней мере, дальновидцем: «Человечество погрузится в тихий, послушный, желудочно-половой идиотизм».

Вот так смотрел на будущее выходец из Серебряного века Александр Куприн. Смотрел с грустью и страхом.

ЛИВШИЦ
Бенедикт Константинович (Наумович)
25. XII.1886 (6.I.1887), Одесса — 21.IX.1938 — в заключении

Везение или стечение обстоятельств — в литературе великая вещь. Кто взлетел на Олимп, а кто остался у его подножия: кому как повезло, и дело не в степени таланта. Наверное, об этом не однажды думал Бенедикт Лившиц, коли он заявил во всеуслышанье: «Литературный неудачник, я не знаю, как рождается слава». Действительно, слава обошла его стороной. Все знают Владимира Маяковского, но мало кто — Бенедикта Лившица. Так сложилась история.

Бенедикт Лившиц родился, как отмечено в автобиографии, в семье «состоятельного негоцианта-еврея». И далее, вроде, все замечательно: золотая медаль по окончании Ришельевской гимназии, юридический факультет Новороссийского института. Может быть, из Лившица вышел бы классный юрист, но от занятий его отвлекают две вещи: революция и литература. За участие в студенческих волнениях Лившица исключают из института. Он перебирается в Киев и уже там получает диплом 1-

й степени. Затем шаг в сторону от основного призвания: армия.

«Бена берут в солдаты, — записывал 6 июля 1913 года в своем дневнике Корней Чуковский. — Очень жалко. Он по мне. Большая личность: находчив, силен, остроумен, сентиментален, в дружбе крепок, и теперь пишет хорошие стихи… Каков он будет, когда его коснется слава, не знаю; но сейчас он очень хорош…»

Слава Бена не коснулась. Литературная, по крайней мере. А в военных действиях он добыл награду: Георгиевский крест 4-й степени. К кресту прибавились ранение и контузия. Далее был отправлен для несения службы в тылу. «В Киеве прожил почти безвыездно восемь лет и в 1922 году снова поселился в Петербурге» (из автобиографии).

В гимназии Лившиц увлекался Гомером и Вергилием, переводил Горация и Овидия («Овидиевы „Метаморфозы“ мне были ближе книги Бытия»). Последующее увлечение: Бодлер, Верлен, Маллармэ, Рембо и прочие «проклятые» поэты. «Мои первые „серьезные“ стихотворные опыты относятся к 1905 году и характеризуются комбинированным влиянием русских символистов, с одной стороны, и настроений, господствовавших в эту памятную эпоху в среде радикальной интеллигенции, — с другой. В ту пору я мечтал о новой Марсельезе, и лавры Руже де Лиля улыбались мне гораздо больше, чем слава Бальмонта или Брюсова», — вспоминал Лившиц.

В ноябре 1909 года Бенедикт Лившиц знакомится с Николаем Гумилевым, и тот приглашает его сотрудничать с журналом «Аполлон». В 1911 году в Киеве тиражом в 150 экземпляров вышла первая книга Лившица «Флейта Марсия». Название сборника взято из древнегреческого мифа: флейтист Марсий дерзнул вызвать на состязание Аполлона Кифареда. Аполлон (кто в этом сомневался?) победил Марсия и велел содрать с него кожу:

Да будет так. В залитых солнцем странах
Ты победил фригийца, Кифаред.
Но злейшая из всех твоих побед —
Неверная. О марсиевых ранах

Нельзя забыть. Его кровавый след
Прошел века. Встают, встают в туманах
Его сыны…

В книге «Флейта Марсия» играет бунтарский дух. И еще присутствует тяжелая эротичность:

Спеша, срываешь ты запястья с лодыжек.
И — вся нагая — ждешь, чтоб дикий дух огня
Свой тяжкий поцелуй на нас обоих выжег.

В декабре того же 1911 года состоялось знакомство Лившица с Давидом Бурлюком, который, можно сказать, затащил Бенедикта Лившица в футуризм, и он вошел в группу кубофутуристов «Гилея». Вот что вспоминал Давид Бурлюк:

«Бенедикт Константинович Лившиц приехал в Гилею (Чернянка) зимой 1911 года, и после этого этот замечательный поэт, знаток русского языка, становится моим великим другом… От Б.К. Лившица я почерпнул настойчивые манеры точить и полировать строку стихотворную… Сам Бен, набросав стихотворение, перегонял его с листка на листок, пока на десятом не было оно уже чудом версификации».

В отличие от стихийного потока словотворчества футуристов, Бенедикт Лившиц придавал большое значение композиции. Она у него всегда выверена и стройна. «Слова, взятые сами по себе, — писал он в 1925 году, — мертвый клад. Одного накопления и отбора речений еще недостаточно: необходимо умение располагать их в определенном порядке, необходим мужественный отказ от роскошного, экзотического или эмфатического слова в пользу слова простого и общеупотребительного, если применением последнего достигается разрешение задачи».

И хотя Бенедикт Лившиц принимал участие в скандальных футуристических сборниках «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Садок судей», «Рыкающий Парнас», «Молоко кобылиц» и в «Первом журнале русских футуристов», он не разделял леворадикальных взглядов своих соратников по перу и, по его выражению, «спал с Пушкиным под подушкой», поэтому сбрасывать «с парохода современности» никого не собирался. Бенедикт Лившиц даже внешне не походил на литературного бунтаря: «Я увидел весьма культурного, спокойного человека, который ничего не ругал», — вспоминал Эренбург о встрече с поэтом.

Вскоре Бенедикт Лившиц окончательно рвет и с футуристами, и с «будетлянами» и подводит черту своему временному союзу с ними: «Футуризм сделал свое дело, футуризм может уходить». Отбросив «заумный язык», Лившиц создает свой энергетический и интеллектуальный.

В 1914 году выходит книга Лившица «Волчье солнце» (это еще авангардистский сборник), затем — «Болотная медуза» (а

здесь уже полный разрыв со своими былыми соратниками, скачок от беспредметной поэзии к смысловой). «Болотная медуза» посвящена целиком Петербургу, этой гениальной ошибке Петра, как считал Лившиц. Одна из тем: противоборство культуры и стихии.

Заутра бросится гонец
В сирень морскую, в серый вырез. —
И расцветает, наконец,
Златой адмиралтейский ирис.

Следующая книга Лившица — «Патмос» (1926). Патмос — греческий остров, место изгнания Иоанна Богослова, автора четвертого Евангелия и Апокалипсиса.

И во всей вселенной истина одна,
И на земле ее раскрыли музы.

О жизни Бенедикта Лившица в Киеве вспоминает Юрий Терапиано: «Бритый, с римским профилем, сдержанный, сухой и величественный, Лившиц держал себя как „мэтр“: молодые поэты с трепетом знакомились с ним, его реплики и приговоры падали, как нож гильотины. Он восхищался Блоком и не любил Есенина. Лившиц пропагандировал в Киеве „стихи киевлянки Анны Горенко“ — Ахматовой и Осипа Мандельштама. Ему же киевская молодежь обязана открытием поэзии Иннокентия Анненского».

Подверстаем дневниковые записи Корнея Чуковского из периода жизни в городе на Неве:

24 марта 1926 года — «Был вчера у милого Бена Лившица. Чудесные две комнатки, трехмесячный Кирилл, паштет, письма Бурлюка из Нью-Йорка и стихи, стихи…»

24 апреля 1926 года — «Был я у Бена Лившица. То же впечатление душевной чистоты и полной поглощенности литературой. О поэзии он может говорить по 10 часов подряд. В его представлении — есть ли сейчас в России замечательные люди, то это Пастернак, Кузмин, Мандельштам и Константин Вагинов…»

Следующие книги Бенедикта Лившица: «Кротонский полдень» (1928), «Картвельские оды» (1935), «Оды» были написаны, но не изданы, «Оды» — дань увлечения Грузией. В 1933 году вышла мемуарная книга «Полутораглазый стрелец», в которой была воспроизведена история русского футуризма с конца 1911 года до начала войны 1914 года. «Стрелец» вышел исключительно

благодаря заступничеству Максима Горького.

И что же это за стрелец? Бенедикт Лившиц объяснял так: «Навстречу Западу, подпираемые Востоком, в безудержном катаклизме надвигаются залитые ослепительным светом праистории атавистические пласты, дилювиальные ритмы, а впереди, размахивая копьем, мчится в облаке радужной пыли дикий всадник, скифский воин, обернувшись лицом назад и только полглаза скосив на Запад — полутораглазый стрелец!»

Обратите внимание: дикие скифы все время появлялись на горизонте воображения и предчувствия у поэтов Серебряного века.

30-е годы оказались тяжелыми для Бенедикта Лившица, он выразился по этому поводу так: «У меня затянувшаяся перебранка с нынешним днем литературы, и, стоя на черной лестнице у распахнутой кухонной двери, я поджидаю шарканье его шагов». А если говорить иначе, не метафорически, рафинированный эстет и парнасец Бенедикт Лившиц оказался абсолютно не нужен новой советской литературе, с ее пафосом и барабанным боем.

Все — только звук: пенорожденный брег,
Жена, любовь, судьба родного края,
И мы, устами истомленных рек,
Плывущие, перебирая…

Плывущие, без руководящей и направляющей роли партии?! Так не годится! И Бенедикту Лившицу перекрыли издательский кислород. Он только переводил и редактировал. Результатом этой работы стали две книги: «От романтиков до сюрреалистов» (1934) и «Французские лирики XIX и XX веков» (1937). От Ламартина до Кокто — таков был разлет переводов Бенедикта Лившица. Своя же лирика оставалась невостребованной.

Когда-то, задолго до Октября, Лившиц блистательно перевел стихотворение французского поэта Мориса Роллина «Магазин самоубийства»:

«Вот — верный пистолет… отточенные бритвы…
Веревка… хлороформ… Надежней не найти!
Попробуйте — клянусь: ни папские молитвы,
Ни лучшие врачи не смогут вас спасти!»

«Вот — яды разных змей… Растительные… Я бы
Советовал вам взять кураре… Иль вот тут —
Напиток, сваренный из сока кучелябы:

В одно мгновение он скрутит вас, как жгут».

«За каждый проданный снаряд самоубийства
Даем ручательство, и это не витийство.
Но лучшее из средств покинуть дольний мир». —

Он указал на дверь, заделанную в стену. —
«Ему научат вас за небольшую цену
Девица Осьминог и госпожа Вампир».

Поэт не подозревал, что пройдут годы и он попадет в «магазин» НКВД. 16 октября 1937 года Бенедикт Лившиц был арестован и осужден «без права переписки», то есть приговорен к расстрелу. В официальной бумаге написали, что он умер от сердечного приступа. Поэт не дожил трех месяцев до 52 лет.

Под следствием, в тюрьме, из-за побоев и нервного потрясения Бенедикт Лившиц лишился рассудка — и по требованию следователей оговорил десятки неповинных (среди них — Николай Заболоцкий, Елена Тагер и другие). Отбыв свой срок, писательница Тагер рассказывала, что на очной ставке с Бенедиктом Константиновичем убедилась в его полной невменяемости.

Когда тебя петлей смертельной
Рубеж последний захлестнет… —

писал Бенедикт Лившиц в 1918 году.

МИРРА ЛОХВИЦКАЯ
Мария Александровна,
в замужестве — ЖИБЕР
19. XI(1.XII).1869, Петербург —
27.VIII(9.IX).1905, Петербург

У каждого своя судьба. Бенедикт Лившиц был перемолот эпохой. А Мирра Лохвицкая, эта «русская Сафо» («Темноокая, дивная, сладостно-стройная,/ Вдохновений и песен бессмертных полна…»), не дожила до роковых событий. Она умерла в 35 лет. Умерла молодой, как того хотела сама:

Я хочу умереть молодой,
Не любя, не грустя ни о ком,
Золотой закатиться звездой,
Облететь неувядшим цветком…

В семье петербургского профессора права Александра Лохвицкого росли две девочки — старшая Мария и младшая Надежда. Обе со временем украсили русскую литературу. Мария,

взявшая имя Мирры, прославилась как русская Сафо. Надежда, принявшая псевдоним Тэффи, стала писателем-сатириком. Характер и склонности у сестер были разные: Мирра тяготела к лирическим переживаниям, жизнь воспринимала в романтических тонах. Надежда, напротив, относилась ко всему недоверчиво, скептически и имела явную склонность обличать все и всех. Она любила «бичевать». А старшая — мечтать и страдать.

Если б счастье мое было чудным цветком…
Если б счастье мое было в сердце твоем…

Писать стихи Мирра начала, по ее словам, «с тех пор, как научилась держать перо в руках». Серьезному творчеству «предалась с 15 лет». В литературу Мирру Лохвицкую ввел Всеволод Соловьев, сын историка Сергея Соловьева. С 1889 года Лохвицкая начала сотрудничать в журнале «Север», затем ее стихи появились в журналах «Художник», «Наблюдатель», «Нива», в «Русской мысли», в «Русском обозрении» и т. д. Сборник «Стихотворения» (1896) получил высокую оценку критики и был удостоен половинной Пушкинской премии Академии наук. Еще одной Пушкинской премией увенчан сборник Лохвицкой уже посмертно. Стих Лохвицкой легкий, грациозный, мелодичный, и поэтому не случайно, что около ста ее стихотворений положены на музыку композиторами Глиэром, Танеевым, Ляпуновым, Василенко и другими.

Стихи Лохвицкая писала всю жизнь, упиваясь ими, захлебываясь, отчетливо понимая:

Как пусто, как мертво!.. И в будущем все то же…
Часы летят… а жизнь так коротка!..
Да, это был лишь сон, но призрак мне дороже
Любви живой роскошного цветка…

В письме к Акиму Волынскому Мирра Лохвицкая признавалась 1 декабря 1896 года: «…Я — женщина — в полном смысле этого слова, и — только. С типом писательницы, „синего чулка“, я не имею ничего общего. Я развита крайне узко, односторонне. Все, что не красота (я подразумеваю высшую красоту), все, что не поэзия, не искусство — для меня не существует и значится у меня под одним названием: „Суета сует“. Я разделяю людей на две половины: к одной я бы отнесла такие слова, как: приход, расход, большой шлем, акция, облигация и

прочее. К другой: жизнь, смерть, восторг, страдание, вечность…»

Получив хорошее домашнее образование, Мирра Лохвицкая затем закончила Александровский институт в Москве. Вышла замуж за архитектора Жибера. Первые годы замужества провела в провинции (Ярославль, Тихвин). Рожала детей (у нее их было пятеро). Вернулась в Москву, потом перебралась в Петербург.

Блистательный Петербург конца XIX века. Гранитные набережные, державная Нева. Аристократические особняки. И почти в каждом кипит жизнь: приемы, балы, литературные вечера, концерты. Мирра Лохвицкая стала постоянной участницей «пятниц» Константина Случевского, поэта надменного, чопорного и мрачного («В костюме мертвой Коломбины лежала мертвая она…» и тому подобное). Но чем чаще Лохвицкая посещала «пятницы» Случевского, тем больше ей хотелось завести свой собственный салон. В конце концов мечта осуществилась. Муж был богат. Популярность самой Лохвицкой все более возрастала. А к чужой славе и деньгам кто не липнет?..

Но вот что примечательно. В стихах Мирра Лохвицкая являлась жаркой и страстной вакханкой. «Зачем твой взгляд, и бархатный, и жгучий, мою волнует кровь?..» И тут же следуют многообещающие призывы: «Мне нет предела, нет границ…» В стихах Лохвицкая готова пропеть в честь Афродиты «гимн любви», ибо, по ее уверенью, «это счастье — сладострастье». А в жизни… в реальной жизни она была иной, менее «афродистой», более заземленной. И этот контраст между поэтическим имиджем и реальным образом женщины поразил Ивана Алексеевича Бунина:

«Она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью…»

И поэтому не случайно в дом к Лохвицкой захаживали не изломанные декаденты, но модернистствующие снобы, вполне нормальные люди, интересующиеся литературой не больше, чем самой жизнью. К тому же в доме Лохвицкой было по-домашнему уютно и всегда вкусно потчевали.

Вспоминает Аким Волынский: «В домашнем быту это была скромнейшая и, может быть, целомудреннейшая женщина, всегда при детях, всегда озабоченная своим хозяйством. Она принимала своих гостей совсем на еврейский лад: показывала своих детей, угощала заботливо вареньем и всяческими сладостями. Этот сладостно-гостеприимный оттенок имеет восточно-еврейский отсвет. В Лохвицкой блестящим образом сочетались черты

протаарийской женщины с амуреточными импульсами, изливающимися лишь в стихах».

Одевалась Лохвицкая вычурно, отдавая дань петербургской моде и стилю декаданса. Себя она представляла достаточно объективно и четко:

В кудрях каштановых моих
Есть много прядей золотистых —
Видений девственных и чистых
В моих мечтаньях огневых.

Слилось во мне сиянье дня
Со мраком ночи беспросветной, —
Мне мил и солнца луч приветный,
И шорох тайн манит меня.

И суждено мне до конца
Стремиться вверх, скользя над бездной…

Творчество и жизнь Мирры Лохвицкой — это балансирование между высоким и низким, между романтикой чувств и прозаическим бытом, борьба «серафимической» героини («Моя душа — как лотос чистый»/ и демонической/ «Я жрица тайных откровений»), — и все это, «скользя над бездной».

Аким Волынский в журнале «Критика и библиография» в конце 1898 года писал:

«Г-жа Лохвицкая — поэтесса молодая, с огнем чувств в своих по преимуществу любовных стихах. На обыкновенные темы она не пишет. Если искать в современной поэтической литературе особенного стихотворца, то придется остановиться именно на г-же Лохвицкой… она откровенно поет любовь. В ней как бы горит кровь Суламифи. В душе ее как бы звучат отголоски Песни Песней. Не стесняя себя ничем на свете, она смело открывает свое сердце — с таким простодушным порывом, который одновременно и подкупает и удивляет…»

Я люблю тебя, как море любит солнечный восход,
Как нарцисс, к волне склоненный — блеск и холод сонных вод.
Я люблю тебя, как звезды любят месяц золотой,
Как поэт — свое созданье, вознесенное мечтой…

…Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны:
Больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны.

Это в поэзии. А в жизни? В жизни все было скромнее и менее героичней, если не считать романа Лохвицкой с Бальмонтом, которого поэтесса назвала «Лионелем», «певцом луны». Не испытывала особых реформаций и лира Мирры Лохвицкой. По замечанию Брюсова, в ее стихах «слишком много новизны и слишком много в ней старого». Старого было даже больше. Лохвицкая не старалась выйти за рамки классической лирики фетовско-майковской ориентации. Лишь в последние годы, под влиянием болезни (туберкулез) в творчестве Лохвицкой сменились ориентиры: вместо культа красоты и демонстративной чувственности появилась эстетизация зла. Как отметил профессор Семен Венгеров, Лохвицкая «ударилась в средневековую фанатику, в мир ведьм, культ сатаны».

Но это был все же лишь промельк в ее творчестве, в основном — прекрасном и светлом. Мирра Лохвицкая умерла рано, оставив поэтический завет к женщине Серебряного века, хотя он применим, конечно, и ко всем векам: «Умей молчать!.. Умей любить!.. Умей страдать!» Вполне экзистенциальный совет.

Мирра Лохвицкая ушла из жизни в 1905 году, когда Анне Ахматовой исполнилось 16 лет, а Марине Цветаевой и того меньше — 13. И Ахматова, и Цветаева не были продолжателями бурно-чувственной строфики Лохвицкой, но что-то они все-таки взяли из «жречества» Мирры, только добавили в поэзию другие компоненты. Или, говоря иначе, раскрыли настежь окно салонной лирики, куда ворвалась реальная жизнь, с ветрами, бурями, потрясениями и социальными катаклизмами.

МАКОВСКИЙ
Сергей Константинович
15(27).VIII.1877, Петербург — 13.V.1962, Париж

В Серебряном веке много крупных фигур, растиражированных и раскрученных, сияющих, как яркие звезды на литературном небосклоне: Блок и Бунин, Маяковский и Есенин, Ахматова и Мандельштам… Но есть звездочки поменьше, свет которых едва заметен. И есть такие, которых советская критика пыталась полностью замолчать и проигнорировать; к их числу относится и Сергей Маковский. А ведь он так много сделал для отечественной культуры! Пожалуй, он и Дягилев выполняли роль локомотива, тянущего за собой весь состав из различных вагончиков русского искусства на Запад. Создавали и пропагандировали. Развивали и рекламировали…

Свою активную культуртрегерскую деятельность Сергей Маковский представлял как служение для «высших нужд народа», как борьбу с национальной косностью, «доморощенностью» и творческим изоляционизмом: «В этом болоте равнодушия, безволья, политической апатии нужны люди, которые бы в

области им близкой, любимой, думали не только о себе, о своих личных удобствах и целях, а о судьбе того дела, которому они служат… Все — вразброд. Ни у кого — энергии культурного общественного строительства. Можно ли жить в такой стране, сознавая свои силы, и ничего не создавать, спрятавшись в свою раковину?» — так с пафосом писал Сергей Маковский в письме к матери от 29 июля 1909 года.

Сам Маковский никогда не прятался в «раковине», а интенсивно ворошил российское «болото», осуществляя то одно дело, то другое, претворяя проект за проектом. Маковский начал печатать статьи по вопросам искусства с 1896 года, т. е. с 19 лет! Живопись, литература и музыка были родной его стихией с детских лет. В 1905 году выпустил свой первый сборник стихов. Затем — несколько томов, под заглавием «Страница художественной критики». В 1906–1908 годах читал курс лекций по всеобщей истории искусств в Обществе поощрения художеств в Петербурге. Маковский — один из основателей и членов редакционного комитета журнала «Старые годы» (1907–1917). Под его редакцией издавался и еще один уникальный журнал «Русская икона». В 1909 году основал журнал «Аполлон» (один из лучших в Серебряном веке) и редактировал и вел его вплоть до закрытия во всем том же печальном 1917 году. «Аполлон» был подлинным центром петербургской литературно-художественной жизни и мысли.

Но это еще не все! С 1908 года Маковский выступал организатором художественных выставок, первая из них — «Салон» — объединила всех передовых русских живописцев и скульпторов, от Валентина Серова до Чюрлениса, от Петрова-Водкина до Кандинского. В 1910 году Маковский по поручению Петербургской академии художеств организовал русский отдел на международной выставке в Брюсселе и устроил выставку «Мир искусств» в Париже. Шумный успех имела и организованная Маковским в Петербурге выставка «Сто лет французской живописи (1812–1912)».

Неутомимым оставался Маковский и в эмиграции. Помимо восьми поэтических сборников (он был еще и поэтом), вышли такие значительные работы, как «Силуэты русских художников» (Прага, 1922), «Портреты современников» (Нью-Йорк, 1955), «На Парнасе „Серебряного века“ (Мюнхен, 1962). Все эти книги стали одним из самых значительных и интересных источников по истории русской литературно-художественной жизни XX века, века „мятежного, богоимущего, бредившего красотой“, как отмечал Маковский.

А теперь немного о самом Маковском. Сергей Маковский —

сын известного портретиста и исторического жанриста Константина Маковского. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Много занимался самообразованием, изучая все сферы искусства. Исповедовал культ красоты. Утверждал, что красота „нужна действию, великому действию эпохи, государства, народа… Неправда, когда говорят: художники, будьте гражданами! Нет: граждане, будьте художниками!“ (1907).

Владимир Пяст вспоминает: „Из всех встречавшихся на моем жизненном пути снобов, несомненно, Маковский был наиболее снобичен. Особенно белые и крахмаленные груди над особенно большим вырезом жилетов, особенно высокие двойные воротнички, особенно лакированные ботинки и особенно выглаженная складка брюк. Кроме того, говорили, что в Париже он навсегда протравил себе пробор особенным составом. Усы его глядели как-то нахально вверх. Поэты, начавшие свою деятельность под эгидой „Аполлона“, — Георгий Иванов, Георгий Адамович, — заимствовали от него часть манер; однако им отнюдь не давался его бесконечный, в полном смысле хлыщеватый апломб. Выучиться холить и стричь ногти „a la papa Maco“ (как они называли своего патрона) было гораздо легче, чем усвоить его безграничную самоуверенность. Да, им приходилось и лебезить перед ним как редактором; он же третировал их вроде валетов“.

В этом пассаже Пяста сквозит, конечно, некая предвзятость, ибо, по воспоминаниям других мемуаристов, в частности Зинаиды Шаховской и Юрия Анненкова, „Сергей Маковский до старости сохранил благородство черт и осанки… выражался всегда просто и ясно, без всякого самоупоенья“.

Что касается красоты, то он, действительно, был ее поклонником во всех ее проявлениях. Вот еще один отрывочек из воспоминаний. „Маковский, „Papa Maco“, как мы его называли, был чрезвычайно и аристократичен, и элегантен. Я помню, он советовался со мною: не вынести ли такого правила, чтоб сотрудники являлись в редакцию „Аполлона“ не иначе как в смокингах? В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Papa Mako прочил балерин из петербургского кордебалета“.

И, конечно, Маковский должен был первым попасть на крючок красивой мистификации о Черубине де Габриак. Опять слово Волошину:

„Он требовал у Черубины свидания, Лиля выходила из положения очень просто. Она говорила по телефону: „Тогда-то я буду кататься на Островах. Конечно, сердце вам подскажет, и вы узнаете меня“. Маковский ехал на Острова, узнавал ее и потом с

торжеством рассказывал ей, что он ее видел, что она была так-то одета, в таком-то автомобиле… Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобиле, а только на лошадях…“

Когда мистификация раскрылась, и вместо таинственно-красивой Черубины явилась вполне земная и обычная Лиля, Елизавета Дмитриева, Маковский очень расстроился. Он любил красивые миражи…

В своем первом поэтическом сборнике Маковский писал:

Я встречи ждал, но братьев я не встретил.
Молился я, но Бог мне не ответил,
Моей тоски никто не разделил.

Всю скорбь любви я разумом измерил,
Но никого на свете не любил.
Я жил, как все, но жизни не поверил.

Брюсов так оценил сборник: „Поэзия г. Маковского холодна и бесстрастна, и души поэта в ней почти не чувствуется“.

„Сороковые и пятидесятые годы были временем расцвета Сергея Маковского как поэта“, — отмечал Юрий Терапиано. „В своей поэзии Сергей Маковский является проводником не „дионисийского“, музыкально-хаотического, а строгого и ясного „аполлонического“ начала, он приближается к акмеистам и неоклассикам пореволюционного типа… Позитивист по натуре, естественник по образованию, Сергей Маковский не был склонен к мистике и не очень верил в возможность „касания мирам иным“… был очень чуток к логической и языковой стороне поэзии, но не улавливал нюансов, сложных образов и, особенно, „двуплановости“ — как раз того, чем увлекались символисты…“

Приведем характерную для Маковского природо-пейзажную зарисовку „Июнь“:

Слепительно хорош июньский день,
цветут луга и пахнут медом травы.
Прошелестят на берегу дубравы,
чуть зыблется березок тонких тень.

О, благодать! О, вековая лень!
Овсы да рожь, да нищие канавы.
Вдали-вдали — собор золотоглавый
и белые дымки от деревень.

Не думать, не желать… Лежать бы сонно,
прислушиваясь к шороху дубрав
среди густых, прогретых солнцем трав,
и — тишине и синеве бездонной
всего себя доверчиво отдав —
уйти, не быть… Бессмертно, упоенно!

„Благодать“ как мечта, как воспоминание о родине. А в эмиграции все уже иное, конечно, можно „у себя на Тильзите, в халате, в красных сафьяновых туфлях“ (как вспоминал Терапиано) почитать очередную рукопись, что-то организовать, написать стихотворение, но… по воспоминаниям другого мемуариста Кирилла Померанцева, Маковский жил в Париже на маленькой улочке возле знаменитой площади Звезды, нанимая комнату у своей приятельницы… Иногда в гостинице легко собиралось человек десять-двенадцать, говорили о „текущих событиях“, но больше, конечно, о литературе и о стихах. Собирались Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Терапиано, Смоленский, Раевский, Ладинский… Сергей Константинович, конечно, нигде не работал, ни в какие политические организации не входил, не считая сотрудничества в эмигрантских газетах и журналах, за что получал грошовые гонорары…»

Писал Маковский в основном в газете «Возрождение». Не бывал на «воскресеньях» у Мережковских, редко посещал «Зеленую лампу», почти не участвовал в выступлениях поэтов и не бывал на Монпарнасе.

Когда проходит жизнь, когда прошла,
И цели нет и нет возврата, —
Как старый сыч, из своего дупла
Жди сумеречного заката.

Старый аристократический «сыч» Сергей Маковский не дожил несколько месяцев до своего 85-летия и умер скоропостижно. Утром работал, как всегда, после завтрака, видимо, прилег отдохнуть и не проснулся. Его нашли лежащим на диване, со спокойным выражением лица — казалось, спит.

Сергей Маковский отбыл «к последнему успокоенью».

МАНДЕЛЬШТАМ
Осип Эмильевич
3(15).I.1891, Варшава — 27.XII.1938, лагерь под Владивостоком

Все поэты Серебряного века так или иначе столкнулись с жестоким временем, но, пожалуй, лишь один Осип Мандельштам был разорван в клочья этим «веком-волкодавом».

Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Мандельштам ощутил тревогу с самого рожденья. «Невозможно представить себе судьбу страшней мандельштамовской — с постоянными гонениями, арестами, бесприютностью и нищетой, с вплотную подступившим безумием, наконец, со смертью в лагерной бане, после чего его труп, провалявшись на свалке, был брошен в общую яму…» (Станислав

Рассадин).

Это какая улица?
— Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова!
Как ее не вывертывай,
Криво звучит, а не прямо!..

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного.
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма, —
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

И тем не менее «место Мандельштама как одного из самых выдающихся поэтов нашего времени, прочно и общепризнано, — отмечал маститый критик Дмитрий Мирский. — Высокое искусство слова, своеобразно соединенное „с высоким косноязычием“, дают его стихам очарование единственное и исключительное».

Анна Ахматова говорила: «Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама».

Марина Цветаева: «Люблю Мандельштама с его путанной, слабой, хаотической мыслью… и неизменной магией каждой строчки».

Подробно рассказывать биографию поэта не имеет смысла: она уже давно известна. Как выглядел Мандельштам? «Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: „Я написал новые стихи“. Закидывал голову, выставлял вперед острый подбородок, закрывал глаза… и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву…» (Константин Мочульский).

Уравновешенный и здравомыслящий обыватель может задать вопрос: «Был ли Мандельштам нормальным?» На него ответил Артур Лурье: «В моей памяти три поэта странным образом связаны с ноуменальным ощущением „детского рая“: Жерар де

Нерваль, Хлебников и Мандельштам. Все трое были безумцами. Помешательство Нерваля известно всем; Хлебников считался то ли юродивым, то ли идиотом; Мандельштам был при всех своих чудачествах нормален, и только в контакте с поэзией впадал в состояние священного безумия».

К интенсивному литературному творчеству Мандельштам обратился в Париже, где он учился в Сорбонне, в 1907–1908 годах, когда в моду входил модернизм. Первая подборка стихов появилась в сентябрьском номере журнала «Аполлон» в 1910 году. Сергей Маковский оставил воспоминания о том, как в конце 1909 года в редакции «Аполлона» появилась немолодая и довольно полная дама, «ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати, — видимо конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть ли не держался за ручку». Вошедшая дама представила юношу:

— Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям… Работай, как все, не марай зря бумаги… Так вот, господин редактор, — мы люди простые, небогатые, сделайте одолжение — скажите, скажите прямо: талант или нет! Как скажете, так и будет…

Смешной эпизод, не правда ли? Конечно, талант — и какой огромный! Глыбище! Появившиеся в «Аполлоне» стихи были нежными и поблескивали, как перламутр:

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой — сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

Осип Мандельштам поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета (диплом, однако, он не

получил) и входит в круг петербургской богемы. Ранний Мандельштам — весь легкий и светозарный («За радость тихую дышать и жить,/ Кого, скажите, мне благодарить?..») Сначала Мандельштам, вроде бы, числился в символистах, но вскоре отходит от символистского визионерства и приобщается к акмеизму. В программной статье «Утро акмеизма» Мандельштам заявляет: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в „лесу символов“, потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес — божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма…»

И призыв: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма».

Мэтры поэзии не приняли мандельштамовский манифест, и он был опубликован лишь в 1919 году в воронежском журнале «Сирена».

В 1913 году за свои кровные деньги Мандельштам издал первый сборник стихов «Камень» (тиражом 300 экземпляров). Примечательно, что в нем символизм и акмеизм спокойно соседствовали, на что указал Николай Гумилев в «Письмах о русской поэзии». Вот одно из стихотворений Мандельштама, ставшее классикой:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, — и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!

В конце 1915 года выходит второй сборник «Камень», как принято говорить, дополненный новыми стихами. «Поэзия Мандельштама, — отмечал Ходасевич, — танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях». Но были и другие критики, которые отмечали «деланность», книжность, холод стихов. Все дело в том, что менялся сам Мандельштам, менялась интонация. Поэт перенимал тютчевскую лирическую манеру с ее возвышенным тоном и ораторским пафосом. Вместо лирических миниатюр появлялись маленькие оды или трагедийные монологи. Так постепенно складывался тот торжественный и монументальный стиль, который наиболее характеризует зрелую поэзию Осипа Мандельштама, «Ледяной пафос», — как выразился Михаил Кузмин. И еще: все меньше в стихах Мандельштама

остается лирики, все больше проступает история, но история не статичная, а вечно живая, вся в движении и перестановках:

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

По наблюдению исследователей Мандельштама, он больше всего любил смешивать, переслаивать и выявлять различные культурно-исторические пласты, прослеживать и выявлять их глубинные связи и сложные взаимодействия. Мандельштам сам образно определял принцип своей поэтической работы:

Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.

В статье «О природе слова» Мандельштам писал: «Русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка… Каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость…»

Опускаем тему «Мандельштам и женщины». Это особая и сложно-трепетная тема, Мандельштам был очень влюбчив и… вот об этом «и» он сообщал:

И от красавиц тогдашних, от тех
европеянок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

В 1919 году Осип Мандельштам встретился с молодой художницей Надеждой Хазиной, которая стала женой поэта и его моральной опорой. «На ней держалась жизнь. Тяжелая, трагическая его судьба стала и ее судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла так, что, казалось, иначе не могло быть» (Наталья Штемпель).

Отношение Мандельштама к революции? Сергей Аверинцев на этот счет писал так: «Уходящий державный мир вызывает у поэта сложное переплетение чувств. Это и ужас, почти физический. Это и торжественность… И третье, самое неожиданное, — жалость…»

Лично я выделил бы и еще одно состояние: растерянность. В молодой советской республике Мандельштам так и не смог найти

своего места, не смог приспособиться к новым тоталитарным порядкам, не нашел в себе силы адаптироваться к новым условиям жизни. «Я должен жить, дыша и большевея…», — уговаривал он себя в ссылке в Воронеже в 1935 году, но «большеветь» он никак не мог (не Демьян Бедный и не Владимир Маяковский). Некая черта «не от мира сего» губила Осипа Эмильевича.

Из воспоминаний Владислава Ходасевича: «…пирожное — роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак — весь состав своего пайка, за исключением сахара, сахар он оставлял себе».

И далее в мемуарах «Белый коридор» Ходасевич пишет про Мандельштама: «…И он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним неудавшимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим — и т. д. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности…»

Однажды Мандельштам стал зазывать Ходасевича в организованный второй «Цех поэтов»: «Все придумали гумилята, а Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики».

— А что вы делаете в таком «Цехе»? — спросил Ходасевич. Мандельштам сделал очень обиженное лицо:

— Я пью чай с конфетами.

Конечно, он не только пьет чай с конфетами, а много работает. Пишет статьи «Слово и культура», «Гуманизм и современность», в 1922 году выпускает книгу «Tristia», о которой критик Николай Пунин отозвался так: «…очень пышный и торжественный сборник, но это не барокко, а как бы ночь формы…» А потом наступило не очень поэтическое время:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?..

Во второй половине 20-х годов Мандельштам во власти прозы. В 1925 году выходит автобиографическая, но более —

«петербургографическая» книга «Шум времени». В ней, по утверждению Анны Ахматовой, поэт «умудрился быть последним летописцем Петербурга». Появились и такие прозаические вещи Мандельштама, как «Египетская марка», «Путешествие в Армению», «Четвертая проза».

«Четвертая проза» — это крик Мандельштама, затравленного, загнанного в угол.

«…Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в 30-градусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть 12 освещенных иудинов окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебреников и счета печатных машин…»

«…мне и годы впрок не идут — другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот — обратное течение времени, я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?..»

Мало того что Мандельштам не смог вписаться в советскую пафосно-панегирическую литературу, он еще посмел покритиковать «хозяина», вождя, всеобщего кумира, у которого «тараканьи смеются усища,/ И сияют его голенища». И вообще —

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.

Такое не прощают. 13 мая 1934 года Мандельштам был арестован. За него заступился Бухарин, и поэтому поэт получил ссылку сначала в Чердань, затем в Воронеж на три года. Пытался покончить с собой, а потом спасался стихами. «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен», — писала Анна Ахматова. Как не вспомнить ключевую фразу из «Шума времени»: «Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет…» И опять же знаменитые мандельштамовские строки, написанные в марте 1931-го:

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть…

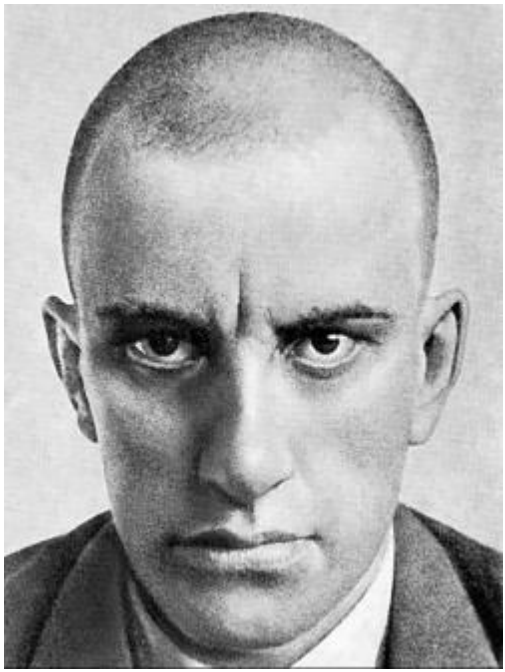
Чтоо́, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич, —
Чего там? Все равно!..

Властям было не все равно. 16 мая 1937 года закончилась воронежская ссылка, а в ночь с 1 на 2 мая 1938 года последовал новый арест, а вскоре и гибель. Мандельштам не дожил каких-то двух недель до 48 лет.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера…

Стихи Мандельштама 30-х годов, спасенные от уничтожения его вдовой Надеждой Мандельштам, с конца 50-х годов распространялись в списках, по которым они впервые полностью опубликованы в США в 1964 году. В настоящее время существует проект воссоздания архива поэта, который разбросан по всему свету (в частности, в Армении, Франции, Германии, Израиле, США, Канаде).

МАЯКОВСКИЙ
Владимир Владимирович
7(19).VII.1893, село Багдади Кутаисской губ. — 14.IV.1930, Москва



Владимир Маяковский как поэт и личность резко выделяется среди поэтов. Это не лирический Блок, не хулиганствующий Есенин и уж, во всяком случае, не романтизированный Мандельштам. Маяковский — это литературный бульдозер, все сметающий на своем пути. Но при этом существует не один, а два Маяковских; один дореволюционного периода, другой — советского. Ранний Маяковский — это поэт-бунтарь, громкий лирик планетарного сознания, певец города, урбанист, футурист в желтой кофте, презирающий всех и любящий только себя. По воспоминаниям Давида Бурлюка: «Маяковский, в общем желчный и завистник (в душе), „всех-давишь“… эгоцентрист… Только себя видит, а любит то, что на него похоже… себя…»

Маяковский в советское время — совсем иной, вожак масс, «агитатор, горлопан, главарь», но уже не сам по себе, а привязанный веревочкой к власти, глашатай этой власти, полностью ангажированный и подсюсюкивающий литературный

вельможа. Убийственную характеристику дал Иван Бунин: «Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь…»

Есть капитальный труд Василия Катаняна «Маяковский. Хроника жизни и творчества», поэтому различные вехи, шаги и поступки упускаю. Выделим лишь несколько.

Началом поэтических работ Маяковский считал 1909 год, когда он сидел в тюрьме и сочинял стихи.

1912–1913 годы Маяковский — активный участник леворадикальных модернистских выставок и диспутов объединений художников «Бубновый валет».

Первый почти самиздатовский сборник Маяковского «Я» вышел в мае 1913 года. Его заметили. Вадим Шершеневич писал: «Среди стихов Хлебникова — воскресшего троглодита, Крученых — истеричного дикаря, Маяковский выгодно отличается серьезностью своих намерений… Он пишет так, как никто не пишет… В стихах Маяковского есть что-то новое, обещающее…»

2 и 4 декабря 1913 года в петербургском театре «Луна-парк» прошли два спектакля «Владимир Маяковский. Трагедия». Борис Пастернак вспоминал: «Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья».

Милостивые государи!
Заштопайте мне душу,
Пустота сочиться не могла бы.
Я не знаю — плевок обида или нет.
Я сухой, как каменная баба.
Меня выдоили.
Милостивые государи,
Хотите —
Сейчас перед вами будет танцевать замечательный поэт?

Идея театрализации жизни — в первую очередь собственной — захватывает Маяковского. Весь напоказ. Вывернутый наизнанку. И все под соусом эпатажа.

Знаете, что скрипка?
давайте —
будем жить вместе!
А?

1913 год, по выражению Маяковского, «веселый год». Разлив футуризма по России: манифесты, сборники, поездки и выступления футуристов, которых воспринимали в основном как литературных хулиганов. Позднее философ Федор Степун осмыслил футуризм как предвестника «большевистской революции, с ее футуристическим отрицанием неба и традиции, с ее разрушением общепринятого языка… с ее утопическим грюндерством, доверием к хаосу… футуристы… зачинали великое ленинское безумие: крепили паруса в ожидании чумных ветров революции» («Бывшее и несбывшееся», Нью-Йорк, 1956).

Летом 1915 года Владимир Маяковский знакомится с Бриками — Лилей и Осипом. Воистину судьбоносная встреча.

Осенью 1915-го выходит поэма «Облако в штанах» (первое название «Тринадцатый апостол»), в 1916-м — поэма «Флейта-позвоночник» и первая книга «Простое как мычание» (стихотворения, поэмы).

«Облако в штанах» — поистине вулканическая поэма, в которой Маяковский предъявляет личный счет самому Господу Богу, что де он создал несправедливое социальное устройство, в котором нет места настоящей любви и гармонии.

Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!..

Маяковский доходит до прямого богохульства:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Ранний Маяковский поражает предельной обнаженностью чувств, откровенной автобиографичностью, аффектированием собственного «Я». Стихи Маяковского — это сплошные боль и крик человека, ощутившего свою полную неуместность и ненужность в урбанизированном мире. Он — истинный певец города, но при этом, по наблюдению Корнея Чуковского, «город

для него не восторг, не пьянящая радость, а распятие, Голгофа, терновый венец… Хорош урбанист, певец города — если город для него застенок, палачество!»

В стихах Маяковский громко выражает еретический протест против всего мира, жажду его переустройства. Поэт хочет стать творцом, архитектором мира, быть Богом для всех («перья линяющих ангелов бросим любимым на шляпы»). Маяковский — суперэгоцентрик. Но при этом его стихи легко читаются, притягивают, завораживают… Своеобразная логика Маяковского — в концентрированной эмоциональности и энергии стиха, который выхлестывается через край. Его метафоры поражают и удивляют, ибо они суть «элементы живописного кубизма», как выразился Николай Харджиев.

Пунктиром обозначим несколько отдельных тем. Маяковский и Первая мировая война. Многие из представителей Серебряного века поддержали угар войны и жаждали победы. У Маяковского к войне было отношение другое: война — это величайшее преступление.

Сегодня
заревом в земную плешь она,
кровавя толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажженная Европа.

Другая тема: Маяковский и коллеги по перу. Как правило, отношения были сложными. Например, с Борисом Пастернаком: вначале Борис Леонидович был литературным спутником Маяковского, затем — литературным антагонистом. В 1922 году Пастернак недоуменно писал Маяковскому:

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

Не одобрял выбранный Маяковским путь Илья Сельвинский:

Я тоже мог бы греметь в барабан,
И был бы, ей-ей, лихой барабанщик
Квадратных агиток и круглых сатир…

С Мариной Цветаевой у Маяковского были отношения притяжения и отталкивания. С Сергеем Есениным — одно отталкивание: Маяковский называл Есенина «балалаечником», а стихи его — «кобылезами» в ответ на упрек Есенина, что Маяковский пишет одни «агитезы».

Громадная тема: Маяковский и женщины. Тут нужна не отдельная книга, а тома. Сумасшедшая гипертрофированная любовь к Лиле Брик. Другие влюбленности, — все это опускаем, и приводим лишь удивление Валентина Катаева по поводу любовей Маяковского — «с громадными губами оратора, плохо приспособленными для поцелуев».

И еще тема: Маяковский и заграница, в которую он постоянно рвался.

> В Америку едет, как древле Колумб,
> маститый поэт Маяковский, —

иронизировал пародист Александр Архангельский. Европу и Америку Маяковский открывал лично для себя, наслаждался всеми благами западной цивилизации, а в стихах все топтал и обливал грязью и презрением: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока».

Ну, а теперь тема, без которой не обойтись: революция.

> Товарищи!
> На баррикады! —
> баррикады сердец и душ, —

призывал Маяковский в «Приказе по армии искусств». И тут, конечно, «Левый марш»:

> Разворачивайтесь в марше!
> Словесной не место кляузе.
> Тише, ораторы!
> Ваше слово,
> товарищ маузер.

В самом начале революции, в 1918 году, Николай Пунин заметил, что Маяковский «перестал быть романтиком и стал классиком». Классиком марксистской этики и эстетики. Он страстно захотел, чтобы его творчество стало необходимым оружием победившего пролетариата. Призывал «дать все права

гражданства новому языку, выкрику — вместо напева, грохоту барабана — вместо колыбельной песни…» («Как делать стихи», 1926). В Ленине поэт увидел воплощение идеальной модели человека будущего («Вашим, товарищ Ленин, сердцем и именем думаем, дышим, боремся и живем!..»). А Бунин — какой гигантский разлет восприятия! — писал о Ленине, как о «косоглазом, картавом, лысом сифилитике», который воцарился на троне.

О Маяковском дореволюционного времени Юрий Тынянов отмечал, что он «был уличным происшествием, он не доходил в виде книги». Все резко изменилось в советское время, после того как Сталин заявил: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Маяковский стал настольной библией советских людей, все гордились «молоткастым, серпастым советским паспортом» и все в один голос говорили: «И жизнь хороша, и жить хорошо». Маяковский был массово растиражирован и, соответственно, крепко любим. Но это произошло после смерти поэта.

Как отмечает Сергей Константинов: «Мертвого Маяковского с огромным багажом его произведений, прославляющих Ленина, советский паспорт, стройки первой пятилетки Сталин предпочел живым поэтам из-за чисто прагматических соображений. Ему гораздо удобнее было популяризировать мертвого Маяковского, чем тратить лишнее время и силы, чтобы добиться выполнения соответствующего социального заказа у поэтов здравствующих» («Независимая газета», 15 апреля 2000).

Кстати, другой вождь, Лев Троцкий, в свое время отмечал, что Маяковский «восторженно влился в пролетарскую революцию, но не слился с ней». Остался в глубине души футуристом и человеком богемы. Конечно, это так. Но он очень старался понравиться советской власти и стать ее наипервейшим поэтом.

«Володя захотел признания», — так высказалась Лиля Брик по поводу организованной Маяковским своей итоговой выставки «20 лет работы». На нее, однако, не пришли ни вожди, ни писатели. Это было похоже на бойкот и говорило о том, что Маяковский стремительно терял своих читателей.

Это одна сторона медали, другая: разочарование в революции и своих идеалах. «Все меньше любится, все меньше дерзается…» — не случайная обмолвка. В 1929 году в Ницце Маяковский встретился с Юрием Анненковым, который так вспоминал об этом:

«Мы болтали, как всегда, понемногу обо всем, конечно, о Советском Союзе. Маяковский, между прочим, спросил меня, когда же, наконец, я вернусь в Москву? Я ответил, что об этом

больше не думаю, так как хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнес охрипшим голосом:

— А я — возвращаюсь… так как я уже перестал быть поэтом.

Затем произошла поистине драматическая сцена: Маяковский разрыдался и прошептал едва слышно:

— Теперь я… чиновник…»

Владимир Маяковский испытал настоящий крах всех своих иллюзий — революции, любви и своего творчества. И утром 14 апреля 1930 года 36-летний поэт нажал на курок. Самоубийство. На его смерть Марина Цветаева откликнулась циклом стихов:

Вроде юнкера, на «Тоске»
Выстрелившего — с тоски!
Парень! не по-маяковски
действуешь: по-шаховски…
Советско-российский Вертер.
Дворянско-российский жест.

Упрекал Есенина за слабость и добровольный уход из жизни, а сам тоже не смог совладать с этой самой жизнью. Как жестко написал Михаил Осоргин о Маяковском: «Он не певец в стане воинов, а лишь бандурист на пирушке победителей».

В некрологе «О Маяковском» Владислав Ходасевич писал: «Он так же не был поэтом революции, как не был революционером в поэзии. Его истинный пафос — пафос погрома, то есть надругательства над всем, что слабо и беззащитно… Он пристал к Октябрю, потому что расслышал в нем рев погрома».

Историк литературы Марк Слоним в «Портретах советских писателей» (Париж, 1933) отмечал: «Революция с ее разрушением, с ее отрицанием старого, с дерзостью и безумием, была для него родной стихией. В ней и развернулся его темперамент, здесь-то вволю мог радоваться этот поэтический нигилист с мускулами циркового борца…»

И Марк Слоним делал вывод: «Маяковский был кремлевским поэтом не по назначению, а по призванию. Он забыл, что поэзия не терпит заданных тем, и решил не только стать выразителем революции, но и сотрудником и бардом революционной власти. Он действительно „состоял в службах революции“, он действительно отдал свое перо правительству… Он всерьез считал себя бардом революции и чванился своей поэтической силой, и громоподобным своим голосом, который, казалось ему, раздается в унисон с раскатами революционной бури…»

Юрий Карабчиевский: «Он не был поэтом воспринимающим,

он был поэтом изобретающим. То, что он сделал, — беспрецедентно, но все это — только в активной области, в сфере придумывания и обработки. Все его розы — изобретенные. Он ничего не понял в реальном мире, ничего не ощутил впервые…»

Так что к Маяковскому существует разное отношение, от восторженной любви до полного неприятия.

Еще одно парадоксальное мнение из лагеря авторов журнала «Нашего современника»: Маяковский хорош, но его испортили «советские еврейские салоны». Но это, конечно, бред.

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Надломившийся Серебряный век востребовал новую звезду — бунтующую, шалую, сверхновую. Ею и стал Владимир Маяковский. А потом он взял и сам погасил свою звезду.

МЕРЕЖКОВСКИЙ
Дмитрий Сергеевич
2(14).VIII.1865, Петербург — 9.IX.1941, Париж

Известно, что основы характера закладываются в раннем возрасте. О своем детстве Мережковский писал:

Всегда один, в холодном доме рос
Я без любви, угрюмый, как волчонок.

Не нашел он теплоты и в дальнейшем — в классической гимназии и в Петербургском университете. «У меня так же не было школы, как не было семьи». Всего он достиг сам, самостоятельной работой, отсюда и «кабинетный характер». Истинный человек книги.

В мемуарах «Человек и время» Мариэтта Шагинян вспоминает о Мережковском, что это был сухонький, невысокого роста, черноглазый брюнет с бородкой клинышком, очень нервный, всегда мысленно чем-то занятый, рассеянно-добрый, но

постоянно в быту как-то капризно-недовольный. Преувеличенно ценил свои книги. Они казались ему пророческими.

Внесем поправку в характеристику, данную Шагинян: Мережковский был не в быте, а над бытом, который его вовсе не интересовал, он парил в эмпиреях.

Я людям чужд, и мало верю
И добродетели земной;
Иною мерой жизнь я мерю,
Иной, бесцельной красотой.

Я верю только в голубую
Недосягаемую твердь,
Всегда единую, простую
И непонятную, как смерть.

О небо, дай мне быть прекрасным,
К земле сходящим с высоты,
И лучезарным, и бесстрастным,
И всеобъемлющим, как ты.

Это стихотворение «Голубое небо» написано Мережковским в 1894 году, когда ему было 29 лет. А стихи он начал писать с 13 лет. В 15 лет юный Мережковский отважился читать свои стихи Достоевскому. «Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские, жалкие стишонки, — вспоминал этот эпизод Мережковский. — Он слушал молча, с нетерпеливою досадою… „Слабо… слабо… никуда не годится, — сказал он наконец. — Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать“».

Что можно возразить классику?!.

В том же 1880 году Мережковский познакомился с популярным поэтом Надсоном, «полюбил его, как брата», и благодаря ему смело вступил на порог литературной жизни. Мережковскому повезло: он встречался со многими корифеями русской литературы — с Гончаровым, Майковым, Полонским, Плещеевым, Короленко, Гаршиным… Николай Михайловский и Глеб Успенский стали его учителями, но, правда, ненадолго.

С 1885 года Мережковский печатает стихи во многих петербургских журналах и становится известным поэтом. В стихотворении «Волны» он сформулировал свою «идефикс»:

Ни женщине, ни Богу, ни отчизне,

О, никому отчета не давать
И только жить для радости, для жизни
И в пене брызг на солнце умирать!..

Влияние Ницше? Несомненно. Но в ницшеанство Мережковский внес и нечто свое, некую русскость:

Мне страшен долг, любовь моя тревожна.
Чтоб вольно жить — увы! я слишком слаб…
О, неужель свобода невозможна
И человек до самой смерти — раб?

В 1888, 1892, 1896, 1904 и 1910 годах выходят поэтические сборники Мережковского. Михаил Кузмин отметил, что по корням, по приемам поэзии стихи Мережковского напоминают Полонского, Фофанова и Надсона. «Мысль его почти всегда ясна, стихом он владеет прекрасно», — отмечал другой критик. Вот, к примеру, отрывок из стихотворения «Парки» (1892):

Мы же лгать обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Лишь уста открою — лгу,
Я рассечь узлов не смею,
А распутать не умею,
Покориться не могу…

Даже по этим строчкам видно, что стихи Мережковского чересчур рассудочные, не эмоциональные, поэтому Мережковский как поэт стоит во втором или третьем ряду среди пиитов Серебряного века. Проницательный Аким Волынский не зря упрекал Мережковского в отсутствии живого, искреннего чувства, в «претенциозной аффектации», в «сухой и раздражающей дидактике».

Возможно, это чувствовал и сам Мережковский. К середине 90-х годов он почти перестает писать стихи, выступает как прозаик, критик, публицист, переводчик (переводит Эсхила, Софокла, Еврипида и других мастеров культуры). Отходит от модернизма и декаданса и ищет «новой веры, новой жизни». Его

новая идейная и творческая гавань — религиозность. Как пишет Юрий Терапиано:

«Мережковский по своей натуре был эсхатологом.

Идея прогресса, рая на земле без Бога, а также всяческое устроение на земле во всех областях, вплоть до „совершенного искусства“, „полного научного знания“, а также личного спасения души в загробном мире, — для Мережковского — „мировая пошлость и плоскость, измена Духу“».

А вот что отмечала Зинаида Гиппиус в биографической книге «Дмитрий Мережковский»: «Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, к пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не христианским равно. Полное равнодушие ко всей обрядности…»

Вот отрывок из стихотворения Мережковского «Бог»:

Я Бога жаждал — и не знал;
Еще не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал, —
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты — мир.
Ты — все. Ты — небо и вода,
Ты — голос бури, Ты — эфир,
Ты — мысль поэта. Ты — звезда…

Георгий Адамович отмечал, что Мережковский «думал о Евангелии всю жизнь и шел к „Иисусу Неизвестному“ („Иисус неизвестный“ — один из центральных философских трудов Мережковского, изданный в Белграде в 1832–1934 годах в трех томах). Мережковский считал, что исторически христианство себя исчерпало, и человечество стоит на пороге царств „Третьего Завета“, где произойдет соединение плоти и духа.

Эту теорию дуализма (человек состоит из духа и плоти) Мережковский варьировал во многих своих статьях и книгах, в частности в исследовании о Толстом и Достоевском. Язычество, по мнению Мережковского, „утверждало плоть в ущерб духу“, и в этом причина того, что оно рухнуло. Христианство церковное выдвинуло аскетический идеал „духа в ущерб плоти“, и оно подошло к своему концу. Очередь теперь за „вторым Христом“, который соединит плоть и дух.

Обо всем этом говорилось и дискутировалось в доме Мережковских. В начале XX века в Петербурге находились два центра интеллектуальной жизни: „Башня“ Вячеслава Иванова и салон Мережковских.

В своей супруге Зинаиде Гиппиус Мережковский нашел

ближайшего соратника, вдохновительницу и участницу всех своих идейных и творческих исканий. Это был надежный и прочный союз (и что удивительно: без плотского фундамента!). „Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга… Они были „идеальной парой“, но по-своему… Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой“, — вспоминала Ирина Одоевцева.

Из воспоминаний Юрия Терапиано: „…в личности Мережковского было нечто большее, чем то, что ему удавалось выразить в его книгах. Именно поэтому умнейшая и очень острая Гиппиус в какие-то самые важные моменты пасовала перед Мережковским, уступала ему — она понимала, что от некоторых слов его, от некоторых его замечаний или идей чуть ли не кружилась голова, и вовсе не потому, чтобы в них были блеск и остроумие, о, нет, а оттого, что они будто действительно исходили из каких-то недоступных и неведомых других сфер. Как знать, может быть, бездны и тайны были для него в самом деле родной областью, а не только литературным приемом?“

А вот свидетельство Андрея Белого: „Здесь, у Мережковского воистину творили культуру, и слова, произносимые на этой квартире, развозились ловкими аферистами слова. Вокруг Мережковского образовался целый экспорт новых течений без упоминания источника, из которого все черпали. Все здесь когда-то учились, ловили его слова“.

Лев Шестов назвал Мережковского „страстным охотником за идеями“. Все эти найденные или „подстреленные“ Мережковским идеи расхватывались другими. Ну, что ж, щедрый охотник…

В годы революционного брожения квартира Мережковских была „своего рода магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы“ (Георгий Чулков).

В 1905 году в журнале „Полярная звезда“ появилась знаменитая статья Дмитрия Мережковского „Грядущий Хам“. „Грядущим Хамом“ окрестил Мережковский грядущего человека социализма. Социализму он приписал религию „сытого брюха“ и полного аморализма. Будущее виделось ему как „лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни“. Отвечая на написанный Николаем Минским „Гимн рабочих“, Мережковский предвещал, что „из развалин, из пожарищ“ — ничего не возникнет, кроме Грядущего Хама».

Мережковский предсказал «Грядущего Хама», а когда в 1917 году воцарилось «Царство Антихриста», он не уставал с ним бороться. В декабре 1919 года Мережковский и Гиппиус тайно покинули советскую Россию. 16 декабря 1920 года в Париже Мережковский прочитал свою первую лекцию «Большевизм,

Европа и Россия», в которой рассмотрел тройную ложь большевиков: «Мир, хлеб, свобода», обернувшуюся войной, голодом и рабством.

Узнав о визите в Россию Герберта Уэллса, Мережковский обратился с открытым письмом к английскому писателю. В нем он, в частности, писал: «Знаете, что такое большевики? Не люди, не звери и даже не дьяволы, а наши „марсиане“. Сейчас не только в России, но и по всей земле происходит то, что вы так гениально предсказали в „Борьбе миров“. На Россию спустились марсиане открыто, а тайно, подпольно кишат уже везде. Самое страшное и большевиках не то, что они превзошли всякую меру злодейств человеческих, а то, что они существа иного мира: их тела — не наши, их души — не наши. Они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентною чуждостью…»

В ненависти к большевикам Мережковский в радиоречи поддержал в 1941 году даже Гитлера, подчеркнув, что необходим крестовый поход против большевизма, как против абсолютного зла. Мережковский выступал за интервенцию, которая помогла бы спасти мир и возродить Россию. «Я призывал, вопил, умолял, заклинал, — признавался Мережковский. — Мне даже стыдно сейчас вспоминать, в какие только двери я не стучался…» Однако Запад не услышал Мережковского. Его услышали в Москве и пришли к нему, в парижскую квартиру 11-бис Авеню дю Колонель Бонне, несколько вооруженных людей, но опоздали: Мережковский успел умереть естественной смертью.

А теперь вернемся назад. Квартира Мережковских в Париже в течение 15 лет была одним из средоточий эмигрантской культурной жизни. На «воскресеньях» у Мережковских собирался русский интеллектуальный Париж, и молодое «зарубежное поколение» любило слушать рассказы Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны о петербургском периоде их жизни.

Говорить о Мережковском как о прозаике трудно: он написал неимоверно много. Его первым историческим романом стала «Смерть богов», где он с музейной достоверностью реконструировал события идейной борьбы в Римской империи в IV веке. В книге «Вечные спутники. Портреты из всемирной истории» Мережковский представил многих гигантов, таких, как Плиний Младший, Марк Аврелий, Монтень и другие. В 1901 году вышел его роман о Леонардо да Винчи. За исследованием «Толстой и Достоевский» последовала книга «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия». В 1904 году был опубликован роман «Антихрист. Петр и Алексей».

Петр I по Мережковскому — соединение «марсова железа и евангельских лилий». Таков вообще русский народ, который и в

добре и во зле «меры держать не умеет», но «всегда по краям и пропастям блудит».

Другие исторические романы Мережковского — «Павел I», «Александр I», «14 декабря». До революционных потрясений была написана книга «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев». Среди книг, написанных в эмиграции, выделим «Тайна Трех. Египет и Вавилон», «Тайна Запада. Атлантида — Европа». «Наполеон», «Данте», исследования о Жанне д'арк, Лютере и т. д. Перечислять можно много. Томас Манн назвал Мережковского «гениальнейшим критиком и мировым психологом после Ницше». В 1933 году Мережковский выдвигался на Нобелевскую премию, но его опередил Бунин.

Дмитрий Мережковский прожил большую жизнь (76 лет) и, казалось бы, сделал для русской литературы очень много, но, как отмечал Георгий Адамович: «Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне ограниченным. Его мало любили, и мало кто за всю его долгую жизнь был близок к нему. Было признание, но не было прорыва, влечения, даже доверия, — в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия. Мережковский — писатель одинокий».

Иван Ильин высказался еще резче: «Психология, психика, целостный организм души совсем не интересует Мережковского: он художник внешних декораций и нисколько не художник души. Душа его героя есть для него мешок, в который он наваливает, насыпает все, что ему, Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. Пусть читатель сам переваривает все, что знает… Замечательно, что читателю никогда не удается полюбить героев Мережковского…»

«О, как страшно ничего не любить, — это уже восклицал Василий Розанов, — ничего не ненавидеть, все знать, много читать, постоянно читать и, наконец, к последнему несчастию, — вечно писать, т. е. вечно записывать свою пустоту и увековечивать то, что для всякого есть достаточное горе, если даже и сознается только в себе. От этого Мережковский вечно грустен».

И, пожалуй, последнее мнение. Критик и литератор Николай Абрамович писал в «Новой жизни» в 1912 году, что культура прошлого была «как бы бассейном, откуда черпал обильно Мережковский», но он «первый показал, что существует особого рода талантливость, заключающаяся в способности… пылать, так сказать, заемным светом… во всем этом была жизнь — и жизнь очень напряженная и яркая».

Чтобы смягчить суровость оценок современников Мережковского, приведем стихотворение «Morituri», которое начинается так:

Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы…

Концовка стихотворения такая:

Мы гибнем жертвой искупленья,
Придут иные поколенья.
Но в оный день, пред их судом,
Да не падут на нас проклятья:
Вы только вспомните о том,
Как много мы страдали, братья!
Грядущей веры новый свет,
Тебе от гибнущих привет!

МИНСКИЙ
Николай Максимович ВИЛЕНКИН
15(27).I.1855, село Глубокое Виленской губернии — 2.VII.1937, Париж

Один из патриархов декаданса прожил длинную жизнь — 82 с половиною года — и изведал многое — хвалу и хулу. Произведения Минского хвалили Гончаров, Тургенев и Надсон. По воспоминаниям современников, всякий передовой студент считал своим долгом иметь в своей библиотеке рукописный экземпляр запрещенной поэмы Минского «Гефсиманский сад» (1884). Поэма широко распространялась в списках. Сюжет стихотворения Минского «Последняя исповедь» послужила Илье Репину замыслом для создания картины «Отказ от исповеди».

Как поэт Минский был довольно популярен до появления Анненского, Бальмонта, Брюсова и Блока, затем сошел практически на нет, хотя на его стихи писали романсы Рубинштейн, Рахманинов и другие композиторы. Широкую популярность приобрел Минский как переводчик: переводил Гомера, Аристофана, Байрона, Шелли, Верлена, Флобера, Метерлинка. Еще Минский выступал как драматург, тут он славы не сыскал. И как философ — здесь он некоторый шум наделал.

Но главное — не его многогранность творчества, а шатания и метания в идейных и художественных установках и принципах. Как отмечал Айхенвальд, Минский «колебался от тем

гражданской скорби к искусству модернизма и обратно». Это в поэзии. Но колебался он и в других сферах, за что его нещадно критиковали. Будучи евреем, Минский принял православие и, как вспоминал Г. Слиозберг, Минский «был писатель-еврей, но не еврейский писатель», то есть «будил чувства, обычные для всей интеллигенции». А уж его «бросок» в революцию вообще вызвал у многих современников шок. Это произошло в 1905 году, когда Минский был издателем-редактором газеты «Новая жизнь» и переживал увлечение революционными иллюзиями, чувствуя себя «ставленником пролетариата» (по выражению Александра Кугеля). Так, в своей газете в номере от 13 ноября Минский напечатал собственное стихотворение «Гимн рабочих»:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь.
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть…

…Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Солнце в небе, солнце красное — наш флаг!

Из декаданса в революцию?!.. Минский напечатал свой перевод «Гимна Интернационала»:

Сегодня мы восстали,
Но завтра кончен бой.
В Интернационале
Сольется род людской.

И еще опубликовал в своей газете статью Ленина «Партийная организация и партийная литература». За все это — за материалы, «возбуждавшие к усилению бунтовщических деяний», — Минский был арестован, а потом выпущен под залог. Уехав в Париж, Минский оправдывался и уже говорил о том, что марксизм-де враждебен культуре, философии, религии и искусству.

Вернемся по хронологии назад. Николай Минский окончил Петербургский университет и получил степень кандидата права, но службой практически не занимался, а отдался целиком литературе. Писал гражданские стихи в духе Некрасова, однако его «стих», по мнению некоторых критиков, был «без некрасовской мощи». Естественно, как рефлектирующий

разночинец-интеллигент «больного поколения», которое представлял Минский, он болел и переживал за народ. Вот характерное стихотворение «В деревне»:

Я вижу вновь тебя, таинственный народ,
О ком так горячо в столице мы шумели.
Как прежде, жизнь твоя — увы — полна невзгод,
И нищеты ярмо без ропота и цели
Ты все еще влачишь, насмешлив и угрюм.
Жизнь не манит тебя, и гроб тебе не страшен
Под сению креста, вблизи родимых пашен…

…Тебя порой от сна будили, в руки меч
Влагали и вели, — куда? — ты сам не ведал.
Покорно ты вставал… Среди кровавых сеч
Не раз смущенный враг всю мощь твою изведал.
Как лев бесстрашный, ты добычу добывал,
Как заяц робкий, ты при дележе молчал…
О, кто же ты, скажи: герой великодушный
Иль годный к битве конь, арапнику послушный?

В 1883 году Минский предпринял попытку издать свои стихотворения отдельным сборником. Однако по распоряжению министра внутренних дел графа Дмитрия Толстого на тираж наложили арест — он был уничтожен. «Моя первая книга стихов была сожжена, — вспоминал впоследствии поэт, — и жандармский капитан, звеня шпорами, допрашивал меня: „Кого вы разумели под скалами и волнами?“ От ссылки спасла какая-то амнистия…» Имело место и бурное объяснение в кабинете министра, который «кричал и топал на меня ногами».

Но, может быть, не зря кричал и топал? Неожиданно для всех Минский переходит из гражданского лагеря под знамена «чистого искусства», считая, что жизнь «без эстетического наслаждения» и «красоты» невозможна.

Мир исчез. Мертво былое.
Даль грядущего пуста.
Нас средь ночи только двое:
Я — Любовь, ты — Красота.

Согласитесь, что это все-таки лучше, чем у Маяковского вдвоем со снимком Ленина на стене.

Одновременно Минского занимают философские проблемы, и в 1890 году выходит его трактат «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни». Минский предлагает собственную философскую теорию «меонизма», своего рода «религию небытия», в ней он призывает идти дорогой индивидуализма, самообожествления, эстетизма; практически провозглашает «культ абсолютной личности». В этой теории Минского Сергею Маковскому померещилось «предчувствие хайдеггеровского экзистенциализма». В другой книге «Религия будущего. Философские разговоры» (1905) Минский предложил идею богочеловечества заменить человекобожием. Короче, Минский задался целью переродить современную ему мораль и наметить новые пути для человека. Этому и служили религиозно-философские собрания, инициатором которых был Минский вместе с Мережковским и Розановым.

Хлесткий журналист Петр Пильский вспоминает Минского конца XIX века: «От него веяло и еще некоторым высокомерием, колючей самовлюбленностью. Минский кокетничал. Своих литературных гостей он принимал в комнате, обитой кругом сукнами или коврами. Минскому нравилось чувствовать и изображать себя оргаистом», женщинам «он импонировал своей осанкой и проповедью замороженной холодности, и в большой моде были его стихи „Холодные слова“ и еще „Белые ночи“. Их знали наизусть».

Надо вспомнить и вторую жену Минского — Людмилу Вилькину, отчаянную «декадентку» по настроению и стилю поведения, «новую египетскую жрицу», как называл ее Василий Розанов.

После скандала с «Гимном рабочих» Минский в Париже пытается создать меонический монастырь, где, «не давая обета», «усталые могли бы отдохнуть, огорченные — просветлеть, озлобленные — примириться», — опять же все это в рамках «религии будущего».

В 1912 году Минский на краткое время возвращается в Россию, снова уезжает, и по пути в Париж его настигают события Первой мировой войны. Оказавшись отрезанным от России, он больше туда не возвращается. В эмиграции выступает с лекциями и публикует статьи «о союзе между умственным и физическим трудом», выпускает книгу «От Данте к Блоку» (Берлин, 1922), издает стихи. Критик газеты «Руль» считает, что стих Минского «вялый», сочинения его — умные, но холодные, ему чуждо «желание раскрыть мир как художественный символ». «Это — душа отмеренная, невосторженная, без неожиданностей для самого себя. Это — дух без иллюзий, без наивности,

сопричастный к анализу, однако и в него не погруженный, до глубины его не достигнувший и гамлетовской красоты его себе не усвоивший…» — еще раньше написал о Минском в своих «Силуэтах» Юлий Айхенвальд.

В начале 20-х годов Минский — председатель правления берлинского «Дома искусств». «Седовласый старец», говоривший «долго», «многосторонне» и «весьма отвлеченно», — как вспоминал Андрей Белый. Из Берлина Минский переехал в Лондон, где одно время служил в советском полпредстве, составляя бюллетень английской печати. С 1927 года Минский жил в Париже.

Вспоминает Андрей Белый:

«…Парижского Минского вовсе не связываю с Николаем Максимовичем, или — подлинным Минским. „Парижский“ — не нравился мне: не пристало отцу декадентства, входящему в возрасты „деда“, вникать в непотребства; разврат смаковал, точно книгу о нем он писал; с потиранием ладошек, с хихиком, докладывал он: де в Париже разврат обаятелен так, что он выглядит нежною тайной; гнездился в весьма подозрительном месте, чтоб не расставаться с предметом своих наблюдений.

— Не можете вообразить, как прекрасна любовь лесбиянок, — дрожал и с улыбкою дергался сморщенным личиком. — Там, где живу, — есть две девочки: глазки мадонн; волоса — бледно-кремовые; той, которая — „он“, лет 17, „ей“ — лет 18; как любятся!

…Как солнцем он лоснился — маленький, толстенький, перетирающий ручки, хихикающий, черномазый, с сединочками…»

Я не хочу осуждать Минского: старый человек, впавший в вуайеризм, в некое подглядывание за молодыми. Не самый большой грех. Большее прогрешение «навесили» на Минского революционно настроенные демократы, которые считали его главным виновником «насаждения „черных роз“ декадентства в русскую литературу». Мол, испортил. Отравил. Обезобразил.

Любить других, как самого себя…
Но сам себя презреньем я караю.
Какой-то сон божественный любя,
В себе и ложь, и правду презираю… —

писал Минский в стихотворении «Любовь к ближнему» (1893), заканчивая его так:

И всех людей, равно за всех скорбя,

Я не люблю, как самого себя.

Вот вам и «черная роза» в заключение. От Минского. От Николая Максимовича.

МУРАТОВ
Павел Павлович
19. II(3.III).1881, Бобров Воронежской губернии — 5.X.1950, Уотерфорд, Ирландия

Литераторов Серебряного века можно условно разбить на два лагеря: извечных западников и славянофилов. Одни воспевали патриархальную Русь (Клюев, Клычков, Есенин), для других кумиром был Запад, и среди западопоклонников выделялся Муратов. Павел Муратов впервые увидел Италию в 1908 году (в ней он бывал еще 16 раз), и она стала для него «духовной родиной». Книга Муратова «Образы Италии» — это гимн русского человека итальянскому искусству. Как отмечал Георгий Иванов, «Образы Италии» способствовали воспитанию «хорошего вкуса» в русском обществе.

«Едва ли среди интеллигенции была семья, на книжной полке которой не стояли бы муратовские „Образы Италии“… Под его влиянием тысячи русских экскурсантов… по смехотворно удешевленным тарифам ездили обозревать памятники итальянского Возрождения, бродили не только по Риму и Флоренции, но и бороздили городки Умбрии и Тосканы, о

которых услышали впервые от Муратова», — писал литературный критик Александр Бахрах.

Удивительно однако, что сам автор «Образов Италии» родился в далеком от Рима и Флоренции захолустном русском городишке Боброве Воронежской губернии. Родился в потомственной дворянской семье. Закончил 1-й Московский кадетский корпус и Институт путей сообщений. Служил кантониром в артиллерийской бригаде. Во время Первой мировой войны как офицер участвовал в боях и был награжден орденами Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Св. Станислава с мечами и бантом. Последнее воинское звание Муратова — поручик. Так что никакой там не «космополит», а настоящий русский патриот.

В 1903 году Муратов приехал в Москву из Петербурга и здесь сблизился с Борисом Зайцевым, Брюсовым, Ходасевичем. После армейской службы избрал профессию сугубо мирную: служил сначала помощником библиотекаря библиотеки Московского университета, затем хранителем отдела изящных искусств и классических древностей в Румянцевском музее.

Свое первое заграничное путешествие Павел Муратов осуществил в конце 1905 года (Лондон, Париж) и с этого момента стал выступать в печати как художественный критик, печатался от «Аполлона» до «Перевала». Дружил с художниками Серовым, Борисовым-Мусатовым, Крымовым. Потом пришла настоящая любовь — Италия. Впервые туда Муратов попал в 1908 году и жил там около года. В 1911–1912 годах вышли первые два тома «Образы Италии» с посвящением Борису Зайцеву. 3-й том вышел позднее — в 1924 году — уже в Берлине.

«Образы Италии» — это сборник эссе с очень свободным изложением увиденного и пережитого, развитие давних традиций жанра записок путешественников Стендаля и Гете. В своих «Образах» Муратов выступал и как художественный критик, и как поэт-лирик, и как философ культуры. Здесь можно приводить любые выдержки из книги. Я наугад открыл книгу и наткнулся на строки: «…Эта вечная зелень, венчающая холмы и руины Рима, волнует и очаровывает сердца северных людей, точно слава античного мифа или явление древних божеств… Другое чувство, неотделимое от чувства Рима, — это чувство воды. О царственности Рима ничто не говорит с такой силой, как обилие его водоемов, щедрость источников и расточительность фонтанов…»

Спустя годы, в эмиграции, архимандрит Киприан писал о книге Муратова, что она «явилась… прощальным приветом той неповторимой нашей просвещенности и утонченности, по

которой мы были настоящими европейцами».

В дореволюционные годы Муратов выступает как переводчик («Новеллы итальянского Возрождения»), и как знаток русской иконописи, и как издатель собственного журнала «София». «София» была по существу первым журналом, который пытался осмыслить истоки и черты самобытности русского искусства «на фоне западного творчества».

Революционные события 1917 года Муратов не принял: «О России нынешней и газетах думаю холодно. Слава Богу, что хоть успела спастись Европа-то. Создание на протяжении 50 лет новых великих империй (как Римская)… считаю делом возможным». Коммунистическая империя и возникла…

Относясь к Октябрьской революции как к «варварству», Муратов, однако, долго колебался, прежде чем решиться на эмиграцию. В период 1918–1922 годов он занимал ряд «экспертных» постов, был членом президиума Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины, одним из руководителей Института искусствознания и археологии, одним из устроителей Книжной лавки писателей. При активном содействии Муратова возникло общество «Studio Italiano». Кстати, весной 1921 года в «Студии Италии» состоялось последнее публичное выступление Блока.

Вот как описывал одно из заседаний студии, этой по существу гуманитарной академии, Борис Зайцев: «Сиреневый вечер, мягкий туман, барышни, пожилые любители Италии, кафедра, все как следует… Аплодисменты, бедное электричество, друзья… и над убогой жизнью дантовский Орел…»

А в новой России парил другой «орел» — Дзержинский со своим всемогущим ЧК; не избежал его парения и Муратов: ему пришлось посидеть некоторое время в подвалах Лубянки за свое участие во Всероссийском комитете помощи голодающим. Власть эту помощь расценивала как контрреволюционную деятельность.

По «липовому» документу Муратов с семьей отправился в заграничную командировку, откуда в Россию не вернулся. Сначала жил в Германии и в Берлине основал «Клуб писателей», издал роман «Эгерия» (1922), в котором печально говорил о «недоступности человеку счастья — жить, произрастать и уничтожаться в безболезненной и безвестной метаморфозе вселенной».

Довольно интересен ряд культурно-исторических эссе, опубликованных Муратовым в 20-х годах: «Анти-искусство», «Искусство и народ», «Кинематограф» и другие. Муратов рассматривает «анти-искусство», оттеснившее высокое искусство на периферию, прежде всего кино, «роман на прилавке» не как

«плохое», испорченное искусство, а как не-искусство, вид рекреации, досуга, не имеющее с искусством никаких «соответствий». Наслаждение красотой уступает место вульгарному развлечению, наполнению досуга.

В дальнейшие годы Муратов жил в Италии и Париже, перед смертью переселился в Ирландию. Постепенно оставил журналистику и занимался историческими исследованиями, в частности русско-английских отношений в эпоху Ивана Грозного. И еще одно увлечение: садоводство. Умер Павел Муратов внезапно, от сердечного приступа, в 69 лет. Посмертно издан совместный труд Муратова с английским журналистом У. Алленом по военной истории Кавказа.

В одном из некрологов отмечалось, что Муратов был «настоящим европейцем», «представителем… блестяще-образованной плеяды русских людей».

По воспоминанию Нины Берберовой, Муратов «любил в себе самом и в других только свободу». И, конечно, Италию, Рим и «ирис нежный — Флоренцию». Как писал Блок:

Там — в окне, под фреской Перуджино,
Черный глаз смеется, дышит грудь:
Кто-то смуглою рукой корзину
Хочет и не смеет дотянуть…

НАРБУТ
Владимир Иванович
2(14).IV.1886, хутор Нарбутовка Черниговской губернии — 14.IV.1938, погиб в заключении

Нарбута считают акмеистом. Однако на фоне блестящей триады (Гумилев, Ахматова, Мандельштам) Нарбут всего лишь «спутник акмеизма», как выразилась Надежда Мандельштам. До сих пор загадочный и до конца не собранный в своем творчестве. С юности хромавший Нарбут был «припечатан» Валентином Катаевым в его «Алмазном венце», как «колченогий». Карикатурный его портрет совсем не совпадает с реальным.

Окончив с золотой медалью уездную Глуховскую гимназию, Владимир Нарбут с младшим братом, художником Георгием, в 1906 году появился в Петербурге, где на графику младшего брата и «живописность» стихов старшего оказал влияние известный художник Николай Билибин. Владимир Нарбут в северной столице публиковал в различных журналах свои стихи, рассказы, этнографические очерки о родной Малороссии. Первый свой изданный сборник в 1910 году Нарбут назвал просто «Стихи» с

подзаголовком «Год творчества первый». В «неумелом, неловком, косолапом, спотыкающемся» стихотворце Сергей Городецкий увидел отголоски «настоящей живой поэзии».

Далее последовала журнально-издательская деятельность Нарбута в «Gaudeamus» и сближение с «Цехом поэтов», в котором он особенно подружился с Зенкевичем. В апреле 1912 года вышел второй сборник Нарбута «Аллилуйя», набранный церковнославянским шрифтом с киноварными заглавными буквами из старопечатного псалтыря (оформление Билибина и Георгия Нарбута), но до широких кругов читателей «Аллилуйя» не дошла: тираж был конфискован цензурой «за богохульство» и «порнографию». Успевший прочитать его Брюсов оценил сборник как поиск «залихватского» «русского стиля». Многих подобный стиль шокировал:

> Мясистый нос, обрезком колбасы
> нависший на мышастые усы,
> проросший жилками (от ражей лени), —
> похож был вельми на листок осенний…

В этой книге Нарбута явно просвечивал лихой «бурсацкий» мир. Не случайно Нарбут в письме к Зенкевичу от 7 апреля 1913 года писал: «А мы — и не акмеисты, пожалуй, а натуралисто-реалисты. Бодлер и Гоголь. Гоголь и Бодлер».

Лидер и мэтр акмеизма Николай Гумилев писал: «Михаил Зенкевич и еще больше Владимир Нарбут возненавидели не только бессодержательные, красивые слова, но и все красивые слова, не только шаблонное изящество, но и всякое вообще. Их внимание привлекло все подлинно отверженное: слизь, грязь и копоть мира. Но там, где Зенкевич смягчает бесстыдную реальность своих образов дымкой отдаленных времен или отдаленных стран, Вл. Нарбут последователен до конца, хотя, может быть, и не без озорства… В каждом стихотворении мы чувствуем различные проявления того же земляного злого ведовства, стихийные и чарующие новой и подлинной пленительностью безобразия».

> Все собутыльники в размывчивом угаре.
> Лишь попадья — в жару: ей впору жеребец…

Это из знаменитого стихотворения «Пьяницы» (1911–1915), — «бой-баба, баба-ночь, гульбою нас посватай!..»

Попутно еще один отзыв Осипа Мандельштама, который

отметил, что в тексте нарбутовских стихов проступает «божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма».

Однако и «божественная физиология», и «богохульство» дорого стоили Нарбуту: его исключили из Петербургского университета. Но он не отчаивался и отправился в пятимесячное путешествие по Африке (по стопам Гумилева?). Вернулся в Россию и снова принялся за сочинительство, погружаясь в свою своеобразную угрюмую поэтику, сочетающуюся, по оценке Паустовского, с «щемящей и невообразимой нежностью».

Все в саду, никого нету дома:
там привозят черешни от мызы.
Фиолетовой знойной истомой
дышит сад, опаленный и сизый…

А далее грянул Октябрь 1917 года, «когда метели летели в розовом трико…»,

…когда из фабрик
преображенный люд валил
и плыл Октябрь (а не октябрик!) —
распятием орлиных крыл…

Эти орлиные крылья накрыли и Владимира Нарбута: под новый 1918 год у себя на Черниговщине он подвергся нападению очередной революционной банды, был ранен, вследствие чего пришлось ампутировать кисть левой руки. Из Украины переместился в Воронеж и там стал редактором воронежских «Известий» и председателем губернского Союза журналистов. Освоившись, наладил выпуск «беспартийного» журнала «Сирена». Продолжал писать стихи, в основном агитационного характера, типа «Врангель — не ангел, а вран!» Или —

И не Христос восстал из мертвых,
А Солнценосный Коминтерн!

С 1919 по 1922 год вышло 9 книг стихов Нарбута, в том числе переизданный запрещенный сборник «Аллилуйя». В 1922 году Нарбут переехал в Москву и стал ответственным работником отдела печати ЦК ВКП(б). Он нашел применение своей кипучей натуре: организовал и возглавил одно из крупнейших издательств

«Земля и Фабрика», редактировал популярнейшие журналы «30 дней», «Вокруг света», «Всемирный турист», стал «собирателем литературы Земли Союзной», по выражению Александра Серафимовича.

«Я любила Нарбута, — можно прочесть в воспоминаниях Надежды Мандельштам. — Барчук, хохол, гетманский потомок, ослабевший отросток могучих и жестоких людей, он оставил кучу стихов, написанных по-русски, но пропитанных украинским духом. По призванию он был издателем — зажимистым, лукавым, коммерческим. Ему доставляло удовольствие выторговать гроши из авторского гонорара, составлявшего в двадцатые годы… ничтожный процент в стоимости издания книги. Это была хохляцкая хохма, которая веселила его даже через много лет после падения. Издательскую деятельность Нарбут представлял себе на манер американских издателей детективов: массовые тиражи любой дряни в зазывающих пестрых обложках. В нашей ханжеской жизни он не мог развернуться как делец и выжига и сам взял из себя особый искус — стад партийным аскетом. Ограничивал он себя во всем… Ничего, кроме партийного и коммерческого смысла книги, он знать не хотел. Единственный человек, которому он радовался, был Мандельштам».

Незадолго до своей «партийности» Нарбут написал стихотворение «Совесть», которое начиналось так:

Жизнь моя, как летопись, загублена,
киноварь не вьется по письму.
Я и сам не знаю, почему
мне рука вторая не отрублена…

Как правило, поэты предчувствуют свою судьбу. Падение Нарбута с издательских высот произошло в 1928 году. Всплыла какая-то бумага, согласно которой, будучи в деникинском плену, Нарбут написал отречение от большевизма. А может, сыграл роль конфликт Нарбута с другим всесильным издателем, Александром Воронским? Так или иначе, но Нарбут был исключен из рядов ВКП(б) и снят со всех постов. И пришлось ему заниматься тяжелой литературной поденщиной. Нарбут пытался ввести в оборот «научную поэзию», но был изруган и заклеймен за «насильственное штукатурство заблудившегося и в поэзии, и в нашей действительности интеллигента», как выразился ярый партийный критик Валерий Кирпотин.

Ну, а дальше совсем печально. В ночь на 27 октября 1936 года по доносу Нарбута арестовали. Осудили и этапировали в дальние края — в Магадан. Затем повторное судилище тройкой

НКВД и расстрел. Есть другое свидетельство: был утоплен на барже с другими осужденными. Но официально долгие годы считалось, что Нарбут умер «от сердечной недостаточности» в ноябре 1944 года. Обычное гулаговское вранье. Владимир Нарбут погиб в 1938 году в возрасте 50 лет.

В одном из писем с Колымы он успел написать жене Серафиме Суок о том, что «сейчас мы живем пока в палатках, как герои произведений Джека Лондона». Пытался утешить?..

В стихотворении 1912 года Нарбут писал:

Луна, как голова, с которой
кровавый скальп содрал закат.

Ах, если бы только закат…

ОДОЕВЦЕВА
Ирина Владимировна
(настоящие имя, отчество и фамилия — Ираида Густавовна ГЕЙНИКЕ)
Родилась, согласно домовой книге, 25.VII.1895 в Риге (сама Одоевцева приписала себе год рождения — 1901 и отмечала день рождения 23 ноября) — 14.X.1990, Петербург

Ирине Одоевцевой выпала удивительная судьба: стать поэтессой на излете Серебряного века, прожить основную часть жизни на Западе и вернуться в Россию в канун коммунистического заката. Редкий случай, когда давняя мечта осуществилась:

Мгновение, остановись!
Остановись и прокатись
Назад:
В Россию, в юность,
в Петроград.

Родилась Одоевцева в Риге, ее отец был богатым адвокатом и имел доходный дом. В Петроград будущая поэтесса приехала в 1914 году и сразу окунулась в поэтическую атмосферу города. Входила во второй «Цех поэтов», в группу «Звучащая раковина». 3 марта 1920 года выступила с «Балладой о толченом стекле», которую достаточно высоко оценили Георгий Иванов и Корней Чуковский. Однако Одоевцевой показалось, что ее учитель Гумилев недостаточно высоко ее ценит, отправляя некоторые стихи в папку с надписью «Братская могила неудачников», и Одоевцева написала с обидой и вызовом:

Нет, я не буду знаменита,
Меня не увенчает слава,
Я — как на сан архимандрита —
На это не имею права.

Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я маленькая поэтесса
С огромным бантом.

Но у «маленькой поэтессы» был не только огромный бант, но и огромное честолюбие, а еще — воля и упорство. В конце концов она стала знаменитой. У нее была еще одна замечательная черта характера: умение жить, не предаваться унынию, находить всегда выходы из трудного положения.

И во сне и наяву
С наслаждением живу.

Согласитесь, что это редкое умение… Первый сборник стихов Одоевцевой «Двор чудес» увидел свет в 1922 году. В том же году она вышла замуж за Георгия Иванова и вместе с ним уехала в Берлин, затем в Париж.

В эмиграции, не найдя благодарной читательской публики, мало обращалась к поэзии, хотя выпустила несколько сборников: в Париже — «Контрапункт», «Стихи, написанные во время болезни», «Златая цепь», в Вашингтоне — «Одиночество». Писала четко, уверенно, почти классически, не приемля авангардизм многих поэтов-эмигрантов. Критик Николай Горбов отмечал: «Были у нас реалисты, декаденты, символисты, футуристы, акмеисты. Но ни под одну из этих категорий стихи Ирины

Одоевцевой подвести нельзя. Они стоят особняком» («Новый журнал», № 120, 1975).

В середине 20-х годов Одоевцева перешла на прозу. Один из первых рассказов — «Падучая звезда» — отметил Бунин. Писала она рассказы и романы. Среди последних — «Ангел Смерти» (Париж, 1927) и «Изольда» (Париж — Берлин, 1931). Как отмечали знатоки, на смену «птичьему щебетанью» стихов пришли «страшные сны» и «темные фантазии» эмиграции.

Далее появились романы «Зеркало» (1939), «Оставь надежду навсегда» (1949), причем последний был ею же переведен на французский язык. Она написала по-французски три пьесы. Много переводила. Работала над киносценариями. И тащила на себе семейный воз. «Все удары, сыпавшиеся на нас постоянно, падали на меня, а не на него, — вспоминала Одоевцева свое супружество с Георгием Ивановым. — И всю жизнь он жил, никогда и нигде не работая, а писал только, когда хотел. Впрочем, хотелось ему довольно редко…»

В первые годы эмиграции Одоевцева и Георгий Иванов жили довольно сносно, получая ежемесячную пенсию от отца Ирины Владимировны. А после, когда он умер и оставил наследство, некоторое время супруги жили даже шикарно — «в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом». Но потом, естественно, все благополучие рухнуло, а пришедшие во Францию немцы реквизировали дом в Огрете, под Биаррицем. В 1946 году Одоевцева и Георгий Иванов вернулись в Париж и поселились в Латинском квартале, в гостинице «Англетер». В последние годы они находились на грани черной нужды.

В 1958 году Георгий Иванов умер. Одоевцева живет почти 20 лет в доме для престарелых под Парижем. Казалось бы, все кончено: одиночество и старость. Уже в России Одоевцеву спросили: «Вы прожили с Георгием Ивановым самые счастливые свои годы?» На что она ответила: «Нет, почему же? Я была много раз счастлива и после смерти Георгия Иванова». В 1948 году Одоевцева лукаво писала:

Разве что блеснет звезда,
Светлячком, осколком льда,
Острым лезвием секиры
Над безмолвием пруда.

Мне ж до Страшного суда
(Если будет Страшный суд)
Погрешить еще дадут.

Как вспоминают современники, Одоевцева умела радоваться даже крохам и осколкам счастья. В 83 года (!) она вышла второй раз замуж за литератора Якова Горбова, сына петербургского миллионера, ставшего в эмиграции таксистом и писавшим на стоянках романы. Одоевцева и Горбов прожили вместе четыре года. Через четыре года он скончался, и Одоевцева горько пошутила: «Была вдовой поэта, стала вдовой прозаика». Как обычно, незаметно подкралась старость, время подведения итогов и воспоминаний.

— В этом мире любила ли что-нибудь ты?..
— Ты, должно быть, смеешься! Конечно, любила.
— Что? — Постой. Дай подумать! Духи и цветы,
И еще зеркала… Остальное забыла.

Нет, Ирина Одоевцева ничего не забыла, о чем свидетельствуют два тома мемуаров, напечатанных впервые в Вашингтоне — «На берегах Невы» (1967) и «На берегах Сены» (1983). «На берегах Невы» — это воспоминания о поэтах Серебряного века («Я одна из последних, видевших и слышавших их»). По словам Зинаиды Шаховской, петербургские воспоминания Одоевцевой отличаются «своей молодостью, легкостью, беззлобностью». Одоевцеву интересовало главное в своих современниках — их поэтический дар; она сознательно опускала все мелочное и, по ее признанию, видела их окруженных сиянием, «как лики святых на иконе».

Вторая книга мемуаров «На берегах Сены» имеет другую тональность. «О горьком жребии эмигрантских писателей вспоминать тяжело и больно, — признавалась Одоевцева. — Это сплошной перечень преждевременно умерших, погибших в газовых камерах нацистов или кончивших свои дни в унизительной бедности, бедности, которой не удалось избежать даже нашему Нобелевскому лауреату Бунину». Но есть в воспоминаниях и другие страницы. С восхищением описывает Одоевцева собрания «Зеленой лампы» у четы Мережковских. Самого Мережковского она почитает «мыслителем, златоустом и поэтом». С горечью отмечает, что Марина Цветаева не могла терпеть ни ее, ни Георгия Иванова, называя обоих эстетами. В свою очередь, Одоевцева терпеть не могла Владимира Набокова за однажды услышанную фразу: «Это Одоевцева, оказывается, такая хорошенькая! Зачем только она пишет?»

Не писать Ирина Одоевцева не могла. Не могла она и отказаться от навязчивой идеи вернуться на родину. Ее многие отговаривали, как можно решиться на такой переезд в таком

возрасте. Но она в который раз проявила решительность: «Я еду, если даже умру в дороге…»

11 апреля 1987 года на кресле-каталке, в сопровождении советского врача, она прилетела из Парижа в Ленинград. Из своих 92 лет она не была на родине 65! Ирина Владимировна была счастлива и не сдержала слез около Летнего сада, о котором она когда-то писала в стихах:

По аллее мы с вами идем,
По аллее Летнего сада,
Ничего мне другого не надо…

Все в городе на Неве было полно воспоминаний. Проезжая по Бассейной, она сказала своим спутникам: «По той вот улице я шла к Гумилеву. На его доме была еще вывеска „Портной“, и мы говорили тогда, что Гумилев здесь шьет стихи».

Одоевцева дожила до выхода на родине своих мемуаров и ощутила на себе весь драматизм перестроечных лет. «Неужели нельзя купить хорошей ветчины?» — спрашивала она, а ей отвечали: «Нельзя. У нас же революция». Одоевцева была в ужасе: «Как, опять?!»

Ирина Владимировна скончалась в возрасте 95 лет, так и не узнав, что будет с Россией в дальнейшем.

ОЦУП
Николай Авдеевич
23. X(4.XI).1894, Царское Село — 28.XII.1958, Париж

Николая Оцупа чаще всего представляют учеником и биографом Николая Гумилева. Действительно, это так, Оцуп даже ходил хлопотать в ЧК, когда Гумилева арестовали. Написал о своем любимом поэте несколько работ, в эмиграции за фундаментальное исследование о Гумилеве Оцуп в 1951 году получил ученую степень доктора наук в Парижском университете. Да, Оцуп — гумилевовед, но он представляет интерес и сам по себе.

Оцуп родился в семье придворного фотографа и окончил Александровский лицей в Царском Селе. «А Царское Село, воистину город Муз, город Пушкина и Анненского, не это ли идеальное место для будущего поэта?» — писал Оцуп. И он стал поэтом, вначале заложив за 32 рубля золотую медаль,

полученную по окончании гимназии; в 1913 году Николай Оцуп отправился в Париж, где учился «с отвращением» в «Ecole de Droit», зато с упоением в Коллеж де Франс слушал лекции философа-спиритуалиста Анри Бергсона. Вернувшись в Россию, Оцуп поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, попал в армию и в феврале 1917-го вернулся в революционный Петроград, «с красными знаменами, ошалевшими броневиками» и, естественно, сам тоже ошалел. Но, будучи юношей весьма сообразительным, понял, что «нужно заниматься своим делом», и принял приглашение Горького на работу в издательстве «Всемирная литература».

В 1919 году состоялось знакомство Николая Оцупа с Блоком и Гумилевым. Оцуп вспоминал: «В 1918–1921 годах не было, вероятно, среди русских поэтов никого равного Гумилеву в динамизме непрерывной и самой разнообразной литературной работы. Именно тогда мне привелось близко его узнать. Знакомство наше быстро перешло в дружбу. Он предложил мне помочь восстановить „Цех поэтов“ и быть с ним соредактором сборников „Цеха“».

Во второй «Цех поэтов» вошли Георгий Иванов, Марк Лозинский, Георгий Адамович и другие молодые поэты.

В 1921 году вышел первый сборник стихотворений Оцупа «Град».

Женщина, прекрасная и бледная,
У дубовой ручки замерла,
Сквозь перчатку жалит ручка медная,
Бьет в глаза нещадный блеск стекла…

Стихи легкие, летучие, пропитанные акмеистической печалью.

О, жизнь! С дыханьем лондонских туманов
Смешался аромат хайямовских диванов,
Джульетта! Ромео! Веронская гробница
В цветах и зелени навеки сохранится.
О, жизнь моя. А что же ты оставишь?
Студенческий трактат о Цизальпинском праве,
Да пару томиков стихов не очень скучных,
Да острую тоску часов благополучных,
Да равнодушие у ветреной и милой,
Да слезы жаркие у верной и постылой,
Да тело тихое под говорливым кленом,
И солнцем проливным,

и легким небосклоном.

О, жизнь!.. В настоящей жизни были иные туманы и другие ароматы. Брат Павел был расстрелян в ЧК, а сестра Надя сотрудничала с тем же ЧК, щеголяла в кожаной куртке с револьвером за поясом, что в дальнейшем не гарантировало ей уверенности за собственную жизнь, и она крепко пострадала из-за «троцкистского уклона».

7 августа 1921 года умер Александр Блок. «Блока гроб я подпирал плечом…», — напишет Оцуп. 24 августа был расстрелян Гумилев. Оцуп пережил гибель Гумилева как семейное горе и личное предупреждение. Большинство членов «Цеха поэтов» приняло решение эмигрировать из новой России. Уехал и Оцуп в Берлин «по состоянию здоровья», хотя со здоровьем у Оцупа было тогда все в порядке. Он был молод и энергичен. В петроградских литературных кругах к нему относились с добродушной насмешкой за его умение и предприимчивость: Оцуп имел обыкновение уезжать временами из голодного Петрограда в провинцию и привозить оттуда всякую снедь. Его фамилию Корней Чуковский шутя расшифровывал как аббревиатуру: Общество Целесообразного Употребления Пищи. Георгий Иванов писал об Оцупе:

Так уж мной заведено:
То поэма, то пшено…

Доставать продукты Оцуп умел мастерски, но изжить постоянно сосущий страх под ложечкой никак не мог. В 1922 году он покинул советскую Россию и воспрянул духом в Берлине, где

Нищий немец на Курфюрстендаме
Юнцов и девок сводит по ночам.

Но не только. Берлин был тогда литературной столицей русского зарубежья. «Дом искусств», кафе «Ландграф», где любили встречаться русские писатели и куда часто захаживали Николай Оцуп и Георгий Иванов, почти два десятка издательств… Оцуп переиздает в Берлине свой «Град» и в 1926 году выпускает второй сборник «В дыму».

Любовь одна, и все в любви похоже:
И Дельвиг томно над Невой бродил

И это имя называл, и тоже
Смотрел в глаза и слов не находил.

Оцупа берлинского периода его приятель Бахрах вспоминает так: «С явным налетом элегантности, внешней и внутренней, был он всегда очень аккуратен, всегда чистенько выбрит, какой-то лощеный, может быть, даже преувеличенно вежливый и своей корректностью выделяющийся в литературной, склонной к богемности, среде… Если бы я теперь постарался мысленно восстановить его внешний облик, перед моими глазами встал бы молодой человек спортивного вида, в белых фланелевых брюках, с теннисной ракеткой в руке».

И хотя в сборнике «В дыму» у Оцупа часто встречаются такие мрачности, как туман, мгла, мрак и ад, сам внутри своей души он был светлым человеком. Как написал французский исследователь Луи Аллен: «Тема страха, которая так давит у Тютчева и отравляет прелесть некоторых стихотворений Блока, почти отсутствует у Оцупа…»

«Оцуп, — как отмечает уже Борис Поплавский, — был задуман миротворцем, жалостливцем, голубем неким…» Хотя и «голубю» порой было несладко.

Любовь исчезла. Отчего?
Мираж. Что может быть невинней —
Блеснул, обжег, и нет его.
Я обманулся. Я — в пустыне.

Из Берлина Николай Оцуп переехал в Париж, где в 1928 году вышла отдельным изданием его поэма «Встреча». С 1930 по 1934 год Оцуп издает журнал «Числа», в который он сумел привлечь и старшее поколение (З. Гиппиус, Мережковского, Б. Зайцева, Ремизова и др.) и молодое (Газданова, Поплавского, Терапиано, Раису Блох и др.). А какие художники оформляли «Числа»! Ларионов и Гончарова, Сутин и Шагал; использовал также Оцуп репродукции Дерена, Модильяни, Пикассо…

Занимаясь редакторско-издательской деятельностью, Оцуп продолжал писать стихи.

Как часто я прикидывал у уме,
Какая доля хуже:
Жить у себя, но как в тюрьме,
Иль на свободе, но в какой-то луже.

Должно быть, эмиграция права,
Но знаете, конечно, сами:
Казалось бы, «Вот счастье, вот права» —
Европа с дивными искусства образцами.

Но изнурителен чужой язык,
И не привыкли мы к его чрезмерным дозам,
И эта наша песнь — под тряпкой вскрик,
Больного бормотанье под наркозом…

И, конечно, тоска по родине!

Конкорд и Елисейские поля,
А в памяти Садовая и Невский,
Над Блоком петербургская земля,
Над всеми странами Толстой и Достоевский…

Но тоска без идеализации, без сентиментальных слез, ибо, как написал Оцуп в прекрасном стихотворении «Буря мглою»:

Сонечка на улице в накидке…
Мармеладов… Страшная страна.

Особая страница в жизни Оцупа: Вторая мировая война. Он записался добровольцам во французскую армию. Воевал. Полтора года провел в тюрьме в Италии, бежал, был схвачен и отправлен в концлагерь, откуда в 1942 году снова бежал, уведя с собой 28 военнопленных. В 1943 году Оцуп стал участником итальянского Сопротивления. Был смел и храбр, за что удостоен английских и американских наград, со стороны СССР своеобразная награда: полное замалчивание.

С 1935 года по 1950-й Оцуп писал «Дневник в стихах» длиной в 12 тысяч строк, который, по мнению поэта и литературоведа Юрия Иваска, является «памятником последнего полувека». Помимо дневника, Оцупу принадлежат книга воспоминаний «Современники» и двухтомное издание «Жизнь и смерть» (Париж, 1961). В последние годы своей жизни Оцуп утверждал, что на смену акмеизму, сыгравшему свою роль, пришел «персонализм» как реакция на атеизм, стадность, «это не эгоизм писателя, это защита его личного достоинства».

Николай Оцуп прожил 64 года и умер от разрыва сердца. Его

прах покоится на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем. «За нами, — писал в своем „Дневнике“ Оцуп, — столько же бесчисленных смертей…»

Это — дальше, следующий век,
Тот, в котором нас уже не будет…

ПАСТЕРНАК
Борис Леонидович
29. I(10.II).1890, Москва — 30.V.1960, Переделкино

Можно сказать, что Борис Пастернак родился под крылом Серебряного века. Наиболее близки к его творчеству были три поэта: Анненский, Блок и Рильке. В ранние годы он испытал влияние Андрея Белого.

Отец Бориса Пастернака — известный художник Леонид Пастернак, мать — одаренная пианистка Розалия Кауфман. «Кроме его собственной натуры, за ним стояла культурная порядочность отца и матери, а вдали где-то легендарная тень Льва Толстого», — отмечал Борис Зайцев.

Борис Пастернак мог стать художником (под влиянием отца), музыкантом (его благословлял Скрябин), ученым-философом (учился в Германии, в университете Марбурга), но он стал поэтом. Окончательный поворот к поэтическому творчеству состоялся в 1912 году: «Я основательно занялся стихописанием, днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о летнем доме, о каменном угле Гарца», — вспоминал Пастернак в

автобиографической «Охранной грамоте».

В апреле 1913 года выходит коллективный альманах «Лирика» группы «Сердара», в которую входил Пастернак. В сборнике 5 стихотворений, в том числе ставшее хрестоматийным:

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит…

Вот это состояние «навзрыд» — «И чем случайней, тем вернее/ Слагаются стихи навзрыд» — становится как бы визитной карточкой Пастернака. Его стихи, как правило, навзрыд лиричны, эмоциональны, аффектированы.

В том же 1913 году Пастернак заканчивает курс философского отделения историко-филологического факультета Московского университета, но не является даже на диплом. Пастернак окончательно числит себя поэтом, а не каким-то там ученым, «скотом интеллектуализма». В декабре все того же 1913 года выходит первый поэтический сборник «Близнец в тучах» тиражом 800 экземпляров. За густоту насыщения ассоциативными образами и парадоксальными метафорами Пастернака обвиняют в «нерусской лексике». Как зло определил Вадим Шершеневич: «И вот передо мною одна такая книжка, полная тоски и переливания из пустого в порожнее». Уж не эти ли строки Шершеневич считал пустопорожним переливанием? —

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю…

Не избежал Пастернак влияния модного тогда футуризма, особенно после знакомства с Маяковским («Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем», — отмечал он в «Охранной грамоте»). Вместе с Маяковским и Асеевым Пастернак участвовал в футуристическом альманахе «Весеннее контрагентство муз» (1915). Но в дальнейшем пути Пастернака и Маяковского резко разошлись. Футуриста из Пастернака не вышло, так же как не вышло и ангажированного властью поэта. О Маяковском Пастернак писал в 1927 году: «Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силой в общественное сознание, подчинения голосу злободневности».

Марина Цветаева отмечала различную ценность и сущность Пастернака и Маяковского: «У Пастернака никогда не будет

площади. У него будет, и есть уже, множество одиноких, одинокое множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит… На Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо спеваются… У Маяковского мы всегда знаем о чем, зачем, почему. Он сам — отчет. У Пастернака мы никогда не можем доискаться до темы, точно все время ловишь какой-то хвост, уходящий за левый край мозга, как когда стараешься вспомнить и осмыслить сон… Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем… Пастернак — чара. Маяковский — явь, белеющий свет белого дня… От Пастернака думается. От Маяковского делается…» (1932).

Но мы забежали вперед. Вернемся назад. В декабре 1916 года выходит книга стихов Пастернака «Поверх барьеров», в которой он, по его признанию, отказался «от романтической манеры», и тем не менее «простые слова» и «новые мысли» бились в метафорическом садке. И еще одна особенность поэтики Пастернака: он действительность почти всегда переводит в «новую категорию», то есть постоянно ее преобразует.

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых…

Летом 1917 года Пастернак собирает книгу «Сестра моя жизнь». Однако она выходит из печати лишь в 1922 году и делает Пастернака знаменитым. До ее выхода стихи, входящие в книгу, ходили в списках, и, как отмечал Брюсов: «Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии». Многие поняли, что Пастернак — поэт даже не от Бога, а сам Бог-сочинитель, тайновидец и тайносоздатель, хотя Пастернак часто себя представлял в стихах всего лишь как «свидетель». Свидетель мировой истории.

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,

Что в гро́зу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт…

А как не процитировать хотя бы начало стихотворения Пастернака «Определение поэзии»?

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок.
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок…

Вот так лирично и мощно начинался Пастернак. Затем последовали повесть «Детство Люверса», сборник «Темы и вариации», поэма «Высокая болезнь», «Спекторский»… В 1931 году вышла «Охранная грамота», в 1932 — «Второе рождение». Название «Второе рождение» не случайно. В этой книге Пастернак окончательно отверг футуристическую поэтику и перешел на многосложность стиха, на его смысловую ясность. Впрочем, как отмечал Федор Степун: «Пастернак никогда не имел ничего общего с футуристической улицей».

В 30-е годы положение Пастернака было весьма двойственным. Как отмечает его сын и биограф Евгений Пастернак: «Все, за малым исключением, признавали его художественное мастерство. При этом его единодушно упрекали в мировоззрении, не соответствующем эпохе, и безоговорочно требовали тематической и идейной перестройки…»

Место Пастернака в советской литературе определил Демьян Бедный:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент.

Или, как написал Александр Архангельский:

Все изменяется под нашим зодиаком,
Но Пастернак остался Пастернаком.

«Он слышал звуки, неуловимые для других, — отмечал Илья Эренбург, — слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступи века так и не расслышал…» Не об этом ли свидетельствует телефонный разговор Пастернака со Сталиным в

мае 1934 года? Пастернак пытался защитить арестованного Мандельштама, а заодно поговорить с вождем о жизни и смерти, но Сталин оборвал поэта-философа: «А вести с тобой посторонние разговоры мне незачем».

У Наума Коржавина по этому поводу есть знаменательные строчки:

И там, в Кремле, в пучине мрака,
Хотел понять двадцатый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.

Да, Сталин, по всей вероятности, не понимал Пастернака и вообще считал его небожителем, человеком не от мира сего, может быть, поэтому и не тронул. Никому, наверное, не удастся разгадать тайну власти: Мандельштама — на каторгу, а Пастернак говорит со Сталиным по телефону, у Ахматовой забирают сына, но ее обходят стороной. Бабеля — к стенке, а Эренбург на свободе…

В августе 1934 года проходил Первый съезд советских писателей. Борис Пастернак — делегат съезда. В отчетном докладе о поэзии Николай Бухарин говорил: «Борис Пастернак является поэтом, наиболее удаленным от злобы дня, понимаемой даже в очень широком смысле. Это поэт — песнопевец старой интеллигенции, ставшей интеллигенцией советской. Он безусловно приемлет революции, но он далек от своеобразного техницизма эпохи, от шума битв, от страстной борьбы. Со старым миром он идейно порвал еще во время империалистической войны и сознательно стал „поверх барьеров“. Кровавая чаша, торгашество буржуазного мира были ему глубоко противны, и он „откололся“, ушел от мира, замкнулся в перламутровую раковину индивидуальных переживаний, нежнейших и тонких, хрупких трепетаний раненой и легко ранимой души. Это — воплощение целомудренного, но замкнутого в себе, лабораторного мастерства, упорной и кропотливой работы над словесной формой… Пастернак оригинален. В этом и его сила и его слабость одновременно… оригинальность переходит у него в эгоцентризм…»

О Пастернаке на съезде говорили много. Алексей Сурков отметил, что Пастернак заманил «всю вселенную на очень узкую площадку своей лирической комнаты». И, мол, надо ему выходить в «просторный мир». Но зачем было выходить, когда на первую строчку в поэтической иерархии Сталин поставил мертвого Маяковского, а не строптивого и живого Пастернака. Маяковский

— для масс. Пастернак — для избранных.

В 1936 году Борис Леонидович начал обустраиваться в Переделкине. Вел себя крайне независимо. В 1937-м отказался поставить подпись под обращением писателей с требованием расстрелять Тухачевского и Якира. Пастернака не тронули, его просто перестали печатать. Лишь в 1943 году вышла книга стихов «На ранних поездах», а летом 45-го издается последняя прижизненная книга «Избранные стихи и поэмы». В 1948 году весь тираж «Избранного» уничтожается… На долю поэта остаются переводы. Как шутили сатирики:

Живи, Шекспир! Ты Пастернаком
Переведен — и даже с гаком!

Короче, уже не Борис Леонидович, а Борис Вильямович…

Гул затих. Я вышел на подмостки… —

так начинается стихотворение Пастернака «Гамлет», которое заканчивается пронзительным одиночеством:

Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

В начале 1946 года Пастернак сообщает Ольге Фрейденберг, что он приступил к «большой прозе». Первоначальные «Мальчики и девочки» переросли в роман «Доктор Живаго», который был завершен к осени 1956 года. «Атмосфера вещи — мое христианство…», — признавался Пастернак. Как известно, роман попал на Запад, и 23 октября 1958 года Пастернаку присудили Нобелевскую премию. И тут началась самая грандиозная травля писателя, в которой, помимо власти, участвовали и, не без удовольствия, многие литературные коллеги Пастернака. «Певец старых дев», — так высказался о Пастернаке Шолохов. «Литературный сорняк», — улюлюкнул кто-то другой. В стихотворении «Нобелевская премия» Пастернак недоумевал:

Я пропал, как зверь в вагоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет…

…Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей…

Стихотворение «Нобелевская премия» было опубликовано в английской печати, после чего Пастернака вызвали на допрос к генеральному прокурору Руденко. Травля привела к скоротечной тяжелой болезни, и Борис Леонидович на 71-м году ушел на жизни. За месяц до своей кончины, в апреле 1960 года, он писал: «…По слепому случаю судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, — художник, оказался в моем случае не затертым и не растоптанным».

Борис Пастернак умер, а спустя несколько лет начался «пастернаковский бум». Вся интеллигенция запоем читала поэта и внимала его заветам. В стихотворении «Быть знаменитым некрасиво…» Пастернак писал:

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь.
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Незадолго до смерти Пастернака в Переделкино приезжал знаменитый американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн. Он ужасался порядкам в России и сетовал на то, что так трудно вести разговор с министром культуры. На что Пастернак ответил:

— При чем тут министры? Художник разговаривает с Богом, и тот ставит ему различные представления, чтобы ему было что писать. Это может быть фарс, как в вашем случае, а может быть трагедия…

Приведем и еще одно признание Пастернака: «Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится в Есенине… Я люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в дополнительной позолоте…»

И тут уместно привести характеристику Ильи Эренбурга, которую он дал Пастернаку: «…Жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника: самого себя… Борис Леонидович жил для себя — эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собою…»

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить.

Это написано Пастернаком в далеком 1918 году. Стихотворение называется «Разрыв». Этих любовей и разрывов у поэта было много. Последняя любовь Пастернака — Ольга Ивинская, которая заплатила за свои чувства к поэту чрезмерно высокую цену. «Олюша, моя драгоценная девочка…» — писал ей в одном из писем Борис Леонидович.

Отдельного рассказа требуют темы «Пастернак и Цветаева», «Ахматова и Пастернак». Одна лишь цитата из записей Лидии Чуковской. 13 июня 1952 года она зафиксировала разговор с Анной Андреевной: «Тут она стала рассказывать мне о Борисе Леонидовиче и, как и в прежние годы, говорила о нем с восхищением и в то же время с какой-то нежной насмешкой. С восхищением — понятно, речь ведь идет о чуде; с нежностью — потому что о друге; а с насмешкой, я так понимаю, потому, что в насмешке легче спрятать нежность».

«Книга — кусок дымящейся совести», — как-то обмолвился Борис Пастернак. У него в стихах и прозе все дымилось, горело и светилось.

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела…

ПРИШВИН
Михаил Михайлович
23.1(4.II).1877, имение Хрущева близ Ельца Орловской губернии — 16.1.1954, Москва

Когда Лидия Чуковская читала Ахматовой рукопись, где упоминался Пришвин, Анна Андреевна заметила: «Не надо имени Пришвина среди имен первого ряда». Действительно, не Блок и не Бальмонт. «Проигрывает» Пришвин и своим орловским ровесникам — Бунину и Леониду Андрееву. И по личной судьбе, и по творческой. В эмиграции не был. Бунтарских произведений не печатал. В советское время ушел в свою природоведческую нишу и был неприметен. Певец природы. Писал о цветах и снежинках. «Природа любит пахаря, певца и охотника, — говорил Пришвин. — Я охотник за своей собственной душой, которую нахожу, узнаю то в еловых молодых шишках, то в белке, то в папоротнике…»

Естественно, с такой установкой в первый ряд не пробьешься. А начинал свой жизненный путь Пришвин, вроде бы, бойко: в гимназии вступил в конфликт с учителем географии Василием Розановым (в дальнейшем они подружились). Потом последовало увлечение, нет, можно сказать иначе, — обольщение марксизмом, работа в марксистских кружках, арест и одиночное заключение в тюрьме. Но революционера из Пришвина не вышло, ибо с детства в нем было заложено «построить свое поведение не на сострадании, а на той святой радости, лучше которой нет ничего

на земле». Отсюда и неудачная попытка соединить социалистическую идею с христианской.

Поучился Пришвин в Германии, в Лейпцигском университете, поработал агрономом и поздно — в 28 лет — начал свою литературную деятельность. В 1905 году стал печататься в газетах, а в 1907 году опубликовал первую свою книгу «В краю непуганых птиц», за ней последовали другие — «За волшебным колобком», «У стен града невидимого», «Черный араб», «Птичье кладбище» и другие.

В 1907 году Пришвин попадает в «гнездо писателей школы Ремизова», становится членом Петербургского религиозно-философского общества, знакомится с Максимом Горьким, который оказался близок Пришвину своей приближенностью к народу, «наивностью» и непосредственностью. Они переписывались друг с другом вплоть до смерти Горького в 1936 году.

Революцию и новую власть Пришвин не принял и стал тихим внутренним эмигрантом, обозначив свое поведение как переворот «от революции к себе». В своих дневниках, а вел он их практически всю жизнь, Пришвин оставил немало оценок, например, об Октябре он высказался так: «В этом действии было наличие какой-то гениальной невменяемости». Или — «Революция — это грабеж личной судьбы человека» (24 ноября 1930). «Новое время, не рабы, а рабочие! По существу то же самое…»

Да, попади пришвинский дневник в руки НКВД, несдобровать бы писателю. Но не попался: то ли Бог хранил, то ли власть считала Михаила Михайловича вполне лояльным — детские книжки писал, добрые, ясные, про лес и зверюшек.

А что внутри, в душе, делалось у Пришвина? В 1930 году в дневнике он формулирует заповедь; «Нельзя открывать своего лица — вот первое условие нашей жизни». Значит, — скрываться, ловчить, мимикрировать? Это тоже не по душе.

«Мое Надо в том, — пишет Пришвин, — что я должен жить самим собой, значит, делать не то, что велят, а то, что мне хочется. Я сам по себе, и быть самим собой — все мое назначение».

Быть самим собой в тоталитарную эпоху — это непозволительная роскошь. В душе-то можно, но вот выйти на улицу «самим собой» уже опасно: власть давила всякое инакомыслие и преследовала «иноверцев».

«Моя свобода, чувствую, давно уже превратилась в волну и разбегается, и ударяется в скалистый берег и рассыпается, и опять собирается» (24 августа 1948 г.).

Десятью годами раньше, 25 августа 1938 года: «Моя задача была во все советское время приспособиться к новой среде и остаться самим собой».

Вряд ли решил Пришвин эту задачу, а если и решил, то только наполовину, о чем свидетельствуют его многолетний автобиографический роман «Кащеева цепь» и собрание сочинений в 8-ми томах. Полнее, чем в своих художественных произведениях, выразил себя Пришвин в дневниках, которые до сих пор полностью не изданы (это примерно 600 печатных листов за полувек, 1905–1954). Вот, к примеру, одна из записей 1930 года:

«Мне хотелось идти по дороге так долго, пока хватит сил, и потом свернуть в лес, лечь в овраг и постепенно умереть. Мысль эта… последнее время живет со мной, и с удивлением вычитал я на днях у Ницше, что это „русский фатализм“».

В другом месте не более утешительное: «Зачем же тебе еще идти в овраг, сообрази, ведь ты уже в овраге».

«Овраг» у Пришвина, «Котлован» у Андрея Платонова…

Время от времени критики набрасывались на Пришвина и ругали его за «бегство» от реальной жизни в мир природы и лирики, а он, знай себе, писал и писал свои исключительно пришвинские вещи: «Лесная капель», «Глаза земли» и прочий «Календарь природы», оставаясь в «скромной должности хранителя ризы земли». Это о Пришвине когда-то писал Евгений Баратынский (точнее, о таких, как он):

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.

Как писала Вера Инбер о Пришвине: «…его рабочим кабинетом был лес, отделанный дубом и сосной, письменным столом — зеленый луг, устланный цветами».

И, конечно, сочный удивительный русский язык Пришвина. «Прозу Пришвина, — отмечал Константин Паустовский, — можно с полным правом назвать „разнотравьем русского языка“. Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как листья, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как хрупкий первый ледок, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно движению звезд над лесным краем».

Но еще задолго до Паустовского, по прочтении первых произведений Пришвина, Александр Блок сказал: «Это, конечно,

поэзия, но и еще что-то».

Михаил Пришвин в течение долгих лет писал, путешествовал и жил как бы без особых потрясений, если не считать потрясений, которые происходили в России, как вдруг грянул гром: поздняя любовь. В январе 1940 года 63-летний писатель встретил женщину — Валерию Лебедеву и… Он женат, она замужем и, казалось, какая любовь, когда ей уже под сорок. Но сердцу не прикажешь. Пришвин записывает в недоумении: «Мы с ней пробеседовали с 4 утра до 11 вечера. Что это такое?»

3 февраля 1940 года коротенькая запись: «А если?» Жена Пришвина, естественно, боролась за него, но победить любовь было уже невозможно. Валерия Лебедева стала Валерией Пришвиной, более того, она приняла удивительное предложение Пришвина… стать ему матерью, и Пришвин записывает в дневнике: «Теперь она мать в 51 год, а ее ребенок в 78 лет». Вместе они ведут дневник, который назвали «Мы с тобой. Дневник любви». Остается только глубоко вздохнуть и сказать: Господи, чего только не бывает на этом свете!

Тринадцать лет длилось это счастье. Михаил Пришвин умер, прожив без малого 81 год. Валерия Дмитриевна прожила без него еще 24 года и скончалась в декабре 1979 года.

Вместе они сотворили некую сказку…

РЕМИЗОВ
Алексей Михайлович
24. VI(7.VII).1877, Москва — 26.IX.1957, Париж

Если Пастернака называли Гамлетом XX века, то Ремизов — сказочник и колдун русской литературы. О своей литературной родословной Ремизов говорил: «…Сказочное во мне пробудили Л. Тик и Гофман… Лирическое от Марлинского… От Лескова апокриф и та теплота сердца, которой обвеяны его рассказы. Театр — Островского, но через Добролюбова, поверхностного, и Ап. Григорьева. От Достоевского — боль, горечь жизни. От Толстого — беспощадная правда».

Алексей Ремизов — купеческий сынок, получивший воспитание в патриархальном старомосковском духе. Его детство было мрачным. Мать его не любила, ибо он был пятым нежеланным ребенком. И все его юные годы прошли при полном безразличии к нему со стороны окружающих. В дальнейшем Ремизов всю жизнь утверждал себя в образе гонимого судьбой и непонятого людьми писателя. Будучи студентом, увлекся революционными идеями, дважды подвергался аресту и высылался сначала в Пензу, потом в Вологду. Именно Вологда стала для Ремизова «Северными Афинами», где он решительно порвал с революцией и также решительно отдался литературе. Ремизов занимался переводами. Переводил Ницше, Метерлинка и

пользующегося популярностью в России Пшибышевского. Увлекся фольклором и мифологией и стал сочинять сам.

В связи с первой публикацией — 8 сентября 1902 года — Ремизов признавался: «Отрава печататься входит с первым напечатанным. А какие мечты и сколько самообольщения. Ведь только у новичка такая вера в свое. А со временем придет разочарование, и сколько ни фырчи и фордыбачь, а все ясно и при всякой дружеской критике, что ты не Пушкин, не Толстой, не Достоевский, а только козявка — аз есмь».

В 1905 году Ремизов перебирается в Петербург и начинает работать в журнале «Вопросы жизни» — одном из центров русской философской и художественной мысли тех лет. Печатается во всех журналах художественного авангарда, реже — в газетах. «В газетах участвовал как гастролер на Пасху и на Рождество», — как всегда лукаво замечал Ремизов, который к тому времени приобрел уже репутацию «изысканного стилиста».

В 1907 году выходит первая книга Ремизова — цикл сказок «Посолонь», а в 1910–1912 годах — уже «Собрание сочинений» в 8-ми томах, куда вошли первые романы «Пруд» и «Часы». В 1912 году появляется роман «Пятая язва» — размышление о судьбе русского народа. Создает Ремизов и ряд драматургических произведений («Бесовское действо» было поставлено в театре Веры Комиссаржевской),

Ремизов — постоянный посетитель почти всех литературных салонов Петербурга, со многими знаком и со многими дружит, в частности с Львом Шестовым. Вместе с тем писатель не плывет в общем русле модернизма и декаданса, а находит свое течение, а лучше сказать заводь — неомифологическую литературу. Он — блистательный обработчик мифов и легенд всего мира, нащупывает и заново воссоздает архетипы национального сознания, ищет соотношение между добром и злом, дьявольским и божеским в человеке и приходит к печальной формуле: «человек человеку бревно» («Крестовые сестры», 1910), за что удостаивается определения от философа Ильина — «черновиденье».

Еще в эмигрантскую пору Ариадна Тыркова-Вильямс писала: «Как писатель Ремизов шел и продолжает идти тяжелым путем. Он одержим художественной гордыней и никогда ни с чьим мнением не считался. Его чудачества, житейские и литературные, сочетаются с большим, трезвым и ясным умом, с редкой верностью суждений. Отвесные тропинки, по которым он, чаще всего с большим усилием, тащит свои „узлы и закруты“, не ведут к легким успехам, к широкой популярности. Он это отлично знает. Но в нем есть непреклонное, беспощадное к самому себе

упорство, которое им владеет, не допускает снисхождения и поблажек моде, ко вкусам толпы и критиков, которые порой разбираются хуже, чем толпа».

Самого себя Ремизов воспринимал как носителя коллективного народного сознания, писателя, синтезирующего в своем творчестве различные срезы единой русской культуры, развивающейся от фольклора до современной индивидуально-авторской литературы как единое целое. Книги Ремизова — это своеобразные мифологемы, расширенные за счет образов и мотивов современной ему литературы.

Октябрьскую революцию Ремизов воспринял как трагедийный слом 1000-летней российской государственности и культуры («Слово о погибели русской земли»). На короткое время он сближается с эсерами, но и они вызывают в нем горькое разочарование: «До чего все эти партии зверски: у каждой только своя правда, а в других партиях никакой, везде ложь. И сколько партий, столько и правд, и сколько правд, столько и лжей».

Как прозорливый художник, Ремизов еще в 1907 году в сказании «Никола угодник» определил картину хаоса, которая возникнет в результате революции. «Не узнал Никола свою Русскую землю. Вырублена, выжжена, развоевана, стоит пуста-пустехонька, и лишь ветры веют по глухим степям, не найти в них правды…» Навел Никола кой-какой порядок, вернулся в рай и поведал святым: «Все со своими мучился, пропащий народ: вор на воре, разбойник на разбойнике, грабят, жгут, убивают, брат на брата, сын на сына, отец на сына, дочь на мать! Да и все хороши, друг дружку поедом едят, обнаглел русский народ».

Вот такой виделась Ремизову родная земля в революционных потрясениях. Писатель эмигрировал в августе 1921 года, сначала жил в Берлине, затем с 5 ноября 1923 года и до самой смерти в Париже. Отъезд из России воспринимал трагически, как вечную разлуку с любимой землей. Оценку революционной эпохи дал в эпопее «Взвихренная Русь» (1927), которая, по мнению Андрея Белого, является одной из лучших художественных хроник России смутного времени. В дальнейшем Ремизов не допускал лобовых антисоветских инвектив и за свою лояльность получил в 1946 году советский паспорт, но тем не менее не рискнул вернуться на родину.

В эмиграции Ремизов много работал, занимался мифами и легендами, экспериментировал со словом, писал автобиографическую прозу и продолжал делать то, что еще на ранней стадии подметил Максимилиан Волошин: «Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает

внутреннюю сущность, древний сон каждой вещи».

Все это так, но правда и то, что с 1931 по 1949 год Ремизов не смог опубликовать ни одной книги. Он их «издавал» сам, в единственном экземпляре, переписанном от руки красивым каллиграфическим почерком, и таких тетрадей было 430 штук.

В 1943 году умирает жена Ремизова, с которой он прожил 40 лет (они поженились в 1903 году). Ее облик Ремизов восстановил в книге «В розовом блеске» (1952). И в этом плане Ремизов был непохож на всех остальных серебристов. У Блока, Бальмонта, Маяковского, Есенина, Пастернака и других поэтов и писателей того времени было много любимых женщин, жен, любовниц и муз, а вот у Ремизова была одна-единственная. Любимая и неповторимая для него.

Они познакомились, будучи политическими заключенными. В тюрьме их камеры оказались рядом. Они переговаривались сквозь ставку. Так прошло два года. Они были так близко и в то же время так далеко друг от друга. Он влюбился и высказал желание увидеть ее хотя бы мельком на прогулке.

Встреча несказанно обрадовала Ремизова — он увидел женщину редкой красоты, но, увы, он на нее произвел ужасное впечатление — она упала в обморок. Она полагала, что ее сосед, который обладает исключительным даром красноречия, окажется красивым мужчиной. Кто же предстал перед ее глазами? Невзрачный человечек, с предлинными волосами, с бровями, приподнятыми с обеих сторон, с приплюснутым носом, с ноздрями, которые постоянно шевелились, с большим ртом — одним словом, он был похож на безрогого черта. Однако в конце концов все уладилось. Если природа отказала Ремизову во внешней красоте, то она богато одарила его умом и щедрым сердцем. Несмотря на свою непривлекательность, он сумел расположить ее в свою пользу. Она стала его женой, его «Прекрасной дамой», его музой-вдохновительницей, его богиней…

Так кто она? Серафима Довгелло из старинного литовского рода, владеющего в Черниговской губернии даже замком. Когда Серафима Павловна вышла замуж за Алексея Михайловича и привезла его в родовой замок, вся семья сразу шарахнулась от такого зятя. «Маленький, почти горбатый, ни на кого не похож, университета не кончил, состояния никакого, пишет сказки. И при том из купцов. Где она такого выкопала?..» (А. Тыркова-Вильямс).

Она — высокая, полная, белотелая и белолицая, с пышными белокурыми волосами и широко поставленными голубыми глазами, короче, красавица. И он — «маленький, сутуловатая

фигура, бледное лицо… нос, брови, волосы — все одним взмахом поднялось вверх и стало дыбом» (М. Волошин). Но что внешность? Их внутренние миры и интересы были одинаковы и гармоничны между собой. Кто-то придумал для них сравнение: изюминка и кулич. Ирина Одоевцева применила другое сравнение: как ступка и пестик. С ней было уютно и вкусно пить чай — приходившие в гости писатели смеялись: «как сдобная булка».

И вот «булки» не стало — без своей обожаемой Серафимы Павловны Ремизов прожил 14 лет. Жил аскетично по принципу «немного еды и тепло в квартире».

Послевоенный мир Ремизов определил двумя фразами: «Какое последнее слово нашей культуры? — синема и гестапо. В чем наша бедность? — довольны мелочами».

Заботой самого Ремизова по-прежнему оставался русский язык. «Живой сокровищницей русской души и речи» назвала творчество писателя Марина Цветаева. «А слово люблю, первозвук слова и сочетание звуков», — признавался сам Ремизов. «И безумную выпукль и вздор, сказанное на свой глаз и голос». Ремизов постоянно копался в кладовых слова, в словарях, много читал, выписывал. Это было настоящей страстью коллекционера. Марина Цветаева восхищалась Ремизовым, а вот для Бунина все языковые усилия Ремизова «отмыть икону», найти исконный русский язык в дебрях этимологической ночи были смехотворны. Иван Алексеевич считал и нынешнее состояние русского языка превосходным, без всякой древней зауми.

В эмиграции Ремизов был постоянно в гуще людей. Контактировал с Буниным, Зайцевым, Шмелевым, Лифарем, Евреиновым, наставлял литературную молодежь эмигрантского поколения (Поплавского, Каховскую, Набокова), имел дело с представителями французской интеллектуальной элиты. По возвращении в СССР Ирина Одоевцева рассказывала: «Ремизов страшно много работал, много печатался в эмиграции. Был, конечно, чрезвычайно талантлив. И вы знаете, это единственный русский писатель того времени, которого любили и ценили французы. Они считали его сюрреалистом».

Одна из последних книг Ремизова «Огонь вещей» — оригинальное исследование темы снов в творчестве русских писателей Гоголя, Пушкина, Достоевского, Тургенева и других.

Вечный сон настиг Ремизова в преклонном возрасте (ему было 80 лет), когда он уже был беспомощным и почти слепым, в его квартире на улице Буало, 7 (ныне весьма престижный 16-й район Парижа).

Что остается добавить? Ремизов — один из самобытнейших

писателей Серебряного века и, пожалуй, всей русской литературы. Сам он учился у Гоголя, Достоевского, Лескова и Толстого, а у него училось последующее поколение писателей — Борис Пильняк, Евгений Замятин, Вячеслав Шишков, Михаил Пришвин, Леонид Леонов, Константин Федин, Алексей Толстой, Артем Веселый. Можно сказать, что все они вышли из ремизовского корня.

И последнее. Лишь через год после смерти Ремизова — в 1958-м в Советском Союзе появились первые книги писателя. И перед глазами советских читателей предстали фразы, «как медовые соты», и они ощутили излюбленную Ремизовым «путаницу времен».

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
Игорь Васильевич ЛОТАРЕВ
4(16).V.1887, Петербург — 20.XII.1941, Таллин

Начало XX века напоминало мрачное удушье перед мировой грозой. Предгрозье, как надвигающийся трагизм жизни, ощущалось всеми, особенно интеллектуалами и читающей публикой. Что делать и где скрываться? Уходить в изящную «мечту», расписанную символистами, не хотелось: уж больно абстрактно. Все начинали уставать от бесполых символистов, от неврастенично-болезненных декадентов, от витиевато-заумных модернистов. Просвещенному народу хотелось реально ощутимого: яркой и брутальной жизни. Набирающий силу буржуазный бомонд жаждал здоровых развлечений и отвлечений с изрядной долей пряного эротизма. Этот исторический момент гениально угадал Игорь Северянин.

> В желтой гостиной, из серого клена, с обивкою шелковой,
> Ваше сиятельство любит по вторникам томный журфикс…
> Ваше сиятельство к тридцатилетнему — модному — возрасту
> Тело имеете универсальное… как барельеф…

Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом шелесте,
Очень удобную для проституток и для королев…
Впрочем, простите мне, Ваше сиятельство, алые шалости…

Эти «алые шалости» с куртизанками «в коричневую лошадь» и представил в своих стихах Игорь Северянин. Он сочинял многочисленные фэнтэзи в форме различных миньонет и квинтин про «ананасы в шампанском» и «мороженое из сирени», угадав приближение эпохи массовой культуры. Серебряный век с его уклоном в философию и в музыку уходил. На смену салонности и камерности выдвигались эстрадность и бульвар. Поэзия из увлечения для избранных переходила в развлечение для масс. Из «штучного товара» превращалась в массовый продукт потребления — в песню, выкрик, анекдот, лозунг… Таков был исторический фон.

А теперь непосредственно о Северянине. Избалованный маменькин сынок («О, кто на свете мягче мамы? Ее душа — прекрасный храм!») «Захлебывался в природе» с детства (жизнь в Череповце, реки Суда, Андога, Шексна). Его любимейшее время года — весна. Двоюродная сестра Лидия Лотарева вспоминает: «Игорь — реалист в форме. Уже в те времена писал стихи. Они были полны виконтами и баронессами, описанием красот природы и жизни». Потом виконты и баронессы ушли — пришли грезэрки и сюрпризэрки.

Первым оценил талант Северянина Константин Фофанов, с которым они дружили, несмотря на разницу в возрасте. «Фофанов вообще очень любил меня, всячески поощряя мои начинания и предрекая им постоянно громкую будущность, но мой уклон к модернизму его всегда печалил, а иногда и раздражал…» Фофанов восклицал:

О Игорь, мой единственный,
Шатенный трубадур!
Люблю я твой таинственный
Лирический ажур.

В свою очередь, Игорь Северянин любил и почитал стихи Фофанова и его самого. И еще богиней для Северянина была Мирра Лохвицкая. Лохвицкой и Фофанову Северянин посвятил не одно стихотворение.

С 1904 года на свои средства Игорь Северянин начал

выпускать стихи отдельными брошюрами, их было около сорока. Некоторые из них были замечены, но подлинное признание к Северянину пришло после критики Льва Толстого (перефразируя Оскара Уайльда: «Как важно быть обруганным классиком»). Произошло это в день 12 января 1910 года: стихотворение 22-летнего Северянина «Хабанера» («Вонзите штопор в упругость пробки…») попало на глаза гениальному старцу Льву Николаевичу Толстому. Он взвился: экая пошлость! Он, великий моралист, в «Крейцеровой сонате» проповедовал воздержанность от пагубы любовной страсти, а тут какой-то никому не ведомый поэт Северянин открыто призывает Бог знает к чему — «и к знойной страсти завьются тропки…» Позор. Разврат!..

«Об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики… после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня известным на всю страну! С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них участие…», — вспоминал Игорь Северянин.

Лев Толстой обругал, а Валерий Брюсов поддержал молодого поэта. Брюсов в 1911 году написал хвалебную рецензию на сборник Северянина «Электрические стихи»; смысл отзыва: не пропустите талант. В 1913 году вышел сборник «Громокипящий кубок» с предисловием другого маститого поэта Серебряного века Федора Сологуба (впрочем, Сологуб дал и название сборнику). «Одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, легкий, радостный дар небес, — отмечал Сологуб. — Появление поэта радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает приходом весны…»

Сравнение с приходом весны не случайно. В молодом Северянине действительно было что-то от ликующего пробуждения природы.

Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на «ты»…
Какой простор! Какая воля!
Какие песни и цветы!..

За 1913–1918 год «Громокипящий кубок» выходил десятью изданиями (это рекорд!) общим тиражом 31 348 экземпляров. Следующий сборник «Златолира» (1914) выдержал 7 изданий, «Ананасы в шампанском» (1915) — 5 изданий. Северянин попал в

нерв эпохи с ее резко меняющейся социальной и бытовой обстановкой, убыстряющимся темпом жизни, возникающим ароматом новизны, отсюда все эти «бензиновые ландолетто» и «моторные лимузины».

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропро́свист экспрессов! Крылолет буеров!..

Вечера, концерты, рестораны. Блеск огней, вино, женщины. Соблазны и наваждения. Вихрь удовольствий. Зной желания:

Смеется куртизанка. Ей вторит солнце броско.
Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин.
За чем же дело встало? — К буфету, черный кучер!
Гарсон, сымпровизируй блестящий файв-о-клок!..

Игорь Северянин и импровизировал и развлекал публику. В рецензии на «Громокипящий кубок» Владислав Ходасевич писал о Северянине: «…его душа — душа сегодняшнего дня… в ней отразились все пороки, изломы, уродства нашей городской жизни, нашей тринадцатиэтажной культуры… но в ней отразилось и небо, еще синеющее над нами…»

Северянин грезил наяву. Ему казалось, что поэзия открывает не известные никому доселе сады наслаждения и что она способна дать ключи от счастья (соревновался с Вербицкой, с ее «Ключами от счастья»?). Северянин умел создавать воздушные замки, но одновременно умел к погружаться в бездны отчаянья.

Всегда мечтательно настроен,
Я жизнь мечтанью предаю.
Я не делец. Не франт. Не воин.
Я лишь пою-пою-пою!..

Это уж точно, в Северянине никакой мужественности Гумилева не было, он был всего лишь соловей поэзии. Изобретатель и сочинитель новых рулад и изысков. Он обожал необычные сочетания и неологизмы. Отсюда — «чаруйная быль», «златополдень», «шмелит-пчелит виолончель», «целый день хохотала сирень фиолетово-розовым хохотом». Мотыльки у Северянина «золотисто жемчутся», кусты с весною «зачерещутся, засиренятся» и т. д.

И еще одна особенность поэзии Северянина — ее

музыкальность, напевность (не случайно многие стихотворения его положены на музыку). Прочтите, к примеру:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж…

Правда, строки не читаются, а поются? Сергей Прокофьев утверждал: «Северянин — поэт-музыкант, в его творчестве ощущается применение контрапункта и фуги». Да и сам Северянин объявлял о себе: «Я — композитор: в моих стихах — чаруйные ритмы». Это в стихах. А вот что он писал в воспоминаниях:

«Да, я люблю композиторов самых различных: и неврастеническую музыку Чайковского, и изысканнейшую эпичность Римского-Корсакова, и божественную торжественность Вагнера, и поэтическую грацию Амбруаза Тома, и жуткий фатализм Пуччини, и бриллиантовую веселость Россини, и глубокую сложность Мейербера, и — сколько могло бы быть этих „и“!»

Музыкальность поэзии Северянина несомненна, но нельзя пройти стороной и типичную «северяниновщину», в которой превалирует нечто аксессуарно-бытовое, парфюмерно-галантерейное, шоколадно-лимонадное. Недаром Зинаида Гиппиус презрительно бросила в его адрес: «Как прирожденный коммивояжер». Гиппиус, одна из ярых противниц Северянина, критикуя Брюсова, писала, что «брюсовская обезьяна народилась в виде Игоря Северянина… Чего у Брюсова запрятано, умно и тщательно заперто за семью замками, то Игорь Северянин во все стороны как раз и расшлепывает. Он ведь специально и создан для раскрытия брюсовских тайн. Огулом презирает современников…»

Тут Зинаида Гиппиус уловила суть: Северянин если не презирал современников, то уж точно немного издевался над толпой, пародируя ее вкусы и пристрастия. Он надевал маску и участвовал в народном карнавале, но, как это часто бывает, заигрывался и сам становился этой маской.

Близко знавший Северянина поэт и переводчик Георгий Шенгели проницательно писал: «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал, — это был Александр Раевский, ставший стихотворцем; и все его стихи — сплошное издевательство над всеми, и всем, и над собой… Игорь каждого видел насквозь, толстовской хваткой проникал в душу и

всегда чувствовал себя умнее собеседника — но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения».

Стало быть, соловей, но с демоническим умом. Тогда понятны его ехидно-издевательские призывы:

Ало жальте уста — вонзайте кинжалы,
Чтоб бюст задрожал…

Умница Северянин понимал, что мало писать звонкие стихи, надо еще подвести под них какую-то теоретическую базу, придумать новое литературное направление. И он провозгласил эгофутуризм (брошюра «Пролог „Эгофутуризма“», 1911), причем опередил в своем открытии кубофутуристов — Маяковского, Бурлюка, Хлебникова и Крученых. Кубофутуристы хотели выбросить за борт современности всех гениев прошлого, за что получили резкую отповедь со стороны Северянина: «Не Лермонтова с парохода, а бурлюков — на Сахалин!» При всех своих эгофутуристических загибах Северянин тяготел к классике.

«Эго» и «кубо» на какой-то период объединились, а потом резко разошлись, как Маяковский, который сначала сблизился и сдружился с Северяниным, потом оттолкнул его дружбу. А в феврале 1918 года, когда в Москве, в Политехническом, проходили «выборы» короля поэтов, и Маяковский проиграл Северянину, то и вовсе обиделся и назвал стихи Северянина «сборником ананасных, фиалочных и ликерных отрыжек».

Но факт есть факт: Северянин был первым (король поэтов), второй — Маяковский, третий — Бальмонт. В стихотворении «Слава» Северянин восторгался собою:

Мильоны женских поцелуев —
Ничто пред почестью богам:
И целовал мне руки Клюев,
И падал Фофанов к ногам!

Мне первым написал Валерий,
Спросив, как нравится мне он;
И Гумилев стоял у двери,
Заманивая в «Аполлон»…

…Я знаю гром рукоплесканий
Десятков русских городов,
И упоение исканий,

И торжество моих стихов!

«Торжество стихов», слава Северянина длилась 5 лет, с 1913 по 1918 год. В эти годы «грезофарсовый» Северянин был популярнее всех других русских поэтов. Он выпускал сборники, ездил по стране с выступлениями и давал свои «поэзы-концерты» с неизменным успехом. Молодые женщины были от него без ума. По мнению современного критика Глеба Шульпякова, «тотальная Эмануэль разлита в каждой его строчке». А это всегда притягивает. Примеры навскидку: «Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная…», «Возьми меня, — шепнула, побледнев…», и —

И взор Зизи, певучее рондо,
Скользя в лорнет, томил колени франту…

Все эти Зизи, лорнеты, франты, «все наслаждения и все эксцессы», «грандиозы» —

— Нельзя ли по морю, шоффэр?… а на звезду?..
Чтоб только как-нибудь: «сегодня не приду»…

Все это разом рухнуло и ушло с революцией. Новые времена — новые песни:

Нет табаку, нет хлеба, нет вина, —
Так что же есть тогда на этом свете?!

Красный конь революции на бешеном скаку выбросил из седла всадника с тонким, нервным, вытянутым в рюмочку лицом. Революционные бури застали Северянина в Эстонии, в местечке Тойла, там он и остался на берегу Финского залива. В Россию он больше не вернулся, хотя хотел и рвался. Прошлое мгновенно улетучилось, а вместе с ним и легкая, поющая, ироническая поэзия. Северянин стал иным, и иными стали его стихи. Сначала он возмущался:

С ума сойти — решить задачу:
Свобода это иль мятеж?
Казалось, все сулит удачу, —
И вот теперь удача где ж?

Простор лазоревый теорий,
И практика — мрачней могил…
Какая ширь была во взоре!
Как стебель рос! и стебель сгнил…

Как знать: отсталость ли европья?
Передовитость россиян?
Натура ль русская — холопья?
Сплошной кошмар. Сплошной туман…

А потом примирился с судьбой. И пишет удивительно прозрачные в печали стихи. Утешения и спасения ищет в природе:

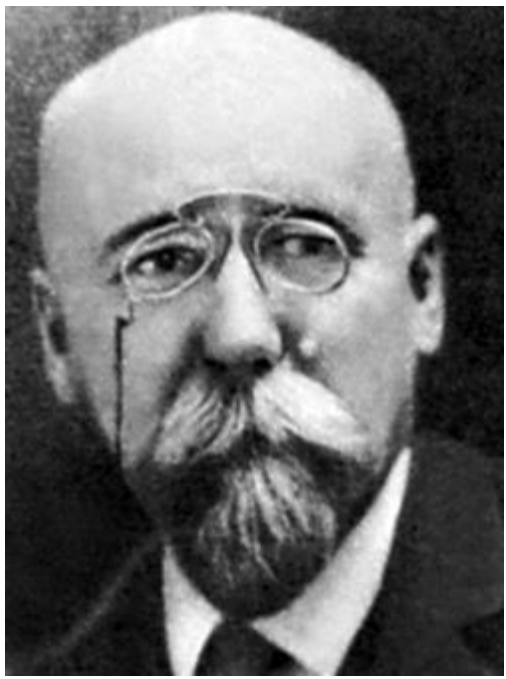
Так как же мне от горя и позора
К ненужью вынуждающей нужды
Не уходить на отдых на озера,
К смиренью примиряющей воды?..

В первые годы эмиграции Северянин еще выпускал поэтические сборники, ездил с концертами по Европе, а потом «заказов» не стало, и последний период жизни прошел в крайней нужде. А тут еще нездоровье («задыхаюсь буквально…»).

Финал оказался безысходно-трагичным. Смерть в 54 года, в бедности и забвении. Творимая поэтом «чаруйная поэма» превратилась, как он и предсказывал, «в жалкий бред».

И остался только вздох: «Как хороши, как свежи будут розы…» Цветущие и благоухающие розы, но уже без Игоря Северянина.

ФЕДОР СОЛОГУБ
Федор Кузьмич ТЕТЕРНИКОВ
17. II(I.III).1863, Петербург — 5.XII.1927, Ленинград



Начнем с цитаты. Игорь Северянин писал:
«Федор Сологуб — самый изысканный из русских поэтов.

Такой поэт, каких нет больше:
Утонченней, чем тонкий Фет…

Он очень труден в своей внешней прозрачности. Воистину поэт для немногих. Для профана он попросту скучен. Поймет его ясные стихи всякий, — не всякий почувствует их чары, их аллитерационное мастерство… „Русский Бодлер“ называет его Ю. Айхенвальд, и действительно, свойственная им обоим изысканная „ядность“ роднит их. Трудно представить себе, как из такого типичного пролетария, каким был по рождению Сологуб, мог развиться тончайший эстет, истинный гурман в творчестве и жизни. Даже в лице его вы не нашли бы следов его плебейского

происхождения. Стоит хотя бы вспомнить, редкий по сходству, портрет поэта работы Сомова: английский дэнди, а еще вернее — римский патриций смотрит на вас с этого портрета…» (1927).

Да, Сологуб — сын портного и крестьянки. Его детские годы прошли в определенном социальном срезе: между «господами» и «прислугой». Спал маленький Федор на кухне, на сундуке. Получал то тычки, то прянички. Рано научился читать. Стихи начал сочинять в 12 лет. Окончив Учительский институт, Сологуб учительствовал в провинции (в Великих Луках и Вытегре). В 1892 году 25-летний Сологуб переезжает в Петербург, получает место учителя математики и входит в литературный круг, по протекции Николая Минского становится сотрудником журнала «Северный вестник». И жизнь сразу забурлила, завихрилась, все стало живее и интереснее, чем в провинции. Исканий не было. Как отмечал Ходасевич, Сологуб сразу «нашел себя».

Тетерников превратился в Сологуба, скромный учитель — в известного поэта и прозаика. Первая книга стихов вышла в 1896 году, еще ранее был написан роман «Тяжелые сны». В 1907 году Сологуб вышел на пенсию (25 лет работы) и всецело занялся литературной деятельностью. Он был плодовитым автором: стихи, романы, рассказы, сказки, пьесы… В 1909–1912 годах вышло полное собрание сочинений в 12-ти томах. В 1913-м началось издание нового собрания сочинений, рассчитанного на 20 томов.

По мнению Андрея Белого, в 1908–1910 годах Федор Сологуб вошел в большую четверку наиболее знаменитых писателей, наряду с Максимом Горьким, Леонидом Андреевым и Куприным.

Будучи поэтом-символистом, Сологуб не уносился в космические дали, не создавал иную реальность, не блуждал в словах-символах. Он был более социален, более приближен к заботам и тревогам простых людей, недаром Валерий Брюсов отмечал, что среди декадентов Сологуб «один из немногих… сохранивших живую, органическую связь с землею… он у себя дома и здесь, на земле» («Весы», 1904).

Действительно, Сологуб на своей шкуре знал, что такое бедность, нужда, поэтому его стихи предельно обнажены и реалистичны:

В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: «Помоги!»
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Как помогу?..

Лирический герой Сологуба — он сам, все тот же маленький человек Гоголя, Пушкина, Достоевского и Чехова. Он ощущает себя бедным и слабым существом, затюканным суровой действительностью, но пытающимся радоваться самой малости, «жизнью, которой не надо, но которая так хороша…». Но проблески радости редки, а зла и страданья — хоть отбавляй. «Злое земное томленье, злое земное житье…»

День только к вечеру хорош,
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.
Закону мудрому поверьте —
День только к вечеру хорош.
С утра уныние и ложь
И копошащиеся черти.
День только к вечеру хорош,
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.

Подобных строк у Сологуба множество. Это дало повод критику Юрию Стеклову назвать творчество Сологуба «кладбищенской философией», а Илья Эренбург отозвался о Сологубе так: певец «мертвых и навек утомленных миров».

«Будем как солнце!» — провозглашал Бальмонт, а Сологуб, напротив, тянул в подземелье, к хладу могил.

О, смерть! Я твой. Повсюду вижу
Одну тебя, — и ненавижу
Очарования земли.
Людские чужды мне восторги,
Сраженья, праздники и торги,
Весь этот шум в земной пыли…

Большое влияние на творчество Сологуба оказали два философа: Шопенгауэр и Лев Шестов. Как ни у кого из поэтов, у Сологуба непрекращающиеся метафизические раздумья о смысле человеческого бытия, о том, что есть человек и для какой цели он живет?.. Вопросов много — ответов нет. «Иду в смятенье чрезвычайном…», — пишет Сологуб. «Подпольный Шопенгауэр» — еще один ярлык Сологуба, который дал ему Аким Волынский.

Нельзя не привести высказывание Владислава Ходасевича: «Сологуб кощунствовал и славословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр,

призывал смерть и наслаждался жизнью. Все это и еще многое можно доказать огромным количеством цитат. Однако не удается доказать никогда, что Сологуб от чего-то „шел“ и к чему-то „пришел“, от кощунства к славословию или от славословий к кощунствам, от благословений к проклятиям или от проклятий к благословениям. Ничего у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения…»

Рационалисты верят в предусмотренную гармонию, в разумный порядок мира, Сологуб же уверен, что мир от своего сотворения дисгармоничен и вместо порядка на Земле господствует хаос. Отсюда следует мольба о помощи — и совсем не к Богу:

Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: Отец мой, дьявол,
Спаси, помилуй, — я тону…

Юлий Айхенвальд назвал Сологуба «верным монахом Дьявола». И прибавил: «Он движется под знаком зла. Ему везде чудится оно, и только оно…»

Западный исследователь Сологуба Иоганнес Хольтхаузен с удовольствием пишет о сологубовском «сатанизме», с роковой игре со злыми духами, о сговоре с чертом. Не случайно, наверное, Сологуб — автор романа «Мелкий бес» (1907).

«Мелкий бес» принес Сологубу всероссийскую известность. До революции роман выдержал 5 изданий. Герой «Мелкого беса» — школьный учитель Ардальон Передонов, которым владеют демоны жадности, корысти, мстительности, вошел в ряд мировых образов, таких, как Фальстаф, Тартюф, Чичиков, Обломов. Мелкая бесовщина, сплавленная воедино с эротикой, многих оскорбила. Еще бы: Сологуб первым в русской литературе внес элемент садизма. Петербургский прокурор возбудил дело против автора романов «Мелкий бес» и «Навьи чары», «оскорбляющих нравственность».

Критики объявили, что Передонова Сологуб списал с самого себя. Сологуб ответил спокойно: «Нет, мои милые современники, это о вас».

Революционные «бесы» Достоевского и мещанские «мелкие бесы» Сологуба погубили в конце концов Россию. «Сумасшествие Передонова — не случайность, а общая болезнь. Это и есть быт современной России», — писали «Биржевые ведомости» в номере от 10 ноября 1910 года.

В «Мелком бесе» Сологуб создал свой нелестный образ России как страны кондовой, тяжелой, передвижной, у которой не может быть будущего, потому что в ней, по Сологубу, нет сил, способных к творчеству, к позитивной деятельности. Россия в «Мелком бесе», как и в «Мертвых душах» Гоголя, — царство безумия. Или новый город Глупов. В «Мелком бесе» Сологуб постоянно использует эпитеты «тупой» и «угрюмый». Призрачный полуживой-полумертвый мир возникает со страниц «Мелкого беса», и встает все та же «бабища-жизнь», которая так пугала писателя.

Следующим за «Мелким бесом» появился роман «Творимая легенда» (1914). У него есть и другое название — «Навьи чары». Герой этого романа — педагог и поэт Триродов. У него идефикс, навязчивое желание: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт».

Кусок «грубой и бедной жизни» внезапно падает на голову Сологуба: в 1907 году умирает его любимая сестра, единственный близкий ему человек. Однако одиночество было недолгим; через год, в возрасте 45 лет Федор Сологуб женится на 32-летней писательнице и переводчице Анастасии Чеботаревской, которая разом преображает личную жизнь писателя.

Прежде всего Анастасия Чеботаревская завела литературной салон, в который валом валили, по воспоминаниям Георгия Чулкова, «все — антрепренеры, импрессарио, репортеры, кинематогравщики… Изысканные художники встречались здесь с политическими деятелями, маленькие эстрадные актрисы с философами».

Бывшие тихие беседы с гостями и камерное чтение стихов в доме на Васильевском острове сменились маскарадами, благотворительными спектаклями и шумными вечерами. Интервью, мероприятия, встречи… Сологуб «стал вдруг необычайно общественен: вылез из норы», — так написал Андрей Белый.

Один из участников новых сологубовских вечеров так отозвался о них: «Дешевый шик-модерн. Сбрил бороду и стал великим. Слава. Внешнее. Вычуры. Излом. Жесты».

Игорь Северянин вспоминал: «…Собирались обыкновенно поздно: часам к десяти-одиннадцати и засиживались до четырех-пяти утра, люди же более близкие, случалось, встречали в столовой за утренним чаем и запоздалый рассвет. Съезжавшиеся гости, раздевшись в просторной передней, входили во вместительный белый зал… беседовали по группам, хозяин обходил то одну, то другую группу, иногда на мгновенье присаживаясь и вставляя, как всегда значительно, несколько

незначительных фраз. Затем все как-то собою стихало, и поэты, и актеры по предложенью Сологуба читали стихи. Аплодисменты не были приняты, и поэтому после каждой пьесы возникала подчас несколько томительная пауза. Большей частью читали сам Сологуб и я, иногда Ахматова, Тэффи, Глебова-Судейкина (стихи Сологуба), Вл. Бестужев-Гиппиус и К. Эрберг…»

Описание Северянина относится к осени 1912 года.

Из воспоминаний Корнея Чуковского: «Анастасия Чеботаревская — маленькая женщина с огромным честолюбием. Когда она сошлась с Сологубом, она стала внушать ему, что он гениальный поэт и что Горький ему в подметки не годится. Началось соревнование с Горьким. Она стала издавать крошечный журнальчик — специально для возвеличения Сологуба и посрамления Горького. С Васильевского острова молодожены переехали на Разъезжую. Здесь Чеботаревская создала салон, украсила комнаты с претенциозною пышностью… Чтобы жить на широкую ногу, Сологуб превратился в графомана-халтурщика. Количество своей литературной продукции он увеличил раз в десять. Чуть ли не во все газеты и журналы он рассылал свои скороспелые рассказы и стихи…»

Кстати, о графоманстве. Как-то в разговоре с Тэффи Сологуб сказал: «Я всех писателей разделяю на графоманов и дилетантов. Я графоман, а вы дилетантка».

Вся счастливая жизнь Сологуба с Чеботаревской (а с нею он был действительно счастлив) кончилась трагически: вечером 23 сентября 1921 года Анастасия Чеботаревская утопилась в Неве. Федор Кузьмич остался один. Двух только женщин любил Сологуб — сестру Ольгу и жену Анастасию. И обеих потерял.

Была и еще одна невосполнимая потеря: прежняя Россия с ее салонами и журфиксами.

Умертвили Россию мою,
Схоронили в могиле немой!
Я глубоко печаль затаю,
Замолчу перед злою толпой…

Русскую интеллигенцию времен революции, творцов Серебряного века можно грубо разбить на три группы. Одни — Зинаида Гиппиус, Иван Бунин и многие другие — не приняли Октябрь, прокляли большевиков и эмигрировали из России. Другие, и, увы, Блок среди них, поверили новой власти и ушли к ней в услужение. Третьи, к которым примыкал Сологуб, оставаясь на родине, пытались увещевать, усовестить большевиков и сохраняли веру, что кончится этот временный ужас, все

образуется и Россия воспрянет.

Правда, надо сказать, что остался Сологуб вынужденно, он писал письма Ленину и Троцкому с просьбой его выпустить из страны, но разрешения не получил, а поэтому и остался. По одной из версий, Чеботаревская и покончила жизнь самоубийством из-за невозможности покинуть большевистский ад. Но, так или иначе, Сологуб остался, смирился и вовсе не хотел умирать, как это можно было предположить по его многочисленным прежним стихам. В новых он говорил:

Я дышу, с Тобою споря,
Ты задул мою свечу.
Умереть в экстазе горя
Не хочу я, не хочу…

В послеоктябрьские годы Сологуб продолжал свою общественно-литературную деятельность. С 1926 года он — председатель правления Союза писателей, член редколлегии издательства «Всемирная литература». Много пишет, переводит, в частности, своего любимого Поля Верлена («Но как лелеют ароматы от этой плоти, Боже мой!»). При жизни Сологуба за советский период было выпущено 8 его поэтических сборников. Все сложилось не так уж и плохо?

Запись из дневника Корнея Чуковского от 24 октября 1923 года: «…Мне стало страшно жаль беспомощного, милого Федора Кузьмича. Написал человек целый шкаф книг, известен в Америке и в Германии, а принужден переводить из куска хлеба Шевченку…»

Сологуб скончался от «злой немочи» в 64 года.

Выступая на похоронах на Смоленском кладбище, Евгений Замятин сказал: «Для русской литературы 5 декабря 1927 года — такой же день, как 7 августа 1921 года: тогда, в августе, умер Блок, теперь, в декабре, умер Сологуб. Со смертью каждого из них — перевернута незабываемая страница в истории русской литературы. И еще: в каждом из них мы теряли человека, с богатой, ярко выраженной индивидуальностью, со своими, пусть и очень различными, убеждениями, которым каждый из них оставался верен до самого своего конца…»

Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:

«Что сделал ты?» — меня он вниз

Железным посохом не сбросит.

Скажу: «Слагал романы и стихи
И утешал, но и вводил в соблазны,

И вообще, мои грехи,
Апостол Петр, многообразны.

Но я — поэт». И улыбнется он,
И разорвет грехов рукописанье,

И смело в рай войду, прощен,
Внимать святое ликованье…

Эти строки Федор Сологуб написал 8 апреля 1919 года.

Есть много определений поэзии Сологуба. Лично мне ближе всего определение Чулкова, который сказал, что стихи Сологуба «напоминают кристаллы по строгости своих линий». Стихи-кристаллы — это точно.

Чистая, кристаллическая поэзия Федора Сологуба. Конечно, она печальная. Но это уже претензия не к поэту, а к самой жизни. Всюду, куда ни кинь, — «мерцанье горького упрека». В этом печальном мерцанье весь Сологуб.

ТОЛСТОЙ
Алексей Николаевич
29. XII.1882 (10.I. 1883), Николаевск (ныне Пугачевск) Самарской губернии — 23.II.1945, санаторий «Барвиха» под Москвой

«Третий Толстой», как назвал Алексея Николаевича Бунин, — фигура совершенно особая в ряду Серебряного века. Его судьба — яркая иллюстрация к извечной теме «Художник и власть». Практически все поэты и писатели конца XIX — начала XX века находились в оппозиции к власти. Или скажем по-другому: занимали абсолютно независимую позицию (Алексей Константинович Толстой ненавидел «капрализм» и отказался от блестящей карьеры). Те, кто остался после Октябрьской революции 17-го года в России, вынуждены были контактировать с властью. Кто просто служил (Блок), кто пытался сотрудничать (Андрей Белый), кто даже в чем-то преуспел (Маяковский). И только один человек слился с властью в экстазе (пусть даже показном), стал знаменосцем и любимцем режима — Алексей Николаевич Толстой.

Какова была мера его таланта?

«Толстой был индивидуальностью ярчайшей и талантом ослепительным» (Константин Федин).

«Особенным свойством великих мастеров эпоса является умение сообщать воображаемому подлинность. У Алексея Толстого подлинность просто магическая, просто колдовская!» (Юрий Олеша).

О дооктябрьском Толстом Корней Чуковский писал: «Алексей Толстой талантлив чрезвычайно. Это гармоничный, счастливый, свободный, воздушный, нисколько не напряженный талант. Он пишет как дышит. Что ни подвернется ему под перо: деревья, кобылы, закаты, старые бабушки, дети, — все живет и блестит и восхищает».

Сам Алексей Николаевич признавался: «Игра со словом — это то наслаждение, которое скрашивает утомительность работы. Слово никогда нельзя найти, отыскать — оно возникает, как искра. Мертвых слов нет — все они оживают в известных сочетаниях».

И еще одно признание: «Я люблю процесс писания: чисто убранный стол, изящные вещи на нем, изящные и удобные письменные принадлежности, хорошую бумагу…»

Итак, талантливый человек, с которым произошла, на первый взгляд, такая метаморфоза. Но это только на первый взгляд. В дневнике 17 февраля 1913 года Александр Блок записал следующие слова, объяснившие последующий кульбит Алексея Николаевича: «…Много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из „трюков“… — будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме одного для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение всего, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение одного, той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются».

О распылении чуть позже. Вначале несколько хронологических штрихов. Первые 10 лет Алексея Толстого — счастливые года. Екатерина Пешкова окрестила его «маленький лорд Фаунтлерой» — вялый ребенок с несколько сонным выражением лица. По окончании Самарского реального училища он поступил в Петербургский технологический институт. Участвовал в студенческих волнениях (значит, в юные годы не был конформистом?). Затем Европа. В ней Толстой бывал неоднократно, но вот что любопытно: иностранными языками не овладел, считая, что писатель должен быть всецело погружен в стихию родного языка.

Свою литературную деятельность Толстой начинал со стихов, которые писал в духе «гражданской скорби», подражая Некрасову и Надсону. Иногда писал чистую лирику:

В солнечных пятнах задумчивый бор;
В небе цвета перламутра;
Желто-зеленый ковер.
Тихое утро.

Или что-то мифологическое: «Где встреча, о Хлоя, с тобою Крылатой, зеленой весною?..» Сначала Хлоя, потом Сталин — такие вот толстовские метаморфозы.

В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал «Сириус». «Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и довольно простоватого вида, хотя и с претензией на „артистичность“: бант, шевелюра… Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным, неудачником — приносил новое — его опять, еще пуще ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А. Ник. Толстой», — так вспоминает о той поре Георгий Иванов.

Ни печальная гражданская поэзия, ни звонкая бальмонтовщина успехов Толстому не принесли. Успех пришел, когда он обратился под влиянием Алексея Ремизова к национальной фольклорной стихии. В 1910 году вышли «Сорочьи сказки», тут же «Повести и рассказы», через год — поэтический сборник «За синими морями». Писал Толстой премного и вскоре нащупал свой стиль: описание в ироническом ключе угасающих «дворянских гнезд», с обилием пряных деталей. В 1911–1912 годах петербургское издательство «Шиповник» выпустило «Сочинения» Толстого в двух томах, а в 1913–1918 годах «Книгоиздательство писателей в Москве» — 9-томное собрание сочинений, куда вошли такие произведения, как «Без крыльев», «Наташа», «Утоли мои печали», «Миссис Бризли», «До чего идет снег» и другие. В 1912 году Толстой перебирается в Москву и упорно пробует силы в драматургии (всего им написано около 40 пьес, в том числе — «Касатка», «Заговор императрицы», «Азеф»).

В первое десятилетие XX века Толстого хвалили за талант и порицали за «легкомыслие», хотя, возможно, это было не столько легкомыслие, сколько громкое жизнелюбие, которое так и выпирало из него.

В годы Первой мировой войны Алексей Толстой был некоторое время военным корреспондентом газеты «Русские ведомости». В феврале 1915-го с группой писателей посетил Англию и английские войска на Западном фронте.

А далее — ветер Февральской революции и вихрь Октябрьской. В июле 1918 года Толстой с семьей уезжает из

голодной Москвы в литературное турне по Украине, что нашло отражение в плутовском романе «Похождения Невзорова, или Ибикус». Весной 19-го на пароходе Добровольческого флота Толстые (он и его жена Наталья Крандиевская) отплыли в Константинополь.

По возвращении на родину Алексей Толстой рассказывал Корнею Чуковскому: «Понимаете: две тысячи человек на пароходе, и в каждой каюте другая партия. И я заседал во всех каютах. Наверху — в капитанской — заседают монархисты. Я и у них заседал. Как же. Такая у меня фамилия Толстой… А внизу поближе к трюму заседают большевики…»

В Париже Толстой поселился на улице Ренуар и начал работать над первой частью трилогии «Хождение по мукам» — романом «Сестры». В 1920 году в Париже вышла одна из лучших его книг — повесть «Детство Никиты». В очерке «Третий Толстой» Иван Бунин вспоминал:

«В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дурковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие… Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь „Алешкой“, хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему, что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда в каком-нибудь „салоне“ сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный».

Вот такой портрет «красного графа» Алексея Толстого оставил нам нобелевский лауреат Иван Бунин. Приведем и такую

бунинскую характеристику Толстого: «Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности… с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром».

В апреле 1922 года бывший глава белогвардейского «Северного правительства» Н. Чайковский обвинил Алексея Толстого в политической беспринципности, на что писатель ему ответил «Открытым письмом». В нем Алексей Толстой говорил:

«…Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед… Но Россия не вся вымерла и не пропала. 150 миллионов живет на ее равнинах, живет, конечно, плохо, голодно, вшиво, но, несмотря на тяжкую жизнь и голод, — не желает все же ни нашествия иностранцев, ни отдачи Смоленска, ни собственной смерти и гибели».

И еще в этом «Открытом письме» Толстой говорил: «…Я не могу сказать, — я невиновен в лившейся русской крови, я чист, на моей совести нет пятен… Все, мы все, скопом соборно виноваты во всем свершившемся. И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный вколотить в истрепанный бурями русский корабль…»

Несмотря на дружбу с некоторыми писателями, у Толстого отношения с другими бывшими, особенно с политиками, не сложились. Он вообще эмиграцию обозначил на самарско-французский лад как «пердю-монокль — и только…» Однако на «истрепанный русский корабль» не спешил, только из Парижа перебрался в Берлин. («Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают, как никто. Большевизм здесь не будет, это уже ясно…», — писал Толстой Бунину 16 ноября 1921 года.)

В Берлине Алексей Толстой пишет роман «Аэлита» (1922), повесть «Рукопись, найденная в мусоре под кроватью» (1923). В мае 1923 года приезжает в Москву на «разведку», а летом того же года принимает решение вернуться в советскую Россию, о чем сообщает в статье «Несколько слов перед отъездом»: «Я уезжаю с семьей на родину навсегда… Я еду на радость? О, нет: России предстоят нелегкие времена». 1 августа с семьей Алексей Николаевич Толстой появился в Петрограде.

Любопытно вспомнить, что говорил Толстой 5 лет назад, в августе 1918 года, когда добрался до Одессы: «Вы не поверите, до чего я счастлив, что удрал, наконец, от этих негодяев, засевших в

Кремле…»

И вот сам, добровольно, Толстой отправляется к этим самым «негодяям». Возникает вопрос: во имя чего? Только ли для того, чтобы «хоть гвоздик собственный вколотить в истрепанный бурями корабль»?..

11 января 1933 года в «Литературной газете» Толстой сделал такое признание: «Если бы не было революции, в лучшем случае меня бы ожидала участь Потапенко: серая, бесцветная деятельность дореволюционного писателя. Октябрьская революция как художнику мне дала все…»

Да, Алексей Николаевич Толстой получил все: был удостоен всех мыслимых в советское время наград и званий и возведен в ранг классика советской литературы.

В ноябре 1936 года произошла встреча Алексея Толстого с Иваном Буниным в Париже, куда приехал по делам советского государства «красный граф». Вот что вспоминает об этом Бунин:

«„Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?“ — спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, той же скороговоркой, и продолжал разговор еще на ходу:

— Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России…

Я перебил, шутя:

— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету… Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?..»

Действительно, Алексей Толстой в советской России преуспел, хотя Маяковский горячился и кричал о том, что Толстой не въедет в СССР на белом коне своего полного собрания сочинений, но он въехал. И даже гарцевал на этом белом коне. В 1928 году была опубликована вторая книга «Хождения по мукам» — «Восемнадцатый год». У Толстого была творческая особенность: по нескольку раз переделывать ранее написанное. Так вот, «Сестры» имели три редакции, в которых полностью изменилась политическая окраска романа. Начатый в эмиграции, антисоветский роман превратился, как бы в вывернутый

наизнанку, роман просоветский. О направленности «Восемнадцатого года» и говорить излишне.

В 1929 году Толстой приступил к «Петру Первому», образ которого он нарисовал, исходя из концепции «исторической прогрессивности». И весь роман аккуратно наложился на современность. Таким же образом строил Толстой и пьесу об Иване Грозном, подыгрывая власти и оправдывая ее репрессивную политику. А популярный «Золотой ключик, или Приключения Буратино», которой писатель затем превратил в пьесу и фильм?.. Там все было построено прозрачно: золотой ключик к дверям «страны счастья», а «страна счастья» — это, естественно, «Страна Советов». И уж совсем подхалимским получился роман «Хлеб» (1937).

В депутатском архиве Толстого, а он был депутатом Верховного Совета СССР, сохранились письма-отклики на его «Хлеб». Вот выдержки из одного из них, написанного в ноябре 1937-го:

«Алексей Толстой!

Сегодня я сняла со стены ваш портрет и разорвала его в клочья. Самое горькое на земле — разочарование. Самое тяжелое — потеря друга. И то и другое перед вами. Я ставила вас выше М. Горького, считала вас самым большим и честным художником. Андре Жид писал: „…я хотел бы всю жизнь, при малейшем ударе издавать звук чистый, честный и подлинный: все люди, которых знаю я, звучат фальшиво…“ Вы казались мне тем инструментом, который никогда, ни в каких условиях не может издать фальшивую ноту. И вдруг я услышала вместо прекрасной мелодии захлебывающийся от восторга визг разжиревшей свиньи, услышавшей плеск помоев в своем корыте… Я говорю о вашем романе „Хлеб“… Мне стало стыдно, горько и очень-очень больно. Ведь вы наблюдательный, умный, чуткий человек с огромным сердцем, вы, написавший „Гадюку“, „Хождение по мукам“, „Морозную ночь“, вы, так умевший передать всю „милую тяжесть любви“, проникший в тайное тайных человеческой души и с опытностью мастера разбиравшийся в сложной технике Жизни… И вдруг вы вступили в свору завывающих с пеной у рта подхалимов, двурушников, разбивающих лоб от усердия кликуш… Неужели вы не видите объективной действительности? Где ваша орлиная зоркость? Андре Жид за два месяца пребывания в СССР сумел разглядеть то, чего не увидели вы, живущий здесь постоянно. Как не стыдно вам присоединяться к хору, вопящему, что „у нас светлая, радостная, счастливая жизнь, данная нам любимым Сталиным“. Неужели вы не чувствуете всей духоты атмосферы, в которой задыхается 170 000 000 советских людей?

Неужели вы не видите буквальной нищеты во всем Союзе? Или вы оторвались от подлинной жизни?.. Страх — вот доминирующее чувство, которым охвачены граждане СССР. А вы этого не видите? Ваши глаза затянуты жирком личного благополучия или вы живете в башне из слоновой кости?..»

И в конце этого бурно-негодующего письма: «Я вас, как художника, искренне любила. Сейчас я не менее искренне ненавижу. Ненавижу, как друга, который оказался предателем. И я плюю вам, Алексей Николаевич, в лицо сгусток своей ненависти и презрения! Плюю!!!»

Письмо не подписано, а стало быть, и отвечать нет необходимости. В глубине души Толстой, наверное, понимал, что он — всего лишь акробат в советском цирке, но публично, на людях, он провозглашал: «Да здравствует вдохновитель нашего советского творчества товарищ Сталин!» (выступление на митинге в клубе писателей 19 марта 1941 года).

Рабоче-крестьянский граф четко понимал, кто заказывает музыку и кто правит балом, и он был в первом ряду, в обслуге, «с салфеткой в руке», по выражению Аркадия Беленкова. Подвыпив, среди друзей Толстой бахвалился: «Меня Сталин любит!»

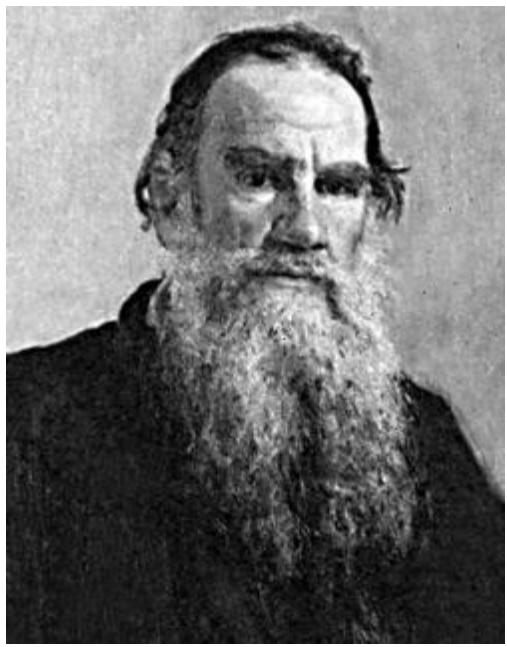
И еще пикантная деталь. На вопрос, в каком жанре ему приятнее всего пишется, Алексей Николаевич отвечал: «Больше всего люблю писать: сумма прописью…»

«Гиперболоид инженера Гарина» — фантастическая вещь. Но жизнь самого Алексея Толстого еще более фантастична.

И в качестве справки: в послевоенные годы вышло полное собрание сочинений в 15-ти томах, а всего за советский период произведения Толстого издавались 1 474 раза, они выходили на 78 языках народов СССР общим тиражом в 153,7 млн. экз. Эти данные всего лишь на 1982 год.

Хождение по мукам? Да. Но и по райским кущам тоже.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Лев Николаевич, граф
28. VIII(9.IX).1828, Ясная Поляна Тульской губернии — 7(20).XI.1910 — станция Астапово (ныне ст. «Лев Толстой» Липецкой области)



Льва Толстого, конечно, странно причислять к деятелям культуры Серебряного века. Он — классик из XIX века, реалист золотой воды. Но как игнорировать то, что последние годы жизни Льва Николаевича (1900–1910) приходятся как раз на расцвет Серебряного века. Он жил в это время и творил свою толстовскую литературу.

«Жутко приближаться к Толстому — так он огромен и могуч; и в робком изумлении стоишь у подножия этой человеческой горы. Циклопическая постройка его духа подавляет исследователя…» (Юлий Айхенвальд).

«Это не человек, а человечище, Юпитер» (Антон Чехов).

Ты как пророк явился к нам,
Тебе чужды пороки наши —

И сладкой лести фимиам
И злом отравленные чаши.
Ты хочешь небо низвести
На нашу сумрачную землю… —

так писал Константин Фофанов. И Анна Ахматова в восхищении: «Силища какая. Полубог! Но весь из себя и через себя — и только…» Дмитрий Мережковский утверждал, что человеческий смысл творчества Толстого в том, что тот отважился смело заглянуть в «бездну плоти».

«Пока Толстой жив, — размышлял Александр Блок, — идет по борозде за плугом, за своей белой лошадкой, — еще росисто утро, свежо, нестрашно, упыри дремлют, и — слава Богу. Толстой идет — ведь это солнце идет».

До наступления Серебряного века были написаны Толстым «Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Исповедь»… В 1899 году был закончен роман «Воскресенье». Уже после смерти Льва Николаевича были опубликованы «Отец Сергий», «Живой труп», «Фальшивый купон»…

Толстой переписывался чуть ли не со всем миром. Он получил около 50 тысяч, написал сам 8 312 писем. В интервью в 1905 году он сказал корреспонденту газеты «Будапешт Хирлап» Густаву Шерени: «Вы можете спрашивать меня о чем угодно. Я отвечу в соответствии со своими убеждениями, потому что мой главный принцип — истина, и человек в ответе только перед Богом. Я не боюсь никого на свете и буду говорить правду, даже если меня снова предадут анафеме…»

Великому правдолюбцу и мудрецу вопросы задавали разные. «Дорогой граф, что мне делать?» — писали отовсюду, — из Америки тоже. Кстати, в Америке издан фундаментальный труд «Л.Н. Толстой и США», где собраны сотни писем простых американцев.

Из ответов американскому журналисту Джеймсу Крилмену (1901): «Когда добро и зло противоборствуют на равных, побеждает добро. Таков общий закон жизни».

Но, увы, на равных не всегда выходит, это почувствовал и испытал сам Толстой, когда в конце февраля 1901 года он был отлучен от церкви. Однако это отлучение вызвало обратную реакцию в народе: опальный граф был завален сочувственными телеграммами и письмами, резко возросло паломничество в Ясную Поляну. Лев Толстой окончательно превратился в идола просвещенной России. Игорь Северянин рисовал такую картину:

Солдат, священник, вождь, рабочий, пьяный

Скитались перед Ясною Поляной,
Измученные в блуде и во зле.

К ним выходило старческое тело,
Утешить и помочь им всем хотело
И — не могло: дух не был на земле…

А ходили ли к Толстому революционеры, террористы и большевики? Лично мне не хочется писать, как писали в советское время: «Революция, Ленин, Толстой», имея в виду статью Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Толстой критиковал социализм. Убеждение, что можно придумать наилучшее устройство экономической и социальной жизни людей, Толстой назвал суеверным устроительством. И говорил, что «вредно и тщетно устраивание жизни не только для других людей, но и самого себя… почти все зло мира от этого».

В обращении «Правительству, революционерам и народу» писатель убеждал, что для того, чтобы положение людей стало лучше, надо, чтобы сами люди стали лучше. Но никто не услышал Толстого. Никто не захотел исправляться и духовно совершенствоваться. Как жили во зле, так и остались во зле. Во зле и разрушали Россию…

Еще один крик Толстого «Не могу молчать» (1908) — против смертной казни, — тоже не был услышан.

Не был удостоен Лев Толстой и Нобелевской премии, что сегодня нам кажется весьма странным. Странным для нас, но не для Льва Николаевича, ибо он в конце жизни боялся только двух вещей: своей жены и Нобелевской премии. «Отказываюсь же я потому, что убежден в безусловном вреде денег», — отвечал Толстой всем, кто его уговаривал, что нельзя отказываться от Нобелевской премии. Деньги вредны? Да, Лев Николаевич — уж точно не Алексей Николаевич, тот, третий Толстой как раз очень любил «металл» и роскошь, связанную с ним.

Итак, Лев Толстой отказывался от премии. С другой стороны, Норвежский Нобелевский комитет трижды выдвигал Толстого на соискание Нобелевской премии, и трижды эта кандидатура была отвергнута из опасения прославить знаменитого «анархиста», чья «философия разбросана и бессистемна». Н-да… Чего только не бывает в этом мире!..

А тем временем Лев Николаевич продолжал работать, в частности, над книгой «Круг чтения». И как отмечал Юлий Айхенвальд: «Сквозь рассуждения и морализацию его позднейших книг прорывается, словно луч неугасимого солнца, прежняя сила

художественных очарований».

Приведем выдержки из дневника Душана Маковицкого, непосредственного свидетеля жизни Льва Николаевича в Ясной Поляне:

27 мая 1905 года: «Л.Н.: На моих глазах народ испортился. Но я перед русским народом благоговею. У него религия, философия, искусства свои…»

10 марта 1906 года: «Л.Н.: Какое время! Много злобы, озлобления от революции. Но и пропасть добра: свобода печати, могут читать Герцена, декабристов…»

3 ноября 1906 года: «Л.Н.: Читаю Фихте и Руссо и прихожу в ужас… Потому что все это сто лет тому назад было высказано, а действия никакого».

8 августа 1907 года: «Л.Н., сидя на диванчике, вздохнул: — Как хорошо быть 80-летним! Не строишь планы: то и то сделать, а просто живешь».

13 апреля 1908 года: «Л.Н. очень усердно занимался. Софья Андреевна шла ему сказать, чтобы прервал, отдохнул. Л.Н. ответил, что ему всего спокойнее за писанием».

11 февраля 1909 года: «Л.Н.: Ох! Книг столько выходит! Тонет в этом мире всякая книга».

6 июня 1910 года: «Л.Н.: Надо читать литературу шестидесятых годов. Теперешние писатели сравнительно с теми — мальчишки».

А вот несколько отрывков из дневников Софьи Андреевны Толстой:

16 января 1909 года: «Положительно ничего больше не делала, все переписывала „Хаджи-Мурата“. Хорошо! Оторваться не могла».

1 июня 1909 года: «Лев Николаевич ездил верхом в засеку. Говорит сегодня: „Я далече ушел от чувства натурализма; меня интересуют не чисто русские вопросы, а всемирные — всего человечества“».

19 октября 1909 года: «…читал „Русскую мысль“, стихи Сологуба и его рассказ „Белая березка“, ужасался на бессмыслицу, и решил, что теперешние писатели — сумасшедший дом». (Следует отметить, что в «Русской мысли» были еще стихи Блока, Брюсова, Белого, З. Гиппиус, Мережковского и повесть Бориса Савинкова «Конь бледный».)

Дневники — это часть толстовского бытия. Сам Лев Толстой вел дневники более 60 лет.

Природа была щедра к Толстому: она подарила ему полных 82 года жизни. Но вот наступил последний год его пребывания на земле — 1910 год.

Максимализм писателя не иссякал. 10 января 1910 года он записал в своем дневнике: «Для жизни необходим идеал. А идеал — только тогда идеал, когда он совершенство».

В его январских записях чувствуется настроение тоски и одиночества. 1910 год — год между двух революций, и Толстого охватывает тревога, он хочет научить, подсказать, предупредить всех о грядущем.

Март. Толстой перечитывает свое духовное кредо: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Дневниковая запись от 14 апреля: «Читал свои книги. Не нужно мне писанины больше. Кажется, что в этом отношении я сделал, что мог. А хочется, страшно хочется». В том же апреле Лев Толстой встретился с Леонидом Андреевым, за творчеством которого очень внимательно следил, в свою очередь, Леонид Андреев считал Толстого своим учителем.

Май. Лев Толстой наблюдал за автомобильными гонками Москва — Орел, которые проходили неподалеку от Ясной Поляны. Один из автомобилистов, увидев среди зрителей Толстого, резко затормозил и помахал писателю рукой в перчатке. Остановка была столь неожиданной, что доктор Маковицкий замер от ужаса: машина могла сбить Льва Николаевича. Любопытно высказывание Толстого: «Автомобили нашей жизни чужды. У иных лаптей нет, а тут автомобили». Лев Николаевич вообще весьма отрицательно относился к техническому прогрессу, однако граммофон ему очень полюбился, и он с удовольствием слушал записи на пластинке — пение Паниной, Вяльцевой, Плевицкой и вальсы Иоганна Штрауса.

Июль. Обострение отношений с Софьей Андреевной. Она требовала дневники писателя, а он их прятал от жены и, уходя на прогулку, брал с собой.

28 августа — последний день рождения Толстого, на котором он присутствовал сам.

В сентябре к Толстому приезжал кинооператор Александр Дранков, он устроил для писателя «кинематографические сеансы», к которым Толстой отнесся с живейшим интересом и предсказал кинематографу «великую будущность в деле воспитания».

28 октября (по старому стилю) 1910 года Лев Толстой уходит из Ясной Поляны. Вспоминая об этой драматической теме, Анна Ахматова говорила Лидии Чуковской (запись от 8 мая 1954 года): «Какая гадость была Ясная Поляна! Каждый и все, все, и каждый

считали Толстого своим и растаскивали его по ниточке. Порядочный человек должен жить вне этого: вне поклонников, автографов, жен-мироносиц — в собственной атмосфере».

А вот мнение Владислава Ходасевича: «Толстому невыносима была та жизнь, которую, вопреки своим убеждениям, приходилось ему вести подле Софьи Андреевны».

Трагедия Толстого состояла в том, что он оказался между маньяком и истеричкой, — отмечал Александр Дунаев, хорошо знавший атмосферу яснополянского дома на протяжении многих лет. Истеричка — это Софья Андреевна, а маньяк — Владимир Чертков, страдавший душевной болезнью. И, как написал современный поэт Сергей Мнацаканян в стихотворении «Бегство Толстого»:

О том помыслил он с тоской
и нежностью, старик суровый:
бежать от суеты мирской
к несуетной судьбине новой.

От рукописей и вещей,
жены, издателей, усадьбы:
се от лукавого… В душе:
на Божий суд не опоздать бы…

Уже покинув Ясную Поляну, Толстой спросил сопровождавшего его Душана Маковицкого: «Куда бы подальше уехать?..»

Лев Толстой умер на 10-й день своего побега. Как зафиксировал в медицинской карте железнодорожный врач — «пассажир с поезда № 12».

«Со смешанным чувством ошеломления, сострадания, скептицизма, иронии встретила Западная Европа бегство и одиночество Толстого, беспомощно глядя на это событие», — писал один из немецких журналистов, характеризуя впечатление на известие о таинственном уходе знаменитого 82-летнего писателя из дома.

Биограф и переводчик Толстого, директор шиллеровского центра в Берлине Р. Левенфельд сказал корреспонденту газеты «Русское слово»: «Я нисколько не удивлен отъездом Толстого. Для подобной личности это вполне последовательно, логично и естественно. Нам, обыкновенным, заурядным человечкам, уход его кажется безумием. Между тем Толстой поступает как гений, как натура, неспособная жить в разладе с совестью, мириться с

пошлым оппортунизмом…»

Австрийская поэтесса и драматург Мария делле Грацие сказала: «Каждый из нас — немного Толстой. Каждый хотел бы воздвигнуть хотя бы тонкую стенку между собой и миром, ради покоя и возможности сосредоточиться на себе…»

На этом можно, пожалуй, поставить точку. Но чуть повременим. Книга эта посвящена деятелям и творцам, тем, кого мы по привычке называем интеллигенцией. А как к ней относился Лев Толстой? В одном из интервью он так обозначил свою позицию: «Я не понимаю, как это интеллигенция составляет отдельный класс… Интеллектуальная сила всюду: и в душе простой крестьянки, и на верхах… Раз человек живет вопросами духа, прислушивается к своей совести, то и интеллигент». Этот ответ Толстого помещен в газете «Раннее утро» в 1909 году.

И последняя — пятая толстовская заповедь:

«Не делайте различия между разными народами и любите чужих так же, как своих».

Вот на этом и завершим краткий рассказ о Льве Николаевиче Толстом.

ТЭФФИ
Надежда Александровна ЛОХВИЦКАЯ,
в замужестве — БУЧИНСКАЯ
9(21).V.1872, Петербург, по другим данным — в имении в Волынской губернии — 6.X.1952, Париж

Знаменитые сестры Лохвицкие: старшая Мирра писала стихи и удостоилась титула «Русская Сафо», младшая, Надежда, сочиняла юморески и фельетоны и стала самой популярной в России «юмористкой». Чтобы отличаться от сестры, взяла себе псевдоним из Киплинга — Тэффи.

Сама Тэффи так объясняла принятие псевдонима: «…Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то англизированным словом? Уж если захотела взять псевдоним, так можно было выбрать что-нибудь более звонкое или, по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец. Это все намеки на некие поэтические страдания и располагает к себе читателя… Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь

непонятное, ни то ни се. Но — что?..»

Она выбрала Тэффи. Короткое, звонкое слово, а когда вошла в моду, появились в честь сочинительницы и духи «Тэффи», с неповторимым оригинальным запахом. Тэффи начала публиковаться в газетах «Биржевые ведомости» и «Русь», а затем стала постоянным автором «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». В 1910 году вышли стихотворный сборник Тэффи «Семь огней» и два тома «Юмористических рассказов».

Как отмечает Ирина Одоевцева, слава Тэффи в дореволюционной России была огромна. Ее читали, ею восхищались. Когда при составлении юбилейного сборника, посвященного 300-летию царствования дома Романовых, почтительно осведомились у царя, кого из современных русских писателей он желал бы видеть помещенными в нем, Николай II решительно сказал:

— Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!

И с явным неудовольствием после долгих уговоров царь согласился, чтобы в юбилейном сборнике появились имена и портреты других поэтов и писателей во главе с Гиппиус и Мережковским.

Чем брала читателей Тэффи? Удивительным сочетанием смешного и печального, сопряжением анекдота и трагедии, точностью бытовых деталей («едва ли самый наблюдательный из наших писателей» — так оценил Тэффи Георгий Адамович), изящным подтруниванием над мещанскими нравами и вкусами. И еще тем, что владела, по выражению Михаила Зощенко, «тайной смеющихся слов». И, конечно, прекрасным русским языком. Так, Александр Куприн отмечал присущие ей «безукоризненность русского языка, непринужденность и разнообразие речевых оборотов речи».

Два примера:

«Тема была самая оригинальная: одна молодая девушка влюбилась в одного молодого человека и вышла за него замуж. Называлась эта штука „Иероглифы Сфинкса“» (рассказ Тэффи «Талант»).

«…Потом сели обедать. Ели серьезно и долго. Говорили о какой-то курице, которую где-то ели с какими-то грибами. Иван Петрович злился. Изредка пытался заводить разговор о театре, литературе, городских новостях. Ему отвечали вскользь и снова возвращались к знакомой курице…» («Отпуск»).

Писала Тэффи и стихи. Как определял их Николай Гумилев, «подлинные, изящно-простые сказки средневековья». Вот «Черный карлик»:

Ваш черный карлик целовал вам ножки,
Он с вами был так ласков и так мил,
Все ваши кольца, ваши серьги, брошки —
Он собирал и в сундучке хранил.

Но в страшный день печали и тревоги
Ваш карлик вдруг поднялся и подрос —
Теперь ему б вы целовали ноги,
А он — ушел… и сундучок унес…

Салонно? Жеманно? Да. Но Тэффи писала и на злобу дня; так, в октябре 1905 года она пригвоздила генерала Трепова за его хрестоматийный приказ «Патронов не жалеть» в стихотворении «Патроны и патрон», где в конце говорилось:

— Трепов! Не по доброй воле ли
С места вам пришлось слететь?
Сами вы учить изволили,
Чтоб патронов не жалеть!

И все же главное в творчестве Тэффи не стихи, а ее проза, точнее, ее юмористика. До революции издавались ее многочисленные сборники: «Карусель», «Дым без огня», «Миниатюры и монологи», «Житье-бытье» и другие. Плодотворной оставалась Тэффи и в эмиграции, достаточно назвать такие книги, как «Восток» (Шанхай, 1920), «Тихая заводь» (Париж, 1921), «Черный ирис» (Стокгольм, 1921), «Книга Июнь» (Белград, 1931), «О нежности» (Париж, 1938), «Все о любви» (Париж, 1946). Особняком стоят «Воспоминания» (1931) о тех, кого знала писательница в пору сверкания Серебряного века. И еще книга «Ведьма» (Париж, 1936) о древних славянских богах, — книгу эту высоко оценили Бунин, Куприн и Мережковский.

Эмиграция не сломала Тэффи, но избежать острой ностальгии по родине ей не удалось. В 1920 году Тэффи покинула Россию. В одном из последних эссе, написанном в Одессе, она писала: «Увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата… перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать». Тэффи и «побежала» — через Константинополь в Париж. На корабле, поглядывая на беспокойные волны Черного моря, Тэффи написала стихотворение, которое потом Александр Вертинский включил в свой репертуар:

К мысу радости, к скалам печали ли,
К островам ли сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…

Изведав горечь эмигрантской жизни, Тэффи сделала скорбное признание: «Боялись смерти большевистской — и умерли смертью здесь… Вянет душа, обращенная на восток. Думаем только о том, что теперь ТАМ. Интересуемся только тем, что приходит оттуда».

Не все было гладко в личной жизни. В молодые годы Тэффи вышла замуж за юриста Владислава Бучинского. После рождения второй дочери Елены разошлась с ним в 1900 году, то есть в 28 лет. А дальше одна? Вот что по этому поводу писала Ирина Одоевцева в воспоминаниях «На берегах Сены»:

«Женские успехи доставляли Тэффи не меньше, а возможно, и больше удовольствия, чем литературные. Она была чрезвычайно внимательна и снисходительна к своим поклонникам.

— Надежда Александровна, ну как вы можете часами выслушивать глупейшие комплименты Н.Н.? Ведь он идиот! — возмущались ее друзья.

— Во-первых, он не идиот, раз влюблен в меня, — резонно объясняла она. — А во-вторых, мне гораздо приятнее влюбленный в меня идиот, чем самый разумный умник, безразличный ко мне или влюбленный в другую дуру».

В этом ответе — вся Тэффи. В Париже судьба свела ее с П. Тиксоном, с которым они прожили вместе до самой его кончины. Однако брак свой не регистрировали. Последний мужчина Тэффи был тяжело болен, и писательница нежно за ним ухаживала и продолжала писать свои веселые рассказы. Публика любила смеющуюся Тэффи. За ее смех она платила деньги. Тэффи это прекрасно понимала и не меняла своей тональности.

Галина Шаховская в своих мемуарах вспоминает: «Тэффи, в сущности, была единственной „дамой“ литературного Парижа — не „литературной дамой“, а очаровательной, хорошо воспитанной и „столичной“ дамой. Может быть, несколько суховатая и чрезвычайно умная, Тэффи, мне кажется, не интересовалась политикой или мировыми вопросами. Интересовали ее человеческие типы, дети и животные, но трагическую участь всего живущего она не только понимала, но и чувствовала ее на своем собственном, прежде всего, опыте.

Сатирики и юмористы (за исключением Мятлева) почти все ипохондрики, от Гоголя до Дон-Аминадо и Зощенко. Как все они,

Тэффи смеялась „горьким смехом“, без злобы, но с предельной зоркостью отмечая, и для наглядности их увеличивая, нелепости быта и людские слабости.

Когда я ее знала, ее здоровье уже требовало болеутоляющих средств, а иногда и возбуждающих, и мне приходилось ее видеть то блестящей и остроумной, то совершенно потухшей, превозмогающей себя и жизнь. И вдруг, оттого что кто-то находился рядом с ней, таившаяся в ней искра вспыхивала снова, и фейерверком рассыпались меткие замечания, остроумные рассказы, живые воспоминания.

Очень любила Н.А. балы и выходы, следила за своей внешностью, одевалась, как могла, элегантно, я никогда не видела ее непричесанной и неподтянутой…»

А вот что вспоминала Ирина Одоевцева: «…И тогда, и после войны Тэффи была очень бедна. Последние годы долго и тяжело болела, но даже перед смертью не теряла своего удивительного дара — чувства юмора. Обращалась к своим знакомым за денежной помощью так: „Прощу в последний раз. Обещаю, что долго не задержусь на этой земле. А вы уж, пожалуйста, дайте мне сейчас те деньги, которые все равно потратите на цветы, когда придете ко мне на похороны“».

Незадолго до кончины Надежда Александровна Тэффи, оглядываясь на свой жизненный путь, отмечала: «Принадлежу я к чеховской школе, а своим идеалом считаю Мопассана. Люблю я Петербург, любила очень Гумилева, хороший был и поэт, и человек. Лучший период моего творчества был все же в России».

Тэффи успела отметить свой 80-летний юбилей и навсегда покинула, как она выражалась, «остров» своих «воспоминаний». О смерти, как о Хароне, она написала заранее:

Он ночью приплывет на черных парусах,
Серебряный корабль с пурпурною каймою!
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,
И скажут: «Вот луна играет на волнах»…

Как черный серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною!
Но люди не поймут, что он уплыл со мною
И скажут: «Вот она сегодня умерла».

Итак, серебряный корабль увез в серебряную даль одну из ярких представительниц Серебряного века — Надежду Тэффи…

ФОФАНОВ
Константин Михайлович
18(30).V.1862, Петербург — 17(30).V.1911, Петербург

После смерти Фофанова его горячий поклонник Игорь Северянин воскликнул:

Погасли пламенные похороны
Поэта, спящего в мечте…
Да озарится имя Фофанова
В земной пустыне и тщете!..

Не озарилось. Фофанов так и остался в тени Серебряного века, более поэтом XIX века, нежели XX.

Звезды ясные, звезды прекрасные
Нашептали цветам сказки чудные;
Лепестки улыбнулись атласные,
Задрожали листы изумрудные…

Слишком все просто и слишком однозначно, без подтекста и второго плана. Серебристы писали иначе. И поэтому Фофанов

разошелся с литературными искусниками и аристократами, считая, что они «разрушают» дело Пушкина своим кривляньем.

Прочь, князья уродства,
Душен ваш бесчувственный огонь… —

писал Фофанов в стихотворении «Декадентам».

Константин Фофанов родился в семье мелкого купца, достаточного образования не получил. Рано увлекшись чтением, пристрастился к поэзии и в 13-летнем возрасте начал писать стихи, чему не находил сочувствия в семье. Порвал с родными и ушел из дома, став поэтом-профессионалом. Впервые его стихи «Из библейских мотивов» появились в газете «Русский еврей» от 8 июля 1881 года. С этого момента начал печататься регулярно. В 1887 году вышла первая книга стихотворений, на которую откликнулся Чехов в письме к Григоровичу: «Из поэтов начинает выделяться Фофанов. Он действительно талантлив».

Первая книга стихов Фофанова выдвигалась даже на соискание Пушкинской премии. В 1889 году вышла вторая книга, в 1892 году — третья «Тени и тайны», лучшая из всех фофановских книг. Последующие сборники («Иллюзии», «После Голгофы») были значительно слабее в художественном отношении. Как отмечал Брюсов, «прекрасные стихотворения у Фофанова чередуются с совершенно ничтожными».

Разбирая творчество Фофанова, Игорь Северянин писал: «Творчество Фофанова полярно: с одной стороны, жалкая посредственность, с другой — талант, граничащий с гением:

Скорей в постелю, поэтесса…

и:

Я сердце свое захотел обмануть,
А сердце меня обмануло… —

написано одним и тем же автором! Этому поверить трудно, однако это так…» И далее Северянин упрекает Фофанова в «вопиющей небрежности, необдуманной наскорости». Но всю эту недоработанность Северянин прощает Фофанову за его удивительную талантливость, за особую пленительность строк, таких, как эти:

Быть может, тебя навестить я приду
Усталой признательной тенью
Весною, когда в монастырском саду
Запахнет миндальной сиренью?

Или других строк:

Едва-едва забрезжило весной,
Навстречу вешних дней мы выставили рамы,
В соседней комнате несмелою рукой
Моя сестра разучивала гаммы.
Духами веяло с подержанных страниц, —
И усики свинцово-серой пыли
В лучах заката реяли и плыли,
Как бледный рой усталых танцовщиц…

Фофанов жил как бы в «двух мирах», о чем он недвусмысленно признавался:

Блуждая в мире лжи и прозы,
Люблю я тайны божества:
И гармонические грезы,
И музыкальные слова.
Люблю, устав от дум заботы,
От пыток будничных минут,
Уйти в лазоревые гроты
Моих фантазий и причуд…

А пока Фофанов старался укрыться в «лазоревом гроте» —

Столица бредила в чаду своей тоски,
Гоняясь за куплей и продажей;
Общественных карет болтливые звонки
Мешались с лязгом экипажей…

И эти жуткие автомобили — порождение грохочущей цивилизации —

Мелькают, как птицы, моторы
И пыль по дороге кружат,
И слепнут прохожего взоры,
И кажется, камни дрожат…

Представьте, в каком ужасе пребывал Фофанов, этот человек природы, а отнюдь не городской жизни, как ему было неуютно, тоскливо, противно:

Мы при свечах болтали долго
О том, что мир порабощен
Кошмаром мелочного торга,
Что чудных снов не видит он…

А Фофанову хотелось иного — сна наяву:

Дорогая моя! если б встретиться нам
В звучном празднике юного мая
И сиренью дышать, и внимать соловьям,
Мир любви и страстей обнимая, —
О, как счастлив бы стал я любовью твоей,
Сколько грез в моем сердце усталом
Этот май — баловник, этот май — чародей
Разбудил бы своим опахалом!

Однако и с «дорогоóй» у Фофанова не получилось так, как хотелось: солнечно и беззаботно. Еще будучи гимназисткой, Лидия Тупылева пришла к Фофанову и попросила его написать стихи ей в альбом. Позднее эта Лидия, выпускница Смольного института, стала женой поэта и «подарила» ему 11 детей, из которых двое умерли в раннем возрасте. Большая семья плюс постоянные болезни, которые одолевали Фофанова, плюс неравномерность литературных заработков, и отсюда тихое отчаянье:

Мой друг, у нашего порога
Стучится бледная нужда…

Нужда до такой степени, что однажды поэт пытался дать объявление для газеты: «Желаю получить место швейцара, дворника или полового».

Ну, и, конечно, пагубное пристрастие к алкоголю. В «Медальоне», посвященном Фофанову, Северянин писал:

Он, суеверный в сумерки влюбленный,
Вином и вдохновеньем распаленный,

Вливал в стихи свой скорбный виноград.

Константин Фофанов шел по стопам Аполлона Григорьева, да и других русских поэтов, загубленных вином. Ужасно было и то, что и жена была подвержена этому недугу и было непонятно, кто на кого дурно влиял — Фофанов на жену или жена на Фофанова?.. «Фофанов был обаятельным, мягким, добрым, ласковым и сердечным человеком, очень нравственным, религиозным и даже застенчивым по-детски», — вспоминает Северянин. Но в пьяных загулах был Фофанов, конечно, иным.

За две недели до смерти Фофанова Игорь Северянин с другом поэта посетили Фофанова: «Застали мы его в постели, как всегда без гроша в доме. Он жаловался на боли в левом боку, кашлял, но был весел и оживлен, по обыкновению много шутил и развлекал нас остротами и эпиграммами преимущественно на высочайших особ. Он потребовал, чтобы жена распорядилась послать за водкой, и, несмотря на наши протесты и на доводы о вреде вина во время болезни, водка все же была добыта, и мы вынуждены были, скрепя сердце, выпить с ним несколько рюмок…»

Фофанов умер в больнице от воспаления легких при общей истощенности организма, да еще при психическом заболевании, в возрасте 49 лет. Очевидно, сам Фофанов чувствовал свой приближающийся конец и поэтому написал траурную «Элегию»:

Мои надгробные цветы
Должны быть розовой окраски:
Не все я выплакал мечты,
Не все поведал миру сказки.

Не доо́пил я любовных снов
Благоуханную отраву,
И не допел своих стихов,
И не донес к сединам славу…

Так считал Фофанов и делал вывод: «И пал я жертвой суеты…» Тут с поэтом можно поспорить. Не суеты. Просто он не попал в ногу со временем. Блок, Бальмонт, Белый и другие поэты Серебряного века отвечали на запросы своей эпохи, а Фофанов, этот «настоящий, прирожденный поэт „божией милостью“» (как написал о нем в некрологе Брюсов) не смог быть созвучным своему времени.

И еще. Некая литературная ирония. Северянин сокрушался в

свое время, что читающая публика поставила Надсона выше Фофанова, что-де Надсон со своим общественным беспокойством и тревогой «пришелся по вкусу и был принят целиком. Какое могло быть дело публике до жалкого однообразия его размеров, вопиющего убожества затасканных глагольных рифм, маринованных метафор и консервированных эпитетов? Самое главное было налицо: „тоска по иному“, все остальное не замечали, не хотели замечать и замечать не умели…». Напротив, у Фофанова, по мнению Северинина, был богатейший поэтический арсенал средств выражения, но публика не носила Фофанова на руках. Ирония еще и в том, что в 1998 году в Петербурге, в серии «Библиотека поэзии» Семен Надсон и Константин Фофанов вышли под одной обложкой, в одной книге. Игорь Северянин бы ужаснулся…

Игорь Северянин всегда восторгался Фофановым и посвятил ему несколько своих поэз. Вот одна из них:

Возьмите Фофанова в руки
И с ним идите в вешний сад.
Томленье ваше, скуку, муки
Его напевы исцелят.

Себя самих не понимая,
Вы вдруг заискритесь, как «Мумм»,
Под «Майский шум» поэта мая
И под зеленый майский шум…

Остается только расшифровать, что «Мумм» — это сорт густого пива, в дореволюционные годы весьма популярного. Так что —

Берите Фофанова в руки
И с ним бегите в вешний сад!

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
Виктор Владимирович
28. X(9.XI).1885, Зимняя Ставка близ Астрахани (ныне село Малые Дербенты, Калмыкия) — 28.VI.1922, дер. Санталово бывшей Новгородской губернии

На одном из автопортретов Хлебников сделал надпись: «Заседания общества изучения моей жизни». И пророчески угадал. Специалисты — и не только литературоведы — заседают. Изучают. Силятся понять феномен Хлебникова. Три спеца — Вячеслав Вс. Иванов, Зиновий Паперный и Александр Парнис выпустили исследование «Мир Велимира Хлебникова». Ну, и что? Разгадали? Очень сомневаюсь. Когда Хлебников писал:

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака! —

тут все предельно ясно. А когда он описывал, к примеру, «грозу в месяце ау»:

Гул голгота. Это рокота раскат.
Гугота. Гак. Гакри.
Вука вэво. Круги колец.
Цирцици! —

то тут обычного человека, не филолога, тем более не лингвиста, берет оторопь: что такое «цирцици»? А что означает «пи — пипизи» или «бай гзогзизи». По всей вероятности, звуковая вещность, но, увы, не все ее могут услышать и осмыслить. Не случайно Николай Чуковский, сын Корнея Ивановича, в раздражении писал:

«Я утверждаю, что Хлебников — унылый бормотальщик, юродивый на грани идиотизма, зеленая скука, претенциозный гений без гениальности, услада глухих к стиху формалистов и снобов, что сквозь стихи его невозможно продраться и т. д.»

Сказано истинно по-советски: не понимаю — и поди прочь!..

Подверстаем примерчик. В 1918 году Всероссийский союз поэтов организовал на Тверской кафе «Домино». Хлебников приходил сюда каждый день в сумерках. Сидел один. Всегда один, не снимая шубы и шапки. Ему подавали обед. Он молча съедал его и уходил… Однажды в «Домино» устроили вечер Хлебникова. Он сидел на эстраде за столиком, на котором была груда рукописей. Сначала он читал громко, потом голос его стал глуше, пока не перешел в тихий лепет и невнятное бормотание. Он совсем забыл о слушателях, перебирал свои рукописи, путался в них. Читал что-то наугад, не дочитав до конца, возвращал в «родимый хаос». Вскоре зал опустел… Второй вечер был таким же неудачным и безуспешным, как и первый. С тех пор Хлебникова оставили в покое… (сборник «Встречи с прошлым», М-78).

Маяковский так определил роль Велимира: «Хлебников — не поэт для потребителя. Его нельзя читать. Хлебников — поэт для производителя». То есть поэт для поэтов. А что поэт был гением чистой воды, в этом не сомневались ни Вячеслав Иванов, ни Блок, ни Кузмин, ни Мандельштам, ни другие поэтические авторитеты. Даже Ходасевич, противник всего того, что мнилось ему «ненужной зарослью внешней непростоты», бросил звонкую фразу: «Гениальный кретин!»

Многие спорили о Хлебникове, пытаясь определить личность поэта: безумец или гений? Или гениальный безумец? Но бытовали и другие определения: «Новейший Колумб словесных Америк», «Ведун наших дней» и даже «Русский дервиш» за

пристрастие Хлебникова к постоянным путешествиям и перемещениям.

Хлебников родился в семье ученого-естественника, орнитолога и лесовода (прекрасный генный фундамент!). Однако оказался недоучившимся студентом (учился в Казани и Петербурге). Весной 1908 года в Крыму Хлебников познакомился с Вячеславом Ивановым и осенью того же года перебрался в Петербург. Стал посещать «Башню» Вячеслава Иванова, где его нарекли славянским именем Велимир. Общался со всем литературным бомондом. В письме к брату написал: «Я подмастерье знаменитого Кузмина. Он мой madister. Он написал „Подвиги Александра Македонского“. Я пишу дневник моих встреч с поэтами…»

Но в подмастерьях Хлебников долго не ходил. Он порвал с символистами и примкнул к футуристам. Участвовал в нашумевших сборниках «Садок судей» и «Пощечина общественному вкусу». Футуристы считали Хлебникова законченным мастером и своим идеологом. Не случайно, когда Хлебников умер, Маяковский написал следующие строки в некрологе: «Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе».

В оценке Маяковского все верно, кроме слова «борьба». Это Маяковский был борцом и участвовал в борьбе, а Хлебников никак не подходил на роль боевого поэта. Да, он подписывал футуристические манифесты, но сам был в стороне от литературных битв.

И как нахохленная птица,
Бывало, углублен и тих,
По-детски Хлебников глядится
В пространство замыслов своих, —

биографически точно определил Хлебникова Сергей Спасский.

Поэт-футурист Хлебников, он же математик-цифроман и шаман-заумник, лелеял грандиозные замыслы. В стихотворении «Одинокий лицедей» он писал:

И пока над Царским Селом

Лилось пенье и слезы Ахматовой,
Я, моток волшебницы разматывая,
Как сонный труп, влачился по пустыне,
Где умирала невозможность,
Усталый лицедей,
Шагая напролом…

И концовка стихотворения, написанного в конце 1921 — начале 1922 года:

И с ужасом
Я понял, что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!

«Лицедей» и «Сеятель» и шел вперед, делая смелые прорывы в словотворчестве. В труде «Наша основа» (1920) Хлебников писал: «Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка… Словотворчество — враг книжного окаменения языка… Заумный язык — значит находящийся за пределами разума… То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь рядом с разумным…»

Они голубой тихославль,
Они голубой окопад,
Они в никога улетавль,
Их крылья шумят невпопад…

Или можно привеети другое:

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами,
Что смеюнствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмехально!..

Говорить дальше о хлебниковской зауми, о его говорящих звуках не будем. Мы не лингвисты. Поговорим о другом. Хлебников с настойчивостью крота корпел над хронологическими

рядами и сцеплениями судеб и событий. Он хотел открыть Закон времени. Черпал «клювом моря чисел». И обнаружил повторяемость исторических явлений, что позволило ему периодизировать всемирную историю. Знаменитое предчувствие: «но в 534 году было покорено царство Вандалов; не следует ли ждать в 1917 году падения государства!»

Российское государство и пало в 1917 году. А дальше:

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты…

17 ноября 1920 года Хлебников с гордостью известил Ермилова в письме из Баку, что «открыл основной закон времени и думаю, что теперь так же легко предвидеть события, как считать до трех».

Однако Хлебникову не удалось составить периодическую систему событий наподобие таблицы Менделеева, хотя многое он гениально предугадал.

Ах, если бы! Если бы это!
И я свирел в свою свирель
И мир хотел в свою хотель.
Мне послушные свивались звезды
в плавный кружеток.
Я свирел в свою свирель,
выполняя мира рок…

Сколько неологизмов! Не так давно в Вене вышла книга «Словари неологизмов Хлебникова», в ней 6130 слов.

В апреле 1920 года в Харькове в городском театре Хлебникова избрали… Председателем Земного Шара. В этом действии принимали участие Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф. Хлебников новое звание принял серьезно, как и до этого другое: «В 1913 году был назначен великим гением современности, каковое звание храню и по сие время», — написал он в автобиографической заметке. Далее Хлебников предложил создать международное общество Председателей Земного Шара из 317 членов (317 — одно из выведенных Хлебниковым «магических чисел» Времени). Председатели, по мысли Хлебникова, должны были осуществлять программу мировой гармонии в «надгосударстве звезды». Еще один великий

мечтатель! Поэт-утопист! Хлебников свято верил в свою миссию провозвестника будущего. Работая над своими «законами времени», он считал, что совершает великое открытие, которое послужит на пользу всему человечеству, так же как и изобретаемый им «мировой заумный язык».

Хлебников ненавидел все суетное и мелкое. Людей делил на «изобретателей» и «приобретателей». Мечтал о времени, когда исчезнут войны, частная собственность, отчужденность человека от природы:

> Взлететь в страну из серебра,
> Стать звонким вестником добра, —

писал он в стихотворении «Конь Пржевальского» (1912).

В апреле 1917 года Хлебников опубликовал «Воззвание», в котором резко выступил против войн и государств:

> А пока, матери,
> Уносите своих детей,
> Если покажется где-нибудь государство.
> Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры
> И в глубь моря,
> Если увидите где-нибудь государство.
> Девушки и те, кто не выносит запаха мертвых,
> Падайте в обморок при слове «границы»:
> Они пахнут трупами…

Это написано Хлебниковым до создания тоталитарных государств в XX веке, до фашистской Германии, Советского Союза, Северной Кореи, Кампуччии и других государств-монстров.

Велимир Хлебников — явный «будетлянин», заочный житель лучезарного будущего. «Был он похож больше всего на длинноногую задумчивую птицу, с его привычкой стоять на одной ноге… с его внезапными отлетами… и улетами во времена будущего», — вспоминал Николай Асееев. Хлебников был человек вне бытовой. Тот же Асеев отмечал, что «все окружающие относились к нему нежно и несколько недоуменно. Действительно, нельзя было представить себе другого человека, который так мало заботился бы о себе. Он забывал о еде, забывал о холоде, о минимальных удобствах для себя в виде перчаток, галош, устройства своего быта, заработка и удовольствий. И это не потому, что он лишен был какой бы то ни было практической

сметливости или человеческих желаний. Нет, просто ему некогда было об этом заботиться. Все время свое он заполнял обдумыванием, планами, изобретениями…»

Лиля Брик подтверждала: «У Хлебникова никогда не было ни копейки, одна смена белья, брюки рваные, вместо подушки наволочка, забитая рукописями… Писал Хлебников постоянно и написанное запихивал в наволочку или терял. Когда уезжал в другой город, наволочку оставлял где попало. Бурлюк ходил за ним и подбирал, но большинство рукописей все-таки пропало. Корректуру за него всегда делал кто-нибудь, боялись дать ему в руки — обязательно все перепишет заново, и так без конца. Читать свои вещи вслух он совсем не мог, ему делалось нестерпимо скучно…»

Не случайно Хлебников дважды помещался в психиатрическую лечебницу, про себя он однажды написал так:

Я ведь такой же, сорвался я с облака.

Свое последнее путешествие Хлебников совершил в деревню Санталово Новгородской губернии весной 1922 года. Со своими неизменными мешками с рукописями Хлебников, уже больной, добрался до места назначения, но вскоре у него отнялись ноги. Скончался он в страшных мучениях, прожив всего лишь 36 лет.

Бобэоби пелись губы
Бээоми пелись взоры…

И вот губы смолкли и взоры потухли. Осталось творчество. Как точно выразился Осип Мандельштам: «Хлебников возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие».

Хлебников оказал влияние на многих поэтов, и прежде всего на Маяковского, Цветаеву, Пастернака, Мандельштама, Асеева, Заболоцкого. Как заметил Константин Ваншенкин: «Здесь брали многие». И не только рифму, но и неожиданность, ракурс взгляда, интонацию и многое другое.

«Хлебников — это магазин не только без продавца, но и без кассира. Десятилетия открытых дверей. Мастерская, склад, где лежат инструменты, материалы, детали и конструкции, целые блоки и маленькие шурупчики. И как раз именно все это — для поэтов. Полная свобода в обращении со словом, выходящая порою за пределы здравого смысла, возможного, допустимого. Но зато он приучил к мысли о смелости…» (К. Ваншенкин. ЛГ. К 100-

летию со дня рождения Велимира Хлебникова).

«Лобачевский слова» — назвал Хлебникова Юрий Тынянов. Однако этот поэт-математик был не так заумен и прост, как кажется на первый взгляд. В сверхповести «Зангези» ученики требуют:

«Зангези! Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь „Комаринскую“! Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое. Толпа хочет веселого. Что поделаешь — время послеобеденное…»

Велимир Хлебников отлично понимал вкусы и суть толпы, массы, публики. Но в отличие от Игоря Северянина не подыгрывал ей «Комаринского» и уж тем более не исполнял фокстротов.

Сегодня снова я пойду
Туда — на жизнь,
на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка
в поединок!

Одинокий лицедей-воин, он сражался! Сражался в одиночестве, ибо он один из немногих, кто «пил жизнь из чаши Моцарта».

ХОДАСЕВИЧ
Владислав Фелицианович
16(28).V.1886, Москва — 14.VI.1939, Париж

«Печальный Орфей» — так я назвал свое небольшое исследование о Ходасевиче в книге «Поцелуй от Версаче» (1998), где представлен ряд поэтов Серебряного века.

По определению Николая Гумилева, «европеец по любви к деталям красоты», Ходасевич «все-таки очень славянин по какой-то особенной равнодушной усталости и меланхолическому скептицизму».

Владимир Набоков считал, что Ходасевич — «крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней».

Действительно, в отличие от акмеистов, символистов, футуристов и прочих «истов» начала XX века у Ходасевича кристально чистый пушкинский слог и тютчевское, космическое восприятие жизни. Но при этом неизменная тревога, ожидание и печаль:

Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,

Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькая вода.

Прервутся сны, что душу душат.
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.

Кто-то определил Ходасевича как поэта одной темы — неприятия мира. Отчасти это верно. Во многих его стихах буквально клокочет протест против зла, разлитого в мире, и одновременно почти ледяное бессилие исправить все несправедливости и несуразности бытия.

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема…

Или другая вариация на ту же тему:

Счастлив, кто падает вниз головой;
Мир для него хоть на миг — а иной.

Но, как часто бывает, современники не слишком ценили Ходасевича («большое видится на расстоянье»). Адепты авангарда считали его стихи «дурно рифмованным недомоганием». Острослов князь Святополк-Мирский назвал его «любимым поэтом всех тех, кто не любит поэзию». Язвительная Зинаида Гиппиус частенько бранила его в печати. Но больше всего Ходасевичу досталось от советских критиков. Его, как эмигранта, клевали нещадно. В советской России Ходасевич проходил как «один из типичных буржуазных упадочников», как «нытик мистицизма». Один критик договорился до того, что-де ахматовы и ходасевичи «организуют психику человека в сторону поповско-

феодально-буржуазной реставрации».

Литературная энциклопедия (1975) не могла совсем замолчать крупнейшего русского поэта, но привела о Ходасевиче лишь небольшую заметку, в которой выделила его «резкое неприятие действительности, в т. ч. советской». Инкриминировали ему, что он с 1925 года перешел в «лагерь белой эмиграции, эволюционируя все больше вправо». И в конце навесили ярлык: «Вера в незыблемость культурных ценностей сочетается у него с мыслями о безысходности бытия (какая может быть безысходность, когда социализм на дворе, — читалось в подтексте), лирическая обнаженность — с чертами усталости и цинизма, лаконизм поэтических средств — с суховатостью и дидактизмом».

Вот такая оценочка. Умели унижать советские литературоведы, ничего не скажешь.

Последняя книга Ходасевича — «Поэтическое хозяйство Пушкина» — вышла в России в 1924 году. Затем долгий период замалчивания, в то время как на Западе Ходасевич издавался широко. Прорыв произошел в пору перестройки и гласности. В 1989 году вышла книга Ходасевича в большой серии поэтов, в 1991-м — большой том «Колеблемый треножник», в 1997-м собрание сочинений в четырех томах. Ходасевич вернулся…

Вернемся и мы к началу. В автобиографии, написанной в ноябре 1920 года, Владислав Ходасевич писал:

«Родился я в Москве 16 мая 1886 года. В 1904 г. окончил Московскую 3-ю гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета. Осенью 1905 г. перешел на филологический факультет. Однако политические события того времени сделали университетскую работу невозможной, а впоследствии, когда университет вновь открылся, мне пришлось вскоре покинуть его, отчасти вследствие обстоятельств личной жизни, отчасти из-за болезни (туберкулез).

Моя литературная деятельность началась в 1905 году. С тех пор я помещал свои стихи, а также критические и историко-литературные работы во многих изданиях, между прочим — в „Весах“, „Золотом руне“, „Перевале“, „Образовании“, „Современнике“, „Аполлоне“, „Северных записках“, „Русской мысли“, „Русских ведомостях“, „Утре России“, „Новой жизни“ и др.

Отдельными изданиями вышли три сборника моих стихов: „Молодость“ (1908, М.), „Счастливый дом“ (1914, М.) и „Путем зерна“ (1920, М.), а также около 15 томов переводов (с француз. и польского)…»

Далее Ходасевич указывал названия некоторых историко-

литературных работ — о Пушкине, о Державине, о графине Растопчиной и о других поэтах. Здесь следует прибавить, что за всю свою жизнь Ходасевич написал более 400 статей и рецензий, более 80 статей о своем кумире Пушкине.

А теперь кое-что добавим к автобиографии Ходасевича. В три года он научился читать, в четыре — увидел впервые балет и увлекся танцами, в шесть — сочинил первые стихи. Когда ему было лет 6–7, он самостоятельно отправился к даче Аполлона Майкова и, увидев на скамейке седовласого старца, спросил: «Вы поэт Майков?» — и, получив утвердительный ответ, сообщил: «А я Владя Ходасевич. Я очень люблю ваши стихи и даже могу прочесть наизусть: „Мой сад с каждым днем увядает…“» Майков выслушал со вниманием юного поклонника и даже поблагодарил, чем Владя очень гордился потом.

После выхода первого сборника «Молодость» в 1908 году Ходасевич встал на стезю профессионального литератора. Стихи, переводы, критика — все это приносило мало денег, но ничего иного Ходасевич делать не мог. На всю оставшуюся жизнь он был обречен на литературно-поденную деятельность. Это бремя постоянно давило на него.

Уж тяжелы мне долгие труды,
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душные лобзанья…

В своем творчестве Ходасевич ратовал за «новый классицизм», за развитие традиций Пушкина и Державина и не поддавался никаким поэтическим новациям, оставаясь верным хранителем наследия золотого века — в словаре, семантике, ритмике, звукописи.

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещенный веками,
Любовней и ревнивей берегу.

Ходасевич неуклонно шел к своей литературной славе, но тут произошла революция, которая «спутала все карты».

Как отмечал сам поэт: «Весной 1918 года началась советская служба и вечная занятость не тем, чем хочется и на что есть уменье: общая судьба всех, проживших эти годы в России».

В тяжеленных условиях Ходасевич продолжал работать, писать и переводить, переехал из голодной и холодной Москвы в Петроград, но и там оказалось не лучше. К этому прибавилось тяжелое заболевание. А дальше слово Нине Берберовой, которая стала третьей женой Владислава Ходасевича:

«…Говорили, что скоро „все“ закроется, то есть частные издательства, и „все“ перейдет в Госиздат. Говорили, что в Москве цензура еще строже, чем у нас, и в Питере скоро будет то же…. и в этой обстановке — худой и слабый физически Ходасевич внезапно начал выказывать несоответственную своему физическому состоянию энергию для нашего выезда за границу. С мая 1922 года началась выдача заграничных паспортов — одно из последствий общей политики НЭПа. И у нас на руках появились паспорта… Но мы уезжали, не думая, что навсегда. Мы уезжали, как Горький уезжал, как уехал Белый, на время, отъесться, отдохнуть немножко и потом вернуться. В жизни мы не думали, что останемся навсегда… У нас были паспорта на три года, у меня для завершения образования, а у него — для лечения, потому что в то время простого аспирина нельзя было купить в аптеке… И мы уезжали, думая, что все попритихнет, жизнь немножко образуется, восстановится — и мы вернемся…»

Не вернулись.

22 июня 1922 года Ходасевич и Берберова покинули Россию и через Ригу прибыли в Берлин. Дальше — скитания по Европе, в том числе и жизнь у Горького в Сорренто. Кстати, Ходасевича и Максима Горького связывали весьма непростые отношения. Горький мечтал, чтобы Ходасевич оставил о нем воспоминания, но при этом отмечал, что Ходасевич «действительно зол. Очень вероятно, что в нем это — одно из его достоинств, но, к сожалению, он делает из своей злобы — ремесло».

Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живем.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом…

Разве это злоба? Это позиция, занятая Ходасевичем, по отношению ко всем мерзостям и злу жизни, к трагедийной судьбе человека вообще.

В марте 1925 года советское посольство в Риме отказало Ходасевичу в продлении паспорта, предложив вернуться в Москву, где, по словам Романа Гуля, «сам Лев Давыдович Робеспьер отзывался о Ходасевиче крайне презрительно». Естественно, поэт отказался и уехал в Париж. Так он стал фактически эмигрантом.

О парижском житье-бытье Ходасевича Нина Берберова вспоминала так: «Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию „Дней“. Возвращается униженный и раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе, то здесь, то там, а чаще в „Ротонде“… Ночами Ходасевич пишет… Часто ночью он вдруг будит меня: давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать…»

О чем? О литературе. О культуре Серебряного века. О России и Москве.

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере— что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи…
Сам затерял — теперь ищи…

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

Это из сборника «Тяжелая лира» (1922), вышедшем еще в России: «…почти розановская записка, с бормочущими домашними рифмами, неожиданно короткая — как бы внезапное вторжение записной книжки в классную комнату высокой лирики» — так определил стихотворение Ходасевича Юрий Тынянов.

В эмиграции Ходасевич выпустил «Антологию еврейской поэзии», написал цикл «Европейская ночь», который вошел в «Собрание стихов», вышедшее в 1927 году. «Европейская ночь» — последний печальный аккорд лиры Ходасевича.

Берберова так отозвалась о своем бывшем муже (не он ее покинул, а она его бросила): «Пленник своей молодости, и иногда и ее раб (декораций Брюсова, выкриков Белого, туманов Блока), он проглядел многое или не разглядел многого, обуянный страшной усталостью и пессимизмом, и чувством трагического

смысла вселенной…»

Вот характерные строки — из начала стихотворения «Перед зеркалом»:

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосерого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?..

Юрий Терапиано вспоминал: «Обладая широкой эрудицией, сам усердный работник, Ходасевич требовал такой же работы и от других. В этом отношении он был беспощаден, придирчив, насмешлив…» Добавим, что среди молодых поэтов Ходасевич приобрел репутацию демона скептицизма.

Владимир Вейдле в воспоминаниях «Ходасевич издали-вблизи»: «Утверждали, что у него был „тяжелый характер“. Больше того: называли его злым, нетерпимым, мстительным. Свидетельствую: был он добр, хоть и не добродушен, и жалостлив едва ли не свыше меры. Тяжелого ничего в нем не было; характер его был не тяжел, а труден для него самого еще больше, чем для других. Трудность эта проистекала, с одной стороны, из того, что был он редкостно правдив и честен, да еще наделен, сверх своего дара, проницательным, трезвым, не склонным ни к каким иллюзиям умом, а с другой стороны, из того, что литературу принимал он нисколько не менее всерьез, чем жизнь, по крайней мере свою собственную. От многих других литераторов отличался он тем, что литература входила для него в сферу совести так же, если не больше, чем любые жизненные отношения и поступки…»

И Вейдле приводит незаконченное стихотворение Ходасевича:

Нет, не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать,
Но петь и гибнуть нам дано,
И песня с гибелью одно.
Когда и лучшие мгновенья

Мы в жертву звукам отдаем,
Что ж? Погибаем мы от пенья?
Или от гибели поем?

Гибель была недалеко. Ходасевич умер, прожив 53 года. В год смерти, в 1939 году, в Брюсселе вышла его книга воспоминаний «Некрополь». Едкая, желчная, остроумная, отточенная мемуарная проза о тех, кого он хорошо знал и с кем был близок, в частности о Горьком.

В заключение приведу сформулированное Владиславом Ходасевичем кредо из анкеты далекого 1915 года: «Из всех явлений мира я люблю только стихи, из всех людей — только поэтов».

И Ходасевич был уверен (эта уверенность прозвучала в стихотворении «Петербург», написанном 12 декабря 1925 года):

И, каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.

Чтобы понять: сбылось — не сбылось, — надо покинуть серебряный сад русской поэзии и пройтись по мичуринским аллеям советской поэзии.

ЦВЕТАЕВА
Марина Ивановна
26. IX(8.X)1892, Москва — 31.VIII.1941, Елабуга

Легче написать толстенную книгу о Цветаевой, чем жалкие 8 — 10 страниц. В книге можно проследить все повороты и обороты судьбы; подъемы, провалы и зигзаги; разобрать творчество по полочкам и по косточкам; проследить за любовными увлечениями. Наконец, вдосталь насладиться стихами. А что в краткой статейке?! Единственный выход: привести краткую, выборочную хронику жизни по годам, тем более что сама Марина Цветаева утверждала, что «хронология — ключ к пониманию».

Итак, ХРОНИКА:

1892 — рождение Марины Цветаевой в Москве, в «доме в Трехпрудном» в семье профессора Ивана Цветаева, который был целиком поглощен главным делом своей жизни — созданием в России первого музея античной и западной культуры. Через два года родилась Анастасия, и мать — Мария Александровна, урожденная Мейн, мечтала о музыкальной карьере дочерей.

1896 — с 4 лет Марина научилась читать. И не только читать.

Ее мать записывала в дневнике: «Моя четырехлетняя Маруся (так звали Марину в детстве. — *Прим. Ю.Б.*) ходит вокруг меня и все складывает слова — в рифмы. Может быть, будет — поэт?»

1899 — первая стихотворная тетрадь Марины закончена до школы лет в семь. Все детские стихи Цветаевой не сохранились. С семи лет Цветаева читала запоем, вернее, не читала, а жила книгами. Одна из любимых в раннем детстве — Ундина.

1901 — в 9 лет Марина пошла в гимназию (но уже с шести училась в музыкальной школе).

1902 — в ноябре в связи с болезнью матери семья Цветаевых уезжает за границу. За три года — три страны: Италия, Швейцария, Германия.

1906 — 6 июля умирает мать. Марине 13 лет. Детство кончилось. Марина оставляет музыкальные занятия.

Софья Липеровская, гимназическая подруга Марины, вспоминает: «…В 1906 учебном году внимание всех гимназисток привлекла новенькая пансионерка, очень живая, экспансивная девочка с пытливым взглядом серых глаз и насмешливой улыбкой тонких губ. Причесана под мальчика, с челкой, закрывающей высокий лоб. Смотрела на всех дерзко, вызывающе, не только на старших по классу, но и на учителей и классных дам.

Марина Цветаева поступила в четвертый класс, хотя по годам была ровесницей шестиклассниц. Очень способная к гуманитарным наукам, все схватывала на лету, но не хотела приложить усилий, чтобы овладеть навыками точных наук…»

1908 — с 16 лет Марина начала серьезно писать стихи. И первое увлечение. В письме к Василию Розанову она писала: «Шестнадцати лет безумно полюбила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире…»

Летом отец отправился в Германию по делам музея и взял Марину и Анастасию с собой, чтобы «не забыли немецкий». В доме, где они жили, девочек пытались приучить к ведению домашнего хозяйства. Но все тщетно. Марина все время писала стихи и готовила рукопись «Вечернего альбома».

1909 — первый живой поэт в Марининой жизни — Эллис (Лев Кобылинский) делает 17-летней Цветаевой предложение, но получает отказ. К счастью, отношения их не испортились, и Эллис ввел Марину, тогдашнюю гимназистку, в московский литературный круг.

1910 — Цветаева издает свой первый сборник «Вечерний альбом» (тираж 500 экз.). Валерий Брюсов в рецензии отметил «непосредственность» цветаевских стихов. Начало знакомства с Максимилианом Волошиным, который тоже откликнулся на

сборник и свой отзыв закончил молитвой:

Дай понять мне, Христос, что не все только тени,
Дай не тень мне обнять, наконец!

1911 — как пишет исследовательница Цветаевой Виктория Швейцер, «расколдовал ее, как полагалось в знакомой с детства сказке, прекрасный принц. Его звали Сережа Эфрон. Он нашел Марину в Коктебеле 5 мая… И вывел ее из царства теней». Сергея Эфрона впоследствии Цветаева мифологизировала, как воина и рыцаря. Американская исследовательница Джейн Таубман отмечает толерантность мужа Цветаевой, который всегда пасовал перед Мариной, уступал ей дорогу и старался не замечать ее многочисленных любовных увлечений. «Принц» всегда прощал Поэта.

1912 — в конце января, 27-го числа, состоялось венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Еще вышел в свет второй сборник стихов «Волшебный фонарь». 5 сентября родилась дочь — Ариадна. Аля.

1913 — Цветаева выпускает сборник «Из двух книг» — всего 50 стихотворений, составленных из первых двух сборников.

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

1914 — встреча с поэтессой Софьей Парнок, которая была старше Цветаевой на 9 лет. Любовь с первого взгляда. Лесбийская любовь (возможно, Цветаевой не хватало материнской любви и нежности). Софье Парнок посвящен цикл стихов «Подруга».

Повторю в канун разлуки,
Под конец любви,
Что любила эти руки
Властные твои…

Цветаева и Парнок расстались с чувством взаимной горечи.

1915 — Цветаева пишет стихи, посвященные Анне Ахматовой, объекту ее любви и соперничества:

В утренний синий час
— Кажется, четверть пятого, —
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.

Цветаева пылала к Ахматовой любовью, а та «была к ней холодна» (Адамович). Две звезды XX века — Ахматова и Цветаева были полярны. Ариадна Эфрон по этому поводу писала: «… Марина Цветаева была безмерна, Анна Ахматова — гармонична; отсюда разница их (творческого) отношения друг к другу. Безмерность одной принимала (и любила) гармоничность другой, ну а гармоничность не способна воспринимать безмерность; это ведь немножко не comme if faut с точки зрения гармонии».

1916 — 10 января Осип Мандельштам дарит Марине Цветаевой свой сборник «Камень». «Дружба с Цветаевой, — отмечала Надежда Мандельштам, — по-моему, сыграла огромную роль в жизни и работе Мандельштама… Это был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Цветаева, подарив ему дружбу в Москве, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы…»

Ты запрокидываешь голову
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль! —

восклицала Цветаева. В том же 1916 году Цветаева много пишет. Основные темы ее творчества: любовь, Россия, поэзия.

1917 — Октябрьскую революцию Марина Цветаева не приняла, для нее революция предстала в образе повальной пьяной оргии. В ее стихах возникает цыганская тема. Пишет о

Стеньке Разине.

Милые спутники, делившие с нами ночлег!
Версты, и версты, и версты, и черный хлеб…

1918 — лихолетье. Лишившись значительного состояния, полученного в наследство от родителей, Цветаева вынуждена была пойти на службу — 13 ноября (как она пишет: «Хорош день для начала!»). «Странная служба! Приходишь, упираешься локтями в стол (кулаками в скулы) и ломаешь себе голову: чем бы таким заняться: чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, я замечаю в нем злобу». Полгода прослужила Цветаева в Информационном отделе Комиссариата по делам национальностей в недоумении: «Не понимаю, что от меня хотят». И бросила эту никчемную работу: «Великая клятва: не буду служить. Никогда. Хоть бы умерла».

Отношение к гражданской войне выразила в стихах:

Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воюющую землю.

1919 — «Москва, чумной, девятнадцатый год…» И в это время Цветаева открыла для себя театр, пишет для театра, в частности, пьесу «Феникс» о Казанове. Третья студия Вахтангова. Увлечение Юрием Завадским — «будет легонькая стопка восхитительных стихов». И еще одна веха — Сонечка (Софья Голлидэй) — подробности в «Повести о Сонечке». И все это на фоне крайне тяжелого быта. Осенью в отчаянье Цветаева отдала дочерей в Кунцевский приют, но вскоре забрала заболевшую Ариадну. Вторая дочь Ирина умерла в приюте 2 февраля 1920 года.

«Внешне Цветаева сильно изменилась за эти годы. Голод и заботы не красят никого. Пропал ее замечательный румянец, от которого она так страдала в юности, появился землисто-смуглый цвет лица, оставшийся навсегда. Появились первые морщинки, юношеская стройность теперь соединилась с худобой. От прежней Марины остались ее золотистые волосы, зеленые глаза и летящая походка…» (В. Швейцер. «Быт и бытие Марины Цветаевой»).

1920 — Цветаева пишет горькие строки:

Сижу без света и без хлеба
И без воды…

Однако стихи продолжает писать — цикл «Лебединый Стан».

1921 — обращаясь к новому году, пишет:

С Новым годам, Лебединый Стан!
Славные обломки!
С Новым годом — по чужим местам —
Воины с котомкой!..

Белая армия разгромлена, ее воины рассеялись по Европе. Ничего неизвестно о муже. Цветаева ищет его, — он объявился в Праге. И еще — короткая, но интенсивная дружба с Евгением Ланном.

1922 — отъезд из России 11 мая. Багажа почти нет: за годы революции все было сношено, продано или сломано. Главное: сундучок с рукописями. Илья Эренбург устроил Цветаеву с дочерью в Берлине в русский пансион. А далее, в августе — Цветаева отправилась в Прагу. Началась жизнь в эмиграции. В Берлине были изданы «Стихи к Блоку», «Разлука» (1922), «Ремесло», «Психея. Романтика» (1923), поэма-сказка «Молодец» (1924)…

На Запад Цветаева приехала знаменитым поэтом, однако сборник «Ремесло» был холодно встречен эмигрантской критикой. Хотя именно «Ремесло» знаменует начало более строгой, более организованной и менее интимной поэтики. Оценил «Ремесло» лишь Андрей Белый, который признался в письме к Цветаевой, что «давно я не имел такого эстетического наслаждения».

1923 — активная переписка с Борисом Пастернаком, в котором Цветаева открыла «своего величайшего современника». Поиск родственной души: критик Александр Бахрах и приятель Сергея Эфрона Константин Родзевич, записной сердцеед, «маленький Казанова». С Родзевичем бурный роман, который породил цветаевские шедевры «Поэму Горы» и «Поэму Конца».

Звук… ну как будто бы кто-то просто,
Ну… плачь вблизи?
Горе горевала о том, что врозь нам
Вниз, по такой грязи…

1924 — Цветаева и Эфрон оставили Прагу и переехали в пригород. Марина закончила «Поэму Конца» и вновь вернулась к своей трагедии «Тезей». По воспоминаниям чешского писателя Франтишека Кубка, Цветаева «была настолько лирична, что и в разговорах совершенно неличных постоянно говорила о себе…»

1925 — 1 февраля родился сын Георгий (домашнее имя — Мур). Пересуды: от кого ребенок? Мур был трудным ребенком, но Цветаева его безмерно любила и приносила ему в жертву все, вплоть до работы.

1 ноября Цветаева с детьми выехала во Францию. Цветаева ехала в Париж не за славой, а за деньгами, чтобы упрочить положение семьи, однако надеждам не суждено было сбыться.

1926 — 6 февраля состоялся первый творческий вечер Цветаевой, для которого она просила свою приятельницу Тескову достать ей неновое платье у какой-нибудь богатой дамы. Как писал в письме Сергей Эфрон о вечере: «…Прошел он с исключительным успехом, несмотря на резкое недоброжелательство к Марине со стороны почти всех русских и еврейских барынь…»

Весною Цветаева вступает в переписку с австрийским поэтом Райнером Рильке, «германским Орфеем». Образовался треугольник — эпистолярный роман на троих: Цветаева — Рильке — Пастернак.

В предложенной Пастернаком анкете для предполагавшегося издания библиографического «Словаря писателей XX века» Цветаева писала: «…Любимые веши в мире: музыка, природа, стихи, одиночество. Полное равнодушие к общественности, театру, пластическим искусствам, зрительности. Чувство собственности ограничивается детьми и тетрадями…»

1927 — в Медоне — «Марина мыла посуду, обливаясь слезами, и писала стихи» (Анастасия Цветаева). «В доме у них была поразительная неряшливость и запущенность, какая-то недамскость. У нее в этом был какой-то запал и мазохизм: вот какая я…» (Алексей Эйснер).

1928 — вышел сборник стихов «После России. 1922–1925». Это была единственная книга, которую Цветаевой удалось выпустить за 14 лет парижской жизни. Раскупалась книга плохо, вызвала массу отрицательных отзывов. Сторонники классической стройности и строгости упрекали Цветаеву в словесной и эмоциональной расточительности, анархичности, избыточной страстности, слишком «прерывистом дыхании» и «револьверной дроби» размеров и, вообще, посчитали «природный романтизм» Цветаевой вышедшим из моды. Похвалили сборник лишь немногие, среди них — Ходасевич.

Как отмечал Петр Сувчинский, «с парижской группой поэтов она, конечно, не сошлась. Георгий Иванов — хороший поэт, но внутренне очень бедный. Адамович ее не любил, он тоже тогда был главный критик и мэтр, а она была этим возмущена».

Марк Слоним, один из редакторов «Воли России», где

печаталась Цветаева, вспоминал: «Поэты не ходили слушать Цветаеву. В этом виноваты поэты „парижской школы“. Это были меланхолики, акмеисты, а она — полная жизни и напора. Она не могла им нравиться. Адамович ее совсем не ценил. Бунин считал ее „растрепанной“, только Ходасевич ее ценил».

В Париже, как в Праге: «Здесь я ненужна. Там я невозможна». Там — это Россия. Слишком красная для белых, слишком белая для красных.

1931 — в заметках «Моя судьба — как поэта» (3 июня) Цветаева констатировала: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не-эмигрант, что я по духу, т. е. по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда. А содержания моего она, из-за гомеричности размеров — не узнала. Здесь преуспевает только погашенное и — странно бы ждать иного! Еще — в полном отсутствии любящих мои стихи, в отсутствии их в моей жизни дней, некому прочесть, некого спросить, не с кем порадоваться. Все (немногие) заняты — другим. В диком творческом одиночестве…»

1933 — среди прочих стихов цикл «Стол»:

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что ствол
Отдав мне, чтоб стать — столом,
Остался — живым стволом!..

1934 — одно из самых знаменитых стихотворений Цветаевой — «Тоска по Родине». С парадоксальной концовкой:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина…

1935 — горькое признание в письме к Вере Буниной: «За последние годы я очень мало писала стихов. Тем, что у меня их не брали, — меня заставили писать прозу… Наконец — я испугалась. А что если я — умру? Что же от этих лет — останется?..»

1936 — эмоциональная переписка с молодым поэтом Анатолием Штейгером, но, увы, в конце концов он ясно дал понять Цветаевой, что не нуждается ни в ней, ни в ее заботе.

1937 — 15 марта Аля уезжает в Москву… В ночь на 5 сентября убийство советского невозвращенца Игнатия Рейсса, в котором был замешан Сергей Эфрон. Эфрон исчезает. Цветаеву

вызывают к следователю. Она не в курсе дела и пытается читать Расина и Корнеля. Ее отпускают, считая сумасшедшей…

1938 — подготовка к отъезду на родину, но Цветаева понимает, что не все рукописи можно везти с собою: «Я как кукушка рассовала свои детища по чужим гнездам», — признавалась она.

1939 — 18 июня Марина Цветаева вместе с 14-летним сыном на пароходе «Мария Ульянова», везшем детей испанцев, вернулась на родину. Уезжала из России, вернулась в СССР. Для советских властей Цветаева не была ни великим поэтом, ни даже заметным, а только женой секретного агента, плохо выполнившего свою миссию, женой, чье дальнейшее присутствие на Западе могло стать опасным.

С 19 июня по 10 октября, в течение 145 дней Цветаева проживала в Болшево, на даче, предоставленной НКВД, то есть под надзором. Дача была тесная, обстановка тяжелая, настроение ужасное. 27 августа, в ночь, арестовали Алю — Ариадна Эфрон обвинялась по статье 58-«б»: шпионаж, и получила 8 лет лагерей. 10 октября арестовали Сергея Эфрона (он был расстрелян через два года). Цветаева осталась одна с Муром…

Одна из записей Цветаевой болшевского периода: «Живу без бумаг, газет, не видя никого… Пирожные и ананасы, от этого не легче… Мое одиночество, посудная вода и слезы. Обертон, ундертон всего — жуть…» Эпоха Большого Террора.

1940 — Цветаева пишет отчаянные письма-прошения. Об Эфроне: «это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности»… отпустите, «умоляю!» Еще письмо: «Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешите мне просимое свидание…» Никакого свидания, да и вообще, кто такая Цветаева для советской власти, что она мельтешит под ногами?!..

Надо на что-то жить, и Цветаева хочет издать книгу — сборник стихотворений и поэм 1920–1940 годов, но при этом она не идет ни на какие компромиссы и хочет издать книгу именно так, как она ее составила. Естественно, книгу не издают. Основания сформулировал критик Корнелий Зелинский: «…поэт почти два десятилетия (и какие десятилетия!) был вне родины, вне СССР. Он был в окружении врагов…» Да, и в стихах — «пустота, бессодержательность».

1941 — несколько встреч с Анной Ахматовой и Арсением Тарковским. «У меня нет друзей, а без них — гибель». Из прежних знакомых Цветаевой ее поддержал лишь Пастернак. Он просил Фадеева принять Цветаеву в Союз писателей или хотя бы в члены Литфонда, что дало бы ей материальные преимущества, но

получил отказ, ее приняли лишь в групком литераторов. Постоянного жилья не было. Кое-какие деньги давали переводы. А дальше — война, эвакуация, безысходность и… веревка. Предсмертные записки: «Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет…» И Муру: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжко больна, это уже не я…»

Самоубийство Марины Цветаевой произошло 31 августа. До полных 49 лет оставалось 38 дней.

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить
С волками площадей —

так писала ранее Цветаева, в Елабуге за поэтическим словом последовало практическое действие:

На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

Вот такую жизнь прожила Марина Цветаева — «единственная в своем роде в подлунном мире», по определению Иосифа Бродского. На Западе она говорила: «В России я поэт без книг, здесь поэт без читателей». Возвращение к читателям России произошло в 1956 году — в альманахе «Литературная Москва» были напечатаны 7 стихотворений Цветаевой. С 1961 года пошли сборники избранных произведений. Ну, а еще позднее — хлынул цветаевский книжный поток с гигантскими тиражами.

Творческое наследие Цветаевой: более 800 лирических стихотворений, 17 поэм, 8 пьес, около 50 прозаических вещей, свыше 1000 писем… В «Поэме Конца» есть такие строчки:

— Помилуйте, это — дом?
— Дом — в сердце моем. — Словесность!

ЧАРСКАЯ
Лидия Алексеевна ВОРОНОВА,
по мужу — ЧУРИЛОВА
1875, Петербург — 18.III.1937, поселок Чкаловское Краснодарского края

Серебряный век породил массу эстетной, рафинированной литературы. Ею наслаждались люди в основном образованные, хорошо ориентирующиеся в истории, религии и искусстве. Ну, а публика помоложе и попроще, и в частности женщины, — что читали они? Вербицкую и Чарскую — именно эти две писательницы стояли у истоков массовой литературы. О Вербицкой мы уже говорили, настал черед Чарской.

Родилась Чарская в семье военного. Закончила Павловский женский институт. Увлеклась театром и после окончания драматических курсов в 1898 году была принята в труппу Александрийского театра, на сцене которого играла более 20 лет, в основном вторые-третьи роли, так и не сумев покорить петербургского зрителя. Но Чарская покорила читателя, и не только петербургского, а российского. В 1902 году вышла ее первая книга «Записки институтки», — и сразу бешеный успех, книга стала, как мы сейчас говорим, бестселлером. Издатель Маврикий Вольф мгновенно понял, что книги Чарской — это золотая жила, и заключил с писательницей выгодный для себя договор: львиную долю прибыли себе и малую часть — Чарской.

Всего Чарская написала около 80 книг — романы, повести, рассказы и даже стихи, последние выходили у нее весьма слабыми и сентиментальными:

Вышла сиротинка ранним утром в поле,
Много увидала цветиков на воле,
Цветиков душистых: розовую кашку,
Синюю фиалку, белую ромашку…

Проза была явно лучше за счет увлекательного сюжета и повышенной эмоциональности. В основном книги Чарской были рассчитаны на малышей и юношество. Особенно удавалось Чарской описание жизни воспитанниц закрытых учебных заведений и гимназисток — «Княжна Джаваха» (1903), «Люда Влассовская» (1904), «Записки сиротки» (1907) и другие книги Чарской были рекомендованы Министерством народного образования для библиотек школ и гимназий. «Обожаемая Лидия Алексеевна» была кумиром гимназисток, а ее персонажи — смелая и гордая Нина Джаваха (кстати, Марина Цветаева воспела ее в одном из своих стихотворений) и мягкая Люда Влассовская — ходили в героях у подрастающего поколения.

Профессиональные критики недоумевали: «За что дети любят и обожают Чарскую?» «Обожание книг Чарской — только грозный признак того, что мы на распутьи…», — бил в набат один из критиков. Но больше всего досталось писательнице от Корнея Чуковского, который выступил в сентябре 1912 года в газете «Речь» с разгромной статьей по поводу книг Чарской и назвал ее «гением пошлости». Справедливо ругая писательницу за отдельные стилистические огрехи и определенную банальность сюжетов, за обилие поцелуев, слез и обмороков, Чуковский все же не ответил на главный вопрос, почему Чарскую читали взахлеб? А ответ был прост: книги Чарской затрагивали самые чувствительные струны в восприятии юных читательниц, заставляя их сопереживать и сострадать героям книг, подражать их искренности, доброте, вместе с ними мечтать, любить и верить, что добро обязательно победит зло. Чарская писала добрые книги и в этом был корень их популярности.

Октябрьская революция поставила крест на доброте. Книги Чарской были признаны социально вредными. Затем были запрещены и изъяты из библиотек. Однако еще долго наиболее любимые повести Чарской, переписанные от руки, ходили среди читателей.

Сама писательница, больная туберкулезом, крайне бедствовала, и сердобольный Корней Чуковский, простив ее

прежние «грехи», включил Чарскую в список писателей, нуждающихся в помощи, вместе с Сологубом, Ивановым-Разумником, Горнфельдом, Ахматовой и другими. На дворе стоял 1924 год.

Увы, Чарской уже никто не мог помочь. Кое-как она перебивалась детскими рассказами в журналах «Чиж» и «Еж», но печатали эти рассказы только под псевдонимом: Чарская для советской литературы не существовала. В одной из последних рецензий на ее творчество Федор Сологуб писал: «Чарская имела большую дерзость сказать, что дети не нуждаются ни в воспитании, ни в исправлении от взрослых…»

Но именно в этом и был заключен литературный «криминал»: в новой России дети должны были строго слушаться старших, сбиваться в пионерские стаи и шагать в едином строю, звонко распевая песню: «Взвейтесь кострами, синие ночи. Мы — пионеры — дети рабочих…»

Юная княжна Джаваха, которая так понравилась Марине Цветаевой, вынуждена была сойти с исторической сцены и уступить место двум Павлам — Павлику Морозову и Павке Корчагину. Именно об этом я с грустью подумал, когда случайно на горе в районе курортного городка Адлер столкнулся с одиноким памятником Чарской — каменный могильный четырехугольник, заросший травой и заброшенный людьми. Правда, было это в 1975 году. Может быть, сейчас все изменилось и время пошло вспять — от следователя Каменской к княжне Джавахе? Но это вряд ли…

САША ЧЁРНЫЙ
Александр Михайлович ГЛИКБЕРГ
1(13).X.1880, Одесса — 5.VIII.1932, Ла Фавьер, Франция

В русской литературе есть несколько цветных фамилий-псевдонимов: Андрей Белый, Саша Черный, Саша Красный… Белый — крупнейший поэт Серебряного века. Красный — литератор советского времени. Ну, а Черный? И почему Александр Гликберг (а эта фамилия означает «Счастливая гора») избрал именно мрачный цвет, черноту бездны?

В литературном прейскуранте
Я занесен на скорбный лист.
«Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадежный пессимист».

А раз пессимист, то ко всему относится подозрительно, все видит в черном цвете, — отсюда и Саша Черный. Он — сатирик даже не по профессии, а по мировоззрению, по своему взгляду на

жизнь. Характерна автоэпиграмма:

Как свинцовою доской,
Негодуя и любя,
Бьет рифмованной тоской
Дальних, ближних и себя…

А тут еще определенный исторический период. Какое время — таков и поэт.

Василий Жуковский
Любил романтический рокот баллад, —
Наш век не таковский,
Сплошной спотыкач заменил элегический лад… —

замечает Саша Черный в «Балладе о русском чудаке».

Саша Черный — замечательный русский сатирик начала XX века. Его появление Александр Амфитеатров приветствовал такими словами: «Такого оригинального, смелого, свободного, буйного лирика-юмориста, такой мрачно-язвительной, комически-унылой, смешно-свирепой стихотворной маски не появлялось на российском Парнасе со времен почти что незапамятных» (1910).

Доминирующая тема Саши Черного — разоблачение пошлости быта, поглотившего бытие. Он замечал все: людские промахи, ошибки, заблуждения и особенно человеческую глупость и тупость, — и жалил как оса.

Каждый день выходят книги:
Драмы, повести, стихи —
Напомаженные миги
Из житейской чепухи.

В стихотворении «Чепуха» он зло высмеял политическую ситуацию в России 1905 года, все эти политические мечтания («Нам свободы не нужны, а рейтузы с кантом»), интриги, вихляния и кульбиты и заканчивает приговором:

Все на свете чепуха,
Остальное враки…

Отечество жило в ожидании радикальных перемен и поэтому

—

От российской чепухи
Черепа слетают.

А теперь к истокам Саши Черного. Он родился в веселом городе Одессе в семье провизора-еврея. Несчастливое детство. Нищета. Сбежал в 15 лет из дома. Одно время жил в Житомире. Сотрудничал в газете «Волынский вестник». Обуреваемый честолюбивыми планами, в 1905 году — в 25 лет — перебирается в Петербург. В литературный круг его ввела жена Мария Васильева, дама весьма энергичная, ну, а дальше сказался его природный талант. Казалось бы, судьба уготовила ему стать заурядным «Надсоном из Житомира», но он преодолел самого себя и поднялся в более высокий ряд, встал вровень с предыдущими сатириками — Козьмой Прутковым, Минаевым и Курочкиным (а может, и выше).

Революционное брожение в русском обществе достигло апогея. Кастрюля закипела и накипь сдвинула крышку — тем для сатирика было хоть отбавляй. Началось золотое время для пера Саши Черного: смута, разлад, эпоха, когда «люди ноют, разлагаются, дичают». Россию 1908 года Саша Черный рисует в стихотворении «Желтый дом»:

Семья — ералаш, а знакомые — нытики,
Смешной карнавал мелюзги,
От службы, от дружбы, от прелой политики
Безмерно устали мозги…

…Каждый день по ложке керосина
Пьем отраву тусклых мелочей…
Под разврат бессмысленных речей
Человек тупеет, как скотина…

Есть парламент, нет? Бог весть.
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска — я знаю — есть,
И бессилье гнева есть…
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть…

1908–1911 годы были звездным часом Саши Черного на страницах «Сатирикона». По свидетельству Чуковского, «получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихов Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть».

Помимо «Сатирикона», Саша Черный печатался в других изданиях. В 1906 году вышел первый сборник «Разные мотивы», в 1910-м — книга «Сатиры», в 1911-м — «Сатиры и лирика». Своим «Сатирам» Саша Черный предпослал афоризм Сенеки: «Избежать всего нельзя, но можно презирать все это». Он и презирал, и клеймил, и ненавидел. «А ненавидеть он умел мастерски», — замечал Корней Чуковский. Однако весь этот его «негатив» был обряжен в комические одежды и все подано на грани бурлеска:

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!

Смех среди руин. «Три собачки во дворе разыграли кабаре» — это из области быта, а вот и политика:

Четыре нравственных урода —
Один шпион и три осла —
Назвались ради ремесла
«Союзом русского народа».

Октябрьскую революцию Саша Черный не принял и сотрудничать с новой властью не стал. Сначала уехал в Литву, затем весною 1920 года в Берлин, далее — Рим. Работы найти не мог, пришлось продать библиотеку: «В Берлине бросил самовар, а в Риме — книги… Жизнь — могила. Я ж не советский комиссар — на перевозку не хватило!» В своей излюбленной манере в 1924 году написал историю Ленина:

…А потом? А потом, как известно,
Наступили кремлевские дни:
Добрый вождь гениально и честно
Загасил все живые огни…

В Берлине в 1923 году Черный на свои средства издал третью книгу сатир «Жажда». На следующий год он перебирается в Париж и сотрудничает в эмигрантских изданиях: «Русской

газете», журнале «Иллюстрированная Россия». Пишет поэму «Кому в эмиграции жить хорошо». Легко догадаться, что ни наборщику, ни конторщику, ни уборщице, ни таксисту, — никому из простого люда. Пишет детские стихи, пытаясь забыться от действительности на «детском острове». Не получилось…

Анна Ахматова как-то сказала Лидии Чуковской: «Вы заметили, что с ними всеми происходит в эмиграции? Саша Черный жил в Петербурге, хуже города на свете не было. Пошлость, мещанство, скука. Он уехал. И оказалось, что Петербург — это рай».

Из Парижа Саша Черный сбежал на юг Франции, там в 1929 году в поселке Ле Фавьер купил домик, почти карточный, но времени на жизнь оказалось в обрез. Поэт понервничал из-за пожара и… скончался в возрасте 51 года (до 52 лет не хватило двух месяцев). В некрологе парижских «Последних новостей» говорилось, что у него была седая голова, молодой взгляд черных глаз и застенчивая улыбка.

Сбылись пророческие слова Саши Черного:

> Земная жизнь ведь беженский этап.
> Лишь в вечности устроимся мы прочно.

Узнав о его смерти, Куприн написал: «Саша Черный жив, и переживет всех нас, и наших внуков, и правнуков, и будет жить еще много сотен лет, ибо сделанное им сделано навеки и обвеяно чистым юмором, который — лучшая гарантия для бессмертия».

Пока прогноз сбывается: книги Саши Черного издаются и переиздаются. Сочетание насмешника и ядовитого сатирика с нежным и почти тихим лириком удивительно современно — колючесть и благость, бунтарство и кротость. Сатирические стрелы и лирические вздохи. Еще Куприн подметил, что «рядом с сатирой расцветают у Саши Черного скромные, благоуханные, прекрасные цветы чистого и мягкого лиризма».

И все же лиризм Саши Черного на втором плане, а на первом — его политическо-общественные инвективы:

> Что будет? Опять соберутся Гучковы
> И мелочи будут, скучая, жевать,
> А мелочи будут сплетаться в оковы,
> И их никому не прервать…

Эти строки из стихотворения «Опять» (1908). Пройдет много десятилетий, и Виктор Черномырдин признается: «Хотели, как

лучше, а вышло, как всегда». То есть пресловутое «Опять». Кажинный раз на эфтом месте!..

Вечные попытки исправить российскую жизнь, споры по этому поводу, неудовольствие, брань, тоска… И так от всего этого хочется покоя. И как саркастически писал Саша Черный:

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Пересматривать эстампы
И по клавишам бренчать, —
Щекоча мозги и чувство
Обаяньем красоты,
Лить душистый мед искусства
В бездну русской красоты…

Или другой предлагаемый сатириком вариант:

Сжечь корабли и впереди, и сзади,
Лечь на кровать, не глядя ни на что,
Уснуть без снов и, любопытства ради,
Проснуться лет чрез сто.

Это написано в 1909 году. Проснулся бы Саша Черный сегодня — и что?.. Оставим вопрос без ответа. Вообще надо отметить, что Саша Черный, когда мягко, а когда зло, высмеивал российскую ментальность: бесконечно мечтать, мало что делать практически и постоянно быть недовольным своей жизнью. Вот почему «в буфете дребезжат сочувственно стаканы и сырость капает слезами с потолка». Вечные мечты о молочных реках и кисельных берегах. И о порядке — «вот приедет барин, барин нас рассудит» (это уже Некрасов) и т. д.

О, если б в боковом кармане
Немного денег завелось, —
Давно б исчез в морском тумане
С российским знаменем «авось»…

Авось, небось и кабы… И еще игра в бирюльки — «Бирюльки» — так назвал свое стихотворение Саша Черный в 1910 году и подвел итог:

«Скучно жить на белом свете!» — это Гоголем открыто,

До него же — Соломоном, а сейчас — хотя бы мной.

А женщины? А любовь?

Это было в провинции, в страшной глуши.
Я имел для души
Дантистку с телом белее известки и мела,
А для тела —
Модистку с удивительно нежной душой…

Не приемля мещанского благополучия, Саша Черный отрицал и мещанскую любовь:

Мимо шлялись пары пресных обезьян
И почти у каждой пары был роман…

И еще про определенную категорию женщин:

На губах две сосиски пунцевой помады,
Сиз, как слива, напудренный нос,
Декольте — модный плоский поднос,
А глаза — две ночные шарады,
Мышеловки для встречных мужчин, —
Эротический сплин все познавшей наяды…

Журналист и критик Петр Пильский говорил о Саше Черном: «В этом тихом с виду человеке жила огненная злоба». Но и какая тихая и мерцающая печаль! Вот стихотворение «Меланхолическое» (1932) — воспоминание о юности и о знакомых девушках — житомирских цирцеях:

…Живы ль нынче те Цирцеи?
Может быть, сегодня утром
У прилавка на базаре,
Покупая сноп сирени,
Наступил я им на туфли,
Но в изгнанье эмигрантском
Мы друг друга не узнали?..
Потому что только старка
С каждым годом все душистей,
Все забористей и крепче, —
А Цирцеи и поэты…

Вы видали куст сирени
В средних числах ноября?

Саша Черный продолжил старый разговор, который некогда вели Пушкин, Лермонтов и Некрасов, между критиком, писателем и издателем (у всех своя правда и своя головная боль). Критик в ответ на жалобу писателя говорит:

Коллега, вы сгустили краски.
Что говорить — капитализм
Родил рекламу и цинизм
И музу нарядил в подвязки.
Но чем издатель виноват?
Он только раб условий века.
Нелепо ждать ведь, чтоб от чека
Струился тонкий аромат.
В универсальном магазине
Должно быть все на всякий вкус.
А «Спальня ветреной графини»
Всегда для рынка верный плюс…

Вполне злободневно. Сегодня в «спальне ветреной графини» и продохнуть нельзя: все столпились… все жаждут секса и развлечений… поголовный стриптиз… Сегодня… ах, это сегодня… в минуту отчаянья вспоминается обращение Саши Черного:

Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?..

И финальные строки. Литературный балаганчик Саши Черного — это своеобразный выпуск пара. Прочитал и облегчил тем душу — перефраз старого-престарого изречения.

ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК
Елизавета Ивановна ДМИТРИЕВА,
в замужестве — ВАСИЛЬЕВА
31. III(12.IV).1887, Петербург — 5.XII.1928, Ташкент

Алексей Толстой назвал Черубину «одной из самых фантастических и печальных фигур в русской поэзии». Ее литературный взлет начался с игривой шутки, а кончился горькой печалью. А произошло это так.

В августе 1909 года в «Аполлон» пришло письмо: неизвестная доселе поэтесса предлагала Сергею Маковскому, редактору журнала, свои стихи, исполненные с изысканной грацией. Так явилась миру Черубина де Габриак, испанка 18 лет, ревностная католичка, с бронзовыми волосами. Поэтесса призывала:

Люби меня! Я всем близка.
О, уступи моей любовной порче,
Я, как миндаль, смертельна и горька,

Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.

Маковский был в восхищении. Его пленили не только стихи, но и сам антураж посланий: письма приходили на роскошной, с траурной каймой, бумаге, пропитанной тонкими духами и переложенной различными засушенными травками.

И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Как тонко имя Черубины?

Все «аполлоновцы» были влюблены в загадочную Черубину. Вячеслав Иванов с восторгом говорил о ее «мистическом эросе», Константин Сомов мечтал написать ее портрет. В конце концов мистификация раскрылась: под маской Черубины скрывалась переводчица и поэтесса Елизавета Дмитриева, невысокая полная темноволосая и прихрамывающая (последствие туберкулеза) женщина, и, разумеется, совсем не испанка. Придя на квартиру Маковского, Дмитриева обратилась к собравшимся поэтам с взволнованно-сбивчивым монологом:

«Сегодня, с минуты, когда я услышала от вас, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя: умерла та единственная, выдуманная мною „я“, которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя…»

Затем выяснилось, что весь этот розыгрыш со сменой имени придумал Максимилиан Волошин, который летом 1909 года в Коктебеле обратил внимание на скромную студентку университета, изучавшую старофранцузскую и староиспанскую литературу, Лизу Дмитриеву. Она мечтала напечататься в престижном «Аполлоне», но не знала, как открыть туда дверь. И тогда на помощь пришел Волошин, большой выдумщик и фантазер.

Задуманная Волошиным мистификация имела под собой основание. Елизавета о своей семье говорила так: «Небогатая дворянская семья. Много традиций, мечтаний о прошлом и беспомощность в настоящем…» Любимые ее герои с детства — Дон Кихот и Дульцинея Тобосская, Прекрасная Дама «Рыцаря печального образа». Дмитриева получила блестящее образование, училась в Сорбонне и была пропитана духом испанской литературы. Марина Цветаева отмечала, что у Дмитриевой был

«нескромный дар» и что Волошин дал этому дару «землю, то есть поприще». Другими словами, на дарованной ей испанской земле Черубина удивила всех исполнением поэтического фламенко.

Когда все открылось, в возникший скандал был вовлечен Николай Гумилев. На черубининой почве произошла ссора Гумилева с Волошиным, которая закончилась 22 ноября 1909 года дуэлью, к счастью, не роковой.

У Дмитриевой с Гумилевым был роман со «звонкой страстью». 25 мая все того же 1909 года они вместе отправились на поезде в Коктебель, к Волошину.

«Все путешествие туда, — вспоминала Дмитриева, — я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его „Гумми“, не любила имени „Николай“, а он меня, как зовут дома, „Лиля“ — „имя похоже на серебристый колокольчик“, как говорил он…».

Весь июнь они провели вместе в Коктебеле: вели литературные беседы, купались, прогуливались в горах и предавались любви. А уж потом, в Петербурге, произошла ссора Гумилева с Волошиным. Но до этого в Коктебеле небо было безоблачным и ярким.

Да, целовала и знала
губ твоих сладких след,
губы губам отдавала,
греха тут нет.

От поцелуев губы
только алей и нежней… —

писала Дмитриева позднее и при этом вздыхала:

Погас уже четыре года
огонь твоих серых глаз.
Слаще вина и меда
был нашей встречи час.

Но, как это часто бывает: не сладилось — не слюбилось. В декабре 1909 года Гумилев сделал предложение Анне Ахматовой, и она его приняла. А Лиля, хоть и вышла в 1911 году замуж за инженера Васильева, забыть Гумилева не смогла. «Почему я так мучила Николая Степановича? — терзалась она. — Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже

любовь. Во мне есть две души, и одна из них, верно, любила одного, другая другого… О, зачем они пришли и ушли в одно время!.. До самой смерти Николая Степановича я не могла читать его стихов, и если брала книгу — плакала весь день… Две вещи в мире для меня всегда были самыми главными — стихи и любовь. И это была плата за боль, причиненную Николаю Степановичу: у меня были отняты и любовь, и стихи. Остались лишь призраки их».

Возвращаясь к творчеству Дмитриевой-Васильевой, следует напомнить, что в одном из писем к Волошину она признавалась: «Черубина для меня никогда не была игрой». И в другом — «…все же корни мои в „Черубине“ глубже, чем я думала». Однако время Черубины неумолимо прошло. Экс-Черубина познакомилась с Самуилом Маршаком, и он увлек ее в детскую литературу. В 1922 году вышел их совместный сборник «Театр для детей».

А затем пошли и вовсе недетские времена, а взрослые игры карательного органа по имени ГПУ. Елизавете Ивановне припомнили ее приверженность антропософии и ее поездки до революции по заграницам. Последовали обыск, арест и высылка по этапу на Урал. Все творчество ее было разом перечеркнуто, и в издательстве «Узел» был рассыпан уже сверстанный сборник стихов «Вереск».

В ссылке в Ташкенте Дмитриева-Васильева написала цикл стихотворений «Домик под грушевым деревом» от лица вымышленного поэта Ли Сян Цзы — последняя, прощальная мистификация Черубины.

Она мечтала вернуться в любимый ею Петербург.

Как любили мы город наш серый,
как гордились мы русским стихом…
Так не будем обычною мерой
измерять необычный излом.

Мне пустынная помнится дамба,
сколько раз, проезжая по ней,
восхищались мы гибкостью ямба
или тем, как напевен хорей.

Накануне мучительной драмы…
Трудно вспомнить… Был вечер… И вскачь
над канавкой из Пиковой Дамы
пролетел петербургский лихач…

Ее мучили видения прошлого и болезнь (рак печени). Незадолго до смерти она написала:

> Ты посмотри (я так томлюсь в пустыне
> вдали от милых мест…):
> вода в Неве еще осталась синей?
> У Ангела из рук еще не отнят крест?

Больная и измученная Черубина умерла в больнице в 41 год. Вода в Неве оставалась синей. Ангел продолжал держать крест. Но на Дворцовой площади реяли красные знамена…

ЧЕХОВ
Антон Павлович
17(29).I.1860, Таганрог — 2(15).VII.1904, Баденвейлер, Германия

Чехов — давно открытая Америка. Материк, вдоль и поперек исхоженный читателями, изученный специалистами. Ничего нового не откроешь и не скажешь. Поэтому повторим то, что уже известно.

Юлий Айхенвальд определял творчество Чехова, как плачущую и поющую скрипку, грустную и сладостную.

«Сердце человека обречено на то, чтобы разрываться. Оно не только, по слову немецкого поэта, не имеет голоса в зловещем совете природы, но даже и вне стихии, в своих человеческих делах, бьется болью. Ибо жизнь, как она и отразилась в книгах Чехова, представляет собою обильный выбор всякого несчастия и нелепости. Чехов показал ее в ее смешном, в ее печальном, в ее трагическом обликах. У него есть ужасы внешнего сцепления событий, капризные и страшные выходки судьбы; у него еще больше незаметного внутреннего драматизма, имеющего свой источник хотя бы в тяжелом характере человека, — например, в злобной скуке того же мужа, который запретил своей жене танцевать и увез ее домой в разгар веселого уездного бала. Вообще, вовсе не должна разразиться какая-нибудь особая катастрофа или тяжелая „воробьиная ночь“ жизни, вовсе не

должна произойти исключительная невзгода, для того чтобы сердце исполнилось тоски. Чехов занят больше статикой жизни и страдания, чем их бурной динамикой. В самом отцветании человеческой души, в неуклонном иссякании наших дней, таится уже для него горький родник страдания, и разве это не горе, что студент Петя Трофимов, недавно такой цветущий и юный, теперь носит очки, и смешон, и невзрачен и все говорят ему: „отчего вы так подурнели? отчего постарели?..“

И страница за страницей, рассказ за рассказом тянется эта безотрадная панорама, и когда полное собрание сочинений Чехова, в таком странном соседстве с „Нивой“, впервые сотнями тысяч экземпляров проникло в самые отдаленные углы русского общества и сотни тысяч раз повторилась участь рядового Гусева, под которого нехотя и лениво подставляет свою пасть акула, — тогда многие, вероятно, лишний раз почувствовали испуг и недоумение перед кошмаром обыденности. Вот, например, люди сидят и играют в лото, и вдруг раздается выстрел — это лопнуло что-нибудь в походной аптеке или это разбилось человеческое сердце?..» (Ю.Айхенвальд. «Силуэты русских писателей»).

И еще цитаты из Айхенвальда: «…Вообще, удивительное сочетание объективности и тонко-интимного настроения составляют самую характерную и прекрасную черту литературной манеры Чехова — этих сжатых рассказов, где осторожными прикосновениями взята лишь эманация человеческого, где оно звучит лишь своею „музыкой“…

…Он вообще обладает неотразимой силой, этот, казалось бы, хрупкий и хрустальный лирик-реалист. Ему довольно миниатюры, двух строчек, набросанных в записной книжке, для того чтобы уже открылись перед нами целые перспективы характеров и судеб…»

Из письма Иннокентия Анненского: «Любите ли Вы Чехова?.. О, конечно, любите… Его нельзя не любить, но что сказать о времени, которое готово назвать Чехова чуть что не великим?.. И неужто же, точно, русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей одного палисадника… Ах, цветочки! Ну да, цветочки… А небо? Небо?! Будто Чехов его выдумал». (5 июня 1905).

Вспоминаете усталость чеховских героев и их надорванные надежды? «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах… Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем. Мы отдохнем».

В усталости чеховских героев сквозит и усталость самого автора. Разве легко было ему пробиваться в литературу? Разве

удалось молодому Чехову обойти тему «Гонорары и судьбы»? Он начинал ею свою деятельность с журналов «Досуг», «Осколки», «Стрекоза», «Будильник» и других изданий, получая «пятачок за строчку». «Весь сентябрь я сидел без денег, — жаловался молодой Чехов Плещееву, — кое-какие вещички заложил и бился, как рыба об лед. Верите ли, заложил часы и золотую монету. Ужасно глупое положение».

Нужда в деньгах заставляла Чехова писать все — и повести, и рассказы, и передовицы. «Приходится обрезать себе крылья и облизываться там, где следовало бы есть… — писал Чехов в одном из писем. — Ах, будь у меня лишних 200–300 руб., показал бы я кузькину мать! Я бы весь мир изъездил».

Материальное положение Чехова начало улучшаться только к 1886 году. Он распростился со своими псевдонимами, а их у него было больше 50: «Брат моего брата», «Дяденька», «Врач без пациентов», «Человек без селезенки» и т. д. Он уже не Чехонте, он — Чехов. Не просто обычный юморист, а писатель. В 1899–1901 годах выходит его полное собрание сочинений в 10-ти томах. В 1903–1916 годах вышло собрание сочинений уже в 23-х томах. Девяностые годы, условную дату начала Серебряного века, Чехов встретил своими пьесами «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад», книгой «Остров Сахалин» и многочисленными прекрасными рассказами — «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и другими.

«Чеховские книги, — отмечал Владимир Набоков, — это грустные книги для веселых людей; это означает, что только читатель с чувством юмора может оценить их грусть».

В лекции по русской литературе, написанной в 1940 году, Набоков отмечал:

«Чехов находит особое художественное удовольствие, отмечая все оттенки разнообразия предвоенного, предреволюционного типа русского интеллигента. Эти люди могли мечтать, но они не могли управлять. Они разбивали собственные жизни и жизни других, они были неразумны, слабы, бесполезны и истеричны, но Чехов полагает, что благословенна страна, рождающая именно таких людей. Они упускали все возможности, они боялись действовать, они проводили бессонные ночи, придумывая миры, которые не могли построить; но сам факт существования этих людей, исполненных такого жертвенного пыла, чистоты духа, нравственного подъема, сам факт существования подобных людей, живших и, возможно, и сейчас как-то где-то живущих в жестокой и убогой сегодняшней России, — это обещание лучшего будущего для всего мира, потому что, быть может, самый замечательный из всех

замечательных законов Природы — выживание слабейших.

Именно с этой точки зрения те, кого в равной степени волновали страдания русского народа и слава русской литературы, — именно с этой точки зрения они оценили Чехова. Никогда не занимавшийся ни социальной, ни этической проповедью, чеховский гений тем не менее обнаружил больше чернейшей реальности голодной, забитой, рабской, злой крестьянской России, чем множество других писателей, таких, как, например, Горький, которые выставляли напоказ свои социальные идеи в шествии нарисованных кукол. Я пойду дальше и скажу, что люди, предпочитающие Чехову Достоевского или Горького, никогда не будут в состоянии постичь сущность русской жизни и, что гораздо важнее, сущность мировой литературы. У русских была своего рода игра делить своих знакомых на тех, кто любит Чехова, и тех, кто не любит. Те, кто не любил, считались не того сорта.

Я искренне рекомендую вам как можно чаще брать в руки Чехова и мечтать над его книгами… Эти суровые пейзажи, увядшие ивы вдоль ужасающе грязных дорог, серые вороны, пролетающие по серому небу, неожиданное дуновение удивительного воспоминания в самом заурядном углу — вся эта трогательная неяркость, вся эта очаровательная слабость, весь этот сизо-серый чеховский мир достоин храниться как сокровище среди ослепительного блеска мощных, самонадеянных миров, обещанных нам поклонниками тоталитарных государств».

Цитата, возможно, длинна, но ее стоило привести: не все знакомы с оригинальными оценками Владимира Набокова.

Ну, а теперь о самом Чехове как о человеке. Как отмечает Корней Чуковский, Чехов питал лютую ненависть к самовозвеличиванию и чванству. Он вычеркивал славу из своей биографии. Он отвоевывал себе право быть самым обыкновенным, безвестным. Когда «Всемирная иллюстрация» назвала его «высокоталантливым», он протестовал против такого эпитета. «Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки», — писал Чехов. Вся его биография — учебник писательской скромности. Своей легендарной скромности Чехов достиг благодаря «дрессировке». Он «выдавливал из себя по каплям раба», и в одно прекрасное утро почувствовал, что «в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая». Чехову удалось — как не удавалось почти никому — полностью освободить свою психику от всяких следов раболепства, подхалимства, угодничества, самоуничижения и льстивости…

В октябре 1888 года Чехов так объяснял Александру Плещееву свою общественную позицию: «Я боюсь тех, кто между

строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и — только… Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским (журналисты либерального толка. — *Прим. Ю.Б.*). Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи… Поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи… Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

Естественно, такая позиция, занятая Антоном Павловичем, многих не устраивала. Реакционная пресса критиковала Чехова. Писали, что талант его «не глубок». После «Палаты № 6» каждое новое произведение встречали словами: «Новая неудача!» Говорили, что у него позиция «равнодушного человека» и т. д.

Кому-то оказался на руку провал премьеры «Чайки» в Петербурге в Александринском театре 17 октября 1896 года. В антракте публика негодовала: «Символистика»… «Писал бы свои мелкие рассказы»… «Зазнался, распустился»… В коридоре театра Алексей Суворин повстречался с Дмитрием Мережковским, и тот стал говорить, что пьеса «не умна, ибо первое качество ума — ясность». На что Суворин ответил, что у его собеседника «этой ясности никогда не было».

Сам Чехов в письме к младшему брату заметил: «Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль: не следует писать пьес».

Возвращаясь к Мережковскому, следует сказать, что он был крайне непримирим к Чехову, считал его простым бытописателем и приводил вехи падения интеллигенции: «От Чехова — к Андрееву, от Андреева — к Куприну, от Куприна — к Арцыбашеву, от Арцыбашева — к Вербицкой, — вот настоящие ступени от интеллигенции к обывательщине».

В юбилейные дни, когда в России отмечали 50 лет со дня рождения Чехова, голос Мережковского прозвучал особенно неприятно. На страницах газеты «Русское слово» в январе 1910 года появилась статья «Брат человеческий», в которой Мережковский остерегал общественность от опасности «чеховщины». По Мережковскому Чехов — романтик «сладкого

умиления, тихой грусти и недвижности», выразитель одиозного сумеречного настроения либеральной интеллигенции, а такое настроение, подчеркивал Мережковский, весьма пагубно. «Опять Чехов делается современным. И это страшно», — вещал Мережковский, попутно обвиняя русскую интеллигенцию в безвольности и безрелигиозности.

Да, действительно, Чехов представлял в своих книгах лишних людей, непрактичных, неспособных к делу, и вообще писатель презирал «деловой фанатизм». Но при этом Чехов писал и другое, и тут советую читателю вернуться к высказываниям Владимира Набокова.

24 сентября 1902 года Чехов писал из Ялты своей жене Ольге Книппер: «В Москве буду только есть, пить, ласкать жену и ходить по театрам, а в свободное время — спать. Хочу быть эпикурейцем».

Эпикурейцем Чехов так и не стал. Он играл подчас в веселость, оставаясь внутренне всегда в печали. В одном из писем писатель сделал характерное признание: «…Человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, и надо быть ко всему готовым… надо только, по мере сил, исполнять свой долг, и больше ничего».

Однако мужество Чехова порой сменялось тихим отчаяньем: «Жизнь идет и идет, а куда — неизвестно» и «нет числа недугам моим». Недуги и свели Чехова в могилу в 44 года.

Как заметил Юлий Айхенвальд, «кончина Чехова произвела на многих впечатление семейной потери: до такой степени роднил он с собою, пленяя мягкой властью своего таланта».

«Именно Чехов в своих произведениях дал право на жизнь простому, внешне незаметному человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, „невообразимо прекрасной“ жизни» (О. Книппер-Чехова).

В июле 1904 года горевали все? Ничуть не бывало. «Что вы все рыдаете: умер Чехов, да умер Чехов! — раздражался градоначальник Ялты, генерал Думбадзе. — Этот умер, другой отыщется! Не на чеховых, а на полицейских держится природа».

Рассказывают, что с генералом случился тяжелый припадок, когда он прочитал рассказ «Унтер Пришибеев»: решил, что рассказ написан лично о нем… Генерал Думбадзе не переносил не только Чехова, но и вообще интеллигентов. Само слово «интеллигент» он писал в разрядку — как понятие, требующее особого надзора полиции. Пришибеевы расцвели после 1917 года. Но это уже произошло без Чехова, без этого «живописца белых цветов Вишневого сада» (Айхенвальд).

В июле 1994 года «Комсомольская правда» отметила печальную годовщину — 90 лет со дня смерти Чехова и вышла с публикацией «В доме российской словесности без Антона Павловича одиноко и грустно».

ЧУКОВСКИЙ
Корней Иванович
(настоящие имя, отчество и фамилия — Николай Васильевич КОРНЕЙЧУКОВ)
19(31).III.1882, Петербург — 28.X.1969, Кунцево под Москвой

Корней Чуковский удивительно многоликий писатель. Бенедикт Сарнов выделил шесть его ликов. Чуковский — критик, автор статей и книг о самых знаменитых его литературных современниках (от Чехова до Маяковского). Известнейший и любимый детский писатель, сказочник («У меня зазвонил телефон». «Кто говорит?» — «Слон».). Переводчик (от Шекспира до Киплинга). «Пересказал» многие шедевры мировой классики — «Робинзона Крузо», «Барона Мюнхгаузена», «Маленького оборвыша». Еще Чуковский — историк и исследователь русской литературы. Труды об одном только Некрасове заняли бы несколько книжных полок. Следующая грань — лингвист. Защитник живого языка от засилья казенных, бюрократических речений. И, наконец, Чуковский-мемуарист, автор книги воспоминаний «Современники», создатель знаменитой

«Чукоккалы» и грандиознейшего «Дневника», в котором Корней Иванович предстает как современный Пимен, летописец дореволюционной и советской эпохи.

Шесть ликов, шесть граней. Но удивительно то, что одна грань этого «шестигранника» оказалась сильнее и весомеее всего. Внучка писателя, Елена Чуковская, пожаловалась в «Независимой газете»: Корнея Ивановича Чуковского «воспринимают прежде всего как детского поэта, автора сказок» (15 июля 1999). То есть —

Одеяло убежало,
Улетела простыня!
И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня.

Все знакомы с «Бармалеем» и «Мойдодыром» Корнея Ивановича, ибо, как написала в конце 60-х годов Вера Панова: «Вот уже пятое поколение малышей поднимается на этих книгах, забавных, чарующих, полных красок, музыки, фантазии, радости жизни…» Но мало кто знает и читал его исследование «Александр Блок как человек и поэт» или книгу «Высокое искусство» об искусстве художественного перевода. Другое дело — популярнейшая книжка «От двух до пяти», которая впервые увидела свет в 1928 году и выдержала 21 (!) издание при жизни автора. Эту книжку многие знают назубок и с удовольствием цитируют детские перлы: «Ты не дадошь, а я взяму». Или такой прелестный разговор:

— Няня, что это за рай за такой?

— А это где яблоки, груши, апельсины, черешни…

— Понимаю: рай — это компот.

Корней Чуковский тщательно собирал все эти детские слова-образы: сухарик-кусарик, парикмахер-вихромахер, компресс-мокресс и т. д. Короче, «как ныне собирает свои вещи Олег» вместо трудно произносимого для ребенка и непонятного — «как ныне сбирается вещий Олег». Дети обожали Чуковского, писали ему письма, и он любил водить с ними хороводы, называя себя «всесоюзной мамашей».

Однако у «мамаши» жизнь была далеко не сахарной. Во-первых, Чуковского мучило его происхождение: «Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?) — был самым нецельным непростым человеком на земле…» Во-вторых, социальный статус: «кухаркин сын» (мать прачка). Из пятого класса одесской гимназии Чуковский был исключен, когда учебные заведения по

специальному указу «очищали» от детей «низкого происхождения» (прообраз будущих «зачисток»?).

В мае 1962 года в Англии Корнею Чуковскому присудили почетную степень доктора литературы Оксфорда «honoris causa». Из русских писателей до него эта степень была присуждена Тургеневу — в 1878 году. После Чуковского почетными докторами литературы стали Анна Ахматова и Дмитрий Лихачев. На церемонии вручения диплома и мантии Чуковский выступил с речью на английском языке и, в частности, вспомнил злосчастный эпизод из своей одесской юности: «…Мне шел тогда семнадцатый год. Я был тощий, растрепанный, нелепый подросток. Назло учителям, выгнавшим меня из гимназии, я всю осень и зиму зубрил английские слова по самоучителю Оллендорфа, лелея обычную мечту тогдашних неудачников: убежать куда-нибудь в Австралию».

В Австралию Чуковский не убежал, а в 19 лет пришел в редакцию газеты «Одесские новости» и стал в ней печататься. Вскоре толкового журналиста направили корреспондентом от газеты в Лондон. Живя в Англии (1903–1904), Чуковский совершенствовался в английском языке, изучал английскую литературу, писал о ней в русской печати. По возвращении на родину Чуковский переехал в Петербург и занялся литературной критикой. Недоучившийся гимназист оказался на редкость способным критиком и исследователем литературы, причем Чуковский «работал» по своему выработанному методу: «Я затеял характеризовать писателя не его мнениями и убеждениями, которые ведь могут меняться, а его органическим стилем, теми инстинктивными, бессознательными навыками творчества, коих часто не замечает он сам. Я изучаю излюбленные приемы писателя, пристрастие его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам и на основании этого чисто формального, технического, научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя…»

Этот метод Чуковского кому-то пришелся по нраву, кому-то, естественно, нет. Вячеслав Иванов вписал в «Чукоккалу» следующий стихотворный экспромт:

Чуковский, Аристар прилежный,
Вы знаете — люблю давно
Я Вашей злости голос нежный,
Ваш ум веселый, как вино,
. . . . . .
Полуцинизм, популяризм,

Очей притворчивых лукавость,
Речей сговорчивых картавость
И молодой авантюризм.

«Вот уже год, — отмечал Александр Блок в статье „О современных критиках“ (1907), — как занимает видное место среди петербургских критиков Корней Чуковский. Его чуткости и талантливости, едкости его пера — отрицать, я думаю, нельзя». Однако далее Блок упрекнул Чуковского в нежелании объединить литературные явления, «так или иначе найти двигательный нерв современной литературы».

Александр Куприн был менее аналитичен. В 1908 году он сказал о Чуковском кратко: «В нем есть злость и страстность и видно, что он много читает».

А вот Василий Розанов в «Новом времени» негодовал: «Чуковский все вращается как-то в мелочах, в истинных, на мелких частях писателя и писательской судьбы и дара. Он подходит к человеку, отвертывает фалду сюртука и кричит всенародно, что у него пуговицы не на месте пришиты, а иногда что и „торчит прорешка“, и даже торчит предательский уголок рубашки через нее… В Чуковском есть что-то полицейско-надзирательское… и признаю, когда талантливый критик все протоколирует и протоколирует пуговицы, я зажимаю нос и говорю: господи, как дурно пахнет! Это уже от вас, г. критик, а не по причине пуговиц».

Как всегда, сказано хлестко, по-розановски. Так что Чуковского и бранили, и хвалили, но он продолжал делать свое «черное» критико-исследовательское дело. До революции вышли его лучшие книги: «От Чехова до наших дней» (1908), «Лица и маски» (1914), «Книга о современных писателях» (1914). Чуковский отчаянно и резко боролся с набирающей обороты массовой литературой — с «пинкертоновщиной», с опусами Чарской и т. д.

В 1912 году Чуковский переселился в финское местечко Куоккала, где подолгу жил и раньше. Здесь он подружился с Ильей Репиным, сблизился с Короленко, Леонидом Андреевым, Алексеем Толстым и другими именитыми людьми, портреты которых позднее создал.

В 1916 году Максим Горький пригласил Чуковского руководить детским отделом издательства «Парус» и посоветовал самому писать для детей. Чуковский совет воспринял, и появился на свет «Крокодил», который «наше солнце проглотил». Это был дерзкий вызов сложившимся канонам в детской литературе. За

«Крокодилом» появились сказки в стихах «Мойдодыр» (1923), «Тараканище» (1923), «Муха-цокотуха» (1924), «Бармалей» (1925), «Айболит» (1929) и другие.

Веселые сказки Чуковского да невеселые отклики взрослых советских дядей и тетей на них. В 20 — 30-е годы шла многолетняя и ожесточенная борьба с «чуковщиной». Вся казенная педагогика, которую возглавляли жены видных деятелей ВКП(б), восстала против детских книжек Чуковского. Сигнал к запрету и уничтожению был дан со страниц газеты «Правда» — в номере от 1 февраля 1928 года появилась статья Надежды Крупской «О „Крокодиле“. Она начиналась со слов: „Надо ли давать эту книжку маленьким ребятам?..“ А заканчивалась словами: „Я думаю, „Крокодил“ ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть“.

Надежда Константиновна, верная подруга Ильича, так и написала: „буржуазная муть“.

Руководящий сигнал был принят, и критики с яростью набросились на писателя-сказочника: „Довольно писать о лошадках и нянях: дайте детям тематику строящегося социализма…“ А книги Чуковского — это „пошлая и вредная стрепня“.

Общее собрание родителей Кремлевского детсада в количестве 49 человек (22 рабочих, 9 красноармейцев, 18 служащих) обсудило книги Чуковского и призвало к борьбе с „чуковщиной“, так как ни одна из его книг „не будит в ребенке социальных чувств, коллективных устремлений“ (журнал „Дошкольное воспитание“, 1929, № 4).

Ревнители социалистических устоев еще долго покусывали Чуковского. В 1961 году писатель был выдвинут на соискание Ленинской премии за книгу „Мастерство Некрасова“, и тут в ЦК полетело коллективное письмо от старых большевиков во главе с Еленой Стасовой, в котором Чуковский был объявлен „хамелеоном и путаником“, что он-де давно служит одновременно и революции и контрреволюции, что он „лез всюду, где только возможно, со своими обывательскими сказками“ и, вообще, „сознательно работал против дела Ленина“. В Комитете по Ленинским премиям в области литературы и искусства состоялось бурное обсуждение: присуждать или не присуждать? 70 членов комитета проголосовали „за“, 23 — „против“, и таким образом в 1962 году Корней Иванович Чуковский получил Ленинскую премию.

„Дневник“ Чуковского насыщен писательской горечью от несправедливых нападок, цензуры, произвола ошалевших от самовластия чиновников и прочей несправедливости. Дневник

Чуковского, который он вел практически всю жизнь, начиная с 13 лет, — обжигающий документ эпохи. Беспощадный и беспристрастный ко всем современникам, и прежде всего к самому себе. Единственная „претензия“ к дневнику: в нем нет ни одного упоминания о репрессиях. Страх преследовал Корнея Ивановича всю жизнь. Вот почему, читая его дневник, „совесть и страх встают перед нами в неожиданном сочетании“, как подметил Вениамин Каверин.

Приведем три выдержки из дневниковых записей Корнея Чуковского за один лишь 1932 год (хотя можно было выбрать и другой год).

1 июля: „Завтра уезжаю (из Кисловодска. — *Прим. Ю.Б.*). Тоска. Здоровья не поправил. Отбился от работы. Потерял последние остатки самоуважения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе не возвысило меня (смерть дочери Мурочки. — *Прим. Ю.Б.*), а еще сильнее измельчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литературной работы — я без гроша денег, без имени, „начинающий автор“. Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке — единственный радостный момент моей кисловодской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, провожали меня, и мне все казалось, что они принимают меня за кого-то другого…“

14 октября: „…Academia“ до сих пор не заплатила. „Молодая гвардия“ тоже. Просто хоть помирай. У банков стоят очереди, даже в Сбербанке деньги выдают с величайшим трудом…

Подхалимляне. Писательский съезд».

22 декабря: «Ездил в Москву на пленум ВЛКСМ. В Кремле. Нет перчаток, рваное пальто, разные калоши, унижение и боль… Моя дикая речь в защиту сказки… Вернулся: опять осточертевший Некрасов, одиночество, каторга подневольной работы…»

Чуковский всегда много работал. «Без писания я не понимаю жизни», — говорил он. И еще: «Я не знаю за собой никаких талантов, кроме одного — беззаветного труженичества».

В дневниках Корней Иванович изливал свою боль и тоску, а на людях почти всегда держался молодцом. Как вспоминает Маргарита Алигер, «ирония всегда помогала ему жить и не покидала его до конца жизни. Однажды, где-то в 60-х годах, пожаловавшись мне на недомогание, он, вдруг резко изменив жалобный тон, закончил свои жалобы следующим манером: „Что уж тут! Вероятно, все вполне естественно в 83 года. Так ли я себя чувствовал год назад, в свои цветущие восемьдесят два!“ Столь игривый финал сразу менял тональность и помогал собеседнику, избавляя его от необходимости лепетать беспомощные и жалкие

слова…» (М. Алигер. «Тропинка в ржи»).

«Дорогой Корней! — писал американский писатель Джон Чивер в письме от 12 ноября 1964 года. — Одно из самых приятных воспоминаний о России — ваше веселое лицо, ваша светлая комната и блеск вашего ума…»

В дневнике Чуковского от 23 октября записано: «Вчера был у меня Чивер, поразительно похожий на Уэллса… У меня грипп, мне было трудно сидеть, хотелось лечь, но я так люблю его, что мне было радостно с ним. Уходя, он обнял меня — о если б он знал, какую плохую статейку я написал о нем!..»

Через 5 лет Корнея Чуковского не стало. Он прожил много — 87 лет. Его дети — Николай Чуковский и Лидия Чуковская пошли по стопам отца и прочно вошли в литературу.

Мы начали рассказ о Чуковском с оценки критика Сарнова, им же и закончим: «Сила Чуковского — в том, что он сумел создать свой жанр. Точнее — совершенно особый художественный феномен, имя которому — „Сочинения Корнея Чуковского“».

ШАГИНЯН
Мариэтта Сергеевна
21. III(2.IV).1888, Москва — 20.III.1982, Москва

Биографию Шагинян можно считать образцово конформистской. Она прошла долгий путь от девушки-символистки, идеалистки и декадентки до солидной гранд-дамы социализма, увенчанной всеми наградами Советского Союза. Она умела лавировать и провела свой корабль через рифы и опасные течения к спокойной гавани старости. Это Фофанов не умел жить и потерпел жизненную катастрофу, это Есенин с Маяковским зашли в тупик и покончили жизнь самоубийством, это Бабель с Мандельштамом оказались убитыми, а Мариэтта Шагинян сумела выстроить и отстоять свою жизнь в весьма бурные и опасные времена. Может быть, ее спас жгучий интерес к окружающему миру, стремление узнать о нем как можно больше — о жизни и искусстве, о литературе и музыке? Узнать, отразить, написать? «Единственное, что я умею — это работать», — говорила Шагинян. Ну, и, конечно, чувство опасности: никогда не подходить к краю бездны…

Шагинян родилась в Москве. «Наша семья была частью московской армянской колонии, но практически жила интересами и жизнью московско-русской интеллигенции. Русское начало проникало во все поры нашего дома…», — отмечала Шагинян. Но вместе с тем она всегда интересовалась своей прародиной — Арменией.

«В день моего девятилетнего рождения отец подарил мне всего Гете в берлинском издании Рэклям, — оно и сейчас стоит у меня на полке. Гете был вторым его любимцем, после Пушкина…», — вспоминала Шагинян в своем автобиографическом труде «Человек и время». К Гете Шагинян обращалась всю жизнь, он был для нее учителем и воспитататателем, она унаследовала от него эту вечную потребность познания. На старости лет, когда Шагинян в очередной раз приехала в Веймар, она удостоилась похвалы: «О, мадам Шагинян! Вы — истинная гетеанка! Вы, как и Гете, умеете доводить начатое дело до конца!»

Мариэтта Шагинян окончила гимназию, Высшие женские курсы (философский факультет), университет имени Шанявского, где изучала минералогию и кристаллографию, еще она училась в Анапской прядильно-ткацкой школе и получила диплом квалифицированной пряхи. В дальнейшем сама организовала прядильно-ткацкую школу и читала там лекции по овцеводству и шерстоведению, что обыграл в эпиграмме Александр Архангельский:

> Широту ее размаха
> Не уложишь в писчий лист.
> Поэтесса, лектор, пряха,
> Шерстовед и романист.

В 1912 году Шагинян уехала в Германию, в Гейдельберге работала над магистерской диссертацией, вернуться в Россию ее заставила Первая мировая война. Уже в советское время преподавала в Донской консерватории историю искусства, в Питере в институте истории искусств вела семинар по музыкальной текстологии, в 30-е годы сама училась в Плановом институте, а ей было уже за сорок… Она постоянно занималась самообразованием и трудилась, как пчела.

Шагинян стала печататься с 1905 года. Зарабатывала на жизнь корреспонденциями, черновой литературной работой, частными уроками. Оказавшись в Петербурге, дружила, точнее, поклонялась Зинаиде Гиппиус. Встречалась с Мережковским, Ходасевичем и другими литературными светилами северной

столицы. Ее первый поэтический сборник «Первые встречи» вышел в 1909 году, но не произвел должного впечатления, зато второй — «Orientalia», — появившийся в 1913-м, выдержал 7 изданий. Это был успех. Владислав Ходасевич в рецензии на книгу отмечал: «Стих стал уверенней, содержательней. Исчезли детски-бессильные строки, каких было немало в „Первых встречах“. Хорошо выдержан и глубоко связан с темами восточный характер книги… Есть в „Orientalia“ кое-какие мелкие стилистические промахи, но они вполне возмещаются общим благородным тоном сборника. Мариэтта Шагинян любит поэзию и чтит ее. Ей есть что сказать… Все это позволяет ждать от автора, очень еще молодого, значительных удач в будущем».

А тема Востока у Шагинян получила отражение в стихотворении «Полнолуние». Вот оно полностью:

Кто бы ты ни был, — заходи прохожий.
Смутен вечер, сладок запах нарда…
Для тебя давно покрыто ложе
Золотистой шкурой леопарда.

Для тебя давно таят кувшины
Драгоценный сок, желтей топаза,
Что добыт из солнечной долины,
Из садов горячего Шираза.

Розовеют тусклые гранаты,
Ломти дыни ароматны, вялы;
Нежный персик, смуглый и усатый,
Притаился в вазе, запоздалый.

Я ремни спустила у сандалий,
Я лениво расстегнула пояс…
Ах, давно глаза читать устали,
Лжет Коран, лукавит Аверроэс!

Поспеши… Круглится лик Селены;
Кто б ты ни был — будешь господином.
Жарок рот мой, грудь белее пены,
Пахнут руки чабрецом и тмином.

Днем чабрец на солнце я сушила,
Тмин сбирала, в час поднявшись ранний.
В эту ночь — от Каспия до Нила —
Девы нет меня благоуханней!

Шагиняновский «Ориэнталь» не прошел мимо такого взыскательного критика, как Юлий Айхенвальд. Он писал: «…Ее стихи далеко не „глуповаты“, как этого от поэзии требовал Пушкин, но они и не рассудочны, и много красивых образов, точно лианы, обвивают ствол их интеллектуального содержания…» Говоря о прозе Шагинян, Айхенвальд отмечал: «… у нее духовная свобода, игра души, легкость изящного рисунка, и в живой, остроумной, искрящейся форме, с налетом тонкой шутливости и лукавства, предлагает она свои духовные драгоценности. У нее — много писательской изобретательности, выдумки, власти над вниманием читателя…»

Томный шелк шуршит и прячет
Затаенные желанья.
Ах, кого пророк назначит
Для блаженного закланья?

«Затаенные желанья» действительно, наверное, клокотали в душе молодой южной женщины. Желанья и амбиции — поближе быть к тем, кто наверху, на Олимпе. Не об этом ли говорят ее переписка и встречи с Сергеем Рахманиновым. «Не было никакого романа! — позднее пыталась все объяснить Шагинян. — Но зато было нечто большее, чем роман, нечто такое, что идет из души в душу в той бескорыстной и человеческой дружбе, какая исходит от „я“ к „ты“ и в этом предельно выражает общечеловеческое…»

В декабре 1908 года Шагинян обратилась с письмом к Андрею Белому, тот в ответном послании от 17 декабря был обескуражен и предупредил молодую женщину сразу: «Моя судьба — путать. А потом извиняться…» Но все равно для Шагинян Андрей Белый был из парнасско-олимпийских сфер и поэтому весьма привлекал.

В воспоминаниях Ходасевича об Андрее Белом можно прочитать следующее: «Однажды — чуть не в ярости: — Нет, вы подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариэтта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это! — А сам в то же время писал ей длиннейшие философические письма, из благодарности за которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть замерзнуть».

Естественно, возникает вопрос: двигал ли Мариэттой Шагинян в отношениях к Рахманинову, Белому, Блоку один лишь литературный интерес или все же примешивался эротический? В воспоминаниях «Человек и время» есть смешной пассаж, где Шагинян яростно обрушилась на кинематограф, который тиражирует «поцелуй, имитирующий половой акт», и она говорит, что это — «убиение любви». «С полной ответственностью, абсолютно правдиво могу сказать, что мое поколение, все, кого я знала вокруг себя как друзей и современников, не были знакомы с такой техникой поцелуя. Сужу по себе: я никогда ни разу так не целовалась и надеюсь — в свои восемьдесят три года — уже никогда так не поцеловаться».

Забавно, да? Хотя однажды, видя, как кокетничает молодая женщина, помогающая ей, с пришедшим журналистом, Шагинян воскликнула: «Я совсем не ханжа, деточка, я целовалась с Бухариным…»

В технике коммунистического поцелуя?..

Бухарин возник кстати, как знак новой эпохи. Как в нее вписалась Шагинян? Можно сказать, вполне органично. Вот как ее увидел Георгий Адамович — глазами русского эмигранта: «Мариэтта Шагинян, как известно, — писательница, чрезвычайно „созвучная эпохе“, крайне усердная и верная революционная „попутчица“. Она сама недавно объяснила („Новый быт и искусство“), почему это с ней произошло. Во-первых: „Надо стремиться честно понять современность и идти с ней в ногу…“ Во-вторых: „…Я не понимаю, как можно не хотеть узнать лицо человека, который спит рядом“. Желание законное и естественное — слов нет. Но с каких это пор Мариэтта Шагинян не только шагает в ногу с Революцией, но и спит с ней» (19 июня 1927).

В 1924 году Шагинян создала агитационно-пропагандистский детектив «Месс Менд, или Янки в Петрограде». В самом начале 30-х выходит ее роман «Гидроцентраль», посвященный теме пятилеток. Она пишет серию романов о Ленине, где сплавляет публицистику с исследованием, создает многочисленные воспоминания и монографии о Тарасе Шевченко и Уильяме Блейке, о Гоголе и Низами, о Шолохове и Шолом-Алейхеме, о Гегеле и Исаакяне и т. д. Она вся в работе. Она — член партии с 1942 года, доктор наук, лауреат Сталинской и Ленинской премий, Герой Социалистического Труда, с 1934 года до самой смерти Шагинян входила в правление Союза писателей СССР, была членом президиума всех писательских съездов…

Помимо всего этого, Шагинян — страстная путешественница (и то, что видела, описывала; первая очерковая книга «Путешествие в Веймар», 1914 год). «Не в первый, не во второй

раз все эти Кельны и Аахены, да и сам Париж…», — ворчала Шагинян, но снова отправлялась в Европу и с удовольствием включила в свою книгу сетованье пограничников: «Бабуся, и что вы все ездите? Пора бы костям отдых дать!»

Все ли было безоблачно в ее жизни? Так не бывает. Шагинян тоже попадала под огонь критики, но никогда не шла речь о репрессиях. Когда она прочитала в газете, что Фадеев застрелился в состоянии запоя, она страшно возмутилась, куда-то звонила наверх и угрожала, что последует примеру Фадеева. Естественно, это был всего лишь взбрык ее вздорного характера. В 1967 году, работая над своей ленинианой, она докопалась до документов, из которых явствовало, что мать Ленина была дочерью еврея-выкреста Бланка. Со своим открытием Шагинян поспешила к Поспелову. Тот пришел в ужас. «Я не смею доложить это в ЦК». В итоге, как отмечает Корней Чуковский, «Шагинянше запретили печатать об этом».

Так что писать исследовательские книги в советские времена — дело было далеко не простое. Очень придирчива была к Шагинян Анна Ахматова, в августе 1940 года она сказала Лидии Чуковский: «Как вечно у Шагинян ценные догадки перепутана с сущим вздором».

Шагинян сохранила работоспособность до глубокой старости. Свою книгу «Человек и место» она закончила следующими точными цифрами: «90 лет и 4 месяца, Переделкино — Москва, 31 июля 1978 года».

«Почему я так сохранилась в свои годы? — отвечала она на вопрос Ирины Гуро. — Потому что, если что-то мне не нравится, я выключаю аппарат, а вы без конца слушаете всякие глупости».

Слуховой аппарат для Шагинян был как регулятор современной жизни: чуть что, она сразу его выключала. К потере слуха прибавилась потеря зрения. Шагинян уже приходилось не самой писать, а диктовать. Когда Шагинян попала в больницу, к ней приходила внучка Лена и вслух читала ей письма Шостаковича, а затем записывала то, что диктовала ей Мариэтта Сергеевна. Когда однажды Лена стала рассказывать новости, в ответ прозвучало: «Прекрати! Все это ерундистика! Не трать попусту время. Давай работать. На чем мы остановились?..»

Мариэтта Шагинян умерла в 94 года. «Редкий случай, когда грешно сказать: не дожила, не доработала, не успела, — писал в связи с ее смертью Федор Абрамов. — Мариэтта Сергеевна прожила громадную жизнь, написала баснословно много и, что называется, реализовала себя полностью… Да, чудо-человек. Человек-феномен, человек-уникум… Свою последнюю книгу она дописала после 90 лет, уже почти слепая…»

«Жадность к жизни, прямота, бесстрашие и аскетизм в быту», — подвел слагаемые ее жизни Федор Абрамов. Он как бы немного завидовал Шагинян, по крайней мере, ее долголетию и ее самореализации, сам он умер на следующий год после смерти Шагинян, в возрасте 53-ти лет, то есть прожил почти вдвое меньше.

ШМЕЛЁВ
Иван Сергеевич
21. IX(3.X).1873, Москва — 24.VI.1950, Бюсси-ан-От, Франция

Мастер сказа, наследник лучших традиций Лескова, Шмелев родился в замоскворечной Кадашевской слободе в богатой купеческой семье. «Мы из торговых крестьян, — вспоминал писатель, — коренные москвичи старой веры». Мать Евлампия Гавриловна, окончившая Институт благородных девиц, научила Шмелева грамоте, а затем приучила к литературе. Особенно полюбил Ваня Шмелев книги Мельникова-Печерского, а также Жюля Верна и Майна Рида. Мальчик рос смышленным и бойким. За постоянную болтовню на уроках в первом классе гимназии будущего писателя прозвали «римским оратором».

Свой первый рассказ «У мельницы» Шмелев написал еще в гимназические годы. Под впечатлением свадебного путешествия (он женился на Ольге Охтерлони) на Валаам Шмелев написал очерки «На скалах Валаама». Обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев усмотрел в них крамолу, однако книга все же вышла в свет, изрядно исковерканная цензурой, в 1897 году. Это

отбило охоту у Шмелева заниматься сочинительством. Он заканчивает Московский университет и в течение 8-ми лет служит чиновников во Владимирской казенной палате. Годы эти обогатили его знанием уездной России. «Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни, — отмечал Шмелев. — Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство».

Однако чиновника из Шмелева не вышло, по его признанию, он оказался «мертв для службы», выходит в 1907 году в отставку и отправляется в свободное литературное плаванье. Пишет серию рассказов — «Вахмистр», «Распад», «Гражданин Уклейкин», «Полочка» и другие. Получает дружескую поддержку Горького и Короленко. В 1910 году входит в товарищество «Знание», а в 1912-м становится членом-вкладчиком Книгоиздательства писателей в Москве, в котором выходит первое его «Собрание сочинений» в 8-ми томах (1912–1914). Общероссийскую известность Шмелеву принесла повесть «Человек из ресторана» (1911) о «маленьком человеке» — официанте Скороходове. Эту повесть критики сравнивали с дебютом Достоевского. Ремизов отметил, что Шмелев встал в ряд русских писателей «совести и протеста», наряду с Горьким, Леонидом Андреевым и Куприным. Корней Чуковский отметил: «Шмелев написал совершенно по-старинному, прекрасную волнующую повесть, т. е. такую прекрасную, что ночь просидишь над нею, намучаешься и настрадаешься, и покажется тебе, что тебя кто-то за что-то простил, приласкал или ты кого-то простил».

Особый шмелевский стиль, особое отношение к народу. Своего сына Сергея писатель наставлял: «Думаю, что много хорошего и даже чудесного сумеешь увидеть в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное (в ком его нет?), сумей извинить его, зная историю и теснины жизни. Сумей оценить положительное».

Абстрактно — все правильно. А конкретно?.. В 1920 году единственный сын писателя Шмелева, офицер Добровольческой армии Сергей Шмелев, не пожелавший уехать с врангелевцами на чужбину, был насильно изъят из лазарета и без суда расстрелян. В отчаянном письме к Максиму Горькому Шмелев писал: «Мой мальчик не активник. Он был мобилизован, он больше года больной… И все же его взяли и… кончили». И вопль: «Руки буду целовать, руки, которые вернут мне сына!»

Ивана Шмелева горе если не сломало, то надорвало основательно. Уже в эмиграции писатель написал книгу «Солнце мертвых», о зловещих событиях в Крыму, которую многие прочитали в Европе и ужаснулись. Это — «кошмар, окутанный в

поэтический блеск, документ эпохи» — так определил книгу Томас Манн. «Теперь я понимаю, через какие ужасы прошла ваша страна, — писал Шмелеву Редьярд Киплинг. — Произведение страшное в своей правдивости».

«Солнце мертвых» в СССР было строжайше запрещено: большевики не хотели помнить пролитую ими в Крыму большую кровь.

Смерть сына напрочь отвратила Ивана Шмелева от новой власти, и 20 ноября 1922 года писатель с женой выехали из Москвы в Берлин, а далее перебрались в Париж. «Думаете, весело я живу? — писал Шмелев 19 сентября 1923 года Куприну из Граса, где его временно приютил Бунин. — Я не могу теперь весело! И пишу я — разве уж так весело? На миг забудешься… Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска… Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой. Все — чужие. Души-то родной нет, а вежливости много… Все у меня плохо, на душе-то».

В том же 1923 году Вера Бунина сделала такую дневниковую запись о Шмелеве: «В нем как бы два человека: один — трибун, провинциальный актер, а другой — трогательный человек, любящий все прекрасное, доброе, справедливое».

В Париже Шмелев жил на улице Шевер, 12, напротив Дома инвалидов. Побывавший у него в гостях Томас Манн отметил небольшую квартирку, дышащую убогостью и скупостью. Однако бедно, но не худо. Ив Жайтийом, фактически приемный сын Шмелевых, вспоминал, что во Франции Шмелевы жили так, словно никогда не уезжали из России. Ольга Александровна готовила русские блюда — пирожки с вязигой, рыбой, мясом, капустой, щи, гречневую и манную каши, куриный бульон. По воскресеньям к Шмелевым приходили гости — Куприн, другие русские писатели, генерал Антон Деникин с женой и дочкой Мариной… Летом Шмелевы жили в деревне, где писатель возился в огороде, сажал цветы и разводил подсолнухи, каждому из которых давал имена знакомых писателей: «Андрей Белый», «Саша Черный» и т. д.

В эмиграции Шмелев много писал — около 20 книг, в том числе несколько крупных романов — «Няня из Москвы», «История любовная», не законченные — «Солдаты» и «Пути небесные». В течение 17 лет работал над очерками дореволюционного русского быта «Лето Господне». Книга «Лето Господне» — не идиллия, не утопия, не миф, это эпос русской жизни, как и другая книга «Богомолье».

«Шмелев прежде всего русский поэт по строению своего художественного акта, своего содержания, своего творчества —

такую оценку давал ему философ Иван Ильин. — В то же время он — певец России, изобразитель русского исторического, сложившегося душевного и духовного уклада, и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ — в его подъеме, в его силе и слабости, в его умилении и в его окаянстве. Это русский художник пишет о русском естестве…»

А язык? А языковые обороты? «Осадил рюмку водки», «на палубе пороло дождем»… «Это — пламенное сердце и тончайший знаток русского языка… Шмелев, на мой взгляд, — отмечал друживший с ним Константин Бальмонт, — самый ценный писатель из всех нынешних». «Шмелев теперь — последний и единственный из русских писателей, у которого можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка», — сказал Куприн на 60-летии Шмелева в 1933 году.

Подобных отзывов можно привести много. Но, объективности ради, следует упомянуть и критику в адрес писателя. Некоторые критики не принимали монархизма и православия Шмелева, все «старое, исконное и кондовое», что было в России и которое он защищал. Обвиняли в «полицейщине» и «черносотенстве». Эти упреки и нападки были вызваны тем, что Шмелев «осмелился защищать историческую Россию против революции», против новой России.

Против чрезмерной «русскости» Шмелева протестовали в основном эмигранты молодого поколения, особенно усердствовал Георгий Адамович, он говорил, что все, что пишет Шмелев — это-де «мертво», и «соляночка на сковородочке», и «струна, на которой легко играть», и многое другое.

22 июля 1936 года умерла жена Шмелева, ее потерю он мучительно переживал. До этого «трепыхающийся и беспокойный человек», как называл себя сам Шмелев, впал в уныние и хандру, но работать не переставал. Перенес операцию и отправился на поправку здоровья в обитель Покрова Божьей Матери в 150 километрах от Парижа. В день приезда с ним случился сердечный приступ, и Иван Шмелев там и скончался, в возрасте 76 лет. В Бюсси-ан-От он собирался закончить роман «Пути небесные». Но не закончил и сам отправился в путь…

Вспомним еще два эпизода из жизни писателя. В 1928 году он обратился к Томасу Манну с письмом-протестом против распродажи в Берлине русских художественных ценностей из Эрмитажа (позорная акция советской власти): «Я верю, Вы не можете допустить спокойно, чтобы Ваша страна стала поприщем, — сильнее сказать, разбойничьим майданом, где без зазрения совести и громогласно могут распродаваться ценнейшие из сокровищ, собранных веками и силами России…»

Второй эпизод относится к началу Второй мировой войны, когда Шмелев питал иллюзии, что Германия освободит Россию от большевизма. Когда его обвинили в коллаборационизме, он заявил: «Фашистом я никогда не был и сочувствия фашизму не проявлял никогда». Шмелеву просто был ненавистен советский строй.

И последнее. Первое монографическое исследование, посвященное глубинам религиозного духа Шмелева, создал немецкий литературовед Вольфганг Шрик. А фундаментальное исследование о летописце старой, ушедшей, как Атлантида, России, «Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева», написанное Ольгой Сорокиной, вышло в США, в Окленде в 1987 году.

Россия, как всегда, опаздывает с признанием своих пророков и кумиров. Одно лишь сделано благородное дело: перенесены останки Ивана Сергеевича Шмелева с кладбища в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем на кладбище Донского монастыря в Москве. Шмелев в это перенесение верил: «Знаю, придет срок — Россия меня примет».

ЭРЕНБУРГ
Илья Григорьевич
14(26).I.1891, Киев — 31.VIII.1967, Москва

Жизнь и творчество Эренбурга можно разделить на два периода: юность — поэт Серебряного века, зрелость — советский писатель, прозаик и публицист. Польский писатель Ярослав Ивашкевич писал про Эренбурга: «Считая себя поэтом, он разменял — ибо считал это своим гражданским долгом — золотые цимбалы на пращу, которой разил филистимлян: как внешних врагов своей родины, так и внутренних, что стоило ему большого труда и больших жертв». Однако стихи писать не бросал и на закате лет подвел как бы итог всей жизни:

Я с теми, кто дурацки борется,
Прет на рожон, да впереди,
Кто не забыл, как свищет молодость,
Кто жизнь продрог, а не продрых;
И хоть хлебал, да все не солоно,
Кто так не вышел из игры.

Да, он был игроком по натуре. Следователь, который вел его дело, назвал Эренбурга «юношей с темпераментом».

Илья Григорьевич Эренбург прожил феерическую по числу событий и их накалу жизнь. «Моя жизнь протекала в двух городах

— в Москве и Париже. Но я никогда не мог забыть, что Киев — моя родина…», — признавался Эренбург.

Из Киева семья Эренбурга в 1896 году перебралась в Москву. «Я рос в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье… Рос я в Москве, играл с русскими детьми… Мне не привелось в Москве моего детства и юности столкнуться с юдофобством… антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни…» — так писал Эренбург в первой книге своих мемуаров.

«Еще подростком меня привлекала справедливость. Человеку, если он не находится в состоянии богатого и всесильного борова, свойственно связывать личное счастье со счастьем соседей, своего народа, человечеством. Это не риторика, — утверждал Эренбург, — а естественное чувство человека, не заплывшего жиром и не ослепленного манией своего величия…»

Революционные идеи овладели юным Эренбургом, и он стал сочинять политические прокламации, «переполненные пафосом шестнадцатилетнего неофита». В январе 1908 года он был арестован и отсидел пять месяцев в тюрьме.

Как скучно в «одиночке», вечер длинный,
А книги нет.
Но я мужчина,
И мне семнадцать лет.
Я, «Марсельезу» напевая,
Ложусь лицом к стене,
Но отдаленный гул трамвая
Напоминает мне,
Что есть Остоженка, и в переулке
Наш дом,
И кофе с молоком, и булки,
И мама за столом…

Хорош революционер, тоскующий о маме!.. По освобождении из тюрьмы Эренбург решил отправиться за границу. «„Только в Париж“, — сказал я родителям. Мать плакала: ей хотелось, чтобы я поехал в Германию и поступил в школу; в Париже много соблазнов, роковых женщин, там мальчик может свихнуться… Я уезжал с тяжелым сердцем и с еще более тяжелым чемоданом: туда я положил любимые книги. На мне было зимнее пальто, меховая шапка, ботики».

7 декабря 1908 года Эренбург приехал в Париж. И началась парижская жизнь, в которой политика переплеталась с поэзией и,

конечно, с любовью. «Илья Лохматый» называл Эренбурга Ленин. Правая пресса писала: «Русские студенты не учатся, не работают. Они даже не обедают как следует. Они только пьют чай и комментируют Маркса!»

Однако политика вынуждена была отступить перед поэзией. Эренбург ходил по Парижу оборванный и голодный и сочинял стихи.

Тебя, Париж, я жду ночами,
Как сутенер приходишь ты…

В Париже Эренбург прожил немало — 8 лет. Там же, во французской столице вышли первые его сборники стихов: «Стихи» (1910), «Одуванчики» (1912), «Будни» (1913). Второй сборник «Я живу» вышел в Петербурге в 1911 году. Одним из первых откликнулся Валерий Брюсов: «Среди молодых разве одному Гумилеву уступает он (Эренбург) в умении построить строфу, извлечь эффект из рифмы, из сочетания звуков… Пока И. Эренбурга тешат образы средневековья, культ католицизма, сочетание религиозности с чувственностью, но эти старые темы он пересказывает изящно и красиво».

Темы и мотивы первого сборника были навеяны поездкой в бельгийский город Брюгге, где побывал Эренбург с юной женой Катей Шмидт. «Я написал полсотни стихотворений о красоте исчезающего мира, о рыцарях и Прекрасных Дамах, о Марии Стюарт, об Изабелле Оранской, о мадоннах Мемлинга, о брюггских монахинях…»

В одежде гордого сеньора
На сцецу выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Влача тяжелые доспехи
И замедляя ровный шаг,
Я прохожу при громком смехе
Забавы жаждущих зевак.

Теперь бы, предлагая даме
Свой меч рукою осенить,
Умчаться с верными слугами
На швабов ужас наводить.

А после с строгим капелланом
Благодарить Святую Мать
И перед мрачным Ватиканом
Покорно голову склонять…

Но — «как жалобно сверкают латы при электрических огнях…» — говорится далее в стихотворении. А в воспоминаниях Эренбург продолжал: «Мне действительно тогда казалось, что я создан, скорее, для крестовых походов, нежели для Высшей школы социальных наук. Стихи получались изысканные; мне теперь неловко их перечитывать, но писал я их искренне».

В парижском кафе «Ротонда» Эренбург встречался с поэтами Гийомом Аполлинером, Жаном Кокто, художниками Леже, Вламинком, Пикассо, Модильяни, Ривера, Шагалом, Сутиным, Ларионовым, Гончаровой и многими другими, кто прославил XX век. Встречался Эренбург и с русскими поэтами — Бальмонтом, Волошиным…

Летом 1917 года Эренбург вернулся в Россию. Выступал на поэтических вечерах вместе с Буниным, Ходасевичем и Маяковским. Затем уехал в Киев, где выпустил сборник «Молитвы о России».

Детям скажете: «Осенью
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Мы ее распяли!»

Далее был вихрь разных событий: жизнь в Коктебеле, бегство от войск Врангеля, возвращение в Москву, тюрьма ВЧК, работа в Наркомпросе. Весной 1921 года Эренбург получает заграничный паспорт и уезжает в Европу «писать роман». Застряв в бельгийской деревушке близ Остенде, Эренбург написал за 28 дней (!) роман, принесший ему европейскую известность, — «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Хулио Хуренито многие критики рассматривают как предтечу булгаковского Воланда. «На шпагу поочередно нанизывает Эренбург империалистическую войну, мораль, религию, социализм, государство — всякое…» — так отозвался о романе Евгений Замятин.

Негативный отклик можно найти в дневниковой записи Корнея Чуковского от 1 апреля 1923 года: «Вчера купил себе в подарок Илью Эренбурга „Хулио Хуренито“ — и прочитал сегодня

страниц 82. Не плохо, но и не очень хорошо: французский скептицизм сквозь еврейскую иронию с русским нигилизмом в придачу. Бульварная философия — не без ловких — в литературном отношении слов».

Это Чуковский написал, как говорится, в стол, для себя, а официальная критика возмутилась романом (нападки на социализм!), и свыше 30 лет он не переиздавался, а из собрания сочинений Эренбурга в 9-ти томах (1962–1967) глава о «великом инквизиторе» была выброшена целиком.

Далее книги Эренбурга пошли потоком: «Трест Д.Е» (1923), «Жизнь и гибель Николая Курбова» (1923) — о карьеристах в органах ЧК, «Любовь Жанны Ней» (1924), «Рвач» (1925). В 1928 году в Париже вышел роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», который был опубликован в СССР лишь в 1989 году, да и то в журнале «Звезда». В романе прозвучала впервые пророческая фраза — «Лес рубят — щепки летят», которой впоследствии многие оправдывали вал репрессий.

Эренбург жил то в России, то на Западе, и везде много путешествовал: «…я быстро изнашивал ботинки, покупал не шкафы, а чемоданы — так вот сложилась моя жизнь…»

Эренбург участвовал в антифашистских писательских конгрессах, в качестве корреспондента побывал на фронтах Испании и прославился своими военными репортажами. Антифашистской теме был посвящен и роман «Падение Парижа» (1941), за который он получил Сталинскую премию. Во время Отечественной войны Эренбург написал почти две тысячи пламенных статей. Это был почти солдатский подвиг. Собранная вместе с Василием Гроссманом «Черная книга» о злодеяниях фашистов против евреев, однако, свет не увидела: набор рассыпали…

Еще одну Сталинскую премию Эренбург получил за роман «Буря» (1947). Любимчик Сталина? О, не так все просто. «Я не любил Сталина, — признавался Эренбург, — но долго верил в него, и я его боялся…» В 1949 году писателя перестали печатать, и каждую ночь он ждал звонка в дверь и ареста. Но… пронесло. Пронесло в 30-м, не взяли в 40-е годы. Один молодой человек задал Эренбургу интересующий многих вопрос: «Скажите, как случилось, что вы уцелели?» На этот вопрос Эренбург ответил в своих мемуарах: «Не знаю. Будь я человеком религиозным, я, наверное, сказал бы, что пути господни неисповедимы, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею».

Оппоненты Эренбурга начисто отвергали теорию случайной лотереи, они запустили термин «искусство выживания», мастером которого якобы был писатель. Да, Эренбург служил режиму, был в

числе немногих советских неофициальных миротворцев, но одновременно подкалывал и подкусывал социализм, на большее у него не хватало смелости. Подчас он приспосабливался и мимикрировал, недаром в романе «Летом 1925 года» он говорил: «Мои годы напоминают водевиль с переодеваниями». Но он никогда не был трубачом власти. Не случайно вышедшую на Западе монографию о писателе гарвардский стипендиат Джошуа Рубинштейн назвал «Запутанная лояльность». Я бы еще добавил: затуманенная…

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды, —

писал Эренбург. Не следует забывать, что у Эренбурга был еще один «грех»: он был евреем. Еврей, интеллигент, западник — гремучее сочетание для России. Его происхождение не раз ставили в вину Илье Григорьевичу.

Дико воет Эренбург,
Одобряет Инбер дичь его.
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева —

вот только один из перлов отечественных патриотов, но были высказывания и похлеще.

Эренбург отвечал своим критикам и недругам так: «Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в земле старух и младенцев, в прошлом реки крови… Выступая по радио в день моего 70-летия, я сказал читателям, что я — еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит». В 1944 году на эту тему Эренбург написал очень печальные строки:

За то, что зной полуденной Эсфири,
Как горечь померанца, как мечту,
Мы сохранили и в холодном мире,
Где птицы застывали на лету,
За то, что нами говорит тревога,
За то, что с нами водится луна,
За то, что есть петлистая дорога
И что слеза не в меру солона,
Что наших девушек отличен волос,
Не те глаза и выговор не тот, —
Нас больше нет. Остался только холод.

Трава кусается, и камень жжет.

Борис Слуцкий утверждал, что Эренбург «был почти счастливый человек. Он жил, как хотел „почти“. Делал, что хотел (почти). Писал, что хотел (почти). Говорил — это уже без „почти“, — что хотел. Сделал и написал очень много. КПД его, по нынешним литературным временам, очень велик».

Выходит, удачник из удачников? Да, власть иногда его ласкала (был короткий ласковый период). Но сколько на него навешивали ярлыков, от «попутчика» до «врага». Можно вспомнить и определение Гитлера: «Эренбург — сталинский придворный лакей». А уж свои отечественные никогда не стеснялись: «Эренбургу пора понять, что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны». Собратья по перу отрицали стиль Эренбурга, ругали за подражание французам, выделяя в его романах «одну публицистику» и т. д. То есть Эренбург стилистически не совпадал с советскими писателями и уж совсем не годился на роль барабанщика и горниста.

«В чем же были правы критики? — задавал вопрос писатель и отвечал так: — Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы и в том, что я склонен к иронии». Стиль Эренбурга — это сочетание иронии и сентиментальности, облеченное в четкие фразы и украшенное взрывчатыми афоризмами.

Европеец по характеру и мироощущению, Эренбург в конце 40-х годов ходил в «безродных космополитах». Во времена Хрущева Эренбурга склоняли за защиту абстракционизма и формализма. А он тем не менее и не собирался меняться!

Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным.
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым безупречным.
Жизнь он мерил собственною меркой.
Были у него свои скрижали…

В 1954 году, после смерти Сталина, появилась знаковая повесть Эренбурга «Оттепель». Первая антикультовая книга. Фенологическому понятию «оттепель» писатель придал общественно-политический смысл. А затем вышли воспоминания «Люди, годы, жизнь» (1960–1965), вернувшие читателю вычеркнутые и запрещенные имена Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама и многих других изгнанных и расстрелянных. По

существу, в этих воспоминаниях Эренбург предстал неким литературным Колумбом, открывшим неведомые доселе острова и земли, после чего горизонт российской литературы распахнулся и засверкал новыми яркими красками.

Корней Чуковский высказался о мемуарах Эренбурга следующим образом: «хороши своим великолепным благородством». Анна Ахматова осталась недовольна: «…О Толстом все наврано: Алексей Николаевич был лютый антисемит и Эренбурга терпеть не мог. Обо мне: у меня стены не пустые, и я отлично знала, кто такой Модильяни. Обо всех вранье». Любые мемуары — опасный жанр: всегда кто-то останется недовольным. В свое время досталось и Георгию Иванову за его «Петербургские зимы»: мол, много нафантазировал и исказил. Но это частности. Главное, воспоминания Эренбурга стали вехой в истории отечественной культуры.

В одном из последних интервью Эренбург скромно сказал о себе, что он — «потребитель искусства». Он любил искусство. Он обожал его, и в этом обожании он был истинным сыном Серебряного века. Обожатель искусства и творец искусства.

Прошу не для себя, для тех,
Кто жил в крови, кто дольше всех
Не слышал ни любви, ни скрипок,
Ни роз не видел, ни зеркал,
Под кем и пол в сенях не скрипнул,
Кого и сон не окликал.
. . . . . .
Прощу до слез, до безрассудства,
Дойдя, войдя и перейдя,
Немного смутного искусства
За легким пологом дождя.

Илья Эренбург умер в конце лета 1967 года, в возрасте 76 лет. Как сказал драматург Леонид Зорин, с Эренбургом ушел от нас «осенний европеизм с его обаянием, с его усталостью, его готовностью быть лояльным…».

В одном из сонетов Эренбург писал, что в принципе все ничтожно «в этот век ракет», непреложно одно: искусство и его свет, «одно пятно, стихов одна строка». И концовка:

Все нарушал, искусства не нарушу.

ФИЛОСОФЫ МЫСЛИТЕЛИ ПУБЛИЦИСТЫ

Философией называется не самая мудрость, а любовь к мудрости.

Августин Блаженный

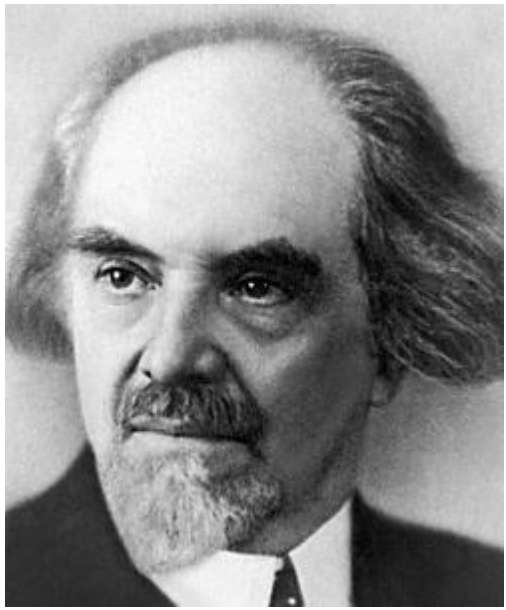
Когда слушающий не понимает говорящего, а говорящий не знает, что он имеет в виду, — это философия.

Вольтер

Одна из самых характерных черт преобладающего типа русской мысли… есть, так сказать, эмоциональность и интуитивность, ее определенность сильными стихийными страстями, оценками и чувствами. Людей этого типа трудно даже назвать «мыслителями» в строгом смысле этого слова; они скорее… суть духовные борцы, обличители, проповедники, «пророки». Получается почти впечатление, как будто они мыслят не умом, а каким-то «нутром» своей души.

Семен Франк

БЕРДЯЕВ
Николай Александрович
6(18).III.1874, Киев — 24.III.1948, Кламар, под Парижем



Как полярно меняются оценки людей. В начале 30-х годов Большая советская энциклопедия ругала Бердяева за «национал-шовинистический бред» и «реакционно-мистические фантазии». В начале 50-х к нему приклеили ярлык, чтобы в нем никто не сомневался: «Бердяев — реакционный русский философ-мистик, белоэмигрант, ярый враг Советской власти». Сегодня, кто с радостью, а кто вынужденно, признают, что Николай Бердяев — это русский Гегель XX века, один из величайших философов и пророков нашего времени, один из универсальных людей нашей эпохи, великий мыслитель, чей труд явился связующим звеном между Востоком и Западом, между христианами разных исповеданий, между христианами и нехристианами, между нациями, между прошлым и будущим, между философией и теологией и между видимым и невидимым. И самое любопытное то, что высот духа достиг человек, что называется, «не окончивший курса». Как это могло произойти? Без краткого биографического рассказа не обойтись.

Николай Бердяев происходил из старинного дворянского рода. Его предки — генералы и георгиевские кавалеры. По материнской линии — именитые монахини, члены княжеских и графских домов, бабушка — французская графиня де Шуазель. Обычное дворянское детство: усадьба, няня, домашнее образование с изучением иностранных языков, поездка с родителями на курорт в Вену. Учеба в Киевском кадетском корпусе, затем Киевский университет, сначала физико-математический факультет, потом — юридический, однако университет Бердяев так и не закончил: был исключен за революционную деятельность. Входил в один из марксистских кружков вместе с Анатолием Луначарским. Дважды подвергался аресту. 22 марта 1900 года Бердяев был выслан в Вологду «под гласный надзор полиции». В Вологодской ссылке подобралась неплохая компания: все тот же Луначарский, Алексей Ремизов, Борис Савинков… Бердяев время даром не терял и активно занимался философией. В Вологде произошел его переход «от марксизма к идеализму».

К чтению философских книг Бердяев пристрастился рано, с 14 лет; его любимыми авторами были Гегель, Кант, Шопенгауэр, Ницше… Постоянно обращался к своим «вечным спутникам» — Достоевскому и Льву Толстому. Бердяев рано осознал свое призвание — быть философом, «человеком, который посвятит себя исканию истины и раскрытию смысла жизни».

В этюде «Тоска», написанном в конце 30-х годов, когда Бердяеву было уже 65 лет, он писал: «…Я стал философом, пленился „теорией“, чтобы отрешиться от невыразимой тоски обыденной жизни. Философская мысль всегда освобождала меня от гнетущей тоски „жизни“, от ее уродства. Я противополагал „бытию“ — „творчество“. „Творчество“ не есть „жизнь“, творчество есть прорыв и взлет, оно возвышается над „жизнью“ и устремлено за границу, за пределы, к трансцендентному. Тоска исходит от „жизни“, от сумерек и мглы „жизни“ и устремлена к трансцендентному. Творчество и есть движение к трансцендентному. Творчество вызывает образ иного, чем эта „жизнь“. Слово „жизнь“ я употребляю в кавычках. В мире творчества все интереснее, значительнее, оригинальнее, глубже, чем в действительной жизни, чем в истории или в мире рефлексий и отражений. Во мне раскрывался мир более прекрасный, чем этот „объективный“ мир, в котором преобладает уродство. Но это предполагает творческий подъем…»

И далее в этюде «Тоска»: «…Есть люди, которые чувствуют себя весело в пустыне. Это и есть пошлость. Многие любят говорить, что они влюблены в жизнь. Я никогда не мог этого

сказать, я говорил себе, что влюблен в творчество, в творческий экстаз. Конечность жизни вызывает тоскливое чувство. Интересен лишь человек, в котором есть прорыв в бесконечность. Я всегда бежал от конечности жизни…»

Бердяева можно цитировать без конца, но вернемся к его конкретной жизни. Его литературный дебют состоялся в 1898 году в журнале «Мир Божий», где появились две бердяевские рецензии, правда, без подписи. В 1899 году Бердяев написал свою первую самостоятельную работу — «Ф.А. Ланге и критическая философия в ее отношениях к социализму». Она появилась в Германии. В первое десятилетие XX века Бердяев много путешествовал по Европе, слушал лекции в Гейдельберге, участвовал в работе 2-го Международного конгресса в Женеве (август 1904).

В 1904–1907 годах Бердяев жил в Петербурге и вошел в редакцию органа «нового религиозного сознания» журнала «Новый путь». Здесь произошло знакомство Бердяева с Мережковским, Зинаидой Гиппиус и Розановым. Зачастил он на собрания на «Башне» к Вячеславу Иванову, печатался в журнале «Вопросы философии и психологии», в «Полярной звезде», «Биржевых ведомостях» и других изданиях. Однако Бердяев не позволил Мережковскому затянуть себя в его «революционно-духовное деланье» (Е. Герцык) и с 1909 года обосновался в Москве.

Евгения Герцык вспоминает: «С осени он с женою поселился в Москве, в скромных меблированных комнатах — всегда острое безденежье, — но убогость обстановки не заслоняла врожденной ему барственности. Всегда элегантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг — тонкий аромат сигары. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна в помятых бархатах величаво встречала гостей. И за чайным столом острая, сверкающая умом беседа хозяина…»

Лидия Юдифовна Трушева (по первому мужу Рапп) — жена Бердяева, он женился на ней осенью 1904 года и прожил с ней более 40 лет, по день ее кончины в 1945 году.

В Москве у Бердяева произошел поворот от деятельности к творчеству. Много читает и много пишет. Что читает? По воспоминаниям Герцык: «Разнообразие: Каббала, Гуссерль и Коген, Симеон Новый Богослов, труды по физике; стопочка французских католиков, а поодаль непременно роман на ночь — что-нибудь выисканное у букинистов…»

Что пишет? Полемическую книгу о народнике Михайловском, в связи с которой Ленин ревниво сообщает Плеханову в июле 1901 года: «Из России пишут, что публика страшно увлекается

Бердяевым…». Статьи об идеализме, отклик на книгу Льва Шестова — статья «Трагедия и обыденность», в 1907 году выходит сборник «Новое религиозное сознание и общественность». В 1909 году вышел прозвучавший громом сборник «Вехи». В нем была и статья Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда». В ней Бердяев обвинил интеллигенцию в подчинении «утилитарно-общественным целям», в измене бескорыстной истине и «метафизическому духу великих русских писателей» и призывал интеллигенцию порвать с радикализмом.

«Вехи» вызвали бурю негодования. Разве могла российская интеллигенция согласиться с тем, что «случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине»? Или согласиться с таким бердяевским утверждением: «Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, т. е. возложим на себя ответственность и перестанем во всем винить внешние силы»?

Почти 100 лет прошло с тех пор, как громыхнули «Вехи», а российские интеллектуалы (или квази-интеллектуалы) до сих пор во всех бедах России винят исключительно внешние силы: Запад, сионизм и прочее, но только не себя. Критического взгляда Бердяева не хватает никому. Также не по нраву бердяевская мысль о свободе: трагедия происходит от того, что бремя свободы не каждому по силам. А все ли готовы признать, что «в сущности, история делалась как преступление»? А утверждение Бердяева, что «в низах Россия полна дикости и варварства… Но на вершинах своих Россия сверхкультурна… Между верхним и нижним этажами русской культуры не было ничего общего… Жили как бы на разных планетах…»? А что изменилось?..

В 1916 году вышла отдельной книгой, публиковавшаяся ранее в статьях, — «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». Вячеслав Иванов оценил книгу Бердяева как «покорительно талантливую», но в то же время «опрометчиво своевольную». Мережковский с Гиппиус возмутились, а Василий Зеньковский отметил, что это «одно из наиболее значительных религиозно-философских произведений последнего времени и во всяком случае лучшее, что было написано Бердяевым».

Творчество, по мысли Бердяева, есть обнаружение избыточной любви человека к Богу. Творчество обращено к Третьему завету, призванному сделать человечество совершенным.

Здесь следует сказать, что у Бердяева были довольно сложные отношения с русской церковью, он никак не вписывался в

концепцию «полицейского православия», Бердяев выступал против религиозного самодержавия, его статья «Гасители духа» (1913), направленная против Святейшего синода, вызвала гнев иерархов и обвинение в богохульстве. Как религиозный философ Бердяев был слишком широк для российского православия, к тому же он был одним из инициаторов экуменического движения, вместе с Сергеем Булгаковым и Жаком Маритеном.

Будучи идейным противником большевизма, Бердяев тем не менее испытывает в первые послереволюционные годы творческий подъем: выступает со статьями, читает лекции, выпускает книгу «Философия Достоевского». На своей квартире во второй половине 1918 года Бердяев создает Вольную академию духовной культуры, в которой читает лекции по философии истории и философии религии. Выступает в шумных дебатах о Христе в Клубе анархистов. Активность Бердяева была подозрительна новым властям. Первый арест произошел в феврале 1920 года, второй — в августе 1922 года. И — решение о бессрочной высылке из советской России. «Вышлем безжалостно и очистим Россию надолго», — так решил Ленин.

28 сентября 1922 года Николай Бердяев, Семен Франк, Федор Степун, Николай Лосский и другие философы были «погружены» на немецкий пароход «Обербургомистр Хакен» и отправлены на Запад. 30 сентября пароход пришвартовался в порту Штеттина.

А высылке на «философском пароходе» предшествовал разговор Бердяева с Феликсом Дзержинским (во время второго ареста): «…С левой стороны стоял неизвестный мне человек в военной форме. Это был блондин с жидкой заостренной бородкой… — вспоминал позднее Бердяев. — Он попросил меня сесть и сказал: „Меня зовут Дзержинский“. Это имя человека, создавшего ЧК, считалось кровавым и приводило в ужас всю Россию. Я был единственным человеком среди многочисленных арестованных, которых допрашивал сам Дзержинский. Мой допрос носил торжественный характер: приехал Каменев присутствовать на допросе, был и заместитель председателя ЧК Менжинский, которого я немного знал в прошлом, — он был тогда писателем, неудавшимся романистом.

Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать, переводя весь разговор в идеологическую область. Я сказал Дзержинскому: „Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству писателя и мыслителя прямо высказать то, что я думаю“. Дзержинский мне ответил: „Мы этого и ждем от вас“. Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию. Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником

коммунизма. Вместе с тем я настаивал на том, что я человек не политический. Дзержинский слушал меня очень внимательно и лишь изредка вставлял свои замечания. По окончании допроса Дзержинский сказал мне: „Я вас сейчас освобожу, но вам нельзя будет уезжать из Москвы без разрешения“.

Бердяева выпустили, а потом „посадили“ на пароход, — и „всех их — вон из России“, как объявил пролетарский „философ“ Владимир Ленин-Ульянов.

Бердяев жил сначала в Берлине, а летом 1924 года перебрался в Париж. Как писала жена Бердяева:

Иду и вижу:
Косматая клячонка, сани.
Ванька в шапке меховой.
Кнутом мне машет:
„Барыня! А барыня!
Садись. Куда велишь?“
Куда — пока в Париж!

Но „пока“ означало: на всю оставшуюся жизнь. Бердяевы поселились в парижском пригороде Кламаре. Сначала снимали квартиру, а в 1938 году переехали в собственный дом, полученный в наследство от друга семьи — англичанки Флоранс Вест. „Бердяев стал… домовладельцем“ — в среде русской эмиграции это было воспринято, как парадокс. По отзыву Бориса Вышеславцева, у Бердяевых был милый помещичий дом, „Ясная Поляна“, где живет русский барин, боящийся сквозняков, любящий заниматься философией и решивший стать „пророком“ и достигший успехов на этом поприще».

«Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко…» — вспоминал Борис Зайцев.

Более раннее воспоминание Андрея Белого: «В жизни он был — терпеливый, терпимый, задумчивый, мягкий и грустно-веселый какой-то…»

И определение Белого натуры Бердяева: «Многострунная личность». Действительно, в эмиграции Бердяев не изменил себе. Он занимается тысячью дел: редактирует орган Религиозно-философского общества — журнал «Путь», работает редактором издательства YMCA-Press, основывает со своими единомышленниками Лигу православной культуры, участвует в многочисленных съездах и собеседованиях, в собраниях Братства Св. Софии, в литературном объединении «Кочевье», в различных межконфессиональных конгрессах, продолжает чтение лекций. Как и в Москве, в Кламаре у себя дома Бердяев устраивает беседы

с чаепитием, среди его постоянных гостей Лев Шестов и Георгий Федотов. И, конечно, Бердяев не бросает своих философских исследований.

Еще в Берлине в 1924 году вышел этюд Бердяева «Новое средневековье», который был переведен на многие европейские языки и принес автору мировую известность. «Мы вступили в эпоху исторического странствования», — писал в своей работе философ. — «Происходит страшное ускорение времени, быстрота, за которой человек не может угнаться».

Бердяев обосновал мысль о безнадежности упования людей на лучшее будущее с помощью общественного развития. Он говорил, что история и ее временное течение движется ненавистью, а не любовью: «…и с остротой ненависти связаны наиболее динамические ее моменты».

Спасает ли человека культура, расширение знаний? В работе «О назначении человека» (Париж, 1931) Бердяев говорит: «Познание есть потеря рая». И еще более трагический вывод: «Всякое сознание есть несчастное сознание».

Много внимания уделял Бердяев вопросам русской истории и русского народа. Типология «русской души» выражена, как считал Бердяев, в таких «началах», как утопизм, нигилизм, анархия, экстремизм, фанатизм и тоталитаризм… «Противоречивость русской души, — писал Бердяев в работе „Истоки и смысл русского коммунизма“ (Париж, 1955), — определяется сложностью русской и исторической судьбы, столкновением и противоборством в ней восточного и западного элемента. Душа русского народа была сформирована православной церковью, она получила чисто религиозную форму. И эта религиозная формация сохранилась и до настоящего времени, до русских нигилистов и коммунистов. Но в душе русского народа остался сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины… Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли…»

«Утопии оказываются гораздо более выполнимыми, чем мы предполагали раньше…» — эти слова Бердяева взял Хаксли в качестве предисловия к своему роману «Прекрасный новый мир».

Как бороться с «новым миром» и утопиями, которые становятся явью? По мнению Бердяева, спасет лишь «религиозное возрождение». «Братство во Христе» или «товарищество в Антихристе» — такова дилемма истории. «Бытие есть трагедия», — считал Бердяев и еще более мрачно: «прогресс цветет лишь на кладбище, и вся культура совершенствующегося человечества отравлена трупным ядом».

Цитировать можно до бесконечности, но заглянем лучше в

дневники жены Бердяева, в которых отражены высказывания философа. Вот несколько ее записей:

6 мая 1939 года: «За обедом разговор: „Многие наслаждаются сознанием своей принадлежности к „умственной элите“. А меня это сознание мучит. Вся эта „элита“ — навоз! А она претендует решать мировые вопросы, судьбы мира.

Вообще я с горечью замечаю, что во мне все увеличивается скептицизм. Я всюду вижу все отрицательное. Правда, во мне всегда это было и раньше, но не в такой степени“.

9 мая 1939 года: „В мире не было никогда настоящей революции. Были лишь переодевания, приспособления к ней. Подлинная революция есть революция сознания, переоценка всех ценностей“, — говорит Ни (так супруга звала Бердяева. — *Прим. Ю.Б.*) сегодня за завтраком, и на эту тему мы говорим».

15 апреля 1940 года: «Я под впечатлением мысли, как-то пронзившей меня. Я вдруг ясно почувствовал себя продолжателем основной русской идеи, выразителями которой являются Толстой, Достоевский, Вл. Соловьев, Чаадаев, Хомяков, Федоров. Основа этой идеи — человечность, вселенность…»

В годы войны Бердяев чувствовал себя «слитым с успехами Красной армии». Сочувствовал Бердяев и французскому движению Сопротивления. От преследований гестапо философа спасло то, что кто-то из высшего германского командования считал себя знатоком и покровителем философии, а Бердяев был одним из ее мэтров.

В 1947 году Бердяеву была присуждена степень доктора теологии honoris causa Кембриджского университета. Он был также представлен к Нобелевской премии, но получить ее не успел: 24 марта 1948 года он умер в возрасте 74 лет. И знаменательно, Бердяев скончался, работая за своим письменным столом.

Последнее, незавершенное произведение Бердяева — книга «Царство Духа и царство Кесаря» (1946–1948). Она начинается словами: «Мы живем в эпоху, когда истину не любят и ее не ищут. Истина все более заменяется пользой и интересом, волей к могуществу…»

И далее: «Если наша эпоха отличается исключительной лживостью, то ложь эта особенная. Утверждается ложь, как священный долг во имя высших целей…»

Боже, как это знакомо нам сегодня!.. «Люди чаще, чем думают, живут в царстве абстракций, фикций, мифов…»

«Государство хочет быть тоталитарным. Это относится не только к коммунизму и фашизму… Власть принуждена бороться с проявлением зла; в этом ее функция. Но она и сама сеет зло и

бывает новым источником зла… И нет выхода из этого порочного круга».

Вас заинтересовал Бердяев? Ныне он не в запрете и вы всегда можете купить или достать любую его книгу.

В заключение еще одно высказывание философа: «С горечью нужно признать, что свобода мысли дорога лишь людям, у которых есть творческая мысль. Она очень мало нужна тем, которые мыслью не дорожат…»

Для Николая Александровича Бердяева свобода была всегда на первом месте.

БУЛГАКОВ
Сергей Николаевич,
после принятия сана —
отец Сергий
16(28).VI.1871, Ливны Орловской губернии
— 12.VII.1944, Париж

Чисто композиционно лучше всего начать с «Воспоминаний о русских философах», в которых Андрей Белый рассказывает, как его донимал Григорий Рачинский (тоже интересная фигура Серебряного века — он, как пишет Белый, «строитель моста к нам: из стана „старцев“, „Староколенный москвич“, профессор, „плавал в стихии искусства“). Так вот что вспоминает Андрей Белый:

„…И тут, распахнув шубу, Рачинский бросается мне рассказывать о Булгакове:

— Понимаешь?

— Паф-паф! — обкуривая меня папиросами Рачинский.

— Понимаете, Борис Николаевич!..

— Сергей Николаевич — паф: человек удивительный; его надо — паф: паф-паф-паф-паф!

— Паф-паф.

— Понимать!..“

И далее, переваривая всю эту „паф“-информацию, Андрей

Белый пишет: „Мне в Булгакове видится что-то черничное: может быть, — это черничный кисель?“

В разговоре с Булгаковым несло ягодами, свежим лесом и запахом смолы, средь которых построена хижина христолюбивого, сильного духом орловца, плетущего лапти в лесу, по ночам же склоненного в смолами пахнущей ясной и тихой молитве; несло свежим лесом, — не догматом вовсе; из слов вырастал не догматик-церковник, каким он являлся в докладах, в писаньях своих, — вырастал между юною порослью ельника крепкий стоический мужеством чернобородый и черноглазый орловец; и сравнивал я Булгакова с более мне в то время понятным Бердяевым; да, они появились, как пара: Булгаков, Бердяев — Бердяев, Булгаков, сливаясь в представлении мало их знавших в „Булдяева“ или в „Бергакова“… Е.Н. Трубецкой — отклонялся от них в одну сторону: в сторону большего протестантизма, рационализма и всяких привычек хорошего университетского тона; М.О. Гершензон — отклонялся от них то же самое: в сторону литературы, фактичности и несения службы в хорошего тона почтенных журналах; Булгаков с Бердяевым не принимали того и не шли на другое; мечтали о собственном органе; с Университетом формально не связаны были нисколько; смелели своею оппозицею — „религиозною“, заостряемою Бердяевым в публицистическое острие, и укрепляемою Булгаковым тяжелой артиллерией экономических фактов; они были „парой“, „Булдяевым“. И далее — начиналося расхождение между ними…»

«…Булгаков, хотя был „профессором“ он; в нем таились тогда уж потенции к „батюшке“, к „опыту“, к келье, ко старчеству и к Зосимовой Пустыни… меж тем; я Бердяева вовсе не мог бы представить себе посещающим „что-либо“ или „кого-либо“…»

«Было в Булгакове тихое, обнимающее молчанием сосредоточенного восприятия, почти женственного по силе отдачи возникающей вести; и оттого разговор с ним бывал со-вещаньем, со-вестием, со-вестю, „совесть“ будил он. В Бердяеве не было часто желания по-со-вещаться, со-ветствовать; вместо „со“ был „по“: повествовал о себе; или он из-вещал; там, у Булгакова „со“ — весть вставала; вставал же Бердяев с огромной повестью; кроме того, был Булгаков — совестным; Бердяев — известным. На мягкую восприимчивость надевал С.Н. частью панцырь воителя: сковывался годами меч воина — догматическое богословие, столь смущавшее многих; но „латы“ он дома снимал; Николай Александрович в „латах“ сидел у себя за столом; в них пил чай. Превосходно владел он рапирой и шпагой; и ими прокалывал точки он зрения; С.Н. владел превосходно мечом, прибегая к нему

очень редко. А сверху, на панцырь, Сергей Николаевич набрасывал в иных случаях очень ученую мантию экономиста, конкретнее всех прикоснувшегося к истокам формальной науки: к статистике, к цифрам, такою профессорскою миною он повернулся ко мне в наших первых беседах у Мережковских…»

Но хватит воспоминаний Андрея Белого, его тексты — как дебри, и пора нам выбираться из них. Обратимся непосредственно к истокам. Сергей Булгаков — философ, богослов, экономист, публицист, литератор — родился в семье священника. Учился в духовном училище и в Орловской духовной семинарии, но, проникшись материалистическими идеями, оставил семинарию и окончил елецкую гимназию. В 1894–1904 годах учился на юридическом факультете Московского университета. Был оставлен на кафедре для получения профессорского звания, однако написанный им диссертационный труд «О рынках при капиталистическом производстве» по цензурным соображениям не мог быть принят к защите.

В дальнейшем Сергей Булгаков — журналист и ведущий «легальный марксист». Его работа (первая книга!) «О рынках при капиталистическом производстве» (1897) вызвала одобрительный отклик Ленина. Но когда Булгаков стал ревизовать Маркса и настаивать на жизнеспособности мелкого крестьянского хозяйства, со стороны вождя пролетариата последовала негодующая реакция. Надо сказать, что Булгаков не долго ходил в «легальных марксистах», он быстро отвернулся от радикальных марксовых теорий и целиком перешел на религиозные рельсы. Как иронизировал Лев Шестов, Булгаков «стал выговаривать слово Христос тем же тоном, которым прежде произносил слово Маркс».

Однако Сергея Булгакова критиковали не только за отход от марксизма. Мережковский и Розанов упрекали Булгакова за то, что у него нет «внутреннего трагизма», что «горя у него не было». Ругали Булгакова и за «обыкновенность». «Булгаков, пока говорит, пресутуло качается, заколыхавшись, мешкотно поглаживая бородку, черно обрамляющую пышащие румянцем здоровые щеки; и тоном, и взором брюзжит недовольно; и вдруг так ласкательно, так сиянски добро улыбнется; переконфуженно замолкает; и гладит, качаясь, бородку…» Это все тот же Андрей Белый.

А вот давняя знакомая Булгакова Евгения Герцык: «Узкоплечий, несвободный в движениях, весь какой-то плебейского склада — прекрасны были лишь у него только глаза».

Михаил Нестеров в 1917 году нарисовал картину

«Философы», на которой изобразил двух друзей — Сергея Булгакова и Павла Флоренского. На картине Булгаков, несмотря на возраст, какой-то юный, какой-то вечный студент. Вот эти ярлыки — «студент», «интеллигент», «плебей» — довольно долго за ним тянулись.

А тем временем Булгаков все дальше уходит от марксизма и двигается в сторону идеализма. Он пишет работы о Достоевском, Владимире Соловьеве, Шестове, Чехове, участвует в выпуске сборников «Вопросы религии». С 1906 года он — профессор Московского университета, преподает в Московском коммерческом институте. В 1907 году его избирают во Вторую государственную думу от Орловской губернии как беспартийного «христианского социалиста». В Думе Булгаков активно работает в бюджетной, аграрной и других комиссиях и, видя всю политическую кухню, глубоко в ней разочаровывается.

Летом 1907 года начинается возвращение Сергея Булгакова в лоно «исторической» православной церкви и одновременно его отход от общественного радикализма. Знаменательна статья Булгакова в сборнике «Вехи» (1909) — «Героизм и подвижничество».

«…Героизм — вот то слово, которое выражает основную сущность интеллигентского мировоззрения и идеала… — писал в „Вехах“ Сергей Булгаков. — Интеллигент, особенно временами, впадал в состояние героического экстаза, с явно истерическим оттенком. Россия должна быть спасена, и спасителем ее может и должна явиться интеллигенция вообще и даже имя-рек в частности… Героический интеллигент не довольствуется ролью скромного работника, его мечта — быть спасителем человечества или, по крайней мере, русского народа… Он делает исторический прыжок в своем воображении и, мало интересуясь перепрыгнутым путем, вперяет свой взор лишь в светлую точку на самом краю исторического горизонта. Такой максимализм имеет признаки идейной одержимости, самогипноза, он сковывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни…

Оборотной стороной интеллигентного максимализма является историческая нетерпеливость, недостаток исторической трезвости, стремление вызвать социальное чудо…»

Как все узнаваемо, и спустя почти 100 лет. Дайте нам чудо, и поскорее!..

И Булгаков, ставя диагноз болезни, прописывал рецепт: «Уродливый интеллигентский максимализм с его практической непригодностью есть следствие религиозного извращения, но он может быть побежден религиозным оздоровлением…»

Большевики поступили ровным счетом наоборот, объявив

«пятилетку безбожия», рьяно срывая купола с церквей и изгоняя со света священнослужителей.

В 1909 году Булгакову пришлось пережить личную трагедию — умирает его трехлетний сын Ивашечка («О мой светлый, мой белый мальчик!..»). Событие это оставило мучительный след в его жизни. С этого несчастного 1909 года философский идеализм Булгакова окрашивается церковной нотой. Он целиком сосредоточивается на богословской и историко-религиозной проблематике. Участвует в создании московского религиозно-философского издательства Маргариты Морозовой «Путь». Булгаков-богослов, можно сказать, рождается в его центральном труде «Свет Невечерний» (1917). Жанр этой книги «созерцания и умозрения» «род духовной автобиографии автора».

В 1918 году в Даниловском монастыре в присутствии близких (Вячеслава Иванова, Бердяева, Струве, Евгения Трубецкого, Гершензона, Шестова и других) Сергей Булгаков был рукоположен в сан священника, отныне он — отец Сергий.

Большевики исключают Булгакова из Московского университета, а затем из советской России. Один из инициаторов высылки профессоров, инженеров, врачей — Григорий Зиновьев — на заседании Совдепа заявил: «Найдутся люди на Западе, которые заступятся за обиженных интеллигентов. Возможно, что Максим Горький снова начнет нас поучать, что советской России нужна интеллигенция, но мы знаем, что делаем. Рабочий класс не позволит никому, даже лучшему спецу, сесть ему на шею».

Коротко и ясно, в стиле победившего пролетариата. 17 декабря 1922 года Сергей Булгаков был выслан за пределы родины. Хорошо, что стало одним философом меньше, — вздохнули коммунистические бонзы. Фактическое изгнание — 1922 — стало началом растянувшегося на десятилетия процесса, который можно назвать дефилософизацией России. Изгнали лучших и мыслящих, подлинно талантливых борцов за свободную мысль. Остались единицы (Гершензон, Лосев…) В образовавшийся вакуум устремились философы советской формации — квази-философы, начетчики и схоласты, главным назначением которых было, по выражению Владимира Вернадского, выискивать «ошибки и ереси, уклонения от официально признанной философии».

Из Константинополя Сергей Булгаков перебрался в Прагу, где стал профессором церковного права Русского юридического факультета Пражского университета. Затем Булгаков переехал во Францию, и с 1925 года он — профессор догматики и декан Русского Богословского православного института (в дальнейшем — академии). Весь эмигрантский период Булгакова связан с

идеей братства Св. Софии: «…Над дольним миром реет горняя София, просвечивая в нем как разум, как красота, как… хозяйство и культура». За свои идеи Булгаков был обвинен в ереси, однако отец Сергий не сдавался, отстаивал свое учение, выезжал в США с циклом лекций и проповедей, участвовал в экуменических съездах.

В 1939 году Сергей Булгаков дважды перенес мучительную операцию — рак гортани. «Это было умирание…», как написал философ, но он не умер. Он просто стал писать свои проповеди карандашом из-за потери голоса. Смерть пришла позднее, в июле 1944 года, в возрасте 73 лет. Все последние годы отец Сергий искал «истину софиологии смерти», и вот он ее познал.

Как вспоминает монахиня Елена: «Отца Сергия облачили в ризу, которую он привез из России. В гроб, согласно его завещанию, положили горсть родной русской земли, взятой отцом Сергием с могилы его сына Ивашечки, и горсть Святой Земли из Гефсимании, которую отец Сергий хранил под образами…»

Отец Сергий покинул белый свет, оставив всем верующим свою книгу «Тихие думы».

ГЕРШЕНЗОН
Михаил Осипович
(Мейлих Иосифович)
1(13).VII.1869, Кишинев — 19.II.1925, Москва

Гершензона я определил в философы условно, конечно, он — философ, но не только. Еще историк литературы и общественной мысли, публицист, переводчик (прекрасно перевел Петрарку), критик, хотя последнего определения терпеть не мог. «Я историк, а не критик», — утверждал он.

Начальное и среднее образование Гершензон получил в Кишиневе. Сегодня это звучит нормально. А тогда! Еврейский юноша из Кишинева, что ему светило? Процитируем Владислава Ходасевича:

«Кончая гимназию, Гершензон мечтал о филологическом факультете, но отец не хотел и слышать об этом. В восьмидесятых годах, да и позже, для филолога было два пути: либо учительство, либо, в лучшем случае, профессорство, иначе говоря — служба по Министерству народного просвещения, для еврея неизбежно связанная с крещением. Старик Гершензон был в ужасе. Михаила

Осиповича отправили в Германию, где он поступил в какое-то специальное высшее учебное заведение, по технической или по инженерной части. Там пробыл он, кажется, года два — и не вынес: послал прошение министру народного просвещения о зачислении на филологический факультет Московского университета вольнослушателем. Потому вольнослушателем, что в число студентов попасть не мечтал: под процентную норму подходили лишь те, кто кончал гимназию с золотой медалью; у Гершензона медали не было. Но тут произошло нечто почти чудесное: из министерства был получен ответ, что Гершензон зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. Причина была простая — на филологический факультет евреи не шли, и прошение Михаила Осиповича было в тот год единственное, поступившее от еврея: он тем самым автоматически подошел под норму. Однако эта удача обернулась для Гершензона бедой: отец, вообще недовольный упрямством Михаила Осиповича, не поверил в „чудо“ и решил, что Михаил Осипович уже крестился. Кончилось дело если не родительским проклятием, то, во всяком случае, полным отказом в деньгах. Только мать наскребла на дорогу от Кишинева до Москвы. На московские стогны Гершензон ступил почти без копейки денег. Впрочем, какие-то знакомые устроили ему урок. Но тут — снова беда: дисциплина была в те времена не шуточная, и студент обязан был иметь форму, а в иных случаях являться при шпаге. Добрые люди нашлись опять: дали Гершензону старый студенческий сюртук, который сидел мешком и даже шпагу, и даже… за неимением форменного пальто, ему дали николаевскую шинель! Николаевскую шинель, светло-серую, с бобровым воротником и с пелериной, доходившей ему чуть не до колен! Она была ему так непомерно велика, что

— Вы понимаете, обе полы мне приходилось все время носить в руках!

Так началась ученая карьера Гершензона и его бедность».

Принадлежность к иудейскому вероисповеданию в условиях царской России закрывала Гершензону академическую карьеру. По окончании университета он становится профессиональным литератором, переводчиком, а между тем изданные Московским университетом в 1895 году работы Гершензона — «Афинская полития» Аристотеля и «Жизнеописания» Плутарха — были удостоены золотой медали.

По своим либерально-демократическим взглядам Гершензон был близок к определенному слою московской гуманитарной интеллигенции, которая свои воззрения и настроения относила к чаяниям дворянской интеллигенции XIX века, — впоследствии этот круг иронически называли «гершензоновской Москвой», по

аналогии с работой Гершензона «Грибоедовская Москва».

«Грибоедовская Москва» вышла в 1914 году, в ней Гершензон исследовал внутреннюю жизнь средней дворянской московской семьи в ту эпоху, которая породила комедию Грибоедова. Гершензон дотошно и увлеченно занимался ушедшим XIX веком и его главными героями — Пушкиным и Герценом, Чаадаевым и Печериным, Киреевским и другими славянофилами. Работы выходят одна за другой — «История молодой России» (1906), «П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление» (1908), «Жизнь Печерина» (1910) и другие. На деньги мецената Солдатенкова Гершензон в Европе добывает ценнейшие архивные документы, связанные с Пушкиным, Герценом, Огаревым. Он не только достает эти бесценные исторические материалы, но и тщательно их изучает (превосходный текстолог!), а затем публикует и комментирует их.

«К тем, кого он изучал, было у него совсем особое отношение, — вспоминает Ходасевич о Гершензоне. — Странно и увлекательно было слушать его рассказы об Огареве, Печерине, Герцене. Казалось, он говорит о личных знакомых. Он „чувствовал“ умерших, как живых. Однажды, на какое-то мое толкование стихов Дельвига, он возразил:

— Нет, у Дельвига эти слова означают другое: ведь он был толстый, одутловатый…»

О Пушкине и говорить не надо. Пушкин — это была особая страсть Гершензона. И снова предоставим слово Ходасевичу:

«Он угадал в Пушкине многое, „что и не снилось нашим мудрецам“. Но, конечно, бывали у нас и такие примерно диалоги:

Я: Михаил Осипович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так.

Гершензон: А я знаю, что это так!

Я: Да ведь сам Пушкин…

Гершензон: Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать и что хотел скрыть, — и еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия».

Именно Гершензон предложил особый способ чтения стихов Пушкина. Мы, утверждал Гершензон, должны «прочитать Пушкина собственными глазами и в свете нашего опыта определить смысл и ценность его поэзии». И читать Пушкина надо медленно… Впоследствии гершензоновская концепция бинарности пушкинской поэзии («смысл» и «ценность») получила дальнейшее развитие в 60 — 70-х годах XX столетия.

Обязательно надо отметить, что Гершензон блистательно владел искусством чтения ненаписаннного, так сказать, междокументного текста, впрочем, это относится и к художественной литературе. Опыт Гершензона имел в виду Юрий

Тынянов, когда настаивал на необходимости для исторического романиста читать то, чего нет в документах.

История литературы интересовала Гершензона очень выборочно. В центре его историко-литературных интересов был Пушкин, в меньшей степени Тургенев, а Достоевский, напротив, как он сам говорил, «был ему чужд». Из современных ему авторов особенно восхищался Андреем Белым. Вячеслав Иванов, Сологуб и Блок были его любимыми поэтами. Высоко ставил он Ремизова. Не любя стихов Брюсова, уважал его как историка литературы. «В общем же, — как замечает Ходасевич, — был широк и старался найти хорошее даже в писателях, внутренне ему чуждых».

А коли опять вернулись к Ходасевичу, то вспомним его визит летом 1915 года к Гершензону:

«Арбат, Никольский переулок, 13. Деревянный забор, проросший травою двор. Во дворе направо — сторожка, налево еще какое-то старое здание. Каменная дорожка ведет в глубь двора, к двухэтажному дому новой постройки. За домом сад с небольшим огородом. Второй этаж занимает Гершензон, точнее — семья его. Небольшая столовая служит и для „приемов“. А сам он живет еще выше, в мезонине…

Маленький, часто откидывающий голову назад, густобровый, с черной бородкой, поседевшей сильно в последние годы; с такими же усами, нависшими на пухлый рот; с глазами слегка навыкате; с мясистым, чуть горбоватым носом, прищемленным пенсне; с волосатыми руками, с выпуклыми коленями, — наружностью был он типичный еврей. Говорил быстро, почти всегда возбужденно. Речь, очень ясная по существу, казалась косноязычной, не будучи такою в действительности. Это происходило от глухого голоса, от плохой дикции и от очень странного акцента, в котором резко-еврейская интонация кишиневского уроженца сочеталась с неизвестно откуда взявшимся оканием заправского волгаря.

Комната, где он жил, большая, квадратная, в три окна, содержала не много мебели. Две невысокие книжные полки; два стола: один — вроде обеденного, другой — письменный; низкая, плоская кровать с серым байковым одеялом и единственною подушкой; вот и все, кажется, если не считать двух венских стульев да кожаного, с высокой спинкой, старинного кресла. В это кресло (левая ручка всегда отскакивает, расклеилась) Гершензон усаживает гостя. Оно — историческое, из кабинета Чаадаева.

Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин (фототипия) да гипсовая маска, тоже Пушкина… В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости, но все как-то само собой

сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги — только самые необходимые для текущей работы; прочие — в другой комнате. Здесь живет человек, не любящий лишнего».

В 1909 году Гершензон выступил инициатором и главным организатором сборника «Вехи» (1909), который Ленин назвал «энциклопедией либерального ренегатства». Так что же такого ренегатского написал лично Михаил Гершензон? Свою статью он озаглавил «Творческое самосознание», и в ней, в частности, писал:

«Нет, я не скажу русскому интеллигенту: „верь“, как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также: „люби“, как говорит Толстой. Что пользы в том, что под влиянием проповедей люди в лучшем случае сознают необходимость любви и веры? Чтобы возлюбить или поверить, те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться, — а в этом деле сознание почти бессильно. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека…

Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту, это — постарайся стать человеком. Став человеком, он без нас поймет, что ему нужно: любить или верить, и как именно».

Так писал Гершензон и утверждал:

«Потому что мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, у русских интеллигентов, и уродство наше — уже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки потому, что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растет заодно с волею, что наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевую жизнь. Русский интеллигент — это прежде всего человек, с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, т. е. признающий единственно-достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его личности — народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не властвует так деспотически, как у нас, а наше общественное мнение уже три четверти века неподвижно зиждется на признании этого верховного принципа: думать о своей личности — эгоизм, непристойность; настоящий человек лишь тот, кто думает об общественном, интересуется вопросами общественности, работает на пользу общую…»

Думаете, Гершензон устарел? А как же звучавшая совсем недавно песня: «Раньше думай о Родине, а потом о себе!..» Увы, Гершензон лишь выразил сущность нашей русской ментальности.

«…Дома — грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ, — да оно и легче и занятнее, нежели черная работа дома…»

«Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастенией, между нами почти нет здоровых людей, — все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью; все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены…»

И разве не те же физиономии мы видим с вами сегодня? Про Думу и вспоминать не хочется: просто паноптикум…

Плодотворно сотрудничал Гершензон с издательством братьев Сабашниковых, в нем он вел серии «Русские Пропилеи», издавал и переиздавал свои книги.

Революцию Гершензон принял относительно спокойно, об эмиграции даже не думал, а принял активное участие в налаживании культурной жизни в России, стал одним из организаторов Всероссийского союза писателей. Впрочем, об этом более подробно пишет Владислав Ходасевич:

«Те, кто прожил в Москве самые трудные годы, — восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый, — никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея Союза писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов Союза и первым его председателем. Но, поставив Союз на ноги и пожертвовав этому делу огромное количество времени, труда и нервов, — он сложил с себя председательство и остался рядовым членом Союза. И все-таки в самые трудныеминуты Союз шел все к нему же — за советом и помощью.

Не только в общих делах, но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогою. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду — и не на словах, а на деле спешил помочь. Скажу о себе, что если б не Гершензон — плохо мне бы было в 1916–1918 гг., когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги; Гершензон, а не кто другой, хлопотал по моим делам, когда я уехал в Крым. А уж о душевной поддержке — и говорить нечего. Но все это делалось с изумительной простотой, без всякой позы и сентиментальности. Его внимательность и чуткость были почти чудесны…

Доброта не делала его ни пресным, ни мягкотелым. Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, — прямо в глаза. Никогда не был груб и обиден, — но и не сглаживал углов, не золотил

пилюлю.

— Начистоту! — покрикивал он, — начистоту!

Это было одно из его любимых слов. И во всех поступках Гершензона, и в его доме, и в его отношениях к детям, — была эта чистота правды».

Давняя дружба связывала Гершензона со Львом Шестовым. Судьба двух философов сложилась по-разному: Гершензон остался на родине, а Лев Шестов эмигрировал на Запад, но они продолжали переписку (в основном письма хранятся в архиве Шестова в библиотеке Сорбонны), и в письмах обсуждали то, что произошло с Россией и с ними.

«Я страдал лично, страдал за бесчисленные чужие страдания, которые были кругом, — и думал про себя молча… — писал Михаил Гершензон 7 декабря 1922 года. — Весь физический ужас нашей революции я чувствую, наверное, не меньше тебя, уже потому, что я его видел в бóльшем количестве, — я разумею кровь, всяческое насилие и прочее… Самое трудное в России для меня теперь, т. е. в последнее время, кроме личных трудностей и лишений, — две вещи: во-первых, воспоминание о предыдущих 4-х годах, воспоминание о том, как ужасно я и моя семья жили, и воспоминание о многих чужих ужасающих страданиях, которые за эти годы легло на мою душу тяжелой ношей на всю жизнь; во-вторых, что власть, всякая, делает свое дело всегда с кровью, — но раньше (и в Европе) она работала за ширмами, теперь она у нас на виду, — колоссальная разница! Жизнь почти невыносима, когда изо дня в день видишь, как она стряпает свою стряпню. А нынешняя русская власть к тому же — из властей власть: сущность власти как закона беспощадного, отрицающего личность, — и неизменный во все века спутник — вырождение закона и произвол отдельных персонажей власти, — в ней выражены ярче, чем где-либо. И все это у тебя постоянно на глазах; вот что очень страшно».

После высылки или отъезда близких ему друзей Гершензону было очень одиноко. «Ты спрашиваешь о новых друзьях; старых друзей нет — „иных уж нет, а те далече“; из знакомых старые и больше новые, но именно знакомства, которые не греют, так сказать, „души ничуть не шевелят“; а в общем одиноко. Не скажу, чтобы молодое поколение было плохо; напротив, в старом, в наших сверстниках, обнаружилось за эти годы много непривлекательного; молодые чище, менее практичны, менее корыстны. Зато в молодых преобладают формальные интересы, не идейные или нравственные на первом плане — так называемая „научность“, затем эрудиция; если теория литературы, то работает над изучением ассонансов, или рифмы, или ритма

прозы у Тургенева и т. п., и дела ему нет до поэзии самой. Это мне скучно; все головастики» (29 марта 1924).

И в одном из писем к Шестову Гершензон почти срывается на крик: «Зачем ты сидишь в Париже? зачем тебя здесь нет?» (15 февраля 1924).

Одиноко в душе, в письмах, но тем не менее Гершензон продолжает делать дело, занимается историей, литературой, философией. Выходят книги: «Тройственный образ совершенства» (1918), «Видение поэта» (1919), «Мечта и мысль И.С. Тургенева» (1919), «Мудрость Пушкина» (1919), «Гольфстрем» (1922), «Ключ веры» (1922), «Статьи о Пушкине» (1926)… и совершенно неожиданная парадоксальная книга «Переписка из двух углов». Ее выпустил Самуил Алянский в 1921 году в издательстве «Алконост».

Летом 1920 года в санаторий для работников науки и литературы (особняк в 3-м Неопалимовском переулке), в райское местечко для тогдашней голодной Москвы, попали вместе Гершензон и Вячеслав Иванов, вместе буквально — в одну комнату. В этой комнате они работали, но постоянно между ними вспыхивали споры о религии и культуре, о смысле искусства и других философских материях. Споры, естественно, отвлекали от основной работы, и тогда по предложению Гершензона два видных деятеля Серебряного века решили письменно излагать друг другу свои мысли. Возникла переписка. Шесть писем из одного угла. И шесть встречных — из другого.

И переписчики были разные по своим мировоззренческим позициям, и углы были разные. В углу вечно мятежного Гершензона царил безупречный порядок: чисто постланная кровать, немногие, тщательно разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова — все не по-патрициански было всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли: под книгами — шляпа, на книгах — распоротый пакет табака, — свидетель тому был Ходасевич, поселенный в отдельной комнате и часто наблюдавший устные и письменные сражения двух творцов.

«Соседушка, мой свет, напрасно маните Вы меня ласковыми увещаниями покинуть мой угол и перебраться в Ваш», — писал Вячеславу Иванову Гершензон. «Вы сирена, мой друг, Ваше вчерашнее письмо обольстительно…»

Цитировать эти удивительно интересные, полные интеллектуального блеска, письма не буду. Найдите. И прочитайте сами. Не хочу лишать вас предстоящего кайфа.

Рассказ наш подходит к концу. К концу подошла и жизнь Михаила Гершензона. Ходасевич писал: «Хворал он давно, но

умер от внезапного ухудшения. Страдания были сильные. Он знал, что умирает, но конец наступил так быстро, что он не успел проститься с близкими. Похоронили его на скромном Ваганьковском кладбище. На его могиле можно было написать слова из послания Пушкина к Чаадаеву: „Всегда мудрец, а иногда мечтатель“».

Что еще добавить? Гершензон умер в возрасте 55 лет. В день его похорон было решено речей не произносить. Однако какой-то коммунист, естественно, в кожаной куртке, «кожанке», сказал о том, что, хотя Гершензон был «не наш», все же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Чеботаревская (сестра жены Сологуба) пыталась было заспорить с неожиданным оратором о том, что никакой он не «пережиток», а настоящее украшение культуры, но ее быстро увели: как бы «товарищ коммунист» не обиделся на ее слова.

Во всяком случае, не коммунистам (этим разрушителям русской культуры) определять место Михаила Гершензона в пантеоне российской культуры. Это еще, кстати, предстоит сделать, ибо, пожалуй, из всех деятелей Серебряного века Гершензон до сих пор не весь известен и не весь открыт, одних писем он написал за свою жизнь около четырех тысяч. Не все его работы изданы. Так что Гершензон еще нас ждет впереди…

ИЛЬИН
Иван Александрович
16(28)III.1883, Москва — 21.XII.1954, Цолликон, пригород Цюриха

В июле 1925 года Иван Ильин написал по-немецки анкету, небольшую автобиографию о себе:

«Русский, родился в Москве 1883.III.28. Дворянского происхождения; с материнской стороны — немецких кровей (Швайкерт фон Штадион, г. Виттенберг). 1893–1900 — классическая гимназия в Москве. 1900–1906 — изучение юриспруденции и философии в Московском университете. В 1909 получил звание доцента философии в Москве. 1910–1912 — учеба в Германии (Гейдельберг — у Виндельбанда, Ласка, Еллиненка, Геттинген — у Гуссерля, Берлин — у Зиммеля) и во Франции. Лекции в Гейдельберге, Фрайбурге, Геттингене. С 1912 работаю в качестве доцента и профессора. 1918 — высшую академическую ученую степень получил за двухтомное сочинение „Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека“.

1917–1922 — неоднократно арестовывался советским правительством в ходе тяжелой борьбы за отечественную

культуру и достоинство; в 1922 смертная казнь заменена высылкой и лишением гражданства. 1922–1925 живу в Берлине, работаю в научно-исследовательском институте как профессор».

Далее Ильин перечислял свои сочинения: «Идея личности у Макса Штирнера», «Философия Фихте как религия совести», «Архив фюр зюстематише философи», «Большевизм и кризис современного правосознания» и т. д.

Что нужно добавить? К октябрьскому перевороту 1917 года отнесся резко отрицательно. Идеолог Белого движения, автор манифеста «Белое дело». Убежденный монархист, однако Ильин не принимал черносотенства и крайне правых. Особенно резко высказывался о коммунистах: «Итак, способность коммунистов пугать, мучить, развращать и убивать людей — общеизвестна, но управлять и хозяйствовать они не умеют. Что такое наши заседания и комиссии. Это очень часто игра…»

«Третья общая черта всех коммунистов: это люди, жаждущие власти, господства, командования, социального и политического первенства. Эта потребность в них настолько сильна, что они освобождают себя от всяких законов и удержей…»

В Берлине, где Ильин провел первые 16 лет эмиграции, он издавал «Русский колокол», много писал и печатался. С приходом к власти Гитлера Ильину запретили печататься и выступать публично. С помощью Сергея Рахманинова Ильин перебрался в нейтральную Швейцарию в 1938 году и там продолжал свои философские изыскания и страстную публицистику. Главный его труд — «Аксиомы религиозного опыта» (1953). А уже после смерти Ильина были изданы две книги художественной прозы — «Путь к очевидности» и «Поющее сердце». Посмертным стал и двухтомник «Наши задачи», в него вошли 215 статей, написанных в 1947–1954 годах. «Наши задачи» — это по существу политическая программа философа.

«Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики Бога и учителя самим себе. Мы должны не заимствовать у других, не подражать им, не ходить „в кусочки“, собирая на мнимую бедность. Мы должны искать „русского видения“, русского содержания и русской формы. Мы должны не ползать на коленях, а самостоятельно быть и творить, обращаясь к Богу», — вот характерное высказывание Ильина.

Он был православным философом. Пытался найти сочетание между рациональным и иррациональным, сознательным и бессознательным, или, как он писал: «скрещение и взаимопроникновение законов природы и законов духа».

Смысл философии состоит, по Ивану Ильину, в познании Бога и божественной основы мира, а именно в изучении истины,

добра и красоты, как исходящих от Бога. Ильин объяснял упадок современного искусства недостаточным распространением религии среди народа и при этом высказывал надежду, что «опять наступит период религиозного возрождения, когда снова расцветет искусство».

Ильин был историческим и социальным оптимистом, верил в возрождение России: «Россия — не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно. Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права».

Ильин любил Россию самозабвенно и писал о ней, как настоящий поэт: «Россия одарила бескрайними просторами, ширью равнин, вольно пронизываемых взором да ветром, зовущих в легкий, далекий путь. И просторы эти раскрыли наши души и дали ширину, вольность и легкость, каких нет у других народов. Русскому человеку присуща духовная свобода, внутренняя ширь, осязание неизведанных небывалых возможностей…

Созерцать научила нас Россия. В созерцании наша жизнь, наше искусство, наша вера…

Россия дала нам богатую, тонкую, подвижную и страстную жизнь чувства…

И еще один дар дала нам наша Россия: это дивный, наш могучий, наш поющий язык…»

Это только выдержки из того, что написал о России Иван Ильин. Казалось бы, что такого певца России должны были привечать и любить все. Однако это не так. Среди коллег-философов Ильин не пользовался особым авторитетом. Он был как бы чужим для всех, отстаивая свои оригинальные идеи и философские конструкции. Особенные споры и возражения вызвала книга Ильина «О сопротивлении злу силою» (Берлин, 1925). Книгу не приняли ни «религиозно-философский лагерь» (Гиппиус, Бердяев, Айхенвальд, Степун), ни «республиканско-демократический лагерь» (газета Керенского «Дни»), ни даже «большевистский лагерь», который, казалось бы, весь пропитан насилием. Михаил Кольцов в «Правде» обвинил Ильина, что его «патентованное православие» оправдывает даже еврейские погромы.

Зинаида Гиппиус назвала труд Ильина «военно-полевым богословием». Бердяев высказался, что это, мол, «„Чека во имя Божье“, еще более отвратительно, чем „чека“ во имя дьявола». Свою статью Бердяев назвал «Кошмар злого добра».

Так что же вызвало такой гнев коллег по интеллекту? В письме к Петру Струве Ильин так сформулировал свой замысел: «Книга задумана не как антитезис толстовству, а как антитезис + синтез верного решения:

Сопротивляться всегда с любовью:

а) самосовершенствованием,

в) духовным воспитанием других,

с) мечом.

Я искал не только опровержения толстовства, но и доказательства того, что к любви меченосец способен не меньше, а больше непротивленца…»

Короче, Ильин хотел перевернуть раз и навсегда «толстовскую страницу русской нигилистической мысли и восстановить древнее русское православное учение о мече во всей его силе и славе…»

«Теоретик православного меча» — так стали называть Ивана Ильина. В то же время он не разделял общих славянофильских и соловьевских корней, ибо сохранял выучку немецкой классической философии с ее стремлением к формальному конструированию. Ко всему этому от Ильина веяло холодом риторичности и педантизма. «Чужой человек, иностранец, немец», — характеризовал его Николай Бердяев. А в ответ Ильин негативно отзывался о трудах Бердяева (а заодно о Розанове и Булгакове): «Философия беспредельно-темпераментная и парадоксальная».

Хотя нельзя отказать Ильину в темпераменте, когда он отстаивал любимую им «русскую идею». «Для русского народа нет выбора: если он не вступит на этот путь, то он вообще не сможет удержаться на исторической арене».

Прав или не прав философ, покажет время. Вот падение коммунистической диктатуры Ильин угадал. Он высказывал мысль о крахе коммунизма в конце 40-х — начале 50-х годов, и тогда это казалось каким-то старческим бредом «пророка», но пророк-то оказался настоящим. Ну, а что будет дальше — посмотрим.

И последнее: Иван Ильин прожил 71 год. Любил он свои публикации подписывать псевдонимами, и не только русскими (Н. Иванов), а все больше почему-то иностранными: Юстус, Ивер, Карл Брабазиус, д-р Альфред Норманн, Юлиус Швейкерт… «Русская идея» в иностранной упаковке? Но это так, всего лишь шутка. Сам Иван Александрович шуток не признавал. Лишь в юности пошаливал, о чем свидетельствует выписка директора 1-й московской гимназии от 5 ноября 1901 года:

«…За последние 2 года внесены в кондуитный журнал

следующие проступки: своевольно передвигал стол перед уроком, шалость на улице, невежливое отношение к учителю гимнастики…»

Но тогда будущему философу было 16–18 лет. В зрелые годы Иван Ильин передвигал не столы, а философские концепции…

КРОПОТКИН
Петр Алексеевич, князь
27. XI(9.XII).1848, Москва — 8.II.1921, Дмитров

Современный автор назвал свою статью о князе в «Независимой газете» «Жизнь во все стороны» и попенял: «Петр Кропоткин разрывался между политикой и наукой, почти не преуспев в итоге ни там, ни там». Любят у нас критиковать других — хлебом не корми. Петр Андреевич прожил долгую жизнь (78 лет), и его имя вошло в мировую историю, разве это мало? Он известен не только как теоретик и философ анархизма, но еще и как ученый (географ, геолог, биолог) и литератор (публицист, мемуарист, историк). Книга Кропоткина «Записки революционера» (первое издание в Лондоне, 1899) — одна из лучших мемуарных книг ушедшего века.

Предки Кропоткина — великие князья Смоленские. «Наш род действительно очень древний, но подобно большинству родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, он был оттеснен, когда

кончился удельный период и вступили на престол Романовы, начавшие объединять Россию», отмечал в «Записках революционера» Петр Кропоткин.

«На восьмом году моей жизни произошло событие, определившее как пойдет мое дальнейшее воспитание»: на балу в честь Николая I император выделил мальчика и его назначили в пажи.

«Не знаю, потому ли, что я был самый маленький в процессии, или потому, что мое круглое лицо с кудрями казалось особенно потешным под высокой смушковой шапкой, но Николай пожелал видеть меня на платформе. Мне потом сказали, что Николай, любивший всегда казарменные остроты, взял меня за руку, подвел к Марии Александровне (жене наследника), которая тогда ждала третьего ребенка, и по-солдатски сказал ей: „Вот каких молодцов мне нужно!“ Эта острота, конечно, заставила Марию Александровну покраснеть. Во всяком случае я очень хорошо помню, как Николай спросил: хочу ли я конфет? На что я ответил, что хотел бы иметь крендельков, которые нам подавали к чаю в торжественных случаях. Николай подозвал лакея и высыпал полный поднос крендельков в мою высокую шапку.

— Я отвезу их Саше, — сказал я Николаю».

Саша — это брат Петра Кропоткина.

Итак, юный Петенька Кропоткин был сначала зачислен кандидатом в Пажеский корпус, а в 11 лет — в 1857 году в него поступил. Помимо основных дисциплин юный Кропоткин изучал историю, философию, социологию, естественные науки. Пробовал себя как переводчик. Писал он на русском, французском, английском и других европейских языках.

В 1861 году князя Кропоткина назначают камер-юнкером к самому Александру II. Какую блестящую карьеру он мог сделать и не сделал, полностью разочаровавшись в нравах царского двора. Кулисы императорского театра оказались неприглядными, и «мало-помалу стал тускнеть также и тот ореол, которым я окружил Александра».

Разочаровавшись в Петербурге, молодой офицер отправляется служить в Амурское казачье войско: его манят новые географические открытия. Открытий он не сделал, но написал несколько путевых заметок и этнографических очерков.

В январе 1867 года Кропоткин выходит в отставку, отвергает пост секретаря Географического общества и из «чистой науки» уходит в «грязную политику», хотя именно политика казалась тогда Кропоткину на редкость благородной: он загорелся желанием пасти русский народ, в чем сказалось влияние и Чернышевского, и Некрасова, и Герцена, и Бакунина, и прочих

теоретиков-освободителей. И князь пошел в народ, чтобы «жить его жизнью», или можно сказать иначе: подался в модные тогда «нигилисты», которые отвергали жизнь своих отцов и хотели переделать ее на свой лад.

Занимаясь научной деятельностью и вращаясь в Петербургском свете, Кропоткин одновременно под именем Бородина вел пропаганду среди рабочих, рассказывал о Европе, об Интернационале, призывал к объединению. В 1874 году «Бородин», т. е. князь Кропоткин, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, куда к нему неожиданно пришел брат Александра II великий князь Николай Николаевич. Далее читаем воспоминания:

«Он быстро подошел ко мне и сказал: „Здравствуй, Кропоткин“. Он знал меня лично и говорил фамильярным, благодушным тоном, как со старым знакомым.

— Как это возможно, Кропоткин, чтобы ты, камер-паж, бывший фельдфебель, мог быть замешан в таких делах и сидишь теперь в этом ужасном каземате?

— У каждого свои убеждения, — ответил я.

— Убеждения? Так твое убеждение, что нужно заводить революцию?..»

И далее вопросы — ответы:

«— Не в Сибири ли от декабристов ты набрался таких взглядов?

— Нет. Я знал только одного декабриста и с тем никогда не вел серьезных разговоров.

— Так ты набрался их в Петербурге?

— Я всегда был такой.

— Как! Даже в корпусе? — с ужасом переспросил он меня.

— В корпусе я был мальчиком. То, что смутно в юности, выясняется потом, когда человек мужает».

Великий князь Николай Николаевич покинул каземат в полном недоумении, а князь Кропоткин 30 июня 1876 года совершил дерзкий побег из крепости (Петропавловская крепость — это не сталинский ГУЛАГ). Когда Кропоткина вывели на прогулку и часовой на какое-то мгновенье отвернулся, князь, выражаясь вульгарно, дал деру, предварительно сбросив зеленый фланелевый халат арестанта (для этого он специально тренировался). Ворота были открыты, а у ворот Кропоткина уже ждал экипаж, запряженный великолепным призовым рысаком (который был куплен в целях быстрого отрыва). Под крик «Держи его! Лови!» экипаж с Кропоткиным умчался от крепости. В тот же день Кропоткин сбрил бороду и совершенно спокойно с приятелями отправился в ресторан отпраздновать побег. А уже

через несколько дней Кропоткин через Финляндию отправился в Швецию.

Свыше 40 лет провел Кропоткин в Европе, жил то в Лондоне, то в Париже. В Париже познакомился с Тургеневым, и классик оценил «нежную, чуткую художественную душу» Кропоткина. А эта «нежная чуткая душа» после смерти Бакунина стала крупнейшим теоретиком «безвластного социализма», то есть теоретиком анархизма. Но если Михаил Бакунин исповедовал лозунг «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!», то Петр Кропоткин был принципиально против разрушения и насилия, он стоял горой за «бесшумные подвиги».

В Париже Кропоткин издает книги: «Речи бунтовщика» (1885), «Хлеб и воля» (1892), «Анархия, ее философия, ее идеал» (1896); «Поля, фабрики и мастерские» вышли на английском языке в Лондоне в 1899 году. Несколькими годами позднее все они появились на русском языке. Еще одна книга принадлежит перу Кропоткина — «Современная наука и анархия» (1913).

Так что же такое анархизм в представлении князя Кропоткина? Анархия — это не беспорядок и не хаос, а идеальный общественный строй, основанный на взаимной помощи и солидарности, вольная кооперация и отрицание всякого централизованного государства, даже социалистического, это общество равноправных во всех отношениях людей, в котором нет лишь правительства. В отличие от Бакунина Кропоткин не ставил вопрос о немедленном революционном выступлении, а полагал целесообразным создание анархистской партии для «тихой подготовительной работы». Он также отрицал необходимость революционного правительства, не признавал никакой революционной диктатуры, ибо при ней «революция неизбежно вырождается в произвол и деспотизм», что и подтвердилось практикой революционной России.

Социальные проекты Кропоткина, выраженные в его книгах, были встречены, однако, весьма прохладно. Лев Толстой, который вслед за анархистами утверждал в обществе убеждение в «неразумности и вреде власти», писал: «Читал Кропоткина о коммунизме. Хорошо написано, и хорошие побуждения, но поразительно слабо о том, что заставит эгоистов работать, а не пользоваться трудами других».

Как отмечали исследователи творчества Кропоткина, его труды были слишком научными для политической публицистики и слишком политизированными для научной литературы. Идея Кропоткина о взаимной помощи и солидарности людей, которую он выводил из учения Дарвина о взаимопомощи в живой природе, была хороша для социально стабильного, гуманизированного

общества, а отнюдь не для расколотого, пронизанного взаимной ненавистью власти и интеллигенции российского общества конца XIX — начала XX века. Никто не соглашался на длительную социальную терапию, все жаждали быстрых хирургических мер. Пламенный радикал Сергей Нечаев был ближе по духу нетерпеливой интеллигенции, чем уравновешенный и умеренный анархист Кропоткин.

И все же анархизм в России появился. Первые анархогруппы были зарегистрированы весной 1903 года в городе Белостоке Гродненской губернии среди еврейской интеллигенции и присоединившихся к ним ремесленных рабочих. К 1910 году по всей России насчитывалось около 7 тысяч человек, исповедующих анархизм. В основном это были молодые люди 18–24 лет, и примерно 50 процентов анархистов составляли евреи.

Самым пожилым анархистом был Кропоткин, он же теоретик и организатор движения. Кропоткин организовал и собрал съезд российских анархистов в декабре 1904 года и все последующие съезды и конференции.

В 1905–1907 годах в анархизме определились три основных направления: анархо-коммунизм, анархо-синдикализм и анархо-индивидуализм (сговориться о едином направлении, единой стратегии и единой тактике всегда тяжело для русских интеллектуалов). Существовало и еще одно направление, так называемый «мистический анархизм», его родоначальниками были Вячеслав Иванов и писатель Георгий Чулков. К ним примыкали Блок, Брюсов, Бунин, Городецкий, Шестов. То есть пестрота в организации и разброс мнений были велики. Многие анархисты тяготели к террору. Многим нравились слова анархиствующего французского поэта Лорана Тайада: «Стоит ли думать о жертвах, если жест красив!» Все это противоречило идее книги Кропоткина «Взаимная помощь как фактор эволюции».

Какая эволюция? Только революция! Вперед, на баррикады! Осчастливим весь народ насильно!..

Петр Кропоткин приехал в Россию в июне 1917 года — после четырех десятилетий эмиграции. Его встречала многотысячная толпа. Александр Керенский тщетно пытался уговорить Кропоткина войти в состав Временного правительства. Верный анархическим воззрениям, главный анархист отказался: «Я считаю ремесло чистильщика сапог более честным и полезным».

А далее последовал Октябрь. В октябрьские дни большевики использовали анархистов в качестве боевой и разрушительной силы против буржуазии, оказывая им всемерную помощь оружием, продовольствием и прочим необходимым. Но этот союз большевиков с анархистами был недолгим. С анархистами жестко

расправились: кто был убит, кто репрессирован, кого изгнали из страны. В конце 20-х годов анархисты сошли с политической арены, оставив о себе весьма противоречивое мнение. По Москве ходила частушка:

Анархист с меня стащил
Полушубок теткин.
Ах, тому ль его учил
Господин Кропоткин.

Обычное дело: в теории одно, на практике — совсем другое. По возвращении в Россию «мятежный князь» уже мало влиял на политическую обстановку. Он жил на Каменном острове в роскошном особняке нидерландского консула, который уехал в Голландию, как говорится, от греха подальше. С Кропоткиным несколько раз встречался Корней Чуковский, в дневнике он так описывал внешность главного анархиста: «Плечистый, массивный с пиквикским цветом лица Кропоткин».

Именно Корней Чуковский посоветовал Ивану Сытину издать книги Петра Кропоткина. Вот как написано об этом в «Дневнике» Корнея Ивановича:

«Через час мы в доме голландца на Каменном острове. В том же торжественном зале. Кропоткин вышел к нам очень приветливый — и сразу же наговорил много комплиментов Ив. Дм. Сытину. „Ваша просветительская деятельность… ваше служение культуре…“

Сытин привык к таким похвалам. Но всегда принимал их так, будто впервые услышал. Стал кланяться по-простецки и с униженными жестами сжал княжескую руку в двух своих.

— Вот мы тут к вам с предложением, — сказал он, — и можно договор хоть сейчас…

— Только, верьте Богу, — сказал Сытин, стилизуя себя под купца-простака, — верьте Богу, больше десяти тысяч мы при нынешних обстоятельствах дать не можем. Десять тысяч сейчас — при подписании, — и десять тысяч потом, когда определится подписка. Что делать? В прежнее время и по 60 тысяч давали, но сейчас, верьте Богу и т. д.

Кропоткин слушал его очень спокойно и, когда он кончил, сказал:

— Видите ли, мы, анархисты, считаем безнравственным брать деньги за произведения ума человеческого. Я буду рад, если мои книги дойдут, наконец-то, до русских читателей. И этой радости мне вполне довольно. Предоставляю вам права на них — бесплатно.

Сытин изменился в лице. Наскоро попрощавшись с князем, он быстрыми шагами пошел к автомобильчику, в котором мы приехали. Автомобильчик скрежетал и вихлялся и подпрыгивал на выбоинах мостовой. Сытин долго молчал и только когда мы выехали на Каменноостровский проспект, сказал укоризненно и хмуро:

— Эх, дура, даже денег не берет за свои книги. Видать, что книги — собачье дерьмо!»

Да, вот ведь как бывает. Кропоткина уважали, ценили и любили такие люди, как Реклю, Либкнехт, Брандес, Барбюс, Томас Манн, Ромен Роллан, Бернард Шоу и другие светлые головы, а вот русский купец-издатель Сытин его не зауважал: «денег не берет за свои книги!»

Последние годы жизни Кропоткина были беспокойными для него: он видел, что революция «пошла вовсе не по тому пути, который мы ей готовили…», — записывал он в дневнике. Его отвращали аморализм и жестокость новых властей. В тяжелые и голодные годы он отказался от всех привилегий и от продовольственного пайка. Жил в Дмитрове незаметно, тихо (да и возраст уже был преклонный) и работал над книгой «Этика», которую закончить не успел.

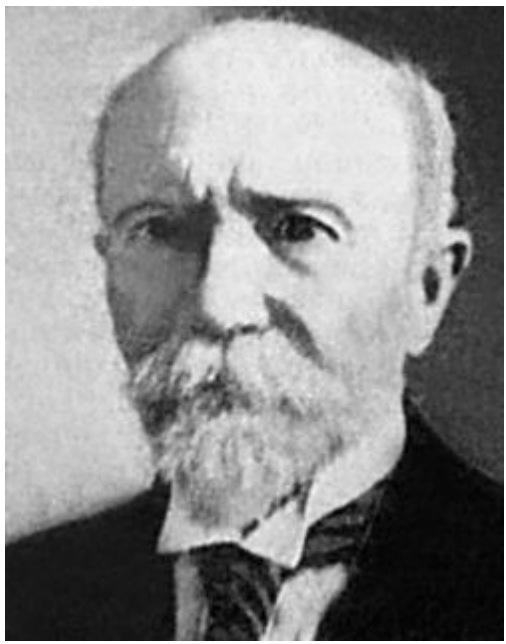
Князь Петр Кропоткин умер тихо, ночью, во сне, в возрасте 78 лет. На следующее утро были посланы три радиограммы о его смерти в Европу и по России. В Москве спешно образовался Комитет анархических организаций по устройству его похорон. Вечером 10 февраля 1921 года из Дмитрова в Москву, на Савеловский вокзал, прибыл специальный траурный поезд. На вокзале поезд встречали толпы людей с черными и красными знаменами. Гроб с телом покойного был выставлен в Колонном зале Дома союзов для прощания. На один день под честное слово из тюрем были отпущены анархисты. Под пение песен «Вы жертвою пали…» и «Споем же мы песню под звуки набата» тысячи москвичей и приезжих прощались с тем, кто более 60 лет был для них символом борьбы за свободу. Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Венков было множество, один из них — от Ленина. Вскоре после похорон в столице появились музей Кропоткина, улица Кропоткинская, площадь Кропоткина, Кропоткинская набережная, а в 30-е годы его именем назвали одну из станций московского метрополитена. Большевикам был выгоден мертвый Кропоткин как образ самого величайшего борца с царским режимом и буржуазией.

Прошли десятилетия, и снова в России пробудились, казалось бы, навек уснувшие идеи анархизма. Как написала газета «Община»: «Так да здравствует анархизм! — великая идея

свободы, взаимного уважения и солидарности людей. Пусть это мечта. Но что может быть лучше такой мечты?.. Здравый смысл рано или поздно восторжествует над властолюбием политиков… идеалы Добра, Свободы, Солидарности не могут не победить».

В это свято верил князь Петр Кропоткин, мечтатель и реалист.

ЛОССКИЙ
Николай Онуфриевич
24. XI(6.XII)1870, местечко Креславка Витебской губернии — 24.I.1965, Париж



Кому довелось читать «Критику чистого разума» Канта, тому следует помнить, что русский перевод осуществил Николай Лосский, один из лучших представителей отечественной философии XX века. Он написал сотни статей, почти три десятка книг, переведенных, в свою очередь, на различные европейские языки. К тому же Лосский создал свою оригинальную философскую систему.

Однако в детстве никакое философское будущее не светило Николаю Лосскому: он родился в маленьком, заброшенном от мировых центров мысли, местечке в семье, где насчитывалось 15 душ детей. Оба родителя были поляками, но тем не менее считали себя русскими и воспитание детей было пронизано русским национальным духом.

В 1881 году Лосский поступил в классическую гимназию в Витебске, но не доучился в ней, так как был исключен «за пропаганду социализма и атеизма», — обычная идейная болезнь

почти всех молодых той поры. Однако жажда знаний была велика, и Лосский нелегально (без паспорта) перебирается в Швейцарию, где в Берне учится на философском факультете. Обманным путем он был завербован в Иностранный легион и еле унес ноги из Алжира. В Россию Лосский вернулся в 1889 году и поступил на курсы… бухгалтеров.

Быть бы ему бухгалтером, но родственники добились для него права поступить в петербургскую гимназию, по окончании которой Лосский продолжил обучение в Петербургском университете. Там он изучал ботанику, химию и анатомию, а по вечерам со страстью предавался философским наукам. Декарт, Спиноза, Спенсер — какие волнующие имена!..

Жить было нелегко, и Лосскому приходилось подрабатывать частными уроками и переводами философских текстов. Как философ Лосский рос буквально на глазах, и в 30 лет он уже приват-доцент на кафедре философии Петербургского университета. К этому времени у него сложились ключевые для мировоззрения идеи об «имманентности всего всему», о преодолении дуализма между сознанием и бытием в акте интуиции. Защитив магистерскую диссертацию, Лосский приступил к разработке «обоснования интуитивизма». Первый вариант работы был опубликован под названием «Обоснование мистического эмпиризма». Эта книга выдвинула Лосского в число ведущих русских философов. Причем он являлся «чистым» философом в отличие от философствующего публициста Бердяева. У Лосского был даже свой стиль изложения его философских конструкций — «блестящая сухость», если пользоваться выражением Шопенгауэра.

Со временем Лосский окончательно охладел к идеям социализма и перешел на либеральные позиции, а в 1905 году вступил в только что образованную кадетскую партию. Обе революции Лосский встретил крайне недоброжелательно. «Большевистская революция есть яркое подтверждение того, до каких крайностей могут дойти русские люди в своем смелом искании новых форм жизни и безжалостном истреблении ценностей прошлого. Поистине Россия есть страна неограниченных возможностей…», — писал Лосский.

В трудные послереволюционные годы он продолжал заниматься философией и читал лекции в Петроградском и Народном университетах, а когда его уволили из Пертроградского университета, испытал сильное нервное расстройство. По совету врачей Лосский намеревался отправиться на лечение в Карлсбад и уже имел чехословацкую визу, как… далее процитируем записки сына философа — Бориса Лосского

«Наша семья в пору лихолетия»:

«…Оставалось дождаться своевременно испрошенного паспорта на временный выезд за пределы РСФСР. Потому его не удивило и не очень взволновало получение 16 августа вызова явиться, по всей видимости, для выполнения соответствующих формальностей, на Гороховую, 2, где помещалось ГПУ. На следующее утро он туда отправился в сопровождении матери, не преминув все же с нами попрощаться… За пропуском в главное здание родителям нужно было обратиться в дом напротив, и выдан он был одному отцу. Мать же, прождавши долго и напрасно его выхода из номера 2, отправилась на Кабинетную, где узнала, что накануне на нашей квартире был длительный обыск…»

А тем временем Николая Лосского посадили в арестантскую камеру. Потом выпустили. А потом — на «философский пароход» и вон из России. Лосский попал в «Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда» (24 человека) и против его фамилии было начертано: «Профессор Петр. университета. Редактор журнала „Мысль“. Идеологически вредный».

Вредный — значит, России не нужный. 15 ноября 1922 года на немецком пароходе отплыли на чужбину вместе с Николаем Лосским его коллеги-философы Лев Карсавин и Иван Лапшин, юрист Боголепов, почвовед Одинцов, экономист Бруцкус, агроном Велихов, журналист Изгоев и другие, срезанный большевистским ножом цвет нации.

В Прагу Николай Лосский попал в 52 года. Там он продолжал научную и преподавательскую работу. Получал профессорскую стипендию из фонда «Русской акции», а также единовременные пособия из канцелярии президента. Оба чехословацких президента — сначала Массарик, потом Бенеш были не чужды философии и ценили труды Лосского. Среди поздних его книг следует указать: «Мир как органическое целое» (1917), «Логика» (1924), «Основы интуиции» (1927), «Ценность и бытие» (1931), «Типы мировоззрений» (1931), «Диалектический материализм в СССР» (1934), «Бог и мировое зло» (1941), «Достоевский и его христианское миропонимание» (1953), «Характер русского народа» (1957)… Много занимался Лосский и историей философии — в 1951 году в Нью-Йорке вышел его солидный том «History of Russian philosophy».

После Второй мировой войны Лосский переехал в США, преподавал философию и историю русской философии в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке, удостоился почетного членства в «Международном обществе Марка Твена».

Последние 5 лет Николай Лосский находился на попечении в

Русском доме Сент-Женевьев-де-Буа. «Последний из могикан», из плеяды тех, кто создал выдающуюся мыслительную культуру, духовно-философское миросозерцание, переживаемое и осмысливаемое всем светом по сей день, ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Несколько слов о сыновьях Николая Лосского. Борис Лосский в своих записях вспоминает обыск в их доме накануне выезда из России: «Присутствовавшая при обыске няня рассказывала, как чекисты рылись в комнате, где жили мы с братом, и она им сказала, что мы много читаем и наверное будем учеными, один из них презрительно процедил: „Это еще бабушка надвое сказала, учеными или сапожниками“. И думается, что действительно на нашу долю верных кандидатов на „лишенство“ не выпало бы ничего хорошего, если бы мы не уехали с родителями за границу».

Старшему сыну Владимиру на день отъезда было 19 лет, младшему Борису — 17. Владимир Лосский стал религиозным философом, богословом, возглавлял Братство Св. Фотия. Участвовал в антифашистской борьбе. Автор многочисленных статей и книг. Младший Борис стал искусствоведом и историком архитектуры. Закончил Сорбонну. Был хранителем музеев городов Тура и Амбруаза, а затем хранителем национального дворца-музея в Фонтенбло. Кавалер Почетного легиона… Очень уважаемые и именитые люди. Не сапожники.

ЛУНАЧАРСКИЙ
Анатолий Васильевич
11(23).XI.1875, Полтава — 26.XII.1933, Ментона, Франция

В философском энциклопедическом словаре (1983) Луначарский отсутствует. Не философ. А как же богостроительство? «Религия без Бога» как «религия надежды»? Это «реакционное религиозно-философское течение, возникшее в годы реакции (после поражения революции 1905–1907) среди неустойчивых мелкобуржуазных элементов русской социал-демократической интеллигенции (Богданов, Базаров, Юшкевич, Луначарский и др.)», которое осудил Ленин в 1909 году как течение, порвавшее с социализмом? Ведь было. Были и другие философские искания Луначарского, утверждавшие «нового Бога — коллектив», что «религия — это энтузиазм» и прочее. Были споры с Бердяевым. Нападки на Ницше как на истеричного апологета «ходульного сверхчеловечества». И в то же время восхищение Ницше, который, согласно Луначарскому, в человеке «любил полет, порыв, любил его, как мост, ведущий в эдем будущего, как стрелу, направленную на другой берег, он любил в нем еще не законченного Бога» («Этюды», 1922). И, наконец, раннее изучение философии в Цюрихском университете под руководством Рихарда Авенариуса. Так что в философичности Луначарскому никак нельзя отказать.

Но Луначарский еще и литературный критик, публицист, драматург, искусствовед, театровед, государственный деятель советской России и «один из видных строителей социалистической культуры». Личность многогранная. Яркая. Разумеется, противоречивая: кому Луначарский был люб, а кто-то его третировал и ненавидел, особенно на посту наркома просвещения.

О нем не повторю чужих острот.
Пускай моя звучит свежо и ново:
Родился предисловием вперед
И произнес вступительное слово —

такую эпиграмму написал на Луначарского Архангельский. А родился мальчик Анатолий вне официального брака: его настоящим отцом был управляющий контрольной палатой в Пскове Александр Антонов, но фамилию и отчество он носил от законного мужа матери Василия Луначарского. Любители фрейдизма в этой истории могут с удовольствием половить рыбку, ну, а нам предстоит весьма кратко изложить жизнь и деятельность будущего наркома.

Анатолий Луначарский учился в 1-й киевской гимназии, учился небрежно и плохо, даже в одном из классов был оставлен на второй год, но с удовольствием занимался самообразованием, изучил французский и немецкий языки, увлекался историей искусств. Но это все.

«В 15 лет был знаком не только с нелегальными брошюрами по марксизму, но проштудировал первый том „Капитала“».

Снова мы с вами сталкиваемся с пылким юношей, который обуян мечтой осчастливить русский народ с помощью марксистских выкладок. Старая Россия — для них ничто, новая, будущая — все! Не случайно одно позднее рассуждение Луначарского: «Почти у всякой русской писательской могилы, у могилы Радищева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Толстого и многих других, — почти у всех можно провозгласить страшную революционную анафему против старой России, ибо всех она либо убила, либо искалечила, обузила, обрызгала, завела не на ту дорогу. Если же они остались великими, то вопреки этой проклятой старой России, и все, что у них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, — все это дала им она».

Вы чувствуете, как в этих фразах Луначарского клокочет революционность, бунтарство? Оно и приводило Луначарского не раз к заключению: сидел он в одиночной камере Таганской

тюрьмы, сидел в знаменитых петербургских «Крестах», ссылался в Вологду. Но везде свою неволю обращал в учебу. Так, в Москве, в Таганке Луначарский освоил английский язык, «прочитал целую библиотеку книг, написал множество стихотворений, рассказов, трактатов… К этому времени (к осени 1899 года. — *Прим. Ю.Б.*) относится окончательная выработка моих философских воззрений», — отмечал Луначарский.

Своим непосредственным учителем марксизма Луначарский считал Павла Аксельрода. С Лениным, который ценил ораторский талант Луначарского, он познакомился позднее. К большевикам Луначарский примкнул в 1903 году. Участвовал в работе многих партийных съездов, выступал в большевистских газетах «Вперед» и «Пролетарий». Был период, когда Луначарский порвал с Лениным (из-за идей богостроительства), но потом опять с ним сблизился. В 1908 году Андрей Белый считал, что Луначарский входил в четверку ведущих публицистов России наряду с Дмитрием Философовым, Николаем Бердяевым и Евгением Аничковым.

Находясь в плену большевистских иллюзий, Луначарский высоко ставил значение пролетариата и считал, что он уже «потому свят, что защищает человечество». Луначарский проповедовал героизм, активную деятельность и бодрость, «дух творчества, надежды», свой неоромантизм он противопоставлял глубокому пессимизму и мещанству Брюсова, Мережковского, Сологуба (работы «Основы позитивной эстетики», «Искусство и революция», «Марксизм и эстетика», «Русский Фауст» и многие другие). На Капри Луначарский выступал с лекциями в Первой высшей социал-демократической пропагандистско-агитаторской школе. Он вообще выступал везде и много.

В 1911–1915 годах Луначарский жил во Франции. Будучи постоянным корреспондентом газет «Киевская мысль» и «День», печатал литературные и театральные рецензии, обзоры выставок живописи, отчеты о поездках по городам Италии. Из Франции перебрался в Швейцарию, близко сошелся с Роменом Ролланом и там, в Швейцарии, встретил весть о революционных событиях в России. В мае 1917 года приехал в Петроград, подвергся аресту Временного правительства за государственную измену и снова очутился в «Крестах». Был освобожден, а тут подоспел и Октябрь. С 1917 по 1929 год Луначарский — народный комиссар просвещения в советском правительстве.

Началась новая жизнь. От теории революции к ее практике. 28 октября Луначарский пишет письмо жене — Анне Малиновской: «Переворот был сюрпризом и со стороны легкости, с которой он был произведен. Даже враги говорят: „Лихо“… Как-

никак, а жертв чрезвычайно пока мало. Пока. С ужасом думаю, не будет ли их больше. Если ты получила предыдущие письма, — то знаешь, что я всегда рисовал себе отчетливо все подавляющие трудности, с которыми встретится Советская власть. Но они в 1000 раз превзошли все ожидания. Да, взять власть оказалось легко, но нести ее!..»

На следующий день, 29 октября 17-го: «…Я пойду с товарищами по правительству до конца. Но лучше сдача, чем террор. В террористическом правительстве я не стану участвовать. Я отойду и буду ждать, что пошлет судьба… Лучше самая большая беда, чем малая вина. Каким кольцом ненависти мы окружены! Как тяжело…»

Да, пожалуй, Луначарский был одним из самых совестливых советских наркомов. Его глубоко печалили нападки и запрещения «не только буржуазных, но и социалистических газет», «некоторые закрытия и аресты» Его возмущала масса «грубых ошибок», совершаемых «большевистскими военными бурбонами».

Это был нарком, выпадавший из общего строя. Кстати, когда его только назначили на пост, в Академии наук старый академик Карпинский спрашивал своих более молодых коллег: «Что вам известно о вновь назначенном министре просвещения?» Одни отвечали: «Философ». Другие: «Музыкальный критик. У него статьи о музыкальной драме, Рихарде Штраусе, Вагнере…» Третьи: «Как же, это известный литературовед!»

Но когда Луначарский заступил «на вахту», все уже знали нового наркома. Он работал по 16 и более часов как нарком и как творец — писал пьесы, статьи, стихи. На ниве культуры и просвещения он многое сохранил, многое спас и не только по роду своей деятельности, но и потому, что был благожелателен, хорошо понимал трудную работу художника, понимал и то, как художнику всегда нужна поддержка. Принадлежа к советской государственной элите, Луначарский стремился привлечь старую интеллигенцию к сотрудничеству с советской властью.

Ну, а теперь посмотрим на наркома ироническими глазами Корнея Чуковского. Вот записи из его дневника.

«14 февраля 1918. У Луначарского. Я видаюсь с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нибудь, сделать одолжение — для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благостное существо — источающее на всех благодать: — Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, — и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно — и на каждом лихо подмахивает: Луначарский.

Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать. Живет он в доме Армии и Флота — в паршивенькой квартирке — наискосок от дома Мурузи, по гнусной лестнице. На двери бумага: „Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем Дворце, тогда-то в Министерстве просвещения и т. д.“ Но публика на бумажку никакого внимания, — так и прет к нему в двери, — и артисты Императорских театров, и бывшие эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты — все — к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке. „Ведь написано“. И тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который — ни слова по-русски, все по-французски, и министериабельно-простая мадам Луначарская — все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле.

При мне пришел фотограф — и принес Луначарскому образцы своих изделий — „Гениально!“ — залепетал Л. и позвал жену полюбоваться. Фотограф пригласил его к себе в студию. „Непременно приеду, с восторгом“. Фотограф шепнул мадам: „А мы ему сделаем сюрприз. Вы заезжайте ко мне пораньше, и, когда он приедет, — я поднесу ему Ваш портрет… Приезжайте с ребеночком, — уй, какое цацеле…

В Министерстве просвещения Луначарский запаздывает на приемы, заговорится с кем-нибудь одним, а остальные жди по часам. Портрет царя у него в кабинете — из либерализма — не завешен. Вызывает посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И покуда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственной мудростью Анатолия Васильевича… Кокетство наивное и безобидное…“»

15 октября 1918. «…Явился Луначарский, и сейчас же к нему депутация профессоров — очень мямлящая. Луначарский с ними мягок и нежен. Они домямлились до того, что их освободили от уплотнения, от всего…»

И далее в тот же день: «…Луначарский источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше — его невероятная работоспособность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная доброта, беспомощная, ангельски-кроткая — делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него больное сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду».

9 июля 1919. «Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

— Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что „Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу“».

Такие примеры можно множить и множить. Но есть воспоминания и другого рода:

«Как-то раз один из старых друзей Анны Ахматовой пригласил ее к себе. Одновременно в гости ожидался тогда пролетарский вельможа Луначарский. Встреча была задумана с тайным желанием помочь писательнице восстановить старые связи, так как когда-то, до коммунистической революции, Ахматова и Луначарский встречались в литературных салонах.

Он вошел важный и толстый. И когда ему представили поэтессу, изобразил на своем жирном лице рассеянное равнодушие. И небрежно уронил:

— Мы, кажется, знакомы?

Перед ним сидела худощавая стройная женщина, с таким тонким, одухотворенным лицом, которое, увидев один раз, никогда не забудешь. Она спокойно подала ему узкую, красивую руку и очень вежливо ответила:

— Не припомню.

В тайниках души хозяин и гости были восхищены ответом Ахматовой, но план хозяина был разрушен» («Минувшее», № 21).

Увы, спустя годы, изменил свое отношение и Корней Чуковский. «О Луначарском я всегда думал как о легкомысленном и талантливом пошляке и если решил написать о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром культуры — был образованный человек» (12 апреля 1965).

Несколько дней спустя: «Держу корректуру 2-го тома. Отвратителен Луначарский».

Так быстро забыл Корней Иванович все хорошее в Луначарском?.. Нетерпимо относился к наркому, точнее, к пьесам Анатолия Васильевича, которые Луначарский писал: «Я просто хотел забыться и уйти в царство чистых образов и чистых идей», — Марк Алданов. «Этот человек, живое воплощение бездарности в России, просматривает, разрешает, запрещает произведения Канта, Спинозы, Льва Толстого, отечески отмечает, что можно, чего нельзя. Пьесы г. Луначарского идут в государственных театрах, и, чтобы не лишиться куска хлеба, старики, знаменитые артисты, создававшие некогда „Власть тьмы“, играют дево-мальчиков со страусами, разучивают и декламируют „гррр-авау-пхоф-бх“ и „эй-ай-лью-лью“…»

Да, пьесы Луначарского, все эти «Идеи в масках», — не всем нравились и ныне забыты, так же как и его статьи, типа «Ленин и

литературоведение», хотя специалисты иногда вспоминают «драмолетты» Луначарского («Королевский брадобрей», «Король-художник», «Освобожденный Дон Кихот» и т. д.). Вполне может быть, что в этих «драмолеттах» Луначарский пытался забыться, уйти от реальной действительности. В работе «От Спинозы до Маркса» (1925) он писал: «История совершается и еще долго будет совершаться среди крови и слез. Изменить это положение вещей никто не в состоянии».

Когда-то Луначарскому понравилась фраза Александра Скрябина: «Самая большая власть — власть обаяния, власть без насилия». Но куда там без насилия?! А раскулачивание крестьян, а аресты и ссылки, а засилье цензуры?.. «Гнилой либерал» Луначарский был против всего этого. Он был белой вороной в черной стае правителей, и с каждым годом все белее. Он чувствовал себя, по свидетельству современников, «полуопальным», «инородной фигурой».

В 1929–1933 годах он — формально председатель Ученого совета при ЦИК СССР, фактически «не у дел». Входит в состав советской делегации по разоружению при Лиге Наций и находится в длительных командировках за рубежом. В 1933 году назначен послом СССР в Испании. Будучи тяжело больным, скончался по дороге к месту назначения. Смерть прервала диктовку статьи о Марселе Прусте.

«Луначарский был болен, — вспоминает Владимир Лидин, — ему запрещено было, наверно, три четверти из стоявшего на столе, и, глядя на бутылки с вином и придвигая к себе стакан с молоком, он с грустной иронией сказал:

— А Луначарский пьет молоко…»

Он ощущал себя больным и старым: «Боже — как я стар. Как Пер Гюнт» (ноябрь 1930).

Менее чем за два года до смерти, в феврале 1932 года, Луначарский писал: «В сущности, как-никак, я живу на земле последние годы. Не подумай, что я собрался умирать. Нет, я очень охотно прожил бы еще (и, вероятно, проживу) лет до 65… Так вот: я очень счастлив думать, что мне осталось еще лет 9, в которые я буду иметь ясную голову, горячее сердце, жадные к миру глаза, уши, руки, желание творить, пить счастье и учить быть счастливым. Но не следует ли из этого все-таки, что надо стараться придать отныне своей жизни, так сказать, более торжественный характер? Именно характер теплого, ясного вечера, с пышным закатом, с благоухающими цветами в наполненном вечерними бликами и тенью садом?.. Читать только существенное, мудрое, прекрасное? Писать только большое, нужное?… Вообще жить так, чтобы каждый час пролетал на

медленных и широких крыльях. Чтобы не уходил, а приобретался. Чтобы в час смерти оказаться не растратчиком, а обладателем такой богатой внутренней жизни, чтобы естественно выросло чувство: этому не может быть конца. Как ты думаешь?.. Я — натура довольно богатая и щедрая. Это не плохо. Но я недостаточно сосредоточен… Конечно, пути человека зависят не только от него. Есть неотвратимая судьба, случайность — тюхе, как называл это Гете. Но очень многое зависит от „даймона“, т. е. от своего собственного самого лучшего „я“… Я вовсе не хочу стать ни святым, ни педантом, ни замкнутым философом: наоборот, я хочу быть веселым мудрецом. Хочу быть золотым, как начало осени, а не голым и пустым, как конец ее жизни. Жизнь моя, в общем, была счастливой… Но я хочу быть еще счастливее в последние годы…»

Эти строки Луначарский писал жене, Наталье Розенель, 16 февраля 1932 года. И еще выдержка из письма (4 марта 1932): «Если сердце не будет слишком шалить — то я еще лет 10 проживу! Больше, пожалуй, не надо. Но жить хорошо… Любовь на первом плане. Благодаря тебе я богат любовью. Потом природа. Она все больше меня привлекает. Жаль, что я не был и в молодости спортивно развитым человеком. Все искусства. Великолепная вещь — человеческая мысль. Политика сейчас — горька…»

«Горька» — это сказано весьма осторожно.

Продолжал Луначарский и писать стихи. Вот одно из них, написанное в Женеве:

И все теряет сразу цену:
Чуть-чуть погрелся у костра,
Пригубил вин пустую пену —
И вот уйдешь… Куда? В Ничто,
И за тобой пройдут другие.
Душа жила пустой мечтой,
И под конец, бедняк, не лги ей!..

Строящийся в СССР социализм — это «пустая мечта»? Стало быть, зря провозглашал: «Мы люди нового утра!»

Луначарский умер в Ментоне, в курортном городке на Лазурном берегу. В рождественскую ночь 25 декабря разбудил жену: «Будь готова. Возьми себя в руки. Тебе предстоит пережить большое горе». А врачу, предложившему ему ложку шампанского, сказал: «Шампанское я привык пить только в бокале. И причины изменять своим привычкам не вижу и сейчас».

Через несколько часов Анатолий Васильевич умер. Он

прожил 58 лет. Обе жены Луначарского пережили его значительно: первая — Анна Малиновская (1883–1859) и вторая — Наталья Розенель (1902–1968). Первая была писательница, вторая — актриса. Луначарский познакомился с Розенель в 1922 году и ради нее оставил жену, с которой прожил 20 лет, и сына. И, сменив кремлевскую квартиру на апартаменты в Денежном переулке, в 47 лет начал новую жизнь. Вот уж поистине «Миноносец „Легкомысленный“», как назвал его когда-то Владимир Ильич. А можно сказать иначе: Луначарский не устоял перед красотой.

По воспоминаниям Александра Менакера, Розенель не блистала талантом, зато пленяла умом, воспитанностью и утонченностью. Она была образцом женской красоты 20-х годов. Один немецкий журнал назвал ее «самой красивой женщиной России». У нее были удивительно правильные черты лица, с легкой горбинкой нос (семейство Сац — никуда не денешься) и крошечная мушка на щеке. И русалочьи зеленые глаза… Вокруг Луначарского и его молодой жены ходило множество слухов, легенд, стихов. Популярны были строки Демьяна Бедного:

Ценя в искусстве рублики,
Нарком наш видит цель:
Дарит лохмотья публике,
А бархат — Розенель.

Гуляли подпольно и такие стихи:

В бардаке с открытым воротом,
Нализавшись вдоволь рома,
Вот, идет с серпом и молотом
Председатель Совнаркома.
А за ним с лицом экстерна
И с глазами из миндалин,
Тащит знамя Коминтерна
Наш хозяин Оська Сталин.
Вот идет походкой барской
И ступает на панель
Анатолий Луначарский
Вместе с лэди Розенель…

Далее про Калинина, Буденного, но это уже к теме Серебряного века никак не относится. Напоследок приведем строки самого Луначарского из его поэмы «Концерт» (у него было

два хобби — бильярд и стихи), строки эти сегодня звучат как-то особенно актуально:

Все продается. Пламя дум,
Возвышенные чувства.
Изволь продать —
тили-бум-бум!
И превращай в шурум-бурум
Науку и искусство!..

РОЗАНОВ
Василий Васильевич
20. IV(2.V).1856, Ветлуга Костромской губернии — 23.I(5.II).1919, Сергиев Посад Московской губернии

Как определить Розанова? Кто он? Философ, религиозный мыслитель, писатель, публицист, эссеист — все это правильно, но как-то уж обще и расплывчато для Розанова. Его называли и оценивали все по-разному, учитывая его эксцентричность и противоречивость как в мыслях, так и в поведении. «Русский Ницше» — это как комплимент. Человек с «двоящимися мыслями» — это критика. «Шелудивая собака» — уже ругань, так, кстати, назвал Розанова Леонид Андреев. «Нравственно невменяемая личность» (Петр Струве). Розанов — это Распутин русской философии и публицистики. Он явился «метафизиком» мещанского духа, обывательщины, бытовщины, — такое определение можно найти в книге Кувакина «Религиозная философия в России» (1980). Совершенно прелестное определение Розанова: «Монтень с авоськой». Оно принадлежит Мерабу Мамардашвили.

А вот оценка Николая Бердяева: «В.В. Розанов один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это настоящий уникум. В нем

были типические русские черты и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского, и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил пришептывая и приплясывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил на ухо приплевывая… Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это настоящая магия слова…»

Художник Мстислав Добужинский о Розанове: «У него была любопытная наружность: огненно рыжий, всегда с торчащим хохолком на макушке, с маленькой бородкой и весьма хитрым взглядом поверх очков».

«Хитер нараспашку», — сказал о нем Андрей Белый. А вот что говорил о себе сам Василий Розанов — самооценка, разбросанная в разных его книгах:

«Я был рожден созерцателем».

«Грусть — моя вечная гостья. И как я люблю эту гостью».

«Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы все-таки наслаждение».

> «Моя вечно пьяная душа…
> Она всегда пьяна, моя душа —
> И любопытна, и „не могу“, и „хочется“…
> И шатаются ноги…
> И голова без шапки. Одну калошу потерял. Вот моя душа».

Это из книги «Сахарна» с подписью в скобках: «бреду в редакцию». Розанов часто свои мысли — сам себе Эккерман — записывал на ходу: «за кофе», «за набивкой табаку», «преодолевая послеобеденный сон» и т. д.

Из письма к Борису Садовскому: «Гордости во мне никогда не было. Я весь смирный и тихий. Мне нужен: кусок хлеба, тепло, комната…» (декабрь 1917).

«Частная жизнь выше всего», — утверждал Розанов. «Привязанность к домашним щам, к лошади и жене — это древнее язычество, которому еще остался верен человек». Такую розановскую позицию советские критики считали конформизмом.

Еще один отзыв о нем: «Розанов был сам нежный тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым» (Михаил Пришвин).

Александр Блок в письме к Андрею Белому: «Не попади под извозчика! А извозчик — В.В. Розанов — едет, едет — день и ночь с трясущейся рыженькой бороденкой…»

«Розанов боролся на два фронта, один фронт — ему была безбожная интеллигенция, другой — суеверие церковников» (Пришвин).

А теперь совсем немного биографических данных. Розанов родился шестым ребенком в многодетной православной семье бедного провинциального чиновника. В 14 лет остался круглым сиротой и опеку над ним взял старший брат Николай. Среднее образование получил в классических гимназиях Костромы, Симбирска и Нижнего Новгорода. «Гимназия была отвратительна», — вспоминал Розанов. За неуспеваемость во 2-м и 8-м классах оставался на повторный курс. Но, плохо учась в гимназии, много и плодотворно занимался самообразованием, осваивая мировую культуру. «Из всей действительности любил только книги», — еще одно признание Розанова.

В 26 лет, в 1882 году Розанов окончил историко-филологический факультет Московского университета со степенью кандидата. Ему предлагали остаться на кафедре, но он отказался от академической карьеры и уехал в Брянск, где стал учителем истории и географии. Потом учительствовал в Ельце, в городке Белый Смоленской губернии, — и так одиннадцать лет, одновременно занимаясь свободным философским сочинительством.

В 1886 году вышла его первая книга «О понимании: Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». В анкете 1909 года Розанов вспоминал о своей первой книге: «Сплошное рассуждение на 40 печатных листов, — летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю — умное: это, я думаю, вообще не часто в России. Встреть книга какой-нибудь привет, — я бы на всю жизнь остался „философом“. Но книга — ничего не вызвала. Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было „не то“. Т. е. это не настоящее мое: и когда я в философии никогда не позволил бы себе „дурачиться“, „шалить“, в других областях это я делаю… при постоянной, непрерывной серьезности, во мне есть много резвости и до известной степени „во мне застыл мальчик и никогда не переходил в зрелый возраст…“»

Еще будучи студентом, в 24 года, Розанов женился на бывшей любовнице Достоевского Аполлинарии Сусловой, которая была на 16 лет старше его. Хотел приобщиться к Достоевскому через Суслову? Ничего хорошего из этого брака не вышло. «Станешь умываться, снимешь очки, а она подойдет и по морде трах!» —

вспоминал Розанов. Насмехалась «Суслиха» и над сочинительством молодого мужа. Она говорила, что он пишет какую-то глупую книгу, оскорбляла его при этом. В конечном счете «Поленька» бросила Розанова, причинив ему много боли и страдания. В дальнейшем Розанов женился на вдове Варваре Бутягиной, женщине некрасивой и дородной (она родила ему четырех дочерей и одного сына). «На ревнивых жен Розанову везло, — отмечала Зинаида Гиппиус. — Ну, та, первая подруга Достоевского, — вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая „Варя“, мать его детей, женщина скромная, благородная и простая, — тоже ревновала его ужасно».

Но жены — частности. Вернемся к творчеству. В 1893 году Розанов переезжает в Петербург и служит в Департаменте железнодорожной отчетности. («Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия».) В мае 1899-го он оставляет службу и по приглашению Алексея Суворина становится постоянным сотрудником газеты «Новое время», где проработал до ее закрытия (октябрь 1917). «Материально я чрезвычайно многим обязан Суворину: ни разу он не навязал мне ни одной мысли, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому, ни шага», — вспоминал Розанов. Розанов писал в газету через день на самые разнообразные темы: школа, церковь, семья, брак, незаконнорожденные дети, народный быт, война и мир, русская жизнь и культура, литература. Розанова читали взахлеб и вскоре он получил «общерусскую известность».

Газетную работу Розанов чередовал с писанием книг, и они выходили регулярно: «Сумерки просвещения» (1899), «Природа и история» (1899), «Литературные очерки» (1900), «Религия и культура» (1900), «В мире неясного и нерешенного» (1902), «Семейный вопрос в России» (1905), «Около церковных стен» (1907) и другие.

В 1912 году вышла книга «Уединенное» — это уже был «чистый» Розанов, до того пребывавший в приложениях, дополнениях или комментариях к чему-либо; здесь он не только «шалил» и «дурачился», но и нарочито всех шокировал своим откровением и своими парадоксами. «Уединенное» вызвало взрыв негодования и осуждения в литературных кругах и среди читающей публики. Автора обвиняли в цинизме, имморализме, беспардонности и прочих смертных грехах. «Нельзя! Нельзя! — надрывалась Зинаида Гиппиус. — Не должно быть этой книги быть!»

Но Розанов не сдавался и продолжал гнуть свою линию: в том же 1912 году вышли «Опавшие листья» («Короб первый»), в 1915-

м — «Короб второй и последний», затем — «Сахарна», «Мимолетное».

Все эти розановские книги удивляли, изумляли, обжигали и у многих вызывали чувство протеста, в них Розанов не только обнажил свою душу («моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти»), но и высказался по всем животрепещущим проблемам России: они животрепетали тогда, они остаются злободневными и сегодня…

Россия и русский народ. Вот на выдержку только несколько «тряских фразочек» Розанова, по выражению Андрея Белого:

«Дана нам красота невиданная.

И богатство неслыханное. Это — Россия.

Но глупые дети все растратили. Это — русские».

* * *

«…Русь, сравнительно с Западом, прожила бесшумную историю: вместо крестовых походов — „хождение игумена Даниила во святой град Иерусалим“, вместо Колумба и Кортеса — странствования купца Коробейникова в Индию, вместо революций — „избрание Михаила на царство“… И все — тише, глаже. Без этих Альп… Все „Валдайские возвышенности“, едва заметные даже для усталой лошадки…»

* * *

«Все „казенное“ только формально существует. Не беда, что Россия в „фасадах“: а что фасады-то эти — пустые.

И Россия — ряд пустот.

„Пустое“ правительство — от мысли, от убеждения. Но не утешайтесь — пусты и университеты.

Пусто общество. Пустынно, воздушно.

Как старый дуб: корки, сучья, но внутри — пустоты и пустоты.

И вот в эти пустоты забираются инородцы; даже иностранцы забираются. Не в силе их натиска — дело, а в том, что нет сопротивления им».

* * *

В феврале 1918 года Розанов пишет в письме Петру Струве:

«…Тайная моя мысль, — а в сущности 20-летняя мысль, что только инородцы — латыши, литовцы, финны, балты, евреи — умеют в России служить, умеют Россию любить и каким-то образом уважать, умеют привязываться к России, — опять — непостижимым образом. Верите ли, что как только отец проходит с сыном Русскую историю, толкует с ним „Русскую правду“, толкует попа Сильвестра и его „Домострой“, то уж знайте, что он или немец, или в корне рода его лежит упорядоченное немецкое начало. „Русский“ — это всегда „мечтатель“, т. е. Чичиков, или Ноздрев, или Собакевич на „общеевропейской подкладке“…»

Здесь нельзя обойти молчанием отношения Розанова к евреям, его густой антисемитизм, особенно проявившийся в «деле Бейлиса», когда, по существу, в одиночку Розанов противостоял всему демократическому лагерю. «Всю жизнь Розанова мучили евреи, — писала Зинаида Гиппиус. — Всю жизнь он ходил вокруг да около них, как завороженный, прилипал к ним — отлипал от них, притягивался — отталкивался…

Влюбленный, однажды, полушутя, в еврейку, говорил мне:

— Вот рука… а кровь у нее там какая? Вдруг — голубая? Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у наших…»

Перед смертью Розанов покаялся за свое негативное отношение к евреям.

Когда к власти пришли большевики и закрыли газеты, в которых Розанов работал, он с семьей впал в нищету и уехал из Петрограда в подмосковный Сергиев Посад.

«Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния, — писал Розанов Максиму Горькому в конце 1917 года. — Квартира не топлена и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахару и около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза. И я глупый… Максимушка родной, как быть?.. Максимушка, я хватаюсь за твои руки… Я не понимаю, как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну… У меня — не напечатанных на 50 000 книг… Максимушко, ну — милый, ну дорогой: воспользуйся, сделай что-то. Ну, что — я не знаю. Ведь я не талантлив. И с душой… Вот посылаю тебе отрывочек, для „Нивы“…»

В «Апокалипсисе нашего времени» (вышло 10 выпусков из 60 написанных) оценивал создавшуюся в России ситуацию после революции, как La Divina Commedia («Божественная комедия». — *Итал.*)

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историей железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось».

А далее Розанов делает парадоксальный вывод: «Собственно нет никакого сомнения, что Россию убила литература».

Вы удивлены? Но вчитайтесь в аргументы Розанова: «После того, как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова („Обломов“), администрация у Щедрина („Господа Ташкентцы“), история („Истории одного города“), купцы у Островского, духовенство у Лескова („Мелочи архиерейской жизни“) и, наконец, самая семья у Тургенева („Отцы и дети“ Тургенева перешли в какую-то чахотку русской жизни»), русскому человеку не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция. «Что же мне делать, что же мне наконец делать». «Все — вдребезги!!!»

По Розанову, Россия была в конечном счете именно такой, какой ее изображала русская литература: обреченной империей. Она и пала…

«Бегство Розанова в Сергиев Посад, — вспоминал Эрих Голлербах, — многие объясняли малодушным желанием „скрыться с горизонта“. Отчасти это верно. Василий Васильевич пережил состояние отчаянной паники. „Время такое, что надо скорей складывать чемоданы и — куда глаза глядят“, — говорил он. Но он вовсе не был трусом, о чем говорит издаваемый им самим „Апокалипсис“».

Осенью 1918 года, бродя по Москве, Розанов пришел в Кремль и заявил: «Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я — монархист Розанов». Однако ни Ленина, ни Троцкого ему «не показали».

До Петербурга доходили слухи о бедствиях Розанова. «Окурки собирает… Болен… Странным стал… Жена почти не встает… И Вася, сын, умер… Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: теперь казалось естественным, — записывала Зинаида Гиппиус. — У всех, кажется, все умерли; все, кажется, подбирают окурки… Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив. Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое странное, непередаваемое время».

Между тем положение Розанова было отчаянным: жена была почти инвалидом, дочери не имели никаких практических навыков в добывании средств к существованию, о Василии Васильевиче и говорить не стоит: он был вне быта. Все это привело к тому, что в ноябре 1918 года у него случился инсульт, или как он продиктовал в своей «предсмертной воле»: «Я

постигнут мозговым ударом». По воспоминаниям младшей дочери Надежды: «Он был весь слабый и худой до последней степени. Совсем ребенок. Капризничал, плакал, когда ему не давали папирос (боялись), умолял, кричал…»

И далее: «Ему хотелось друзей, он хотел быть окруженным ими. Тосковал, что не приходят, и боялся, когда уходят…»

В конце ноября 1918 года в петербургских кругах распространился слух о расстреле Розанова, этот слух докатился до Киева, где в газете «Русский голос» появилась гневная статья Ильи Эренбурга. Она малоизвестна, поэтому есть резон привести основные выдержки из нее:

«…Убить Розанова — как понять, как простить?.. О, если б можно было ненавидеть! Как часто и я с безмерной враждой открывал его притягивающие и страшные книги. Но его убили не как врага, не как еретика, не исступленные против его темного учения инаковерующие, а случайно, мимоходом… Что знали о нем даже вожди большевиков, даже эстет от Совдепии Луначарский? А, Розанов? Тот самый, который… „Нововременец“… Нельзя печататься с ним в одном журнале… И самые просвещенные добавляли: „Он любит парадоксы“. Разве могли они — не знающие, не любящие ни мира Господня, ни нашей России, понять его русскую, темную душу, шалую душу?…

О душе Розанова молятся, о незнаемой, но страшной и большой душе. Стройны и величавы готические соборы, и в торжественных нефах душа идет к творцу. А русские в своих церквах любят закоулки, затворы, тайники, часовенки, подземелье и кривые коридорчики. Уйдешь, и заблудишься. И душу Розанова, русскую душу, в которой сто тайников да триста приделов, напоминает Софийский собор. Темно, и вдруг ослепительным контрастом буйный луч играет на черном лике угодника, и снова ночь. Не таков ли был Розанов? Там, где зацветали Шартрский собор и Авиньонская базилика, не поймут его. Но мы, блуждая в киевской Софии или в Василии Блаженном, путаясь в заворотах, томясь тьмой и солнцем, чуя дьявольский елей в Алеше Карамазове и мученический венец в хихикающем Смердякове, — мы можем сказать о Розанове — он был наш.

Был похож Розанов на Россию. Был похож на Россию беспутную, гулящую и покаянную. На черное дело всегда готов, но и с неизменным русским „постскриптумом“ — я тоскую и каюсь, Господи, да будет воля Твоя!

Его книги порой жутко держать в комнате — не то общая баня, не то Страшный Суд, и хихикает он воистину страшно. Но все кощунство лишь от жажды крепко верить. Любовь к покою — только муки в уютном аду, все эти плевки и земные поклоны,

критика христианства и записи на ночных туфлях — одна мысль, одна тоска, один бред об Отце. Наплюет на дух, но и обожествит плоть, и вот уж плоть-дух, и кто хихикал, кто молился — не поймешь.

Распад, развал, разгул духа — это Розанов, но это и Россия. В последние месяцы, в томлении и в нужде, всеми покинутый Розанов глядел на смерть отчизны. И в последний раз „зловеще хихикнул“ — „как пьяная баба, оступилась и померла Россия“. Смешно? А все-таки сие апокалипсис…»

Нет, Розанова не расстреляли, его убила… Россия. Развалился привычный мир, и философ оказался в муке и боли при крайней степени нужды. Ему пытались помочь (Горький прислал деньги), но было уже поздно.

17 января 1919 года появилось на свет «Письмо к друзьям». Вот его начало:

«Благородного Сашу Бенуа, скромного и прекрасного Пешкова, любимого Ремизова и его Серафиму Павловну, любимого Бориса Садовского, всех литераторов без исключения, Мережковского и Зину Мережковскую — ни на кого ни за что не имею дурного, всех только уважаю и чту.

Все огорчения, все ссоры считаю чепухой и вздором…»

И еще несколько прощальных писем надиктовывает Розанов, «Евреям»: «Благородную и великую еврейскую нацию я мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои прегрешения и никогда ничего дурного ей не желаю и считаю первой в свете по назначению…»

23 января (5 февраля) 1919 года. Отец Павел Флоренский прочитал отходную, и Розанов тихо, незаметно умер. Он немного не дожил до 63 лет. Он умирал в холоде, его накрыли всеми шалями и шубами, а на голову надели нелепый розовый капор — последняя усмешка Рока. Зато гроб «попался ему изысканный: выкрашенный фиолетово-коричневой краской, вроде иконной чернели, как бывает иногда очень дорогой шоколад, с фиолетиной, и слегка украшенный крестиком из серебряного галуна…» (из письма Павла Флоренского — Михаилу Нестерову).

Похоронили Розанова без официальных речей, он этого очень не хотел: «Если кто будет говорить мне похвальное слово „над раскрытой могилою“, то я вылезу из гроба и дам пощечину». Его могила оказалась рядом с могилой Константина Леонтьева. Но ни та, ни другая не сохранились: в 20-е годы Черниговское кладбище было разорено.

В заключение краткого рассказа о Василии Розанове можно привести различные цитаты — о революции, о социализме, — но, пожалуй, более логично будет — о литературе. «Литературу я

чувствую, как штаны», — эпатировал публику Розанов. Для него не было авторитетов, которым бы он не перекусывал горло.

«Чехов? — ничего особенного… Что Чехов? Глядел на жизнь, что видел, то и записал. Очень милый писатель, понравился, стал читать. Но он холодный, и ничего особенного. Успех его понимаю, только не одобряю».

Более 20 лет Розанов ругал Гоголя и даже презрительно называл Гоголишко. «Именно с Гоголя, — писал Розанов, — начинается в нашем обществе потеря чувства действительности, равно как от него же идет начало отвращения к ней».

В статье «Возле русской идеи» (1911) Розанов говорит, что все русские писатели — Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров «возводят в перл нравственной красоты и духовного изящества слабого человека, безвольного человека, в сущности — ничтожного человека, еще страшнее и глубже — безжизненного человека, который не умеет ни бороться, ни жить, ни созидать, ни вообще что-либо делать: а, вот видите-ли, — великолепно умирает и терпит!!! Это такая ужасная психология!.. И, что страшно, она так правдива и из „натуры“, что голова кружится. От Татьяны, сказавшей:

Но я другому отдана
И буду век ему верна —

от этого ужасного слова, в сущности, всемирного слова всякого рабства, всякого „оруженосца“, „пажа“, отнюдь не рыцаря и не воина, не самостоятельного „я“, — через „бедных людей“ Достоевского (какой ужасный смысл в самом имени: Макар Девушкин) и его же „честного вора“ (аншлаг для всей Руси), через Платона Каратаева, через безвольных героев Тургенева, — проходит один стон вековечного раба: о том, откуда бы ему взять „господина“, взять „господство“ над собою… Это еще от новгородской Руси: „приходите володеть и княжити над нами…“

Инвективы Розанова понятны. А каковы рецепты? И что он сам? Вот характерный для него парадокс:

„Что делать?“ — спросил нетерпеливый петербургский юноша.

— Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай».

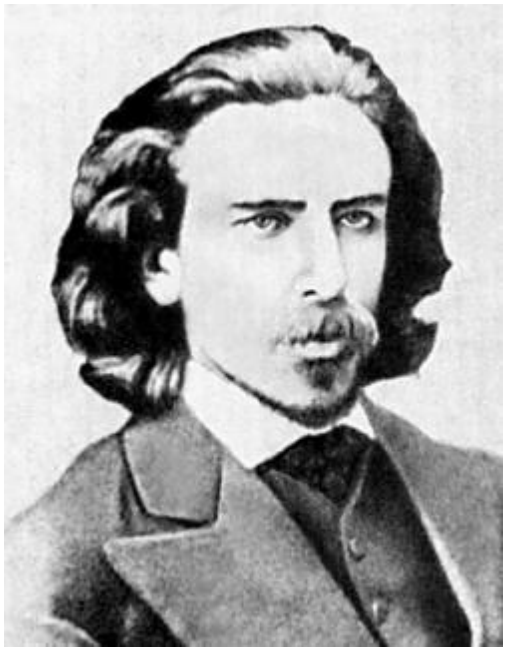
«Делать нужно то, что было делаемо вчера».

«Мысль, что человек в самом деле делает историю, — вот самая яркая нелепость; он в ней живет, блуждает без всякого ведения — для чего, к чему».

И вообще — «душа озябла».

Это — Василий Розанов.

СОЛОВЬЕВ
Владимир Сергеевич
16(28).I.1853, Москва —
31.VII(13.VIII).1900, село Узкое под Москвой



Владимира Соловьева можно числить по двум разрядам: как философа и как поэта. Философ-поэт Серебряного века, оказавший огромное влияние на Блока, Белого, Брюсова, Вячеслава Иванова и других поэтов. Предтеча символизма. Именно Владимиру Соловьеву Россия обязана философским ренессансом в начале XX века. Он — философ масштаба Канта и Гегеля.

Можно продолжить панегирический ряд и дальше, но мы поступим иначе: сделаем смычку с предыдущим философом — с Розановым. Любопытно, как они уживались вместе? Эрих Голлербах в исследовании «Владимир Соловьев и Розанов» (1922) пишет именно об этом:

«…По дружному суждению представителей университетской философии — Розанов не философ, а дилетант философской мысли. В то время как университетски-образованному человеку совершенно „неприлично“ не знать Соловьева, Розанова знать не

обязательно. Мы знаем, что мировоззрение Соловьева, при всей недоговоренности отдельных мыслей философа, представляет собою более или менее фактическую систему. В ней есть нечто определенное, устойчивое, статическое. Розанов, напротив, никакой системы не создал: он весь в непостоянстве, в догадках, в противоречиях. И в этом причина необычной динамичности его мысли: с ним хочется спорить, даже тогда, когда соглашаешься с ним. Он постоянно тревожит, дразнит, возбуждает вашу мысль».

Эта разница между Владимиром Соловьевым и Розановым была, по Голлербаху, причиной того, что «Розанов был Соловьеву интересен. Соловьев Розанову — едва ли».

Но тем не менее Розанов часто писал о Владимире Соловьеве, при этом стараясь его уколоть и всячески принизить: «танцор из кордебалета», «тапер на разбитых клавишах», «блудница, бесстыдно потрясающая богословием, „тать“, прокравшийся в церковь», «святотатец», и т. д. Интересно, что в ответ Соловьев не обижался на Розанова, а в письмах писал ему всегда «дорогой» и подписывался — «искренно Вас любящий». Что касается критических оценок, то Соловьев опровергал их всегда по существу, не оставляя и камешка от наветов Розанова.

Впоследствии Розанов глубоко сожалел о своем неправильном отношении к Соловьеву. В 1905 году, спустя 5 лет после кончины философа, он писал: «Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм и писем Вл. Соловьева и перечел их — слезы наполнили мои глаза, и — безмерное сожаление. Верно мудры мы будем только после смерти, а при жизни удел наш — сплошная глупость, ошибки, непонимание, мелочность души или позорное легкомыслие. Чем я воспользовался от Соловьева, его знаний, его души? Ничем. Просто — прошел мимо, совершенно тупо, как мимо верстового столба. Отчего я с ним не заговорил „по душам“, хотя так много думал о нем до встречи, после встречи и после смерти. Думал о нем, когда не видел; а когда видел — совершенно ничего не думал и просто ходил мимо, погруженный во всякую житейскую дребедень…»

Из всех поздних характеристик Владимира Соловьева наиболее точное и яркое (так считал Алексей Лосев) принадлежит Розанову. В статье «На панихиде по Вл. Соловьеву» он уловил постоянную неустроенность, бездомность Соловьева, его вечные искания, которые ничем не кончались. «Вот уж был странник, в умственном, идейном и даже в чисто бытовом, так сказать, жилищном отношении! — восклицал Розанов. — Сын профессора, с большими правами на кафедру, он не получил „по независящим обстоятельствам“ этой кафедры; внук священника, посвятивший памяти деда „Оправдание добра“, он был крайне

стеснен в своих желаниях печататься в академических духовных журналах; журналист, он нес религиозные и церковные идеи, едва ли встречая для них распахнутые двери в редакциях. Он пробирался в щелочку, садился пугливым гостем; готовым вот-вот вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом. Какой странный у него был этот смех, шумный и, может быть, маскирующий постоянную грусть…»

О противоречивости Владимира Соловьева писал и Василий Величко в своей работе «Владимир Соловьев. Жизнь и творения» (1902): в Соловьеве «уживались рядом и порою прерывали друг друга два совершенно противоположных строя мысли… Первый можно сравнить с вдохновенным пением священных гимнов… Второй — с ехидным смехом, в котором слышались иногда недобрые нотки, точно второй человек смеется над первым…».

Разве не смеялся он над собою, сочиняя ерническую эпитафию самому себе:

Владимир Соловьев
Лежит на месте этом.
Был прежде философ,
А после стал поэтом.

Он душу потерял,
Не говоря о теле;
И душу дьявол взял,
Собаки тело съели.

Прохожий! научись
Из этого примера,
Сколь пагубна любовь
И сколь полезна вера.

Но эпитафия — это потом; а сначала все же — рождение. Владимир Соловьев родился в семье знаменитого историка Сергея Соловьева, в которой не один Владимир был пишущим; брат Всеволод был романистом, сестра Поликсена — поэтессой (писала под псевдонимом Allegro). Племянник Владимира Соловьева — Сергей Соловьев тоже вступил на поэтическую стезю.

Владимир Соловьев родился семимесячным, чем впоследствии объяснял свою повышенную впечатлительность. «Начитавшись Житий Святых, мальчик воображал себя аскетом в

пустыне, ночью сбрасывал с себя одеяло и мерз „во славу Божию“. Фантазия развивалась у него очень рано: он разыгрывал все, что ему читали: то он был русским крестьянином и погонял стул, напевая „Ну, тащися, сивка“, то испанским идальго, декламировавшим кастильские романсы» (В. Величко).

В юные годы ничто не выдавало во Владимире Соловьеве будущего религиозного мыслителя, «эсхатологического мистика». «Это был типичный нигилист 60-х годов, — свидетельствовал его приятель Лопатин. — …Еще в эпоху своего студенчества отличный знаток Дарвина, он всей душой верил, что теорией этого знаменитого натуралиста… положен конец… всякой теологии… Его общественные идеалы в то время носили резко социалистическую, даже коммунистическую окраску».

Сначала Владимир Соловьев учился на историко-филологическом факультете Московского университета, потом перешел на физико-математический. В момент окончания университета в 1873 году Соловьев поменял свои взгляды, отвернулся от Дарвина и повернулся к Гегелю, который стал его «первой любовью», второй — Шопенгауэр, а третья влюбленность была в Шеллинга. Получив университетский диплом, Владимир Соловьев поступил вольным слушателем в Духовную академию. Параллельно читал лекции в университете и на Высших женских курсах. К этому времени проявился и поэтический дар Владимира Соловьева.

В 1875–1876 годах состоялась первая поездка за рубеж. В поэме «Три свидания» (1898) он писал:

Моей мечтой был Музей Британский,
И он не обманул моей мечты.

Около четырех месяцев Владимир Соловьев занимался в Лондонской библиотеке, а затем отправился в Египет и там, в пустыне близ Каира, было ему видение. Явилась перед ним София, «Дева Радужных Ворот», Вечная Женственность, лучезарная подруга, о чем он поведал в своих стихах:

Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя, —
Сердце сладким восторгом забилось,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали, догорая, дымилось
Злое пламя земного огня.

То ли это был чисто визионерский акт, то ли галлюцинация, то ли подлинное видение, а еще не надо забывать, что Соловьев увлекался спиритизмом и, соответственно, был готов ко всякого рода явлениям, он поверил в Божественную премудрость — Софию, и этот небесный идеал, эту Вечную Женственность воспевал всю жизнь. Любовь и мудрость как антитеза ала.

Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце любви.

Попутно скажем и о земной любви Владимира Соловьева. Она была весьма странной, наверное, в силу того, что у Соловьева было весьма слабо выражено мужское начало (или скажем по-другому: не буйствовала плоть). Отсюда его вялые любовные романы с Екатериной Романовой, с Софьей Хитрово и с родственницей убийцы поэта — Мартыновой. Можно вспомнить соловьевские стихи, посвященные любимым женщинам: «Газели пустынь ты стройнее и краше…», «Три дня тебя не видел, ангел мой…», «Тесно сердце — я вижу — твое для меня…» и т. д. Чувство бурлило только в стихах. И ничего другого. Весь Соловьев был растворен в творчестве, сосредоточен в мыслях. Он — популярнейший лектор. Его лекции «Чтения о богочеловечестве» имели шумный успех, вся образованная столица съезжалась «на Соловьева» (среди слушателей были и Достоевский, и Толстой). Чрезвычайно увлекалось Соловьевым студенчество, молодые писатели, курсистки создавали соловьевские кружки. Даже гимназистки, если им задавали сочинения на вольную тему, любили поразмышлять над Соловьевым.

Что привлекало в Соловьеве? Во-первых, его триада — добро, истина и красота. Во-вторых, он не отождествлял нравственность с религией. Нравственность, по Соловьеву, должна держаться на трех китах: 1. Стыд, совесть, страх Божий; 2. Сочувствие, жалость, милосердие; 3. Религиозное чувство, путь благочестия, благоговения. В-третьих, одинаково критически смотрел философ на христианство, как на западное, так и на восточное, признавая одновременно и заслуги каждой религии. Запад выпестовал идею индивидуальности, воплотившуюся в образе «богочеловека». Восток создал идею «человекобога», олицетворение универсализма. И Соловьев предлагал свести воедино, синтезировать оба христианских принципа. Вчерашний славянофил, Соловьев убеждал своих соотечественников в

благости латинства, а католикам доказывал правоту православия.

Владимир Соловьев добивался объединения православной и католической церквей. Едет в Европу. Издает в Париже на французском труд «Россия и вселенская церковь». Но его не понимают и не хотят понять. Ортодоксальные паписты, как и православные иерархи, видят в Соловьеве только еретика. Так же считал, увы, и Лев Гумилев. Сам Соловьев понимал всю утопичность своих взглядов, что нашло отражение в его стихах: его теория, его дитя —

В стране морозных вьюг,
седых туманов
Явилась ты на свет,
И, бедное дитя,
меж двух враждебных станов
тебе приюта нет.

Возможно, вопрос объединения церквей и религий — вопрос весьма далекого будущего, ведь сам Владимир Соловьев утверждал: «Исторический процесс есть долгий и трудный переход от зверочеловечества к богочеловечеству…»

Не верил Соловьев в особое предназначение великих империй:

Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И все твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.
Пускай так!
Орудий Божьей кары
Запас еще не источен.
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.
. . . . . .
Стремятся в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть…
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

Так писал Владимир Соловьев в стихотворении «Панмонголизм» (1894). И писал пророчески: пала царская империя, не стала «четвертым Римом» и советская. И суровое предупреждение:

О Русь! Забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

В своих стихах Владимир Соловьев не избегал острых политических тем. Его поэзия была разяще точна:

Благонамеренный
И грустный анекдот!
Какие мерины
Пасут теперь народ!

Написана эта эпиграмма 1 января 1885 года. А что, спустя 100 и более лет, изменились мерины? На мой взгляд, все те же…

Стихов Соловьева приводить дальше не будем. А философских взглядов накоротке не передашь, еще раз лишь отметим, что главный его труд — «Оправдание добра». В советское время начисто отвергали Соловьева, считая его «реакционным философом-мистиком, богословом, поэтом-символистом, стремившимся соединить философию с религиозным откровением» (Энциклопедический словарь, 1955). И, разумеется, никаких книг его не издавали, в то время как на Западе — в Брюсселе в 1977 году вышло собрание сочинений Владимира Соловьева в 16-ти томах, причем на русском языке.

А что у нас? Алексей Лосев написал книгу «Соловьев и его время», которой он отдал много лет своей жизни. Ее издали и последовал мгновенный разнос: приказ Госкомиздата № 254 от 16 июня 1983 года «О грубой ошибке издательства „Мысль“». За спиной этого постановления стоял идеолог страны Михаил Суслов. И снова нет Соловьева, как не было. Лишь в начале 2000 года вышел из печати первый том академического полного собрания сочинений философа. Предполагается издать 15 томов плюс 5 томов писем. Как видим, наследство немалое…

А теперь вернемся непосредственно к Владимиру Соловьеву. Это был действительно престранный человек. Не любил изобразительных искусств, музыки и театра, лишь страстно любил поэзию. Был равнодушен к еде. Но любил сладкое — шоколад, фрукты, ягоды. Был бессребреником. Получая подчас хорошие деньги от издания своих произведений, он оставался вечно без гроша, так как откликался на всякую просьбу о помощи. Его отличали две черты — безалаберность и странничество. Когда жил в Петербурге, то в его комнате мебель состояла из кухонного

стола, двух табуреток и складной кровати. Пить чай ездил на Николаевский вокзал. Такого человека в семье и представить невозможно — все верно: ни семьи, ни детей. Зато душа грезила о всем человечестве, о его духовном и материальном освобождении. «У него было одно из тех лиц, мимо которых нельзя было пройти, не обратив на него внимания; останавливали на себе глубокие глаза его и длинные волнистые волосы, обрамлявшие высокий лоб», — вспоминал его товарищ по гимназии и друг последующих лет Цертелев.

Владимиру Соловьеву не сиделось на месте, он вел неустроенную жизнь странника. Охотно гостил у друзей, в частности в имении Софьи Хитрово «Пустеньке». И напряженно работал: поэзия, переводы, философские сочинения и даже шуточные пьесы — он был еще и ироник.

Александр Амфитеатров оставил воспоминания о своих встречах с Владимиром Соловьевым и в них проводил сравнения со Львом Толстым: «Он больше аристократ-ученый, тогда как Толстой больше демократический самоучка. Громадная, почти страшная энциклопедическая эрудиция Владимира Соловьева и привычка его к строгому научному тону резко подчеркивали эту разницу. В Соловьеве много Фауста, уклонявшегося из толпы…»

И далее Амфитеатров продолжает свою мысль:

«Фаусты поэтичны и загадочны. Поэтичен и загадочен для общества был и Соловьев. Трудно отрицать в нем некоторую мистическую двойственность духа и быта.

— Соловьев великий постник и трезвенник! — скажет один в обществе. А другой сейчас же возражает:

— Помилуйте, мы ужинали у Н., — и он отлично пил красное вино.

— Соловьев аскет и девственник.

— Однако иной раз он рассказывает препикантные истории и анекдоты.

— Удивил нас Соловьев, — говорит мне один московский литератор. — Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех… Но… доказывал он, положим, что дважды два — четыре. Доказал. Поверили в него, как в Бога. И вдруг — словно что-то еще защелкнуло. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые. — А знаете ли, — говорит, — ведь дважды-то два не четыре, а пять? — Бог с вами, Владимир Сергеевич! Да вы же сами нам сейчас доказали… — Мало ли что „доказал“. Вы послушайте-ка… — И опять пошел говорить. Режет contra, как только что резал pro, — пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что это шутка, а жутко как-то. Логика острая, резкая,

неумолимая, сарказмы страшные… Умолк, — мы только руками развели: видим действительно дважды два — не четыре, а пять. А он — то смеется, то словно его сейчас живым в гроб класть станут.

Соловьев был несомненно самым сильным диалектическим умом современной русской литературы. В споре он был непобедим и любил гимнастику спора; но выходки, подобные только что рассказанной, кроют свои причины глубже, чем только в пристрастии к гимнастике. Этому Фаусту послан был в плоть Мефистофель, с которым он непрестанно и неутомимо боролся. Соловьев верил, что этот дух сомнения, вносящий раздвоение в его натуру — самый настоящий бес из пекла, навязанный ему в искушение и погибель. Известно, что он был галлюциант и духовидец. Про преследования его бесами он рассказывал своим друзьям ужасные вещи, — совсем не рисуясь, а дрожа, обливаясь холодным потом, так тяжко приходилась ему иной раз эта борьба с призраками настроенного воображения…»

Не знаю, как вам, уважаемый читатель, а мне кажется, что судьба Владимира Соловьева сродни Гоголю: те же внутренние разногласия, противоречия, борьба, визионерство и страх. Ну, и, разумеется, такие люди долго не живут. Гоголь немного не дотянул до 43 лет. Владимир Соловьев прожил 47 лет.

В середине июля 1900 года Владимира Соловьева привезли в дом его друга князя Сергея Трубецкого. Двоюродная сестра жены князя Аполлинария Панютина оставила воспоминания о последних днях философа и поэта: «…Но всем нам ясно становилось, что болезнь его не простая мигрень, которой он иногда страдал, а нечто весьма серьезное…»

Врачей вызвать не удалось (отпускное время), и Владимир Соловьев «все лежал на диване, метался и жестоко страдал… бредил на греческом, латинском, французском и итальянском языках… но чаще всего его бред останавливался на евреях…».

В лекции о Владимире Соловьеве Александр Мень говорил: «За несколько лет до смерти он причащается у католического священника. Этим самым он хотел как-то показать, что он лично уже не признает разделения Церквей… Перед смертью Соловьев причастился, исповедовался. Умер в сознании. Он читал псалмы на еврейском языке, потому что любил всегда к своим молитвам прибавлять язык Христа, что это звучало как связь с христианской древней традицией…»

Доктора уже были бессильны. 30 июля началась агония, длилась почти сутки, и 31 к вечеру его не стало. Врачи нашли полнейшее истощение, сильнейший склероз артерий, цирроз печени и уремию. Целый прощальный букет. Чтобы не

заканчивать на грустной ноте, приведем автопародию поэта-философа, написанную в апреле 1895 года:

Нескладных виршей полк за полком
Нам шлет Владимир Соловьев,
И зашибает тихомолком
Он гонорар набором слов.

Вотще! Не проживешь стихами,
Хоть как свинья будь плодовит!
Торгуй, несчастный, сапогами
И не мечтай, что ты пиит.
Нам все равно — зима иль лето, —
Но не стыдись седых волос,
Не жди от старости расцвета
И петь не смей, коль безголос!

А если серьезно, то, исходя из учения Соловьева, необходим еще один регулятор поведения — чувство стыда. «Я стыжусь, следовательно, существую», — говорил Владимир Соловьев, перефразируя Декарта. «Долой стыд» равнозначно «долой человечность». Стыд удерживает человека на стезе умеренности и порядочности.

Только вот вопросец в духе Розанова: а кто нынче стыдится? Кто? Даже фонарный столб потерял всякий стыд… Владимир Сергеевич, где вы?..

СТЕПУН
Федор Августович
6(18).II.1884, Москва — 23.II.1965, Мюнхен

Как странно (о, эти совпадения!), но следующий за Владимиром Соловьевым философ Федор Степун защитил в 1910 году в университете Гейдельберга докторскую диссертацию по историографии Владимира Соловьева. Пошел по его стопам? Не совсем. Пошел своей дорогой, хотя отсвет соловьевских идей долго еще поблескивал в творчестве Степуна.

Степун — религиозный философ, историософ, культуролог, социолог, теоретик искусства, писатель и публицист. В его жилах текла литовская, немецкая, французская, шведская и финская кровь, но этот этнический коктейль не мешал его «русскости», напротив, добавлял ей новые краски и оттенки. Детство будущего философа прошло в Калуге. После окончания московского реального училища Св. Михаила Степун оказался на распутье: он разрывался между философией и художественным творчеством. И

все же философия взяла верх и Степун в течение 7 лет учился в знаменитом Гейдельбергском университете, где и защитил упомянутую выше докторскую диссертацию. В 1910 году в философском журнале «Логос» появилась статья Степуна «Трагедия творчества», которая вошла в сборник его основных философских работ «Жизнь и творчество» (Берлин, 1923).

По возвращении из Германии Степун принимает деятельное участие в «Логосе», ведет секцию по эстетике при московском издательстве «Мусагет» и становится членом «Бюро провинциальных лекторов», в качестве которого объездил почти всю Россию. «Как свободно и легко дышала в то время Россия, наслаждаясь своей медленно крепнущей свободой, как быстро росла и хорошела», — свидетельствовал Степун о своих разъездах.

Затем разразилась Первая мировая война, в которой принял участие Федор Степун, был тяжело ранен, но снова вернулся на фронт. Об этих событиях он написал философско-автобиографический роман «Записки прапорщика-артиллериста» (1918). На короткое время Степун вышел на авансцену политики, когда был избран представителем во Всероссийский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а затем назначен начальником политического управления военного Министерства Бориса Савинкова. Но это был всего лишь эпизод.

После Октября Степуна пытались призвать уже в Красную армию, но отстоял нарком Луначарский и по его ходатайству Степуна назначили заведующим репертуара и помощником режиссера в «Показательный театр Революции», из которого он вскоре был уволен за «явное непонимание сущности пролетарской культуры». Степун стоял твердо на том, что никакой пролетарской культуры «и быть не может; культура требует языка, а у пролетариата, как и у каждого класса, есть только терминология».

Оставаясь в Москве, где «сердце каждого человека билось не в груди, а в холодной руке невидимого чекиста», Степун читал лекции в ряде театральных студий, преподавал в Вольной Академии духовной культуры, составил сборник «Освальд Шпенглер и Закат Европы», в котором кроме Степуна приняли участие Бердяев и другие философы. Сборник попался на глаза Ленину, усмотревшему в нем «литературное прикрытие белогвардейской организации». Последовал мгновенный арест. На вопрос: «Каково ваше отношение к советской власти?» Степун ответил: «Как гражданин Советской федеративной республики, я отношусь к правительству и всем партиям безоговорочно лояльно; как философ и писатель, считаю, однако, большевизм

тяжелым заболеванием народной души и не могу не желать ей скорого выздоровления».

За арестом последовала высылка из новой России. «Разрешалось взять: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм и по две штуки всякого белья. Вот и все. Даже нательные кресты надо было снимать с шеи…» (Ф. Степун. «Бывшее и несбывшееся»).

В ноябре 1922 года «в ветреный, сырой и мозглый день» Степун с другими учеными и общественными деятелями был отправлен в эмиграцию (кто на поезде, кто на пароходе). Первое пристанище — Берлин. И первая работа — в эмигрантском журнале «Современные записки», где он руководил литературно-художественным отделом. И еще один журнал — «Новый Град». Как христианский демократ, Степун в 20 — 30-е годы сосредоточился на проблеме исторической судьбы России и осмыслении феноменов революции и большевизма.

«Читая любую русскую историю, — писал Степун, — получаешь впечатление, что русский народ не столько завоевывал землю, сколько без боя забирал ее в плен. Эта военнопленная земля работала на русский народ, работала без того, чтобы он сам на ней по-настоящему работал…» Степун в своих статьях постоянно подчеркивал сложившийся в России стиль «бездуховного отношения к труду», а отсюда и «культурно-хозяйственная убогость» русской народной жизни. Марксизм, появившийся в России, привел страну к трагедии, так как произошла роковая встреча «просвещенско-рационалистической идеологии Карла Маркса с темной маетой русской народной души». Большевизм, по Степуну, явился результатом «ложного направления религиозной энергии русского народа, псевдоморфоза русской потребности верить», верить в чудо, не прилагая к этому никаких усилий. А в итоге — «задний ход» истории.

В статье «Религиозный смысл революции» Степун писал, что после свершения революции в России стали править бал «профессионалы революционного мастерства, самолюбивые спортсмены террористической борьбы, самозванные устроители народного счастья… все те заносчивые хирурги социально-политического дела, для которых страсть к операциям — все, а любовь к пациенту — ничто».

«Революция открывает простор метафизической тоске человека, погруженного в пучину обыденности, возносит низменное, сжигает возвышенное… — констатировал Степун. — Начинается погоня за химерами… Мечты о прекрасной даме разрушают семьи, прекрасные дамы оказываются проститутками,

проститутки становятся уездными комиссаршами…» Далее Степун винит в происшедшем и интеллигенцию: «Дух разрушения осилил наше творчество, потому что наше творчество не было в достаточной степени духовно напряжено… корень революции… в обессилении национального творчества».

Важную долю вины за революцию Степун возлагал и на православную Церковь, которая оказалась глуха к земному устроению, общественно-политическим свободам, не подготовлена к расколу единого национального сознания.

Из творческого наследия Степуна упомянем религиозно-философский роман в письмах «Николай Переслегин» (Париж, 1929), мемуары «Бывшее и несбывшееся» (Нью-Йорк, 1956). В 1937 году Степуну пришлось худо: он был уволен из дрезденского Высшего технического училища без права печатного и устного выступления по причине, как иронически выразился сам Степун, «неисправимой русскости, жидофильства и склонности к религиозному мракобесию». Ни советскому, ни германскому тоталитарным государствам Степун был не нужен. Тоталитаризм и свободная мысль взаимно исключают друг друга.

В результате американской бомбардировки Дрездена в 1945 году Степун чудом остался жив, но потерял дом и все свое имущество. Перебрался в Мюнхен, где возглавил созданную специально для него кафедру истории русской культуры в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана. В нем Степун преподавал до 1960 года и был одним из самых блестящих лекторов университета. К 80-летию Степуна правительство ФРГ наградило его высшим знаком отличия. Через год Федор Августович Степун скоропостижно скончался, возвращаясь с одной из своих публичных лекций. Можно считать это смертью «на боевом посту».

В статье, посвященной памяти Степуна, Штаммлер нарисовал такой внешний и психологический портрет: «Степун меня поразил: в нем было что-то львиное, при этом благосклонное, приветливое, открытое; глубокая серьезность соседствовала с милой шутливостью, глаз иногда прищуривался, лукаво подмигивал. Это был с головы до пят русский барин, но вместе с тем несомненно и ученый, одновременно и человек с некоторыми чертами театральности, — светский человек, офицер и хороший наездник».

Это взгляд с немецкой стороны, а вот взгляд своего «брата» эмигранта. Публицист Марк Вишняк отмечал: «Элемент игры и театра, импровизации, вдохновения и выдумки чувствовался во всем, о чем бы он ни говорил или писал».

Русским и немецким Степун владел с одинаковой

артистической легкостью и изяществом, недаром он считался одним из лучших ораторов Германии. Но советской России такие ораторы были не только не нужны, они были опасны, ведь Степун заявлял: «Самозванные устроители народного счастья и являются в самом точном и ответственном смысле преступным элементом в революции».

И в заключение отрывок из письма Федора Степуна к Ольге Шор: «Думаю, что Россия со временем займет ведущее положение в мире. Считаю, что структурно и типологически Италия, Германия и Россия составляют единый фронт. Трагедия мира в том, что старая истина представлена сейчас исключительно мещанами, а новая — демонами, бесами и чертями. Думаю, что главное сейчас — религиозность, трезвенность и деловитость. Зло сейчас не столько во зле, сколько в утопизме… Наше время требует идей-сил, а не только идей-истин…» (8 января 1934).

СТРУВЕ
Петр Бернгардович
26.1(7.11).1870, Пермь — 26.11.1944, Париж

Чистая гипотетичность: что было бы с Россией, если бы ее повели вместо Ленина такие люди, как Плеханов, Мартов или Струве? Ответить нелегко, но ясно одно, что оппоненты Ленина были прежде всего гуманистами, а уж потом революционерами. Что касается Струве, его революционность была как кратковременная вспышка. Да и вообще, кем все-таки был Петр Бернгардович Струве?

Он пережил несколько фазисов: от «красного» Струве до «белого» Струве. Был он и легальным марксистом, и оппозиционером, и кадетом, и активным участником Белого движения, и государственником, и умеренным консерватором. Сам себя он причислял к течению либерального консерватизма, в которое входили и Пушкин, и Вяземский, и Тургенев…

Хорошо знавшая Струве, Ариадна Тыркова-Вильямс писала о нем, как о человеке, «для которого не было окончательных, застывших форм. Он все проверял, переворачивал, перекапывал. Начав с марксизма и материализма, он через радикализм и идеализм дошел до православия и монархизма. Немало образованных людей его поколения прошли через этот путь. Но Струве шел впереди. Он первый находил оправдание, объяснение,

выражение для еще не оформленных изменений в общественных настроениях; он облекал их в слова, часто очень убедительные и острые, как лозунги».

Князь Святополк-Мирский назвал Струве мастером малой формы. И действительно, его короткие статьи «томов премногих тяжелей».

Ленин считал Струве ренегатом марксизма. Крупская подпела Ленину, заявив, что Струве оказался «чужим и враждебным партии человеком». В свою очередь, Струве сделал признание о Ленине, что «этот человек по своему складу ума совершенно мне чужд». «В сущности в лице Ульянова-Ленина и моем, — писал Струве, — столкнулись две непримиримые концепции — непримиримые как морально, так и политически и социально». Для Струве террор был неприемлем, для Ленина — обязательный инструмент захвата и удержания власти. Струве постоянно спорил с Лениным. Современники вспоминают, что, когда Струве писал передовые статьи для эмигрантской газеты «Возрождение», он всегда говорил, поблескивая глазами: «Опять поспорю с Лениным». Большевизм Струве характеризовал как «смесь интернационалистского яда со старой русской сивухой».

Однако без краткой биографии не обойтись и поэтому надо обязательно заметить, что Струве — старинный протестантский род из Шлезвиг-Гольштейна. Первым прославил его математик Якоб Струве, вторым — Вильгельм Струве, который в молодые годы оказался в России, где основал Пулковскую обсерваторию, был ее директором и приобрел славу одного из лучших астрономов Европы. Он был дедом Петра Струве, а отец, Бернгард Струве, губернаторствовал в Перми. Там и родился Петр шестым по счету сыном.

Образование Струве получил и в России, и в Германии. В Петербургском университете учился на естественном и юридическом факультетах. В 1890-е годы Струве — один из лидеров русского марксизма, организатор марксистских кружков и различных печатных изданий. В 1899 году под редакцией Струве выходит первый том «Капитала», и тогда же он пишет «Манифест российской социал-демократической партии».

В декабре 1894 года Струве знакомится с Лениным и вскоре определяет его как «думающую гильотину», как злобного и жестокого политика. В 1894 году вышла первая книга Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», которая заканчивалась нашумевшей фразой: «Признаем же нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Ровно через сто лет послушались Петра Бернгардовича и неохотно, но все же стали учиться у капиталистов.

«Критические заметки» Струве открыли эпоху легальной борьбы русских марксистов с народничеством и стали первым систематическим изложением в русской легальной печати основ марксизма. Петр Струве — страстный политический борец, но борьбу предпочитал в основном вести через печатное слово. На протяжении почти 40 лет (1897–1934) он редактировал различные издания: «Новое слово», «Начало», «Освобождение», «Полярная звезда», «Дума», «Культура и свобода», «Русская мысль», «Русская свобода» и эмиграционные — «Возрождение», возрожденная «Русская мысль», «Россия и славянство» и т. д.

Петр Струве постоянно учился, в 1908 году он сдал магистерский экзамен в Московском университете, в 1917 году в Киеве в университете Св. Владимира защитил докторскую диссертацию «Хозяйство и цена», летом 1917 года стал академиком Российской академии наук по отделу политэкономии, удостоился степени почетного доктора Кембриджского университета. Струве — самый крупный русский общественно-политический мыслитель. В сборнике «Вехи» помещает статью «Интеллигенция и революция», в которой осуждает «безрелигиозное отщепенство интеллигенции от государства».

И еще несколько эпизодов из жизни Петра Струве: в марте 1901 года он был среди протестующей петербургской интеллигенции, выступавшей против правительственных репрессий в отношении левого студенчества, и был избит казацкой нагайкой. Был депутатом второй Думы. Безоговорочно встал на сторону белых и вел кампанию по сбору средств в поддержку белых армий. Был близок с Деникиным и Врангелем. Ну, и, конечно, эмиграция. Жил в Праге, Берлине, Варшаве, Белграде. Входил во множество советов и объединений. Участвовал в съездах. Преподавал, читал лекции, писал, причем публицистику перемежал литературоведением (большой цикл работ о Пушкине). Придерживался идеи «революционной борьбы против коммунистической власти», выступал за интервенцию в СССР.

Анализируя историю России, Струве пришел к выводу, что «подготавливалась и творилась революция с двух концов — исторической монархией с ее ревнивым недопущением культурных и образованных элементов к властному участию в устроении государства, и интеллигенцией страны с ее близорукой борьбой против государства».

В дальнейшем Струве отошел от политической деятельности и сосредоточился на систематическом изложении своих взглядов, но рукопись книги «Система критической философии» погибла в

годы войны. В мае 1941 года Струве был арестован гестапо, — и, ирония судьбы! — как «близкий к Ленину человек». В 1943 году Струве переезжает в Париж к сыну Глебу и занимается научной работой до самой смерти.

Петр Струве прожил долгую и яркую жизнь, но до сих пор не получил должного признания в России, а на Западе он весьма уважаемая и чтимая фигура. Американский публицист и историк Ричард Пайпс выпустил двухтомную биографию Струве. В ней отмечается, что на молодого Струве Иван Аксаков оказал влияние значительно большее, чем Герцен. Именно Иван Аксаков — это ключ к политической мысли Струве. Пайпс считает, что уникальное аксаковское консервативно-либерально-националистическое мировоззрение перешло к Струве как бы по наследству.

Ближайший друг Петра Бернгардовича Семен Франк нарисовал следующий портрет Струве: «Первое, что бросалось в глаза всякому, кто интеллектуально общался с П.Б., — это редкая, едва ли не единственная в наше время многосторонность его интересов и знаний… кто такой П.Б. Струве — ученый? писатель? политик? — единственный правильный ответ: все вместе в нераздельном единстве личности. Очарование его личности состояло именно в том, что он был прежде всего яркой индивидуальностью, личностью вообще, т. е. существом, по самой природе не укладывающимся в определенные рамки, а состоящим из гармонии противоборствующих противоположностей… В этом отношении он — немец по происхождению — был типическим русским духом: он походил своим умственным и духовным складом на такие типично русские умы, как Герцен, Хомяков, Вл. Соловьев, — с той только разницей, что они были гениальными дилетантами (или, как Вл. Соловьев, специалистами только в одной области), тогда как П.Б. был настоящим солидным ученым сразу в весьма широкой области знаний…»

И далее вспоминает Франк о Струве: «…По первому внешнему впечатлению он был типичным рассеянным „ученым“ — или мечтателем, — человеком, погруженным в свои мысли и мечты и не обращающим внимания на все окружающее. С ним не раз случалось, что он как будто просто не видел людей, находившихся с ним в одной комнате, забывал с ними поздороваться; и об его феноменальной рассеянности ходили целые легенды… Но под обликом рассеянности скрывались напряженное внимание и интерес ко всем конкретным деталям окружавшей его реальности; он жадным, любовным взором всматривался во все, что встречалось на его пути, и, со свойственной ему силой памяти, надолго — едва ли не навсегда

— все запоминал. Через много лет он мог подробно рассказать, какое платье носила женщина, которой он, казалось, совсем не заметил при встрече с ней. Этот, по наружному своему облику, по внешнему устройству и ходу своей жизни, типический русский интеллигент-аскет, неряшливый и беззаботный, для себя самого равнодушный к жизненным удобствам и благолепию, был, так сказать, бескорыстно-страстным любителем жизни во всей конкретной полноте ее проявлений. Его практический аскетизм вытекал просто из его личного бескорыстия, из направленности его духа на созерцание жизни и на действенное моральное участие в ней; в нем не было и тени принципиального аскетизма, столь распространенного в русской интеллигенции…»

Подведем итог. Петр Струве — это человек универсального ума, колоссальной, почти вулканической энергии, страстный, неутомимый борец, высочайший интеллектуал и скромнейший человек в быту, почти аскет. Он прожил 74 года.

Из трех сыновей Петра Струве наиболее известен Глеб Струве (1898–1985), литературовед, журналист, переводчик, ему принадлежит огромная роль в развитии славистики в США. Он — автор многих исследований о русской литературе XX века, а также книг «О четырех поэтах: Блок, Сологуб, Гумилев, Мандельштам», «Русская литература в изгнании». Глеб Струве издал на Западе книги Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Волошина, Пастернака, когда их не издавали в Советском Союзе.

Не оскудевающий талантами род Струве продолжил Никита Струве, сын другого сына Петра Струве Алексея. Он живет во Франции и является профессором университета в Нантере, директором издательства ИМКА-пресс, редактором «Вестника Русского Христианского Движения». «То, что случилось с Россией, — это уникальное явление», — сказал он в интервью «Независимой газете» (6 июня 1996). И там же: «Я не согласен с катастрофизмом в оценке будущего России…»

Внук Петра Струве верит в Россию. И это отрадно.

ТРУБЕЦКОЙ
Евгений Николаевич, князь
23. IX(5.X).1863, Москва — 23.I.1920, Новороссийск

Трубецкие (Гедиминовичи) — старинный княжеский и дворянский род. В семье было много детей, выделялись братья-погодки: старший Сергей Трубецкой (1862–1905) и младший Евгений. Они воспитывались в подмосковной усадьбе Ахтырка, в атмосфере «дворянского гнезда», где существовал культ музыки, литературы и философии. Мать, Софья Алексеевна, урожденная Лопухина, была натурой религиозной и в одном из писем признавалась:

«Еще до рождения детей, во время беременности, я молилась и особенно любила слова: „Даруй им души всеразумные к прославлению имени Твоего. Дай Бог, чтобы до конца жизни сыновья мои продолжали искать света и совершенствовались по возможности. Высшего счастья нет на земле. Я мечтаю о том, чтобы со временем они были миссионерами. Но миссионерами не в Японии и даже не в России, а в своей собственной среде. Лишь бы гордость не примешалась к желанию распространения истины. Если двигателем будет сознание обязанностей, возлагаемых на них, тем сокровищем веры“, которое дано им от Бога, тогда нет места гордости…»

Молитва была услышана. Сергей и Евгений Трубецкие стали

миссионерами мысли, философами. На базе хорошего образования, домашнего и гимназического, братья засели за философские труды, сначала Платона и Канта, затем перешли к Шопенгауэру и Эдуарду Гартману. В Московском университете занимались на кафедре философии и энциклопедии права. «Потомственная няня Трубецких» Феодосия Степановна не скрывала своего разочарования выбором братьев: «Знаю эту вашу философию! Это значит — нет ни Бога, ни царя, ни няни… Нет, уж вы это оставьте! Вот у меня племянник был, ни за что пропал от этой философии. Уж сколько его отец ложкой по голове бил, а он все свое. Все опровергает; плохо жил, плохо кончил».

А теперь отдельно поговорим о Сергее Трубецком, чтобы потом перейти к основной фигуре — Евгению Трубецкому. Сергей Трубецкой по окончании университета как приват-доцент читал лекции по древней философии, сотрудничал с редакцией энциклопедии Брокгауза — Ефрона и считается родоначальником русской историко-философской науки. Занимался политикой и получил прозвище «Первый выборной ходатай от русской земли перед царем». Боролся за автономию университета. Его проект реформ был принят, и 2 сентября 1905 года князь Сергей Трубецкой стал первым выборным ректором Московского университета. Однако академические свободы вызвали среди студенчества революционную волну, которая захлестнула университет. Сергей Николаевич был вызван в Петербург к министру и после шестичасового обсуждения (а возможно, и разноса) потерял сознание и вечером того же 29 сентября скончался от кровоизлияния в мозг. Ему было 43 года. На посту ректора он провел всего лишь 28 дней.

Перейдем к князю Евгению Трубецкому. Его первый печатный труд — «Рабство в Древней Греции» — издан в Ярославле в 1886 году. В Ярославле, в Демидовском юридическом лицее Трубецкой преподавал после университета. И часто он наведывался в Москву, где участвовал в кружке умеренных либералов, в который входили историки, философы, литераторы. В начале 1887 года произошло знакомство Евгения Трубецкого с Владимиром Соловьевым, они сразу подружились. Несколько лет Трубецкой посвятил написанию своего главного труда «Миросозерцание Владимира Соловьева». «Плод всей моей духовной жизни» — как говорил Трубецкой.

Однако в отличие от Владимира Соловьева Евгений Трубецкой пытался воплотить теоретические построения в практическую жизнь, всех примирить на основе правды и справедливости, недаром Павел Милюков называл его «наш дорогой объединитель».

Евгений Трубецкой был членом Государственного совета, являлся одним из основателей партии кадетов (кадеты намечали назначить его на пост обер-прокурора Священного синода), а граф Витте, тогдашний премьер, рассматривал кандидатуру Трубецкого на пост министра народного просвещения. Любопытную характеристику Евгению Трубецкому оставил Юлий Витте: «Это чистый человек, полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят, прекрасный профессор, настоящий русский человек, в неизгаженном („Союз русского народа“) смысле этого слова, но наивный администратор и политик. Совершенный Гамлет русской революции. Он мне, между прочим, сказал, что едва ли он вообще может быть министром, и, в конце концов, и я не мог удержать восклицания: „Кажется, вы правы“».

Евгений Трубецкой не стал министром и покинул ряды партии кадетов, возмущенный партийным духом, бюрократизмом и доктринерством партийных функционеров. В 1906–1910 годах он издавал журнал «Московский еженедельник», где напечатал около трехсот передовых статей, откликаясь на самые горячие события своего времени. Трубецкой пытался внедрить в сознание общества такие понятия, как «этика», «совесть», «достоинство» — вот уж действительно русский Гамлет!

Пугала Евгения Трубецкого набирающая ход революция и грядущая катастрофа России. Он предупреждал: «…Нельзя строить общество на животном, буржуазном страхе и инстинкте самосохранения: но его нельзя строить и на алчности, злобе и человеконенавистнических чувствах озверевшей массы: ибо животные инстинкты — это те самые центробежные силы, которые рвут на части общественный организм. Кто обращается к ним, тот строит на песке».

«Зверь, пробудившийся в революции, — писал Трубецкой, — родил из недр своих звероподобную реакцию».

Большую долю вины за все происходившее в России Трубецкой возлагал на интеллигенцию, которая, по его мнению, вместо просвещения народа стала льстить его зверским инстинктам, занялась «зверопоклонством под видом народопоклонства». Лесть и демагогия интеллигенции «упразднили всякую грань между свободой и анархией, между социализмом и грабежом, между демократией и деспотизмом».

В апреле 1911 года в письме к Маргарите Морозовой Евгений Трубецкой писал: «…Самодержавие оказалось сосудом диавола… Потом мечта о „народе-богоносце“ возродится в форме теократии Соловьева; но и она разбита вдребезги; ни Булгаков, ни Бердяев, ни Эрн в нее не верят. Говорить о святости русской

общественности теперь, когда Россия создала самую безобразную государственность на свете, когда в сфере общественности она вечно колеблется между жандармерией и пугачевщиной, — просто неприлично! Значит, в устах наших друзей слова „народ-богоносец“ — старая разбитая скорлупа без старого, да и без нового смысла, мертвая формула…»

В своих статьях Трубецкой утверждал, что перед Россией стоит задача «превратить демократизм из растения дикого в растение культурное». Однако дичок никак не хотел окультуриваться, несмотря на все публицистические и философские усилия передовых мыслителей России, среди которых в первом ряду стоял князь Евгений Трубецкой.

Вместе с Маргаритой Морозовой Трубецкой основывает издательство «Путь», в котором сотрудничали Булгаков, Бердяев и Флоренский. Сам Трубецкой создает цикл работ о русской иконе — «Умозрение в красках» (1915), «Два мира в древнерусской иконописи» (1916) и «Россия в ен иконе» (1917). В 1918 году выходит главная книга Евгения Трубецкого «Смысл жизни».

«Человек не может оставаться только человеком: он должен или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти в Бога или в зверя» — такова по Трубецкому дилемма истории человечества.

Оценивая революционные события, Трубецкой пишет, что в России наступил «кровавый хаос»: «И словно самой родины нет больше, — есть только враждующие между собой классы. А временами кажется, что нет больше и классов. Есть только хищные волки, которые рвут друг друга на части или собираются в стаи, чтобы вместе нападать на одиноких».

В письме к Анатолию Кони Трубецкой пишет 1 ноября 1917 года: «Все стадии разочарований уже пройдены, кроме одной: народ должен еще разочароваться в большевиках. Естественно сомнение: останется ли тогда в России что-либо не разрушенное, что еще можно спасти? — Я человек верующий, и для меня несомненно: святое духовное, что есть в человеке и в народе, не сгорает в огне, а выходит из него очищенным. Верю, что это будет с Россией; верю, когда вижу, какие духовные силы явились в святом, мученическом подвиге наших юнкеров и офицеров».

Но юнкера и офицеры проиграли. И Деникин, и Врангель были разгромлены. И как писала Марина Цветаева:

— Где лебеди? — А лебеди ушли.
— А вороны? — А вороны — остались…

В конце сентября 1918 года Евгений Трубецкой в Киеве

пытается объединить многочисленные организации преимущественно буржуазного толка в некий союз союзов. «Собиратель рассеянного стада»? Не собрал. Не соединил. Единая Россия так и осталась неосуществимой мечтой. Полыхающий огонь гражданской войны загнал Евгения Трубецкого в Новороссийск, где его семья из 13 человек поселилась в неотапливаемом доме. Но князь не замечает неустроенного быта: он весь в философских исканиях, мечтает написать историю религиозной мысли в России. И тут его настигает сыпной тиф. 23 января 1920 года князя Евгения Николаевича Трубецкого не стало. Он прожил 56 лет. «Соловьевский миросозерцатель» тихо покинул землю.

А нам остается вспомнить речь Евгения Трубецкого, произнесенную им 26 апреля 1909 года на юбилейном заседании, посвященном Гоголю, в Московском университете. В речи «Гоголь и Россия» Трубецкой констатировал, что «верные национальному инстинкту кони мчались без возницы, не зная ни дисциплины, ни удержу…»

Ох, уж эта гоголевская тройка!..

«Все те же тревоги преследуют нас, как и в дни Гоголя, — говорил в той речи Трубецкой. — Все тот же неотвязчивый вопрос стоит перед нами: отчего мы до сих пор будто не у себя дома? Отчего, несмотря на многовековые усилия, русскому народу до сих пор не удалось обеспечить себе не только благоустройство, но даже сколько-нибудь сносное существование? Почему в этом отношении мы так далеко отстали не только от западных, но и от восточных наших соседей?..»

Спустя почти сто лет, мы и сегодня можем задать этот сакраментальный вопрос: куда несется тройка Гоголя? Или другой вопрос: как нам обустроить Россию?.. Действительно, куда и как?..

ФЕДОРОВ
Николай Федорович
Июнь 1829, село Ключи Тамбовской губернии — 15(28).XII.1903, Москва

Николай Федоров не был профессиональным философом академического типа, и тем не менее считался мудрецом, загадочным и одиноким, московским Сократом. Владимир Соловьев называл его «дорогим учителем и утешителем». Идеями Федорова интересовался Достоевский. Сам Лев Толстой чувствовал себя чуть ли не мальчишкой перед такой глыбой мысли, как Федоров, а в дневнике после знакомства с ним записал: «Николай Федоров — святой!» Да и многие его почитали неканонизированным святым. Николай Федоров застал Серебряный век, но как бы прошел мимо него, ибо мыслил совсем иначе и другим, поистине космическим масштабом, недаром его считают родоначальником философского космизма.

Светлана Семенова, автор книги «Николай Федоров. Творчество жизни» (1991) считает, что Федоров «не просто один из замечательных мыслителей русского философского возрождения, это фигура исключительная и пророческая. Его

учение идет в авангарде эволюционного сознания Земли, в нем поистине явлены наивысшие благие идеалы, которые только можно себе помыслить».

Этот уникальный человек родился вне законного брака. Отец — князь Павел Гагарин, мать — дворянская девица Елизавета Иванова. Собственные фамилия и отчество (Федоров и Федорович) были получены им, в соответствии с обычаями того времени, от крестного отца. Внебрачный сын князя окончил Тамбовскую гимназию, в затем Ришельевский лицей в Одессе, однако диплома не получил, как повествует легенда, из-за того, что вступил в дискуссию с преподавателями, отстаивая свою точку зрения, а потом и вовсе посчитал ненужным приходить на выпускные экзамены.

Далее последовал длительный период (14 лет) преподавательской службы в различных уездных училищах. Преподавал историю и географию и отличался неординарными поступками: раздавал свое невеликое жалованье родителям нуждающихся учеников. Вот эту свою «святость» продолжил и дальше, когда переехал в Москву. В 1869 году Федоров стал помощником библиотекаря Чертковской библиотеки, а с 1874 года переходит в библиотеку Румянцевского музея (будущая «Ленинка», а ныне Российская государственная библиотека). Служил истово: первым приходил, последним уходил, помогал читателям находить запрашиваемые ими книги, некоторые даже покупал за свой счет. Еще он из своего небольшого жалованья выделял деньги на «премии» служителям библиотеки, чтобы «приохотить их ставить книги на место». К книгам относился всегда трепетно. От повышения по службе категорически отказывался, оставаясь «хозяином» в своей каталожной комнате, в своеобразном командно-диспетчерском пункте книжных знаний.

Большое влияние оказал Николай Федоров на юного Константина Циолковского, читателя библиотеки. Слова Федорова о том, что «человеческая деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты», запали в душу будущего отца отечественной космонавтики. Разве Николай Федорович не был пророком, когда страстно убеждал и, заметьте, задолго до появления первых аэропланов, что видимое всеми небо — это всего лишь переход в необъятное космическое пространство. Удивительно и то, что, толкуя о космосе, этот библиотекарь-философ жил в тесной каморке, питался хлебом и чаем, но мыслил и размышлял чрезвычайно широко. Немудрено, ибо Федоров в совершенстве владел основными европейскими языками, хорошо разбирался в восточных, усиленно занимался китайским. Всех, с кем он общался, поражали его глаза,

излучающие свет. Свет мысли и прозрений.

Николай Федоров много писал, но публиковал совсем немного, да и то не под своей фамилией, он не хотел быть торговцем собственными произведениями. Он считал, что каждый автор очень многим, если не всем, обязан культуре прошедших эпох и той культурной атмосфере, в которой он живет, что подлинным автором произведений мировой литературы является народ, а писатель лишь уловил, собрал и синтезировал его идеи, мысли, образы и язык. Исходя из подобных рассуждений, Федоров был резким противником индивидуального авторства. «У нас нет ничего своего, все даровое…», — говорил он.

Первый том сочинений Николая Федорова выпустили его ученики после смерти философа в 1906 году в городе Верном (позднее Алма-Ата) в количестве 480 экземпляров и не для продажи, а для бесплатного распространения. Второй том федоровских сочинений вышел в Москве в 1913 году.

Будучи искренним верующим христианином, Федоров тем не менее не отличался церковной ортодоксальностью, он верил и мыслил по-своему, считая, что Бог, мир и люди образуют единую систему. «Или ни Бога, ни мира, ни людей, или же все это в совершенной полноте», — утверждал он.

Федоров страстно выступал за единство мысли и дела. «Мысль без общего дела — мечта, дело без общей мысли — слепота, тьма». Выдвинув идею регуляции природы, философ считал, что необходимо превратить слепые смертоносные стихии в животворные силы, управляемые человеческим разумом. Федоров решительно осуждал сложившуюся цивилизацию с ее милитаризмом, избыточным производством «мануфактурных игрушек» (хотя тогда еще не было нынешнего «общества потребления») и примитивной культурой, направленной исключительно на развлечение. Жизнь как опьянение, вакхическое упоение над страшной поглощающей бездной должна уступить место жизни как отрезвлению, которая изгоняет дурные призраки раздражаемой и возбуждаемой похоти, тесно связанной с мрачным сладострастием насилия и смерти. Перестать служить утонченным средствам искусства, эротическому мифу, напротив, культивировать чистый, трезвый дух долга, познания и дела — таков призыв философа «общего дела», но, увы, человечество еще не созрело для подобных радикальных изменений.

«Человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного, неизвестно еще какою силою приводимого в движение корабля…», — писал Федоров.

Философ был принципиальным противником смерти и

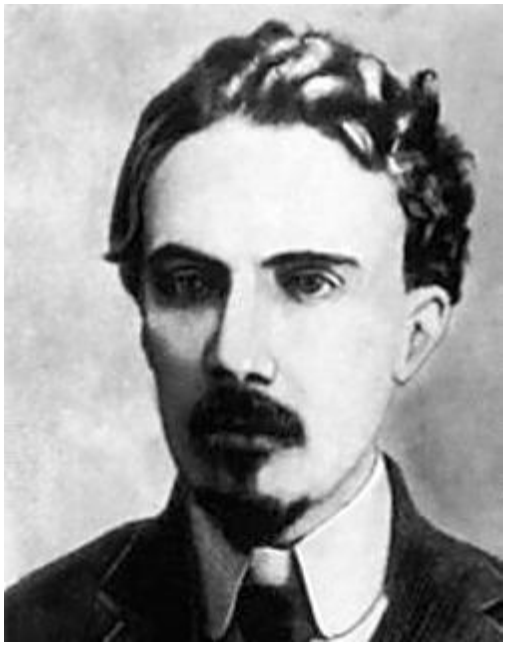
выдвинул проект воскрешения прежних поколений, то есть по существу — идею бессмертия человека. Пока человек смертен, считал Федоров, в нем остается глубокий исток зла, выделяющий токсины злого соперничества, отчаяния, нигилизма и демонизма. С победой над смертью непременно должно состояться всемирное братство. Утопия? Конечно, и все же, все же… В своей концепции воскрешения Федоров в какой-то мере интуитивно предвосхитил поиски современной науки — биотехнологии, эволюционной геронтологии, реаниматологии, трансплантологии и других направлений, не говоря уже о клонировании человека. Овечка Долли — разве это не отблеск федоровских мечтаний?..

Для Федорова все человечество — большая семья, связанная тесными узами общих предков и единой судьбой, но семья, к сожалению, распавшаяся, забывшая о своем родстве. Он считал, что необходимо пробудить чувство всеобщей родственности, что единственно истинная религия — это культ предков. Отсюда его призыв возвратить жизнь отцов и объединить небесные пространства.

Николай Федоров прожил 74 года. Он умер в Мариинской больнице для бедных от двустороннего воспаления легких. Похоронен был на кладбище Скорбящего монастыря. В 1929 году оно было снесено и вместо него возникла игровая площадка — очередное преступление безбожных большевиков, «блудных сынов, пирующих на могилах отцов».

Сегодня, как никогда, мы все приближены к эсхатологической катастрофе. Федоров предвидел роковые последствия и истребления лесов, и загрязнения вод. Он предчувствовал все эти страшные потери от цивилизации эксплуатирующей и поэтому выдвигал свою теорию регуляции природы. Послушаемся ли мы пророка? Объединит ли нас федоровская «философия общего дела»?.. Ответ будет дан в XXI веке.

ФЕДОТОВ
Георгий Петрович
1(13).X.1886, Саратов — I.IX.1951, Бэкон, штат Нью-Джерси, США



В советские времена никто не знал и не слышал о Георгии Федотове, христианском мыслителе, глубоком философе культуры, тонком историке и блистательном публицисте, — какой-то там эмигрант. А он в эмиграции в течение долгих лет с болью и надеждой вглядывался в меняющееся «Лицо России» — так называлось его исследование, появившееся в печати в 1918 году. Оно начиналось словами: «У всякого народа есть родина, но только у нас — Россия».

Отец Георгия Федотова — управляющий канцелярией саратовского губернатора умер рано, и детей (старшим был Георгий) воспитывала мать. Уже в гимназии Георгий Федотов выделялся среди сверстников своими особыми способностями к гуманитарным наукам. В гимназии мальчик зачитывался Белинским, Писаревым, Щедриным и Михайловским, а также властителями дум тогдашней молодежи — Максимом Горьким, Леонидом Андреевым, Чеховым. С золотой медалью гимназист

Федотов в 1904 году отправился в Петербург и, вопреки всем ожиданиям, поступил на механическое отделение Технологического института. Лично для Федотова это был осознанный выбор: он хотел быть поближе к рабочим, ибо не избежал марксистского дурмана. Ирония родословной: внук полицмейстера вступил в ряды РСДРП. Хотя в дальнейшем Федотов совершил эволюционный разворот от марксизма к православию.

Далее в жизни Федотова последовали арест за революционную деятельность, ссылка, которую власти заменили высылкой за границу. В 1906–1908 годах Федотов учился в университетах Берлина и Йены. После возвращения в Россию продолжил образование в Петербургском университете, специализируясь по истории Средних веков. Одна из его первых работ — сочинение «„Исповедь“ св. Августина как исторический источник». Огромную роль в становлении будущего мировоззрения молодого ученого сыграло участие в семинарах профессора Ивана Гревса, создателя и воспитателя блестящей школы петербургских медиавистов. Изучение духовной культуры латинского Средневековья поколебало материалистические убеждения Федотова, и он начал постепенно дрейфовать от социализма к христианству. На этом пути был еще повторный арест и высылка в Ригу. Возвращение в Петербург, в университет и приват-доцентура по кафедре истории Средних веков.

В 1917 году Федотов стал членом религиозно-философского кружка, сложившегося вокруг Александра Мейера, самобытного христианского мыслителя, ныне практически забытого и сгинувшего на Соловках. Члены кружка Мейера исповедовали взгляды, весьма близкие к христианскому социализму, и образовали братство «Христос и Свобода». В выпуске журнала кружка «Свободные голоса» активное участие принимал Федотов.

В начале 1920 года Федотов уехал в Саратов, но, не найдя там единомышленников, вернулся в 1923 году в Петроград, где через год вышла его первая и единственная на родине книга «Абеляр»; вторая «Об утопии Данте» выйти не смогла из-за ужесточения цензуры. Никаких дальнейших перспектив в России Федотов не увидел и в 1925 году под благовидном предлогом работы в иностранных библиотеках он покинул Советский Союз. И, как выяснилось, навсегда.

В Париже с блеском проявился литературный талант Георгия Федотова — в 1926 году в евразийском журнале «Версты» появились две статьи, вызвавшие большой интерес, — «Три столицы» и «Трагедия интеллигенции». В дальнейшем статьи, эссе и рецензии Федотова появлялись в различных изданиях — от

бердяевского «Пути» до «Новой России» Керенского. В 1931–1939 годах Федотов вместе со Степуном и Фондаминским издавал журнал «Новый Град». Параллельно Федотов профессорствовал в открывшемся в Париже Богословском институте. Выходили книги: «Святые Древней Руси» (1931), «И есть и будет. Размышления о России и русской революции» (1932), «Стихи духовные» (1935). Однако основной труд «The Russian Religious Mind» не был закончен Федотовым, вышла всего одна книга, посвященная Киевской Руси.

Оккупация Франции вынудила Федотова искать спокойное убежище, и он благодаря помощи Американского еврейского рабочего комитета перебирается в США. 12 сентября 1941 года русский мыслитель вступил на американский берег. С 1943 года он — профессор Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. В крупнейшем из периодических изданий — «Новом журнале» — Федотов публикует ряд интереснейших, хотя и не бесспорных статей: «Загадка России» (1943), «Рождение свободы» (1944), «Россия и свобода» (1945), «Запад и СССР» (1945), «Между двух войн» (1946), «Судьба империй» (1947), «Народ и власть» (1949), «Христианская трагедия» (1950) и другие. Публицистическое наследие Федотова огромно — свыше 300 статей. После смерти автора многие из них были объединены в сборники и вышли на Западе.

В последние годы в Америке Георгий Федотов страдал от прогрессирующей сердечной болезни, однако не оставлял напряженную творческую работу. Он скончался в госпитале за чтением «Вильгельма Мейстера» Гете. Чисто философский финал…

Ну, а теперь несколько выдержек из творческого наследия Георгия Федотова.

В статье «Лики России» (1918) философ писал: «Государство русское, всегда пугавшее нас своей жестокой тяжестью, ныне не существует. Мы помогли разбить его своею ненавистью и равнодушием. Тяжко будет искупление вины… Нам придется сочетать национальное с общечеловеческим. Мир нуждается в России…»

В статье «Социальный вопрос и свобода» Федотов подверг жесточайшей критике тоталитарное государство: «…Работник, солдат, производитель — вот все, что остается от человека. Государство не оставляет ни одного угла в его жилище, ни одного угла в его душе вне своего контроля и своей „организации“. Религия, искусство, научная работа, семья и воспитание — все становится функцией государства. Личность теряет до конца свое достоинство, свое отличие от животного. Для государства-зверя

политика становится человеческой отраслью животноводства. Ясно, что такое самосознание государства несовместимо с христианством…»

Свою статью «Россия и свобода» (1945, Нью-Йорк) Федотов начал словами: «Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России…» Если предположить, что эта федотовская статья появилась в СССР, то легко себе представить, как бы недоумевал народ-победитель, который за годы правления коммунистов забыл, что такое свободный человек и свободное общество, о чем и писал Федотов:

«…Вглядимся в черты советского человека, конечно, того, который строит жизнь, не смят под ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие — отдать свою жизнь за коллектив: партию или Родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не XVII, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием: его страна единственно православная, единственна социалистическая — первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, т. е. западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные „орды“, впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориентализируя его…»

Прочитав эту выдержку из статьи Федотова, старшее поколение мгновенно вспомнит все: и «на буржуев смотрим свысока…», и «я другой такой страны не знаю…», и, конечно, «кипучую, могучую, никем не победимую…». Да, был такой подлинный угар патриотизма и влюбленности в советскую страну (пропаганда не даром ела хлеб).

И последняя цитата из эссе «Судьба империй» (1947, нью-йоркский «Новый журнал»): «…Освобожденная от военных и полицейских забот, Россия может вернуться к своим внутренним проблемам — к построению выстраданной страшными муками

свободной социальной демократии. Тридцатилетие коммунизма, и потом коммуно-русский человек огрубел, очерствел, — говоря словами народного стиха, покрылся „еловой корой“. Вероятно, не одно поколение понадобится для его перевоспитания, т. е. для его возвращения в заглохшую традицию русской культуры, а через нее и русского христианства. К этой великой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская интеллигенция вместо погони за призрачными орлами империи».

Но вот парадокс: орлы империи сами собой вспорхнули на башни Кремля…

В Энциклопедическом словаре 1983 года Георгия Федотова еще не было. Перестройка в стране сняла цензурные препоны, и в самом начале 90-х годов в Санкт-Петербурге вышел двухтомник его избранных статей под названием «Судьба и грехи России». Сразу следует заметить, что грехи России ни в коем случае не должны налагаться на судьбу российского индивида. Он должен строить свою личную судьбу, не связывая себя с прегрешениями власти. «Живи так, как если бы ты должен бы умереть сегодня, и одновременно так, как если бы ты был бессмертен» («Новый Град», 1952).

Прекрасный совет Георгия Федотова. Но все ли готовы его принять?

ФЛОРЕНСКИЙ
Павел Александрович,
отец Павел
9(21).I.1882, Евлах, Азербайджан, бывшая Елизаветопольская губерния — 8.XII.1937, в заключении

В одной из ранних своих работ «Гамлет» Павел Флоренский отмечал, что «Гамлет безволен в отношении для другого и не безволен в себе и для себя». Гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» Флоренский разрешил решительно и бесповоротно, отвергнув эмиграцию и решив остаться в России. Как говорил Сергей Булгаков 11 апреля в Париже в Православном институте: «Можно сказать: что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал… родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление».

Павел Флоренский, гениальный математик, выдающийся философ, богослов, литератор, химик, инженер, этот «русский Леонардо» не был не только оценен новой властью России, но и безжалостно раздавлен и растоптан в свои 55 лет.

«Вся моя жизнь, — писал Флоренский весной 1934 года начальнику строительства БАМЛАГа ОГПУ, — была посвящена научной и философской работе, причем я никогда не знал ни отдыха, ни развлечений, ни удовольствий. На это служение человечеству шли не только все время и все силы, но и большая часть моего небольшого заработка — покупка книг, фотографирование, переписка и т. д. В результате, достигнув возраста 52 лет, я собрал материалы, которые подлежат обработке и должны дать ценные результаты, т. к. моя библиотека была не просто собранием книг, а подбором к определенным темам, уже обдуманным. Можно сказать, что сочинения были уже наполовину готовы, но хранились в виде книжных сводок, ключ к которым известен мне одному… Но труд всей жизни в настоящее время пропал, так как все мои книги, материалы, черновые и более или менее обработанные рукописи взяты по распоряжению ОГПУ… Уничтожение результатов работы моей жизни для меня гораздо хуже физической смерти».

Бездушная машина репрессий, естественно, никак не отреагировала на боль Флоренского, для власти он был не «русский Леонардо», а всего лишь «контрик» и «попик», а стало быть, надо раздавить гадину. И раздавили… Но что об этом говорить, все равно никто из большевистских злодеев так и не покаялся за свои многочисленные злодеяния. Перейдем лучше к биографии Павла Флоренского.

Отец Флоренского был инженер-путеец и строил дороги в Закавказье, поэтому детство Павла прошло в основном в Тифлисе и Батуми. Со стороны отца в нем текла русская кровь костромичей, а «со стороны матери, — писал Флоренский, — во мне течет кровь хеттеев, потому что армяне имеют в себе довольно большой % крови фригийских хеттеев. Фригия, то есть классическое место культов Кибелы и других подобных богинь…». И далее: «…во мне костромская кровь подмешена африканскою, ибо я чувствую ее в себе, хотя часто и стараюсь забыть о том. Вот, дорогой Василий Васильевич, — обращался Флоренский к Розанову, — моя антиномия Костромы и Карфагена и колебание: между сидением под общипанною березою и бешеною скачкою в знойной пустыне на арабском коне» (10 августа 1909).

Необычное восприятие самого себя, не правда ли? Но у гениальных людей все необычно. Вот как, к примеру, Флоренский

читал книги: «…всегда и раньше читал я очень много, и притом почти одним просмотром, выхватывая из книги все то, что мне было действительно полезно, так что дальнейшее внимательное чтение той же книги редко давало еще что-нибудь питательное…»

Летом 1899 года 17-летнему Флоренскому было видение, точнее, какой-то призыв свыше, который неожиданно его разбудил и заставил выйти во двор: «Я стоял во дворе, залитом лунным светом. Над огромными акациями, прямо в зените, висел серебряный диск луны, совсем небольшой и до жуткости отчетливый. Казалось, он падает на голову, и от него хотелось скрыться в тень, но властная сила удерживала меня на месте. Мне было жутко оставаться в потоках лунного серебра, но я не смел и вернуться в комнату. Мало-помалу я стал приходить в себя. Тут-то и произошло то, ради чего был я вызван наружу. В воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший дважды мое имя: „Павел! Павел!“ — и больше ничего. Это не было — ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов, — в мажорном ладе, без каких-либо косвенных оттенков. Он выражал прямо и точно именно и только то, что хотел выразить — призыв…»

Призыв к особой миссии на земле? Возможно, Флоренский именно так и понял этот зов, ибо вся его дальнейшая жизнь — это служение людям.

В 1900 году Флоренский поступил на физико-математический факультет Московского университета. Окончил его и отверг предложение остаться в университете, а поступил в Московскую духовную академию. «Мои занятия математикой и физикой привели меня к признанию формальной возможности теоретических основ общечеловеческого религиозного миросозерцания» — так объяснял свою позицию Флоренский. Он стал доцентом Духовной академии и даже подумывал о монашестве, но епископ Антоний отговорил его от этого пути. В 1911 году Флоренский был рукоположен в диаконы, а на следующий день — в сан священника: вместо Павла Александровича Флоренского миру явился отец Павел. Однако Флоренский не стал традиционным священником. Как отмечал Сергей Булгаков, «при всей своей церковности и литургичности он оставался совершенно свободен и от ханжества, и от стильного „поповства“, умея интересоваться вещами по существу. Поэтому же он не находил себе настоящего места и в академической среде с особой ее атмосферой».

В 1910 году Флоренский вступил в брак с Анной Гиацинтовой, и их семья (в семье было пятеро детей) стала одним из духовных центров отца Павла.

Следует вспомнить и ранний эпизод из жизни Флоренского. В 1906 году он публично выступил за отмену смертного приговора лейтенанту Шмидту, после чего был арестован и провел три месяца в Бутырской тюрьме.

С 1912 года по май 1917 года Флоренский возглавлял журнал «Богословский вестник». Он был одержим идеей «произвести синтез церковной и светской культуры, вполне соединиться с церковью, но без каких-нибудь компромиссов, честно, воспринять все положительное учение Церкви и научно-философское мировоззрение вместе с искусством…» — так он писал в одном из писем после окончания университета.

В 1914 году Флоренский защитил магистерскую диссертацию и в этом же году вышла его книга «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодиции», в которой он стремился «показать церковность в разных сферах и на разных глубинах». Книга вызвала разноречивые отклики. Одним это казалось религиозным «модернизмом», другим — церковной «реакционностью». «Стилизованным православием» назвал книгу Николай Бердяев. И тогда же появилось прозвище Флоренского: «Фанатик с лицом Савонаролы». Иеромонах Иннокентий Просвирин рассказывал, как помогла ему книга «Столп и утверждение истины» сносить побои и издевательства в армии, где он был белой вороной уже потому, что был верующим и носил нательный крест… Так что «Столп» кому был родным, а кому чужим.

Обратимся непосредственно к личности Павла Флоренского. По воспоминаниям Сергея Булгакова, «извне он был скорее нежного и хрупкого сложения, однако обладал большой выносливостью и трудоспособностью, отчасти достигнутой и огромной аскетической тренировкой…».

«Когда о. Павел где-либо появлялся, он естественно привлекал к себе внимание… — отмечал далее Булгаков. — В его лице было нечто восточное и нерусское (мать его была армянка). Мне духовно в нем виделся более всего древний эллин, а вместе еще и египтянин; обе духовные стихии он в себе носил, будучи их как бы живым откровением. В его облике, в профиле, в отражении лица, в губах и носе было нечто от образов Леонардо да Винчи, что всегда поражало, но вместе и… Гоголя… И при этой внешности, мимо которой нельзя пройти, ее не заметив, в ней не было ничего вызывающего, аррогантного. Это же было и в голосе, и в речи: в нем всегда просилось на уста шекспировское слово: у него был нежный, тихий голос, большая прелесть. Однако в этом голосе звучала и твердость металла, когда это требовалось. Вообще самое основное впечатление от о. Павла было силы себя знающей и собой владеющей. И этой силой была некая

первозданность гениальной личности, которой дана самобытность и самодовлеемость, при полной простоте, естественности и всяческом отсутствии внутренней и внешней позы, которая всегда есть претензия внутренней немощи…»

Василий Розанов был на 26 лет старше Флоренского, но выделял его среди самых близких. «С болью о себе думаю: „Вот этот сумеет сохранить“», — писал Розанов. И еще: «Это Паскаль нашего времени. Паскаль нашей России, который есть, в сущности, вождь всего московского молодого славянофильства и под воздействием которого находится множество умов и сердец в Москве и Посаде, да и в Петербурге. Кроме колоссального образования и начитанности, горит самым энтузиазмом к истине. Знаете, мне порою кажется, что он — святой; до того необыкновенен его дух, до того исключителен…»

Неизбежно выступает тема: Флоренский и революция. И тут на первый план вышла «оригинальность» Флоренского. Как отмечал Сергей Булгаков: «Он оставался внутренне свободным от государства, от которого ни до, ни после революции он ничего не искал, одинаково чуждый всякого раболепства, как перед начальством вверху, так и снизу. Можно сказать, не боясь парадокса, что о. Павел прошел через нашу катастрофическую эпоху, духовно как бы ее не заметив, словно не обратив внимания на внешнюю ее революционность. Это равнодушие выражалось и в его лояльности „повиновению всякой власти“, парадоксальном „священнокнутии“. Однако при этом нужно знать всю подлинную меру его свободолюбия, которое одинаково умело не только повиноваться, но и не подчиняться, конечно, в том, что являлось для него существенным и главным».

Как писал внук Флоренского игумен Андроник: «Флоренский был одним из первых среди лиц духовного звания, кто, служа Церкви, стал работать в советских учреждениях. Никогда при этом он не изменил ни своим убеждениям, ни священному сану, записав себе в назидании в 1920 г.: „Из убеждений своих ничем никогда не поступаться. Помни, уступка ведет за собою новую уступку, и так — до бесконечности“. До тех пор, пока это было возможно, то есть до 1929 года, Флоренский во всех советских учреждениях работал, не снимая подрясника, тем самым открыто свидетельствуя, что он священник. Это странное сочетание советского учреждения и „ученого попа“ более всего и поражало в 20-е годы». («Литературная газета», 30 ноября 1988).

С 1918 года Флоренский работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Еще на московском заводе «Карболит», в Главэлектро, создает первую в СССР лабораторию испытания материалов, издает книгу

«Диэлектрики и их техническое применение», одним из первых начинает пропаганду синтетических пластмасс, для «Технической энциклопедии» пишет 127 статей. Но и это не все: преподает во ВХУТЕМАСе искусство Средневековья, однако из училища был изгнан, не без легендарной фразы Маяковского: «Во ВХУТЕМАСе — Флоренский в рясе». Ах, в рясе — долой! Кто там шагает левой?!.

В 1922 году выходит книга Флоренского «Мнимости в геометрии», где он открыто говорит о реальности, замкнутости, конечности окружающего нас Космоса и спорит с самим Эйнштейном. Книга была встречена в штыки. Не нравилось советским критикам и определение Флоренского, что «человек есть сумма Мира, сокращенный конспект его… Мир есть раскрытие Человека, макрокосм его». И ни слова при этом об учении Маркса — Энгельса — Ленина! Научный вызов!..

В мае 1928 года ОГПУ провело массовую операцию в Сергиевом Посаде и арестовало более 80 человек — священников, монахов, медсестер, торговцев, крестьян, среди них и Павла Флоренского. Газеты улюлюкали: «Гнездо черносотенцев под Москвой!», «Троице-Сергиева лавра — убежище бывших князей, фабрикантов и жандармов!» Однако в июне, после отсидки в Бутырках, Флоренского освободили без права проживания в Москве и других городах и выслали на проживание в Нижний Новгород. Потом Флоренский вернулся в Москву (за него ходатайствовала Екатерина Пешкова), получив 5 лет относительно спокойной жизни, хотя сам он писал: «Был в ссылке, вернулся на каторгу». Каторга — это напряженная работа, осложненная постоянной травлей ученого. Ругали за неверное истолкование теории относительности в его книге «Мнимости в геометрии», за описание электроинтегратора — аналога современных вычислительных машин, и еще за многое другое. Так что свобода и покой были весьма относительными.

Второй арест последовал 25 февраля 1933 года. «Поп-профессор, по политическим убеждениям — крайне правый монархист» — такая характеристика дана в документе на арест. Дело вел и «шил» некто Шупейко, уполномоченный ОГПУ по Московской области. А вменялось Флоренскому участие в контрреволюционной организации «Партия Возрождения России». Сначала Флоренский отрицал какую-либо вину за собой, потом вдруг (и почему это вдруг?!) оклеветал самого себя и сделал признание: «Сознавая свои преступления перед Советской властью и партией, настоящим выражаю глубокое раскаяние в преступном вхождении в организацию национал-фашистского центра…»

И еще одно раскрытие «тайны»: «Я, Флоренский Павел Александрович, профессор, специалист по электротехническому материаловедению, по складу своих политических воззрений романтик Средневековья примерно XIV века…»

«Фашиста» и «романтика» 26 июля осудила «тройка» по статье 58, пункты 10 и 11, на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Флоренского отправили на Дальний Восток в концлагерь возле города Свободный (как насмешка истории!), откуда его перевели на мерзлотоведческую станцию в городе Сковородино. В картотеке заключенного Флоренского значились особые приметы:

1. Рост В-среднего
2. Телосложение среднее
3. Цвет волос т/русые
4. Цвет глаз серые
5. Нос большой
6. Пр. приметы нет

В заключении Павел Флоренский составляет удивительную для своего положения рукопись — «Предполагаемое государственное устройство в будущем». Он думает не о себе, он думает о России.

1 сентября 1934 года отец Павел отправлен со спецконвоем в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), где он работает на лагерном заводе йодной промышленности, то есть реализует собственную идею добычи йода из морских водорослей, сам конструирует для этого приборы и обучает рабочих изобретенной им технологии.

Из Соловецкого лагеря в разные периоды разрешали писать от одного до четырех писем в месяц, причем их сдавали незапечатанными, чтобы не утруждать контролеров раскрытием конвертов.

В сентябре 1935 года Флоренский писал жене: «…Последнее время нет-нет, а выглянет солнце, правда, лишь на время и большею частью светящее жидким северным светом. И дождит не сплошь, а временами и слабо. По виду из окна можно подумать, что находишься в Италии или Швейцарии…»

В другом письме: «Крепко целую тебя, моя дорогая, не унывай».

Сам он пытался не унывать, но иногда не мог сдерживаться: «Дело моей жизни разрушено, и я никогда не смогу и, кроме того, не захочу возобновлять труд всех 50 лет. Не захочу, потому что я работал не для себя и не для своих выгод, и если человечество, ради которого я не знал личной жизни, сочло возможным начисто уничтожить то, что было сделано для него и ждало только последних завершительных обработок, то тем хуже для

человечества, пусть-ка попробуют сделать сами то, что разрушили… Конечно, по частям и исподволь сделанное мною будет сделано другими, но на это требуется время, силы, деньги и — случай. Итак, разрушением сделанного в науке и философии люди наказали сами себя, так чтоб мне беспокоиться о себе…» (10 ноября 1936).

Своим детям Флоренский писал историко-просветительские письма, пытаясь оставаться хоть эпистолярно их наставником. Из письма к дочери Оле: «…Под гениальностью, в отличие от талантливости, я разумею способность видеть мир по новому и воплощать свои совершенно новые аспекты мира. Талантливость же есть способность работать по открытым гениями аспектам и применять их. В жизни я встречал 3 человека, за которыми признал гениальность: Розанов, Белый, Вяч. Иванов…»

Лагерные цензоры проверяли письма, специальные агенты подслушивали разговоры. Из донесения стукача: «Флоренский и Брянцев говорят о Германии, о политике Гитлера, что политика Гитлера очень схожа с политикой СССР…»

Летом 1937 года Соловецкий лагерь особого назначения был реорганизован в Соловецкую тюрьму особого назначения. 25 ноября того же 1937 года Флоренский был вторично осужден особой тройкой УНВД по Ленинградской области и получил приговор: расстрел. В списке смертников Флоренский шел под номером 190. Расстреляли Павла Александровича 8 декабря 1937 года, хотя долгое время считалось, что он умер 15 ноября 1943 года.

В одном из последних писем 13 февраля 1937 года Флоренский писал: «…Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания».

Среди прочих серьезных увлечений Павла Флоренского было собирание фольклора, к которому он относился как к народоведению. Приведем одну лишь частушку из собрания Флоренского:

Стой, машина! Стой, вагон!
Пошлю милому поклон…
Я с поклоном подошла, —
машина свистнула-пошла.

И, как говорят в народе, все дела…

ФРАНК
Семен Людвигович
16(28).I.1877, Москва — 10.XII.1950, близ Лондона

Среди философов Серебряного века весьма трудно определить, кто из них самый лучший, самый глубокий, ибо выбор этот крайне субъективен. Один из старейших зарубежных деятелей эмиграции архиепископ Сан-Францисский Иоанн считает Семена Франка «одним из самых больших русских философов XX века».

Высоко ставит Франка и его коллега по философии Василий Зеньковский (1881–1962), тоже оригинальный мыслитель, но, увы, не попавший в наш ряд, как и Лев Карсавин и другие философы: как вы понимаете сами, нельзя объять необъятное. Так, Зеньковский писал: «По силе философского зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, — не только среди близких ему по идеям».

Но самое интересное то, что Франк мог стать не русским философом, а еврейским. Он родился в еврейской семье, где его усиленно приобщали к еврейским религиозным традициям и

учили еврейской книжной мудрости. Дед Франка, правоверный еврей, один из столпов московской синагоги, заставил мальчика выучить древнееврейский язык и читать на нем Библию. «Умирая, — вспоминает Франк, — он просил меня, тогда четырнадцатилетнего мальчика, не переставать заниматься еврейским языком и богословием. Этой просьбы я, в буквальном смысле, не выполнил. Думаю, однако, что в общем смысле я, обратившись к христианству и потеряв связь с иудаизмом, все же остался верен тем религиозным основам, которые он во мне заложил…»

Семен Франк окончательно порвал с иудаизмом в 1912 году, когда в 35-летнем возрасте принял православие и окончательно вступил в ряды русских философов. Более того, как отмечал Зеньковский, «книги Франка могут быть признаны образцовыми, — по ним надо учиться русским философам…»

Гимназическое образование Франк получил в Москве и в Нижнем Новгороде, где одно время жила его семья. В 1894 году он поступил на юридический факультет Московского университета и сразу же вступил в социал-демократический кружок (и Франк не избежал в молодости обольщения марксизмом). Позднее он писал: «Марксизм увлек меня своей наукообразной формой. Меня привлекала мысль, что жизнь человеческого общества можно познавать в его закономерности, изучая его, как естествознание изучает природу… Революционную и этическую тенденцию марксизма я принимал, но душа моя к ней не лежала».

Разочарование в марксизме совпало со знакомством с Петром Струве, ставшим самым близким другом Франка на всю жизнь; вместе они не раз творчески сотрудничали в различных печатных изданиях (журналы «Освобождение», «Полярная звезда», «Свобода и культура» и другие).

Еще один знаковый этап в жизни Франка: прочтение в 1902 году книги Ницше «Так говорил Заратустра». «С этого момента, — пишет Франк, — я почувствовал реальность духа, реальность глубины в моей собственной душе — и без каких-либо особых решений моя внутренняя жизнь была решена. Я стал „идеалистом“, не в кантианском смысле, а идеалистом-метафизиком, носителем некоего духовного опыта, открывавшего доступ к незримой внутренней реальности бытия. Я стал философом…»

Окончательно эти новые взгляды сложились у Франка к 1909 году, когда он публикует в сборнике «Вехи» свою статью «Этика нигилизма». Общую нить всего сборника — обнажение духовной нищеты радикального нигилизма, разрушительной энергии

«революционаризма» — Франк вплетает в ткань тончайшего философско-этического исследования. Нравственное миросозерцание интеллигенции Франк определяет как «нигилистический морализм»: «Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые…»

По Франку, движущей силой революции служит ненависть к врагам народа. Однако эта ненависть пагубно отражается на всем — на литературе, искусстве, науке, религии, они «вырождаются, когда борьба с чужими взглядами вытесняет самостоятельнее творчество новых идей; нравственность гибнет, когда отрицательные силы порицания, осуждения, негодования начинают преобладать в моральной жизни над положительными мотивами любви, одобрения, признания».

Переходя к проблемам экономики, Франк говорит о неверной установке революционеров к достижению счастья людей через простое разрушение существующего строя, революционеры забывают очевидную истину, что вне национального богатства вообще немыслимо народное благосостояние. А «моральный пафос социализма сосредоточен не на необходимости труда, а на распределительной справедливости».

Франк окончательно отходит от политики. С 1906 по 1917 год он преподает философию в различных учебных заведениях Петербурга, готовит магистерскую диссертацию в Германии, возглавляет философский и литературный отделы в журнале «Русская мысль». От раскатов революции спасается в Саратове, но возвращается в Москву и ведет преподавание на философском факультете Московского университета. А дальше — изгнание из России; в августе 1922 года «корабль мудрецов», или «философский пароход», увозит Франка с группой ученых за границу. Формулировка обвинения Франка была такой: «…Франк не опасен как непосредственно боевая сила, но вся его литература и выступления в Юридическом обществе и в Петроградском философском обществе направлены к созданию единого философско-политического фронта определенно противосоветского характера». И прелестный вывод: «Несомненно вредный».

«Несомненно вредный» Франк поселился в Берлине. Преподает. Пишет. По поводу его книги «Крушение кумиров» (1924) Иван Шмелев говорит: «Эта книга — великое зеркало, в котором увидишь многое: прошлое и Россию, душу русской интеллигенции, ошибки, ложь и неправду жизни, и — широкий выход из тупика смерти».

После нескольких нежелательных бесед в гестапо (для нацистов он прежде всего иудей) Франк покидает Германию и в 1938–1945 годах живет во Франции. В 1939 году в Париже выходит его книга «Непостижимое», через десять лет — «Свет во тьме». Как рассказывает богослов и историк церкви Николай Зернов: «Франк не принимал активного участия в политической жизни русской эмиграции. Он жил в стороне от ее шумной и часто бесполезной деятельности… Его доброжелательность, терпимость, проникновенность казались прирожденными. Он обладал даром мудрости. Его спокойный, негромкий голос звучал властно и заставлял прислушиваться к себе… Франк — личность на редкость гармоническая. В нем соединились философ-мистик и талантливый публицист, литературовед. Маркс и Ницше, Гете и Николай Кузанский, Владимир Соловьев и отцы Церкви — это были краеугольные камни, из которых складывалось стройное здание его интеллектуального мира».

Приведем и нарисованный профессором и историком церкви Антоном Карташевым портрет Франка: «…Я не переставал удивляться исключительному впечатлению, которое оставляла во мне его крупная, рослая фигура. Медлителен, неговорлив, с тихим голосом. Бесстрастен, нерезв, нешутлив. Выразительно, лучисто улыбался лишь своими большими выпуклыми глазами. Казалось, вот такой был Адам. Такова природа первых восточных людей. Что-то по природе почтенное, даже величественное».

Во время войны во Франции Франку пришлось тяжко — он жил в горах близ Гренобля и из-за постоянных облав гестапо на евреев вынужден был скрываться по целым дням в лесу. Согласитесь, совсем не философское занятие. В сентябре 1945 года Франк уезжает в Англию к детям и последние 5 лет своей жизни живет у своей дочери Натальи в Лондоне, работая над книгой «Реальность и человек». Скончался Франк в 73 года от рака легких. Болезнь была мучительной, и он очень страдал. Не знаю, помогал ли Семену Людвиговичу его постулат: страдание, воспринимаемое как возможность приблизиться к Богу, может быть благотворным. Те, кто видел Франка, говорят, что он был физически слаб, но духовно бодр и просветлен. Может быть, ответ на подобное просветление нужно искать в ранней книге Франка «Предмет знания» (1915)?

И опять же по Франку: во тьме всегда есть свет…

ЛЕВ ШЕСТОВ
Лев Исаакович (Иегуда Лейб) ШВАРЦМАН
31. I(12.II).1866, Киев — 20.XI.1938, Париж

Многие пытались писать о Шестове, и все признавались: писать о нем чрезвычайно трудно. Слишком много в творчестве Шестова крайностей, парадоксов, едкой иронии, дразнящей недосказанности и просто откровенного эпатажа, — все это мешает проникнуть в суть шестовских писаний. Современники считали его скептиком, декадентом, нигилистом, проповедующим жестокость и гедонизм. Легкомысленные молодые люди грозили своим родителям: «Буду развратничать и читать Шестова». А между тем Шестов занимался не эротическими «штучками», а «проклятыми» вопросами, в чем смысл жизни и смерти, что есть истина, человек и т. д. Лев Шестов был одним из самых глубоких, оригинальных и противоречивых русских философов. Но вот парадокс самого Шестова: у него не было академического философского образования, что в принципе сделало из него самого нефилософского из всех философов. Философ, родившийся из собственной личности.

Лев Шестов родился в традиционной еврейской семье купца-

мануфактурщика, развившего из мелкой лавочки громадное дело с миллионным оборотом «Мануфактурные склады Исаака Шварцмана». Отец Исаак Моисеевич занимался не только бизнесом, но и активно интересовался зарождающимся сионистским движением. Всего этого был чужд сын Лев, торгово-финансовые дела отца и его политические интересы на протяжении долгих лет были своего рода мучительной «кармой» для Шестова. После обучения в Киеве и Москве Лев Шестов поступает в Московский университет, сначала на физико-математический, а затем — на юридический факультет. Его диссертация «О положении рабочего класса в России» была запрещена к печати цензурой. Так, не став доктором юриспруденции, Шестов был записан в сословие адвокатов, хотя и ни разу не выступил на адвокатском поприще.

В 1891 году Шестов возвращается в Киев и занимается финансовыми делами отца, испытывая резкую неприязнь и раздражение к подобной работе; все это кончилось нервным расстройством, и в 1896 году Шестов отправляется на лечение за границу — Вена, Карлсбад, Берлин, Мюнхен, Париж и прочие Европы. К этому времени Шестов стал не столь сведущ в торговых и финансовых операциях, сколь преуспел на ниве литературных и философских изысканий. Он выпустил аналитическую книгу «Шекспир и его критик Брандес». Помимо этого, он пробовал сочинять стихи, писал повести и рассказы и даже подумывал о карьере оперного певца (у него был отличный голос). Его привлекало все, кроме коммерции.

В Риме Лев Шестов познакомился со студенткой-медичкой, православной девушкой Анной Березовской и в феврале 1897 года женился на ней. Евгения Герцык рисует такой портрет жены Шестова: «…русское акушерское лицо, молчащая, но все знающая, что интересно ему (и о Мережковском, и о декадентах), гладко причесанная, с затвердело-розовым лицом». И главное: она не еврейка, чего никак не мог принять по своей религиозной нетерпимости отец Шестова. Поэтому в течение 10 лет этот брак сохранялся в тайне от родителей, более того, Шестов и Анна порой жили врозь в разных городах в целях конспирации. Отец Шварцман умер, так и не узнав правды о семейном положении своего сына. Лишь с осени 1908 года Шестов воссоединился со своей семьей, к тому времени появились уже дети — дочери Татьяна и Наталья.

И еще любопытная цитата из воспоминаний Евгении Герцык на эту же тему: «За долгие годы моего знакомства с Шестовым я не знала ни об одном его увлечении женщиной. И все же мне думается, что в истоке его творческой жизни была катастрофа на

путях любви. Может быть, страдание его было больше страдание вины, чем муками неосуществившегося чувства. Может быть, по пустынности своего духа он вообще не способен был к слиянию… Всякое может быть!..»

Ну, и нельзя проигнорировать портрет Шестова, нарисованной Герцык: «В первый раз я увидела Шестова в 1903 году в Швейцарии. Два года переписки — откровения я от него уж не жду! Но, свесившись из окна отеля, с волнением смотрю на дорогу от вокзала, по которой он придет. Как я его узнаю? Конечно, узнаю. Еврей? С опаской жду типичное московское адвокатское лицо: очень черный волос, бледный лоб. Но нет: он пришел, как из опаленной Иудейской земли — темный загар, рыже-коричневая борода и такие же курчавящиеся над низким лбом волосы. Добрые и прекрасные глаза. Веки чуть приспущены, точно отгораживая от всего зримого. Позднее в своих бесчисленных разговорах с Ш. я заметила, что для него не существует искусства, воспринимаемом глазом: ни разу он не упомянул ни об одной картине. Доходчивы до него только музыка да слово. Ему 38 лет — он и не кажется старше, но почему какая-то надломленность в нем?..»

Так откуда надлом? Сложные отношения с отцом? Любовная неудача? А может, волна развернувшегося антисемитизма, прокатившаяся по России на рубеже веков и заставившая взять псевдоним «Лев Шестов»? Или просто раздавливали мысли о жизни и смерти? «Человек, несмотря на свой разум, есть существо, находящееся во власти мгновения…» — писал Шестов в работе «Дерзновения и покорности» (1922).

Или еще из Шестова: «Трагизм из жизни не изгоняют никакие общественные переустройства и, по-видимому, настало время не отрицать страдания, как некую фиктивную действительность… а принять их, признать и, может быть, понять».

Свое второе рождение, именно духовное рождение, Шестов пережил в сентябре 1895 года, в 29 лет, когда явственно ощутил, что «распалась связь времен». Шекспир стал его первым духовным наставником, а уж затем Кант. Позднее Шестов занимался другими великими мыслителями, изучал классическую европейскую философию, богословие, труды средневековых мистиков и схоластов, все прочитанное переплавлялось в книги — о Лютере, о Толстом, о Ницше. В 1913 году начал работать над книгой «Sola fide» — «Только верою». Вот характерный для Шестова отрывок из нее:

«Тот, кто не испытал хоть раз, что наряду с нашей обыкновенной жизнью есть еще какая-то жизнь, в которой происходят события совершенно своеобразные и нисколько не

похожие на те, о которых свидетельствует повседневность, тот может быть превосходным землепашцем или даже историком, но тот не подходил даже и близко к преддверию последней тайны».

Вот это тайное, скрытое, неявное всегда волновало Шестова, отсюда его интерес к таким героям, как библейский Иов, подпольный человек Достоевского, Сократ, Кьеркегор (Шестов называл его Киркегардом). С Сереном Кьеркегором у Шестова оказалось много общего — одни и те же подходы к жизни и смерти, за исключением одного. Кьеркегор любил писать и опьяняться написанным, для Шестова все обстояло иначе. «Писание для меня не работа, а страдание. Мне приходится переламывать себя, привязывать к столу, тороплюсь закончить и никогда не отделываю написанное. Мне неведома радость писания. Это потерянное время…»

Радость доставлял мыслительный процесс, а не механический — перенос мыслей на бумагу.

После европейских скитаний, в основном по Германии и Швейцарии, Шестов появляется в Москве, живет на Плющихе, общается с Вячеславом Ивановым, Сергеем Булгаковым, Бердяевым, Гершензоном и другими своими коллегами по философии. После гибели на фронте единственного сына Шестов с семьей в 1918 году перебирается в Киев, затем на юг России и в начале 1920 года на пароходе отплывает в Константинополь, а затем через Италию в Париж.

В отличие от всех Лев Шестов практически не писал на актуальные социально-политические темы, можно назвать лишь две публикации — «Жар-птицы. К характеристике русской идеологии» (1918) и «Что такое русский большевизм» (1920). В первой Шестов писал: «Русские люди презирают в глубине души всякую науку и всякое знание и в этом отношении черпают свои силы и вдохновение…» «Щучье веленье — наша тайная вера…» «…Что угодно — только не устроение и благополучие. Люди должны жить для высшей идеи…» — так критиковал Шестов большевистских идеологов. И во второй статье еще хлеще: «Большевики — паразиты по самому своему существу».

И все же в творчестве Шестова не инвективы против большевизма — главное. Главное — его «странствование по душам» (это его метод) великих людей. До революции выходили следующие книги Шестова: «Достоевский и Ницше» (1903), «Апофеоз беспочвенности» (1905), «Начала и концы» (1908), «Великие кануны» (1911). И работа о Чехове — «Творчество из ничего» (1905).

Говоря о чеховском дяде Ване, Шестов пишет: «…Все чрезвычайно обременены, ни у кого нет сил вынести собственные

ужасы, не то что облегчить другого. И последнее утешение отнимается у бедных людей: нельзя жаловаться, нет сочувственного взгляда. На всех лицах одно выражение — безнадежности и отчаяния. Каждому приходится нести свой крест — и молчать. Никто не плачет, не говорит жалких слов — это было бы неуместно и неприлично. Когда сам дядя Ваня, не сразу давший себе отчет о безысходности своего положения, начинает кричать: пропала жизнь! — никто не хочет прислушаться к его крику. „Пропала, пропала — все знают, что пропала. Молчи, вопли не помогут. И выстрелы не разрешат ничего“».

И еще, пожалуй, надо привести цитату из «Апофеоза беспочвенности»: «…Традиций мы не признаем: ни в одной литературе не было столь вызывающей борьбы с традициями, как у нас. Мы все хотели пересмотреть, все перерешить. Нечего и говорить, что наша смелость коренится в совершенно некультурном доверии к своим силам. У нас Белинский, недоучившийся студент, человек, из третьих рук черпавший сведения о европейской философии, начинает тяжбу со вселенной по поводу давно забытых жертв Филиппа II и инквизиции. И в этой тяжбе смысл и сущность всей русской художественной литературы. Под самый конец своей деятельности Достоевский поднимает тот же вопрос и тот же спор по поводу слезинки замученного ребенка. Русскому человеку кажется, что он все может, оттого он ничего не боится. Он рисует жизнь в самых мрачных красках — и, если вы предложите ему вопрос: как можно принять такую жизнь, как можно примириться со всеми ужасами, которыми полна действительность и которые так беспощадно обрисовывали все наши писатели, начиная с Пушкина и кончая Чеховым, он вам ответит словами Ивана Карамазова: я не принимаю этой жизни…»

Мысль Шестова такова: русский человек не принимает жизнь, как она есть, и губит ее, губит себя и губит других. Абсурд? Да. И вся главная тема Шестова — трагизм индивидуального человеческого существования.

В эмиграции Шестов много работает, парижский период в его жизни — самый творческий и самый продуктивный. Он ведет курс в Сорбонне по русской религиозной философии, выступает с докладами и лекциями, публикует статьи в крупнейших французских журналах, выпускает книги: «На весах Иова» (1929), «Киркегард и экзистенциальная философия» (1936), «Афины и Иерусалим» (1938). Шестов встречается с «властителями дум» — с Эйнштейном, Гуссерлем, Хайдеггером, Томасом Манном, Бубером, Мальро. Сам Шестов весьма популярен и почитаем во Франции. О нем говорят как о «пророке мировой мысли XX века».

Он оказывает влияние на творчество Альбера Камю, Жоржа Батая, Эжена Ионеско. Для французской культуры Лев Шестов — «великий мыслитель Leon Chestov».

С 1925 года Шестов — член президиума Ницшеанского общества, член Кантовского общества. Шестовские вопросы, куда и к чему мы идем, волнуют всех. Шестов — «слишком беспокойный мыслитель», он будоражит и тревожит своим недоверием к Разуму, к знаниям, которые он считает грехопадением человеческого рода, он ищет опору в Боге. Кто-то даже пустил словечко по поводу Шестова, что он-де исповедует «философию антиразума».

С 1937 года Шестова одолевают недуги, которые и свели его в могилу в 72 года. Похоронен Шестов в Булони, в предместье Парижа, в фамильном склепе.

Философ-экзистенциалист Лев Шестов предлагал не бежать и не закрывать глаза на трагедию, а занять твердую стоическую позицию перед лицом смерти, и тогда, как он считал, может что-то открыться… «Мы не слепые, которых насмешливая или бессильная судьба загнала в лес и оставила без проводников, а существа, сквозь мрак и страдания идущие к свету».

Снова парадокс: абсурд жизни и все же надежда на свет.

«Никакая гармония, никакие идеи, никакая любовь или прощение, словом, ничего из того, что от древнейших времен придумывали мудрецы, не может оправдать бессмыслицу и нелепость в судьбе отдельного человека», — писал Шестов. И в то же время он же: перед лицом смерти… «Последняя тайна». «Золотая безмерность», как однажды выразился философ.

И последнее: архив Шестова разбросан по всему миру.

ШПЕТ (ШПЕТТ)
Густав Густавович
26. III(7.IV).1879, Киев — 16.XI.1937, лагерь в Томской области

По алфавиту Шпет идет за Шестовым, и оба появились на свет в Киеве, но, пожалуй, на этом сходство и заканчивается, хотя бы потому, что детство у них было разное…

Отец будущего философа, эстетика и этнолога — мадьярский офицер Кошиц исчез сразу после того, как узнал о беременности Марцелины Шпетт, полукрестьянской девушки, зарабатывавшей на жизнь стиркой и шитьем (Шпет в анкетах писал: «мать — швея»). Сына Марцелина назвала по-польски — Иван Густав Болеслав, впоследствии осталось одно имя — Густав. Воспитывала его одна и сумела дать образование (ее наперсток, как память, всегда стоял у Шпета на письменном столе). После гимназии Густав Шпет поступает в университет Св. Владимира в Киеве, учится сначала на физико-математическом факультете, затем на историко-филологическом. Учился сам и подрабатывал уроками, обучая других. Попутно увлекся революционными идеями, был арестован и выслан из Киева. Вернувшись в университет, за конкурсное сочинение «Ответил ли Кант на вопросы Юма?» удостоился золотой медали.

В начале 1904 года Шпет женился на Марье Крестовской, которая была на 9 лет старше его. В 1912 году они расстались, и

через год Шпет венчается с племянницей Александра Гучкова Натальей. Венчается, хотя не любит православия, так же как и польский католицизм; Шпет был протестантом. Семейные проблемы, воспитание детей — все это опускаем.

В 1907 году профессор Московского университета Челпанов приглашает Шпета (он занимался у Челпанова в Киеве) в Москву, где он ведет занятия в Алферовской гимназии, читает лекции на Высших женских курсах Герье и в Московском университете. Он красив. Умен. Остроумен. И кружит головы своим слушательницам до такой степени, что многие из них носили на груди медальончики с портретом Густава Шпета.

В Москве Шпет быстро завел знакомства в «Мусагете» — в литературном кружке, где обсуждается все — политическое будущее России, вопросы религии, новый театр, вышедшие поэтические сборники и т. д. Шпет не только не затерялся среди звездной компании, но и блистал в ней благодаря своему уму, эрудированности и умению спорить. Впрочем, об этом лучше почитаем в воспоминаниях Андрея Белого:

«Самым левым в тогдашнем „паноптикуме“ мне казался Густав Густавович Шпетт, только что переехавший к нам из Киева… Он только что выпустил свою книгу „О проблеме причинности у Юма“; в юмовском скептицизме, как в кресле, уселся с удобством; это было лишь формой отказа его от тогда господствующих течений; он особенно презирал „нечистоту“ позиций Бердяева, и с бешенством просто издевался над ницшевнизированным православием: он показывал едко на помаду Булгакова, изготовленную из поповского духа и воспоминаний о своеобразном марксизме; более, чем кто-либо, он видел бесплодицу когенианцев и риккертианцев… В своих выступлениях он собственной позиции не развертывал вовсе; он ограничивался протыканием парадных фраков иных позиций: рапирою Юма; когда его просили высказать свое „credo“, он переходил к бутылке вина; и развертывал перед нами свой вкус, свою тонкость; он и нас понимал, как никто; и, как никто, отрицал в нас философов, утверждая: философы мы, когда пишем стихи; а когда философствуем, то питаемся крошками чужих кухней… Никогда нельзя было разобрать, где он шутит, где — всерьез: перед зеленым столом; или — за бутылкой вина в три часа ночи… Передо мной возникает лицо Густава Густавовича: круглое, безбородное и безусое, принадлежащее — кому? Юноше иль — старику? Гладкое — как полированный шар из карельской березы; эй, берегись: шибанет тебя шар! Как по кеглям ударит!»

И здесь же забавный эпизод: «…шутливо грозил, если еще раз приду я во фрейбургском „фраке“, то он при всех разорвет на мне

этот фрак… И угрозу свою он однажды исполнил; я читал доклад у Морозовой; за зеленым столом сидели: Северцев, Лопатин, Хвостов, Трубецкой, Кистяковский, Булгаков, Кубицкий, Эрн, Фохт, Ильин, Метнер, Рачинский, Савальский и многие прочие; Лопатин, не нападая, мне вкрадчиво предлагал вопрос: в чем же спецификум символизма, как направления, если и Шекспир символист? После него говорил Трубецкой; и ставил вопросы случайные Северцев; только трудновразумительный когенианец, Савальский, поставил мне трудный вопрос, став на длиннейшие терминологические ходули; я ответил ему, став на такие же ходули, но выструганные в правилах философии Риккерта… Во время этого труднопонимаемого обмена мыслей о деталях методологии символизма увидел я: шпеттово юное и безусое личико; он пробирался по стенке, легко, с полуулыбочкой; но вкладывал в шаг свои пуды; а мышиные носики, ерзая затаенным ехидством, уже торчали из дырок зрачков; отвечая Савальскому, я косился на Шпетта; вот он вкрадчивым голосом попросил слово; и рапира его, передо мной заблистав, закружила сознание; „трах“: я был — проткнут».

Начало 10-х годов XX века. «Именно в это время, — пишет биограф Шпета М. Поливанов, — создается образ Г.Г. Шпета — блистательного лектора и собеседника, злого и безжалостного критика, покорителя сердец, неутомимого и азартного игрока в бридж, веселого собутыльника. Чудака и оригинала, изобретателя собственного способа заварки кофе и собственной орфографии. Он не признавал двойных согласных в иностранных словах. Начав с того, что истребил двойное „тт“ в своем имени, он затем систематически опускал двойные согласные в словах симметрия, сумма, дифференциал, коллегия и т. п. Его корректуры пестрят этими выкинутыми буквами, а если они выживали в тексте, он требовал списка опечаток. О Шпете начинают ходить легенды и анекдоты. Кто-то из профессоров жалуется, что если рядом читает Шпет, то в его аудиторию заходят только за стульями. Многие его не любят. Бердяева он как-то назвал Белибердяевым — злая шутка вполне в его духе».

Самого Шпета определить не так-то просто. Кто он — скептик, нигилист, логико-гносеологический декадент, некое подобие философского Оскара Уайльда? Салонный философ? Все это, возможно, немножечко так, но главное — серьезная философская работа, которую он постоянно углублял за счет поездок за границу — Геттинген, Берлин, Эдинбург, Париж. Шпет становится как бы связующим звеном между немецкой и русской философскими школами. Шпет — типичный европеец, хотя он и разделял основные стереотипы русской мысли: ненависть к

Канту, преклонение перед «божественным Платоном», увлечение Гегелем. Более всего тяготел Шпет к школе Эдмунда Гуссерля, основателя феноменологии. Интуицию Шпет трактовал в духе Декарта, Спинозы и Лейбница. На этом «стоп» — у нас не философское исследование, а всего лишь краткий очерк о философе и человеке и поэтому будем выбираться из философских чащоб.

Наиболее плодотворный период творчества Шпета: 1914–1927 годы, именно в 1914 году он заявил, что «безнадежное время… изжито, материалистическая эра, когда в философии воцарились „нищие духом“, завершена…».

В 1916 году Шпет защитил диссертацию «История как проблема логики» и стал доцентом Московского университета, а с 1918 года — профессором. Но это уже в новой России, после революционных потрясений. Как к ним отнесся Шпет? Когда его арестовали в 1937 году, Шпет в заявлении написал: «…Никогда я не принадлежал к тем буржуазным профессорам, которые встретили враждебно Октябрьскую революцию, но, убедившись в выгодах пайков и охранных грамот КУБУ, пришли к признанию Советской власти. Революцию я встретил радостно, приветствовал и работал для Советский власти с 1917 года».

И это чистая правда. Шпет сразу бросился строить новое культурное здание. Основал Институт научной философии и стал его первым директором, участвовал в работе Комитета по реформе высшей и средней школы, основал лингвистический кружок, преподавал в Институте слова, в Военно-педагогической академии РККА, входил в состав художественного совета МХАТа, а в 1932 году стал проректором созданной Станиславским Академии высшего актерского мастерства. Читал курсы истории, педагогики, методологии наулогики, теории познания, истории философии, истории психологических идей, философии истории, философии языка, истории научной мысли, эстетики… Боже мой, чего только не читал Шпет. А еще писал книги (вышло более 10), много переводил.

Но вот наступил 1929 год — «год великого перелома», и он переломил судьбы многих старых «спецов», в том числе и Шпета. «Я мог написать, может быть, только что-то вроде предсмертной исповеди», — с горечью признавался Шпет. В 30-е годы пошла повсеместная чистка кадров. Пришла она и в Государственную академию художественных наук (ГАХН), где Шпет был вице-президентом. В одно прекрасное утро пришли трое мрачных людей и сказали, что они — «комиссия по чистке». А далее последовал диалог:

— Где у вас партком?

— У нас нет парткома.

— А где местком?

— У нас нет месткома.

— Что за странное учреждение, — удивились пришедшие, — а кто у вас главный? Скажите, чтоб завтра собрались все сотрудники. Мы будем проводить чистку.

Президента на месте не оказалось, и за все и всех решил отвечать Густав Шпет. Он категорически приказал никому на «чистку» не ходить, тогда комиссия стала разбираться с самим Шпетом. После разборки Шпет вышел к сотрудникам Академии и сказал: «После всего, что я им сказал, Академию закроют, поэтому уходите сами в разные места».

Академию закрыли, и Шпету пришлось нелегко: где работать и где зарабатывать деньги? Он ушел в тихие гавани: в издательство «Academia», где занимался переводческой работой (заметим, по свидетельству родственников, Шпет знал 17 иностранных языков!). Еще научным комментированием — в 1934 году вышел даже специальный том комментариев Шпета к «Посмертным запискам Пиквикского клуба».

Не знаю, как комментировал Шпет высказывания Сэма Уэллера из «Пиквикского клуба»: «Дело сделано и его не исправишь — и это единственное утешение, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следует».

До революции, в 1914 году, в одной из речей Шпет говорил: «Падают теории, сокрушаются мировоззрения, рушатся догматы и колеблются престолы и алтари… а все-таки весело жить». Но тогда Шпет был еще относительно молод и были все возможности для того, чтобы жить весело. В советской России положение изменилось, хотя Шпет и пытался как-то забыться, как от дурного сна, играя в карты до утра с друзьями и напиваясь почти до бесчувствия. Вот характерные записи из дневника:

19 января 1931 года: «Очень плохое самочувствие; не работается, спится, „разложение“».

21 января: «…опять страхи, не мог заснуть до 9 утра… Иногда меня занимает такой вопрос: это моя усталость и руинность — временное явление или я так дотяну до… пули в лоб? Ну, ну, затаскала меня жизнь!..»

10 апреля: «Перевожу, перевожу, перевожу! 5-го злоупотребил… 6-го — опохмелялся, 7-го — день рождения, 8-го — опохмелялся, вчера утром — сильно, к вечеру — гнусно…»

И самое страшное — «Я чувствую, как атрофируются у меня мозговые мускулы!!»

Развязка наступила 14 марта 1935 года — к ночи пришли люди из НКВД арестовывать Шпета. Что они искали? Оружие,

взрывчатку, ход в Кремль из каминной трубы, списки тайной организации? Кроме книг, рукописей и записных книжек у Густава Шпета ничего не было «политически вредного». Приговор был сравнительно мягкий: 5 лет ссылки в Енисейск. Условия оказались более или менее сносными, и Шпет занялся переводом «Феноменологии духа» Гегеля.

Там же, в ссылке, 27 октября 1937 года Шпет был арестован за участие в создании Большого немецко-русского словаря, издатели которого «сели» в Москве за «пособничество Германии». А дальше все простенько в духе кровавого 37-го года: заседание «тройки», приговор и расстрел. Жена Наталья Константиновна дожила до 1956 года и получила справку о реабилитации Густава Густавовича «ввиду недоказанности преступления» и лживое свидетельство о его смерти 23 марта 1940 года «от воспаления легких».

В дальнейшем всплыл протокол о приведении приговора в исполнение от 16 ноября 1937 года, очевидно, в этот же день и расстреляли Густава Шпета на пустыре Каштак. Сейчас там завод и новостройки.

Густав Шпет погиб в 58 лет.

В 1993 году в Германии вышла апологетическая книга о Густаве Шпете. Выходит, что русский экспорт — это не только нефть, но и труды философа Шпета? Да, работа Шпета «Эстетические фрагменты» (1922) предвосхитила выходы немецких и французских исследователей на семиотику. У Шпета было очень много плодоносных идей, он любил повторять изречение Дидро: «Мои идеи — мои распутницы».

Свободные мысли, свежие идеи — именно за них и расстреливали в славное советское прошлое.

Лев Шестов уехал и окончил жизнь в Париже. Шпет остался на родине и погиб в лагере. Разные судьбы. Густав Шпет остался со своим народом, недаром он был этнологом. Он говорил, что «народ в психологическом смысле есть исторически текучая форма».

Так куда течем?..

ИЗДАТЕЛИ

Рассказывать о золотых перьях Серебряного века, но не представить их издателей, наверное, будет неправильно. Есть неразрывная цепочка: автор — издатель — читатель. О читателях умолчим, а вот об издателях сказать необходимо. Но сначала весьма коротко о книгопечатании в России в конце XIX — начале XX века.

В вузовском учебнике «История книги» (1984) этот исторический отрезок времени назван как «период империализма», а раз империализм (словечко в устах марксистов весьма бранное), то, значит, по марксистско-ленинской теории, плохой. Но на самом деле это был поистине золотой период русского издательского дела. В книгоиздательство хлынули капиталы и, как грибы, возникали паевые товарищества, среди которых монопольно возвышалось товарищество Сытина. Кроме него активно действовало крупное акционерное общество «Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон», крупными издателями были также Вольф, Маркс, Сабашниковы, Гржебин. И, конечно, Суворин. Все они выделены в персоналии, и о них чуть позже.

Но, кроме перечисленных, на издательском рынке работали и другие фигуры. В 1896 году Н. Цетлин с германской фирмой «Майер» организовал книгоиздательское акционерное общество «Просвещение», среди изданий которого многотомный Энциклопедический словарь и дешевая серия «Всемирная библиотека». В 1903 году в Петербурге возник «Кружок любителей русских изящных изданий». «Кружок» следовал принципам группы «Мир искусства» и издавал книги, красиво и изящно оформленные. В 1910 году в Москве появилось издательство «Мусагет», основателем которого был Эмилий Метнер, брат известных музыкантов. «Мусагет» специализировался на издании книг символистов. В конце 1912 года в Петербурге было создано издательство «Сирин», где видную роль играл Блок. «Сирин», как и «Мусагет», пропагандировал символистов. Книги «Сирином» выпускались в роскошном оформлении, на особого сорта толстой веленевой бумаге, в дорогих переплетах, — сплошные раритеты. Но, увы, в 1914 году издательство «Сирин» прекратило свою деятельность.

На издании книг по изобразительному искусству (книги были, как правило, роскошные) специализировался Иосиф Николаевич Кнебель (1854–1926). Он из Вены в 1880 году приехал в Москву и занялся книготорговой деятельностью, а через 10 лет стал владельцем издательства. Кнебель стал первым

в России, кто специализировался на выпуске книг и альбомов по изобразительному искусству. Усилиями Кнебеля вышла пятитомная «История русского искусства» под редакцией Игоря Грабаря. К сожалению, дальнейшие тома не увидели света из-за Первой мировой войны.

Помимо книг по искусству, Кнебель издавал многочисленные школьные пособия под лозунгом «Искусство в школу»; среди них были такие, как «Картины по русской истории», «Города России», «Картины по географии России». И еще одна специализация издательства Иосифа Кнебеля: художественно-иллюстрированные детские книги. Всего Кнебель за 30 лет деятельности выпустил около 700 изданий. И был, пожалуй, единственным издателем, кто охотно сотрудничал с советской властью, и сам возглавил комиссию по национализации своего имущества.

Еще видное издательское имя — Петр Сойкин (1862–1938). Он выпускал серии «Полезная библиотека» и «Библиотека романов», пользовавшиеся большой популярностью у читателей.

Активно работали на издательском поприще женщины: Ольга Попова (1848–1907) издавала дешевую серию «Рассказы о разных странах и народах», книги для чтения в сельской школе; в том же просветительском русле действовала Елизавета Водовозова (1844–1923); «Культурницей и народницей» слыла Александра Калмыкова (1848–1926), основавшая в Петербурге издательство для народных библиотек.

Нельзя не упомянуть и издательство «Парус», которое организовал Максим Горький совместно с Александром Тихоновым в Петербурге в 1915 году; в нем, кстати, вышла книжка Владимира Маяковского «Простое как мычание».

Так что издательств до революции было множество, и книг было целое половодье. Накануне Первой мировой войны в России было издано 34 тысячи книг общим тиражом почти 119 миллионов экземпляров (точная цифра: 118 836 713). По выпуску книг Россия занимала второе место в мире. Естественно, издавались разные книги, от Пушкина и Гоголя до веселоразухабистого Виктора Крылова и иных легковесных авторов. Много издавалось серьезной и научной литературы, однако немало и несерьезного чтива — эротические романы, декадентские стихи, всевозможные сыщицкие приключения, «Шерлок Холмс и Нат Пинкертон все вытеснили», — жаловались в начале 1909 года «Известия книжных магазинов М.О. Вольфа». Такая же пестрая картина, какую мы видим сегодня на книжном рынке.

«Существовала безграмотная традиция „шиповников“, чудовищная по аляповатости и невежественной претенциозности

альманашная литература», — сетовал поклонник красоты и изящества Осип Мандельштам.

И все же хороших и достойных книг было немало.

Созданья легкие искусства и ума,
Труд англичанина, и немца, и француза!
С желтеющих листов глядит на нас сама
Беспечной старины улыбчивая муза… —

как писал Георгий Иванов.

А потом грянула Октябрьская революция. В январе 1918 года был создан революционный трибунал печати. Ленин провозгласил лозунг «Книга — огромная сила», но вскоре оказалось, что не всякая книга, а только нужная советской власти и государству рабочих и крестьян. Но на первых порах издательское дело еще трепыхалось. В июле 1918 года даже было основано новое издательство «Алконост» во главе с Самуилом Алянским. Среди авторов Серебряного века была издана и поэма Блока «Двенадцать» с иллюстрациями Юрия Анненкова. Однако в 1923 году «Алконост» прекратил свое существование.

Осенью 1918 года возникло издательство «Всемирная литература». Ему удалось выпустить 72 названия из предполагаемых 15 000. Немного «порезвились» в первые годы советской власти частные и кооперативные издательства Сытина, братьев Сабашниковых, Маркса, Сойкина, братьев Думновых и других. Но им на смену уже шли откровенно просоветские издательства — «Прибой», «Колос» и уже совсем верноподданнический «Коммунист». И будущий издательский монстр — Госиздат, который вначале возглавил большевистский критик Воровский.

Вскоре пришел конец всем буржуазно-просветительским издательствам, как их тогда называли. Взошла заря советских издательств, с жестко выбранной тематикой книг и авторов, и, конечно, цензурой. Имена писателей и поэтов Серебряного века, покинувших новую Россию, на долгие годы исчезли из издательских планов. Им на смену пришли свои, доморощенные советские классики. Советская литература потекла «железным потоком»…

Ну, а теперь, как и обещано — немного издательских персоналий.

Ф.А. БРОКГАУЗ — И.А. ЕФРОН

Все началось давно и не в России. 4 мая 1772 года в Дортмунде родился Фридрих Арнольд Брокгауз, который позже основал крупную издательскую фирму. Успех к Брокгаузу пришел 25 октября 1808 года, когда он на Лейпцигской ярмарке приобрел право на издание «Энциклопедического словаря с преимущественным вниманием к современности». До самой смерти, последовавшей 20 августа 1823 года, он выпускал словарь (выпустил 6 раз), совершенно изменив его характер. Брокгаузский словарь стал справочным изданием, рассчитанным исключительно на массового читателя. Если первый тираж словаря составлял 2 тыс. экз., то последний, при жизни Брокгауза, достиг 32 тысяч, увеличившись в 16 раз. В дальнейшем словарь превратился в одну из наиболее солидных современных энциклопедий и справедливо получил название — «Большой Брокгауз».

Дело Фридриха Арнольда Брокгауза с успехом продолжили его сыновья — Фридрих (1800–1865) и Генрих (1804–1874). А уже третий Фридрих Брокгауз, Брокгауз-внук, вышел на российский издательский рынок и вместе с Ильей Абрамовичем Ефроном (1847–1917) основал в Петербурге в 1890 году акционерное издательское общество «Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон». Знаменитый брокгаузский словарь в русском варианте выходил в 1890–1907 годах и состоял из 86 полутомов тиражом в 75 тысяч экземпляров.

Среди множества специальных словарей и энциклопедий «Словарь» Брокгауза и Ефрона не только не затерялся, но, наоборот, выделялся. Выделялся потому, что он издавался уникальным коллективом талантов, можно сказать, цветом русской интеллигенции конца XIX века. Биологи А.Н. Бекетов и А.О. Ковалевский, филолог С.А. Венгеров, географ А.И. Воейков, химик Д.И. Менделеев, философы В.А. Соловьев и Э.Л. Радлов, историк Н.И. Кареев, лесовод В.Т. Собичевский, агроном А.В. Советов, композитор и музыковед А.И. Сомов, экономист И.И. Янжул возглавляли соответствующие редакции. А уж среди авторов (их число составляло более 700 человек) и подавно было много именитых персон, от религиозного философа Сергея Булгакова до будущего вождя кадетов Павла Милюкова.

Первым руководителем издания был И.Е. Андреевский, после его смерти в 1901 году «Энциклопедический словарь» возглавили К.К. Арсеньев и Ф.Ф. Петрушевский. Сначала словарь задумывался как немецкая калька, но затем была принята

концепция своего, русского словаря, более читаемого, если можно так выразиться. «Словарь» этот интересно читать не для справки, а просто так, как захватывающую книгу. В качестве примера можно привести статьи Владимира Соловьева о Гегеле, Канте, Платоне, Кампанелле и других мыслителях мира.

Как отмечают специалисты, живое многоголосие «Словаря», нестандартность его структур, сюрпризы его словника, основательность, надежность и универсальность содержащихся в нем справочных изданий, неожиданные переклички с современностью — все это приносит радость тем, кто общается со «Словарем» Брокгауза и Ефрона.

Издание «Словаря» планировалось на 6 лет, однако оно затянулось на 14 — на 1904 год вышел 41 том. Каждый том переплетался в две отдельные книжки, так что подписчики получили 86 полутомов, каждый из которых содержал около 500 страниц.

В 1911 году было предпринято более доступное и компактное, второе, пересмотренное издание энциклопедии под названием «Новый энциклопедический словарь». Из намеченных первоначально 48 томов к 1916 году удалось выпустить 29. Были изданы также Малый энциклопедический словарь «Энциклопедия практической медицины» и другие справочные издания. Весьма популярными оказались серийные издания «Брокгауза и Ефрона»: «Библиотека великих писателей» — роскошно иллюстрированные собрания сочинений Пушкина, Шекспира, Байрона, Шиллера, Мольера; и «История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время».

Еще издательство Брокгауза и Ефрона выпускало «Дешевую библиотеку самообразования», «Дешевую библиотеку естествознания», «Библиотеку промышленных знаний» и т. д.

После революции издательство Брокгауза и Ефрона прекратило свою деятельность. Новая власть посчитала только барыши, полученные от издания книг, но полностью проигнорировала полезность и нужность выпускаемых Брокгаузом и Ефроном книг. Однако память о Брокгаузе и Ефроне, материализованная в их изданиях, осталась с читателями навсегда. Более того, в последние годы появилось множество репринтных изданий. Так что дело Брокгауза и Ефрона живет и не умирает…

МАВРИКИЙ ВОЛЬФ

География русских издателей: Илья Ефрон родился в Вильно, Маврикий Вольф — в Варшаве. Собственно, Маврикием Осиповичем Вольф стал в России, а в Польше он носил имя Болеслав Маурициий. Сын варшавского врача, он не пошел по стопам отца и избрал себе другую сферу деятельности: книжную торговлю. Вольф получил хорошее образование и прошел богатую практику в Париже, Лейпциге и во Львове. В Петербурге Вольф появился в 1848 году и вскоре стал управляющим у Якова Исакова, в ту пору одного из крупных петербургских книготорговцев.

Маврикий Вольф исправно работал на Исакова, но лелеял мечту открыть самостоятельное дело. Приведем выдержку из книги Евгения Немировского «Мир книги» (1986):

«В 1856 году Маврикий Осипович купил типографию, к которой впоследствии присоединил лучшую в Россию словолитню, основанную в 1830 г. в Петербурге французом Жоржем Ревильоном. Издательскую деятельность М.О. Вольф начал еще в 1851 году, отпечатав в Париже первое иллюстрированное издание книги „Конрада Валенрода“ и „Гражины“ Адама Мицкевича. Великого польского поэта он любил и пропагандировал всю свою жизнь. Издание 1851 года интересно тем, что текст напечатан на трех языках — польском, французском и английском. Задумано оно было как библиофильское. Часть тиража отпечатали на голландской веленевой бумаге, одели в переплет ручной работы и украсили прекрасными цветными ксилографиями. В 1863 году издание было повторено на русском языке в Петербурге.

Всего М.О. Вольф выпустил около 5 тысяч книг. Большинство из них превосходно оформлены, хорошо иллюстрированы. Был он издателем-универсалом. Выпускал художественную литературу и научные книги, практические пособия и альбомы. Много и охотно издавал детские книги.

Читатель у Вольфа был состоятельный, но незнатный: крупные чиновники, недавно разбогатевшие купцы, которые во втором поколении потянулись к культуре. Издатель во многом ориентировался на их вкусы. Книги он выпускал в переплетах, обильно тисненных золотом. Одна из популярных серий, предназначенных для детей, так и называлась — „Золотая библиотека“. Не было, пожалуй, в России интеллигентного дома, где бы дети не зачитывались книгами этой серии. В ней были изданы „Приключения Тома Сойера“ Марка Твена, „Избранные

сказки“ братьев Гримм, „Лучшие сказки“ Ханса Кристиана Андерсена, „Без семьи“ Гектора Мало и многие другие хорошие книги. Но в той же серии — „Примерные девочки“ и другие слащавые произведения плодовитой французской писательницы графини де Сегюр, урожденной Софьи Ростопчиной.

В книжных шкафах состоятельных семей стояли однотомные собрания сочинений великих русских писателей Пушкина, Лермонтова, Белинского, Гоголя, Жуковского… Неоднократно выпускал М.О. Вольф „Толковый словарь живого русского языка“ Владимира Даля…»

Маврикий Осипович развернулся в России вовсю: не только печатал книги, но и организовал их продажу в собственных книжных магазинах, которые были открыты в разных городах. «Хижина дяди Тома», книги Вальтера Скотта, Жюля Верна, Фенимора Купера и другие книжные «авторитеты» — это все Вольф, Вольф…

Маврикий Осипович Вольф скончался 19 февраля (2 марта) 1883 года на пороге Серебряного века. В 1882 году его детище было преобразовано в издательство на паях «Товарищество М.О. Вольф», которое просуществовало до 1918 года.

С октября 1897 года стал выходить ежемесячный журнал «Известия книжных магазинов товарищества М.О. Вольф» — своеобразный каталог книжных новинок и книг, которые хорошо себя зарекомендовали. Делал журнал Сигизмунд Либрович, журналист из Польши, которого в свое время пригласил в Петербург Маврикий Вольф. Либрович в течение 43 лет был сотрудником издательской фирмы Вольфа, секретарем и ближайшим помощником Маврикия Осиповича. Сигизмунд Либрович участвовал в подготовке и редактировании многотомного издания «Живописная Россия». В журнале, который он вел, Либрович свои статьи, заметки и рецензии подписывал псевдонимами: Книженко, Книжицын, Дядя Ворчун и т. д. А еще он написал несколько интересных монографий: «За кулисами книжного дела в России» (1879), «История книги в России» (1913–1914).

Сигизмунд Феликсович Либрович скончался 23 декабря 1918 года, в возрасте 63 лет. А вот когда умер продолжатель дела отца — Людвиг Маврикиевич Вольф, — неизвестно. На его долю выпали совсем не лучшие времена для частного предпринимательства.

АДОЛЬФ МАРКС

Николай Лесков назвал Маврикия Вольфа «первым русским книжным миллионером». За ним последовали другие. И одним из них был Адольф Маркс.

На Россию нагрянули два Маркса — «призраком из Европы» Карл Маркс со своим «Манифестом» и «Капиталом» и издатель Адольф Маркс. Но если Карл Маркс будоражил, то Адольф Маркс успокаивал своими книгами. Карл революционизировал сознание, а Адольф всего лишь просвещал. Словом, разные миссии были у этих Марксов в России…

Адольф Федорович Маркс (как именовали его по-русски) родился 2 февраля 1838 года в польском городе Штеттине, в семье фабриканта башенных часов. И, как и Вольф, Маркс изменил делу своего отца. Книги, а не часы привлекали Адольфа. Поработав в Германии, он приехал в Россию в сентябре 1859 года. Некоторое время он служил приказчиком в книжном магазине у Маврикия Вольфа и, конечно, мечтал о своем, самостоятельном деле, или бизнесе, — можно сказать и так.

Успех пришел к Адольфу Марксу в 1870 году, когда он начал издавать «Ниву» — еженедельный «иллюстрированный журнал для семейного чтения». Тираж журнала начинался с 9 тысяч, а к 1900 году возрос до 225 тысяч экземпляров. С «Нивой» сотрудничали Лев Толстой (здесь впервые было опубликовано «Воскресение»), Гончаров, Фет, Лесков, Григорович и другие известные писатели.

Успех «Нивы» породил великое множество иллюстрированных журналов. Чтобы выдержать конкуренцию, Маркс придумал издавать к ним бесплатные приложения (хотя практически бесплатными они отнюдь не являлись). Сначала это были «Парижские моды», а затем бесплатными приложениями стали — и это была гениальная придумка Маркса — собрания сочинений великих писателей.

Новые условия подписки на «Ниву» были объявлены в 1894 году и первым «бесплатником» стал Достоевский. За ним последовали собрания сочинений Гоголя, Тургенева, Боборыкина, Лескова… В глазах читателя они вообще ничего не стоили, ибо подписчикам на «Ниву» собрания сочинений давались «бесплатным приложением».

Росли тиражи «Нивы», росли тиражи книг, издаваемых Марксом, росла его популярность. И уже Ленин пишет из далекого Шушенского в 1898 году сестре Марии Ульяновой: «Я даже думаю такую вещь сделать: выписать себе „Ниву“…» Вождя

пролетариата привлек обещанный в приложении 12-томный Тургенев «за семь рублей с пересылкой!».

Почти всех крупных русских писателей издал Адольф Маркс. Попался в его лапы и Антон Чехов. В дневнике Алексея Суворина (запись от 15 мая 1900 года) можно прочесть о встрече с Чеховым: «…Целый день с ним. Встретились хорошо и хорошо, задушевно провели день. Я ему много рассказывал. Он смеялся. Говорили о продаже им сочинений Марксу. У него осталось всего 25 000 руб. — Не мешает ли вам то, что вы продали свои сочинения? — Конечно, мешает. Не хочется писать. — Надо бы выкупить, — говорил я ему. — Года два надо подождать, — говорил он. — Я к своей собственности отношусь довольно равнодушно…»

Заплатил Маркс Чехову за все его сочинения 75 тысяч, но при этом закабалил писателя рамками лишь своего издательства. К другим — ни-ни!

Помимо дешевых изданий, выпускал Маркс и дорогие, к примеру подарочное издание «Мертвых душ» Гоголя. Большой формат, прекрасная бумага, 365 иллюстраций!..

Когда Адольф Маркс скончался (это произошло 22 октября (4 ноября) 1904 года), газеты писали, что он был «генералом в издательской армии и, умирая, оставил миллионное дело, дома, типографии…» По завещанию его издательство было преобразовано в акционерное общество «Товарищество издательского и печатного дела А.Ф. Маркса». И оно после революции кануло вместе с другими «товариществами» в эпоху Больших Товарищей.

Дневник Корнея Чуковского, 18 декабря 1924 года: «Днем узнал, что ввиду того, что Гублит решил закрыть из-во Маркса, в типографию, где печатались мои „Пятьдесят поросят“, явился чиновник и приказал вынуть из машины книгу. Это было глупое зверство, ибо нужно же иметь уважение к труду автора, корректора, наборщика и т. д. Но книгу вынули, чем вконец разорили издателя, ибо к Рождеству ему не выйти, у меня отняли 15 червонцев и проч., и проч., и проч.»

К тому времени Адольф Федорович Маркс пребывал на другом свете и, к своему счастью, не слышал печальное хрю-хрю «Пятидесяти поросят» Корнея Чуковского.

ЗИНОВИЙ ГРЖЕБИН

Маленькое отклонение от алфавита: за Вольфом последовал Маркс (так было логичнее), ну, а теперь после «м» пойдет буква «г» — Гржебин.

Зиновий Исаевич Гржебин родился в июле 1877 года в Чугуеве Харьковской губернии, а умер 4 февраля 1929 года в Ванве, близ Парижа, в возрасте 51 года. Имя Гржебина часто встречается в дневниках Корнея Чуковского. Вот несколько выдержек оттуда.

17 марта 1919 года: «…У Гржебина (на Потемкинской, 7) поразительное великолепие. Вазы, зеркала, Левитан, Репин, старинные мастера, диваны, которым нет цены, и т. д. Откуда все это у того самого Гржебина, коего я помню сионистом без гроша за душою, а потом художничком, попавшим в тюрьму за рисунок в „Жупеле“ (рисунок изображал Николая II с оголенной ягодицей). Толкуют о его внезапном богатстве разное, но во всяком случае он умеет по-настоящему пользоваться этим богатством. Вокруг него кормится целая куча народа…»

Далее Чуковский пишет о том, какое прекрасное художественное образование дает Гржебин своим дочерям. «… Вообще вкус у этого толстяка — тонкий, нюх — безошибочный, а энергия — как у маньяка. Это его великая сила. Сколько я помню его, он всегда влюблялся в какую-нибудь одну идею — и отдавал ей всего себя, только о ней и говорил, видел во сне. Теперь он охвачен планами издательскими. Он купил сочинения Мережковского, Розанова, Гиппиус, Ремизова, Гумилева, Кузмина и т. д. — и ни минуты не говорил со мной ни о чем ином, а только о них. Как вы думаете: купить Иннокентия Анненского? Как назвать издательство и т. д.»

30 марта 1920 года: «…На днях Гржебин звонил Блоку: „Я купил Ахматову“. Это значит: приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, которое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же — к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 000 рублей».

10 марта 1922 года: «Ночь… Сейчас вспомнил: был я как-то с Гржебиным и Кони. Гржебин обратился к Кони с такой речью: „Мы решили издать серию книг о „замечательных людях“. И, конечно, раньше всего подумали о вас“. Кони скромно и приятно улыбнулся. Гржебин продолжал: „Нужно напомнить русским людям о его учителях и вождях“. Кони слушал все благосклоннее. Он был уверен, что Гржебин хочет издать его биографию — вернее, его „Житие“… — „Поэтому, — продолжал Гржебин, — мы

решили заказать вам книжку о Пирогове…“ Кони ничего не сказал, но я видел, что он обижен…»

И уже на склоне лет Корней Чуковский вспоминал:

«Зиновий Исаевич Гржебин окончил Одесскую рисовальную школу, никогда ничего не читал. В литературе разбирался инстинктивно, Леонид Андреев говорил:

— Люблю читать свои вещи Гржебину. Он слушает сонно, молчаливо. Но когда какое-нибудь место ему нравится, он начинает нюхать воздух, будто учуял запах бифштекса. И тогда я знаю, что это место и в самом деле стоящее».

И далее Чуковский писал о Гржебине: «У него была способность пристраиваться к какому-нибудь большому писателю. В 1906 году он поместил в горьковском журнале „Жупел“ карикатуру „Оборотень“… За этот дерзкий рисунок Гржебин был приговорен к году крепости, „Жупел“ подвергся карам, и Горький почувствовал нежное расположение к Гржебину. Гржебин сделался у него своим человеком. Гржебин действительно располагал к себе. Он был неповоротлив, толстокож, казался благодушным, трогательно-идиллическим простецом. У него было трое девочек: Капа, Буба и Ляля… Дом был гостеприимный, уютный, я очень любил там бывать… Жил он на Таврической улице в роскошной большой квартире…

В 1906–1907 годах Гржебин отпрянул от Горького и прилепился к Леониду Андрееву, основал вместе с Копельманом „Шиповник“, где предоставил Леониду Андрееву, бывшему тогда в апогее славы, главную, ведущую роль. Горьковские сборники „Знание“ перестали привлекать к себе массовых читателей, эти читатели шарахнулись к альманахам „Шиповника“.

Настал 1914 год. Война. Гржебин стал издавать патриотический журнал „Отечество“, противостоящий Горьковскому пацифистскому журналу „Летопись“… в 1918 году Гржебин снова перекинулся к Горькому, Горький полюбил его новой любовью, поручил Тихонову и ему организацию „Всемирной литературы“, Гржебин стал директором издательства… Вскоре Гржебин открыл на Невском „Издательство З.И. Гржебина“, опять-таки под эгидой Горького… Это был один из самых привлекательных людей, каких я встречал в своей жизни. Его слоновая неповоротливость, его толстокожесть (которую так хорошо отразил Юрий Анненков в своем знаменитом портрете), самая его неспособность к интеллектуальным разговорам — все это нравилось в нем. Он был перед вами весь как на ладони — и это тоже располагало к нему».

Вполне возможно, что нарисованный Чуковским портрет Гржебина, субъективный и, стало быть, не вполне соответствует

реальному Гржебину, но, согласитесь, он весьма колоритен, хотя нужны добавления.

По своему образованию Зиновий Гржебин был художником-графиком. Учился в Мюнхене и Париже. По возвращении в Россию предложил идею издавать русский вариант немецкого сатирического журнала «Симплициссимус», неким аналогом которого стал «Жупел». Другая идея, которой горел Гржебин, — создать политический театр под руководством Мейерхольда, но она не была реализована, и тогда очень активный Гржебин занялся издательской деятельностью. Помимо «Шиповника», с его именем связан и «Парус». Гржебина часто обвиняли в коммерческом авантюризме и использовании в корыстных целях имени Горького. В своих дневниках Зинаида Гиппиус именовала Гржебина не иначе как «прохвост», который разбогател благодаря покровительству большевиков.

В отсутствие в России Горького участились нападки на издательство Гржебина как на «идеологически чуждое» и даже «контрреволюционное». Новые власти отказались взять книги, отпечатанные Гржебиным в долг и на личные средства, тем самым полностью разорив издательство. 3 октября 1921 года последовала единственная милость властей, и по их разрешению Гржебин с семьей выехал за границу.

В Берлине Гржебин наладил свою деятельность, и его издательство заняло первое место по количеству, разнообразию и уровню выпускаемых книг. Наряду с классиками, Гржебин издал Пастернака, Цветаеву, Ходасевича, Гумилева, Георгия Иванова, Замятина, Ремизова, Муратова, Маковского и других ярких представителей Серебряного века.

«О моем издательстве много чепухи писали, — отмечал в письме от февраля 1923 года Зиновий Гржебин. — Но судить нужно по моим делам… Я готов печатать от Ленина до Шульгина и еще правее, если это будет талантливо и правдиво (вернее, искренно)… Я совершенно независим и печатаю то, что нахожу нужным, я не могу оторваться от России, хочу, чтобы мои книги попали в Россию».

Однако книги, изданные Гржебиным, в Россию не попали, так как были запрещены и берлинское торгпредство договор с Гржебиным расторгло; он, естественно, разорился. Новой России был совершенно не нужен независимый издатель.

После финансового краха издательства Гржебин переехал в конце 1923 года в Париж, все еще надеясь, что напечатанные и подготовленные к изданию книги будут допущены в СССР. Он продолжал переписку с писателями и художниками, чем вызвал гнев правых эмигрантских кругов, которые обвинили Гржебина в

шпионаже в пользу большевиков. Гржебин попал в заколдованный круг, из которого не было выхода. А силы еще были. «Что можно было бы сделать, если бы не мешали!» — в отчаянии жаловался Гржебин Максиму Горькому.

Все треволнения (а еще и огромные долги) привели к скоропостижной смерти Зиновия Гржебина от разрыва сердца.

В день смерти Гржебина, о которой не знали, собрались некоторые писатели в Москве, — об этом вспоминает Корней Чуковский, — и решили написать во Францию письмо к Гржебину, в котором выразить ему любовь и признательность, и вместе с письмом послать ему денег. Пока собирались, пришло известие о смерти.

Художник Мстислав Добужинский писал о Гржебине, что «остался в памяти необыкновенно добрый и отзывчивой души человек и фантастически пламенный и „неисправимый“ энтузиаст. Он был истинным „поэтом дела“… наделен был талантом заражать своим собственным, всегда искренним горением».

И сгорел. Не без помощи сильных мира сего.

БРАТЬЯ САБАШНИКОВЫ

Братья Сабашниковы. Как часто бывает у братьев, у них поразному сложилась судьба. Старший Михаил Васильевич прожил 71 год (родился 22 сентября (5 октября) 1871 года в Москве — умер 12 февраля 1943 года в Москве). Младший Сергей Васильевич прожил всего 35 лет (1873 — 22 марта 1909). Поразному складывалась их личная жизнь, но в историю российской книги они вошли вместе как создатели одного из культурных и академических издательств, осуществлявшего «программу того, что может быть названо русским гуманизмом», как говорили тогда.

Книговед Евгений Осетров в предисловии к «Воспоминаниям» М.В. Сабашникова предпослал такие слова: «Поэтами рождаются. Издателями делаются. Михаил Сабашников, как мне представляется, явился на белый свет, чтобы умножить сокровища книжного мира. Его бессребренность носила столь щедрый характер, что казалась совершенно невероятной. Из уст в уста передавалась писательская фраза: „У него попросишь тысячу, а он дает пять“. Впрочем, разве не такими были самые крупные из русских издателей-тружеников? Когда я думаю о Михаиле Сабашникове, в памяти возникают такие фигуры, как Николай Новиков, Василий Плавильщиков, Александр Смирдин, Флорентий Павленков, Иван Сытин, — дружина духовных богатырей, чьим победоносным оружием была Книга…»

Михаил и Сергей Сабашниковы воспитывались в семье, где сильны были культурно-книжные традиции, и все члены семьи были увлечены идеей просветительства народа. Именно это и привело Михаила в 19, а Сергея в 17 лет к издательской деятельности.

«В университетские годы начали мы с братом Сережей свою издательскую деятельность, — читаем мы в „Воспоминаниях“ Сабашникова-старшего. — Собственно, начало ее надо отнести к весне 1889 года, когда мы перед отъездом за границу сговорились с Петром Феликсовичем Маевским о создании первого оригинального русского определителя растений».

С Маевским братья «много ботанизировали» и решили создать русский аналог «Определителю среднегерманской флоры». Первая книга братьев «Флора Средней России» вышла в 1891 году с обозначением «Издание Е.В. Барановской», т. е. сестры Сабашниковых. А уже потом появилась фирма братьев М. и С. Сабашниковых. На первом этапе издательство братьев носило естественно-научный характер, олицетворяемый тимирязевской

«Жизнью растений» и учебником ботаники. На втором этапе появился гуманитарный уклон, связанный с «Памятниками мировой культуры», «Пушкинской библиотекой», «русскими Пропилеями». Потом наступило время научных серий — «Строение вещества», «Труды Психиатрической клиники МГУ». И уже на заключительной фазе издательской деятельности — «Записки прошлого» — серия, которая имела повышенную популярность.

Прославила издательство Сабашниковых серия «Памятники мировой культуры», которая стала выходить с 1903 года — Софокл, Еврипид, Фукидид и другие корифеи древности, а также памятники народного творчества — «Калевала», сербский эпос, русские былины и прочее. К ее созданию Сабашниковы привлекли лучших переводчиков и филологов — Фаддея Зелинского, Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова, Константина Бальмонта… Всего в серии вышло 30 «вечных» книг.

Привлекательны для читателей были многотомный сборник «Русские Пропилеи» (1915–1919) — не опубликованные ранее произведения русских писателей и мыслителей, в частности письма Марии Волконской из Сибири, дневник Александра Герцена, неизданные стихотворения Тараса Шевченко…

Очень интересно просматривать каталог книг Сабашниковых, изданных в последние 1917–1924 годы: тут и «Поэты пушкинской поры», и «Хлеба России», и «Слово о полку Игореве», и «Песнь о Гайавате», и «Величие и падение Рима», и другие замечательные книги, отмеченные высокой филологической культурой.

В 1909 году трагически погиб Сергей Сабашников, и издательский воз повез один Михаил Сабашников; ему со временем стал помогать сын Сергей (1898–1952).

Наступил зловещий для издательства Сабашникова 1917 год. Во время октябрьских событий в Москве дом Сабашниковых оказался в районе боев. Пламя охватило здание. Сгорели контора и издательство, склад, все имущество и личная библиотека… «Мы вышли из пожарища в чем были, вынеся с собой лишь то немногое, что могло быть захвачено на руках, между прочим издательские рукописи, едва ли не самое ценное, что удалось спасти», — вспоминал Михаил Сабашников.

Несмотря на то, что сгорела личная квартира и контора, издательство Сабашниковых поднялось с колен и благодаря заступничеству и протекции всесильного наркома Луначарского (был получен кредит) возобновило свою деятельность. И Михаил Сабашников спорил с Михаилом Гершензоном о том, что лучше издавать. «Но как трудно было тогда издавать книги!» — восклицает в воспоминаниях Михаил Васильевич, имея в виду

исключительно советское время.

До некоторой поры издательство Сабашниковых терпели. Красноречиво признание Луначарского по поводу политики власти в отношении частных издательств: «Наиболее культурным из них, вроде Сабашниковых, надо помогать, пока мы не будем в силах их заменить полностью».

Запреты, цензура, финансовые и иные трудности советского времени сводили работу издательства Сабашниковых на нет. В 1922 году было прекращено издание «Пушкинской библиотеки». В 1924–1926 годах прекратились и другие известные серии издательства Сабашниковых — «Страны: века и народы», «Ломоносовская библиотека», «Памятники мировой культуры». Последним и единственным в эти годы крупным изданием оставались «Записи прошлого».

В 1930 году издательство Михаила и Сергея Сабашниковых было закрыто. До 1934 года оно продолжало существовать в форме кооперативного товарищества «Север». В 1934-м было закрыто и оно, а портфель изданий передан издательству «Советский писатель».

Что касается личной судьбы Михаила Сабашникова, то она сложилась так: после революции его пять раз арестовывали, лишали избирательных прав. О том, что он был полностью разорен, и говорить не надо. После 1934 года Сабашников работал в маленьком кооперативном издательстве «Сотрудник», которое выпускало не книги, а лишь наглядные пособия и игры. Вот такое произошло падение с высот академических книг…

Последние годы Михаил Васильевич Сабашников, этот титан-издатель прежних лет, жил в доме барачного типа в Лужниках. Точнее сказать, не жил, а доживал, впрочем, это участь всех «недорезанных буржуев».

Его сын Сергей Михайлович Сабашников, который вел дела кооперативных товариществ в 20-е годы, был признан «врагом народа» и расстрелян. Такая вот в итоге получилась «Песнь о Гайавате». Но вспомним не Генри Лонгфелло, а нашего Николая Рубцова:

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чем…
В минуты музыки прощальной
Не говорите ни о чем.

И помолчим…

АЛЕКСЕЙ СУВОРИН
11(23).IX.1834, село Коршево Воронежской губернии — 11(24).VIII.1912, Петербург

Советская власть очень не любила царскую Россию, а вместе с нею терпеть не могла защитника «дворянско-помещичьего строя» Алексея Сергеевича Суворина. Энциклопедический словарь (1955) представлял его так:

«Русский бурж. журналист и издатель. Выступив в 50-х гг. как либеральный журналист, впоследствии стал реакционером и черносотенцем. Издававшаяся им с 1876 газ. „Новое время“ была органом реакц. дворянских и бюрократич. кругов, „образцом продажных газет“ (В.И. Ленин)».

В февральском номере журнала «Вопросы литературы» за 1977 год появилась редкая публикация о нелюбимом издателе и журналисте «Суворин: портрет на фоне газеты». Две критикессы Инна Соловьева и Вера Шитова разделали Алексея Сергеевича под орех, заявив сразу, что «он был создан для суеты». И далее: «Вместо прогрессивного журналиста средней руки возник организатор, идеолог и гений обыденного буржуазного сознания. Жизнь — пыль, прах, суета. Эту фразу Суворин словно бы произнес, найдя совсем иную, так сказать, антиекклезиастовскую концепцию: пыль есть жизнь, прах есть жизнь, суета есть жизнь, так уважим же и возлюбим… Все то, что привычно внушало людям его поколения стыд и тоску жизни, от чего полагалось

отшатываться как от обывательщины, Сувориным было признано естественным, восстановлено в правах и возведено в закон…»

Весь свой пафос бросили критики на любовь Суворина к обывателю: «Все напряжение русской мысли „Новое время“ снимало одним вечным ответом в хамско-риторической форме вопросом: в чем им плохо было? Чего им больше всех надо?..»

И убийственный вывод: «Суворин слишком много сделал для создания огромного слоя людей, живущих вне истории и вне духовности…»

Легко вычислить, что под «духовностью» критики Суворина понимали прежде всего революционность, мол, он, такой-сякой, не кричал: долой царя! И не звал на баррикады. А, напротив, защищал царский режим. Именно в этом заключалась оценка советской власти всей деятельности Суворина.

А вот как объяснял свою позицию сам Суворин: «Я думал всегда, что в самодержавном государстве есть только одно лицо, которому я служить обязан. Это государь император» (запись из дневника, 21 августа 1900).

И другая запись: «Французская революция выросла после Корнеля и Расина, после образованнейших энциклопедистов… А у нас что? Экспроприаторы, убийцы и бомбоносцы — вот имена революционеров. Имя их легион, но это не легион великих людей, а имя воров, грабителей и убийц, бездарных профессоров, непризнанных артистов, несчастных литераторов, студентов, не кончивших курсов…» (1907).

В зрелые годы Алексей Суворин лик имел немного мефистофельский. Ну, и, конечно, фигура сложная и противоречивая. Поэтому его ненавидели, презирали, боялись, любили — кто какой лик его видел… Едкий дореволюционный публицист Варфоломей Зайцев приклеил ему ярлык: «Журналиссимус граф Суворин-Надпольный».

Но, пожалуй, пора от ярлыков и наветов перейти к краткому рассказу о жизни и деятельности этого самого «журналиссимуса».

Суворин — типичный self-made-man, — человек, который сделал себя сам. Судите сами: родился в семье небогатого отставного капитана, где было девять душ детей, а отец, лишь попав в солдаты, в 20 лет выучился основам грамоты. Мать Суворина тоже образованием не блистала. Мальчиком Суворина отдали в только что открытый в Воронеже Михайловский кадетский корпус. «Я очутился в обстановке совершенно для меня новой… — вспоминал Суворин. — Товарищи все были воспитания высшего, чем я, многие говорили по-французски. Я не умел ни встать, ни сесть, и в этом моем говоре было много чисто народных выражений. Одним словом, я мало чем отличался от

крестьянского мальчика, так как и язык моей матери был простонародный».

Но те, кто с легкостью говорили по-французски, не оставили следа в русской истории и культуре, а Суворин оставил яркий след. Продолжим рассказ. После кадетского корпуса Суворин закончил Константиновское военное училище, но стать саперным офицером не пожелал и по прошению был уволен «в статскую службу с первым чином». Далее провинциальный город Бобров все той же Воронежской губернии, где Суворин начинает учительствовать — преподает историю и географию, одновременно служит секретарем бобровского предводителя дворянства. В Боброве Суворин женился на Анне Барановой и дебютировал в печати переводом стихотворений Беранже «Роза» и «Клара», опубликованных в петербургском журнале «Ваза» (1858).

По совету жены Суворин перебрался в Воронеж, где сблизился с известным поэтом Иваном Никитиным и начал писать рассказы. Затем Суворин получил приглашение занять место секретаря в газете «Русская речь» и с большим сомнением в правильности своего решения переехал в Москву. Произошло это летом 1861 года. Любопытно, что Суворин поселился на Большой Садовой во флигеле, где до него жил Николай Лесков.

«Русская речь» стала трамплином в литературной деятельности Суворина. В Москве он подготовил три книжки по истории Смутного времени, о Ермаке и о боярине Матвееве; последняя была изъята из продажи, так как она «гасит в народе любовь к православию, верноподданические чувства и проповедует женскую эмансипацию». Три страшных греха!..

После закрытия «Русской речи» Суворин оказался в «С.-Петербургских ведомостях» у В.Ф. Корша, и, как язвил Боборыкин: «Корш завел себе воскресного забавника». Дело в том, что Суворин выступал в газете с воскресным фельетоном, и за 12 лет работы в «Петербургских ведомостях» их опубликовал более 400. Подписывал свои фельетоны Суворин псевдонимом «Незнакомец», но все знали, кто за ним скрывается. Еще более прославился Суворин, когда в 1866 году вышла его книга «Всякие: Очерки современной жизни», где содержалась некая апология Чернышевскому. Власть возмутилась и привлекла Суворина к суду, однако приговор оказался мягким: вместо двух месяцев ареста, которые ему первоначально грозили, автор «Всяких» был приговорен к трем неделям гауптвахты.

Далее поклонники и сторонники пера Суворина были удивлены тем, что тон суворинских фельетонов стал менее резким и более спокойным. Журналист Слепцов сразу всех оповестил, что Суворин превратился в Ивана Флюгарина, лакея и

пуделя. «Крутой поворот к худшему в его положении совпал с кульминационным пунктом его славы» — так выразился по поводу кульбита Суворина другой журналист Арсеньев.

Критики вопили, а тем временем «караван» Суворина шел дальше и дальше. Встретив трудности в издании своих исторических книжек, Суворин решил завести собственное издательство, которое и было создано вместе со старым знакомым Владимиром Лихачевым. Поначалу официальными владельцами фирмы стали жены Суворина и Лихачева, но истинным ее руководителем был, конечно, Алексей Суворин. Издательство носило просветительский характер и имело ярко выраженную демократическую направленность. В связи с гибелью жены Суворина издательство прекратило свое существование. Но Суворин уже не мог жить без издательской деятельности и продолжил книгоиздательское дело. По объему тиражей и разнообразию выпускаемых книг издательство Суворина сравнимо было лишь с фирмой Ивана Сытина. За 40 лет издательство Суворина выпустило 1600 наименований книг общим тиражом 6,5 млн. экземпляров. Не все было, конечно, равноценно: бульварные романы как бы уравновешивались высокой классикой. Чего стоит хотя бы восьмитомное собрание сочинений Пушкина, изданное Сувориным в 1887 году и раскупленное буквально за один день.

Следует выделить и «Русский календарь» Алексея Суворина, который вышел в конце 1871 года и предназначался на 1872-й. «Календарь Ваш пользуется вполне заслуженным успехом и лежит у меня на столе постоянно», — писал Суворину Иван Аксаков. За первым календарем последовали другие и все с неизменным успехом у широкого круга читателей, что понятно: календари были насыщены разнообразной интересной информацией, в них чувствовалась профессиональная рука Суворина. Он действительно был профессионалом своего дела, например, добился, чтобы издаваемые им книги и газета продавалась на железных дорогах. Еще организовал театр — театр Суворина, или Петербургский Малый театр. Это был человек с капиталистической хваткой: чего хотел, того и добивался.

Особый разговор о газете «Новое время». Захудалое «Новое время» Суворин купил при посредничестве издателя Маврикия Вольфа, и в Касьянов день, 29 февраля 1876 года, вышел первый номер обновленной газеты, которая очень быстро превратилась в солидную общероссийскую газету, весьма информативную и критически настроенную, хотя так до конца и не могла понравиться либеральной оппозиции, от кадетов до большевиков. Как написал о «Новом времени» современный критик Михаил

Золотоносов: «Ее роль Суворин отрегулировал очень тонко и — если учесть наличие чуткой, самой бдительной в мире цензуры — почти неправдоподобно: газета выражала мнение мыслящего меньшинства о действиях правительства и иной раз высказывала очень неприятную правду» («Московские новости», 19 октября 1999).

Разумеется, были в «Новом времени» и минусы: почти зоологический антисемитизм. Увы, этим грешил и сам Суворин. К евреям Суворин питал какую-то онтологическую неприязнь, впрочем, оголтелый антисемитизм «Союза русского народа» ему был чужд. В дневнике Суворина то и дело возникает эта еврейская нота, очевидно, Суворину не давала покоя финансовая изворотливость «сынов Израиля»: «Их ограничивают, потому что они наводнили бы учебные заведения… — отмечал Суворин в дневнике. — У нас деньги между прочим, у евреев — цель жизни».

Суворин мечтал выпустить собственный энциклопедический словарь и весьма ревниво относился к «Брокгаузу и Ефрону»: «Энциклопедия Дидро и Д'Аламбера — не то, что энциклопедический лексикон Брокгауза и Ефрона, дополненный плохонькими цифрами и тухлыми еврейчиками».

Как видите, и тут антисемитский приговор.

Суворин был широким человеком: есть за что ругать, но есть и за что хвалить. Создал целую империю. Стал первым в России магнатом прессы. Благосклонно относился к своим идейным противникам. «Суворин… был всегда и есть изрядный скот и мой враг, которого я терпеть не могу, — писал Владимир Стасов. — Но когда мне надо, чтобы масса русской публики… прочла бы то-то или то-то, я смело иду к Суворину и говорю ему: „Алексей Сергеевич, нельзя ли напечатать то-то и то-то в газете?“ Он берет статью из моих рук, надписывает на ней карандашом „набрать на завтра“ и в ту же секунду отправляет в типографию, не только не читая, но даже не заглянув на заглавие».

И, очевидно, неспроста с Сувориным дружили Достоевский, Чехов, Григорович, Плещеев, Репин, Крамской, Розанов. Прислушивались к мнению Суворина и Лев Толстой, и царский сановник граф Сергей Витте. «Он был всегда ясен, прост и в высшей степени натурален, — писал Василий Розанов после смерти Суворина. — Никогда не замечал в нем малейшей черты позы, рисовки, „занятости собою“ — черты почти всеобщие у журналистов».

Еще один характерный штрих. 22 февраля 1904 года Суворин записывает в дневнике: «Сегодня С.С. Татищев приходил ко мне от Плеве… „Государь полюбил вас, — говорил Татищев. — Он

читает вас. Вы тронули его сердце. Императрицы тоже читают… Дело идет о том, чтобы наградить вас. Хотят вам дать Владимира на шею“. Я вскочил как ужаленный. „Как, мне орден? Да это значит убить меня, закрыть мне рот навсегда. Я откажусь от ордена, если мне его дадут…“»

И Суворин отбился от награждения. А теперь сравните с нынешними деятелями культуры, которые страшно обижаются, когда власть обходит их вниманием…

Если возвращаться к творческой деятельности Суворина, то следует сказать, что он писал пьесы и романы, переводил пьесы с иностранного языка, подбирал репертуар и актеров для своего театра. Не раз Чехов советовал ему написать роман, «и притом большой». «Под влиянием Чехова я было раскрыл тетрадь, — записывает в дневнике Суворин. — Подумал, подумал над белыми страницами и положил тетрадь обратно в стол. Нет, поздно».

Дело тут было не в возрасте, а в опустошенности души Алексея Суворина. Сколько испытаний выпало на его долю помимо творческо-издательских дел: первую его жену застрелил вместе с собой ее любовник, любимый сын в 21 год застрелился, со второй женой со временем вышел полный разлад, ее интересовал не сам Суворин, а его кошелек. На старости лет он оказался — и это при обилии людей, его окружавших, — в полном одиночестве со своею неизменной скукою и тоскою, которые одолевали его годами.

Свои горестные размышления он заносил в дневник. Суворин умер в 1912 году, не дожив одного месяца до 78 лет. Но его дневник не был опубликован сразу, многие боялись разоблачений и нелицеприятных слов в свой адрес. Дневник Суворина был издан в 1923 году и тут же получил признание как один из важнейших российских историко-литературных документов рубежа XIX–XX веков.

Подготовленный Михаилом Кричевским «Дневник» оказался неполным: он начат в 1887 году и доведен до 1909 года, и в нем ощущаются множество пропусков в основном из-за весьма неразборчивого почерка Суворина, всевозможных сокращений, пропусков слов и т. д. Почти полжизни, а точнее 25 лет, потратила Наталья Роскина на окончательную расшифровку «Дневника» Суворина. Есть же на этом свете подвижники и энтузиасты!..

Завершение работы было прервано смертью Натальи Роскиной, но тем не менее «Дневник» вышел, его уже доводили Ольга Макарова и английский славист Дональд Рейфилд. В 1999 году издательство «Независимой газеты» издало увесистый том —

«Дневник Алексея Сергеевича Суворина».

Одна лишь цитата, но не из дневника, а из письма Суворина, который признавался Власу Дорошевичу: «Чехов любил меня, и… я любил Чехова. Я любил его как человека больше, чем как писателя. Он был мне родным по душе, по происхождению… Чехов мне говорил, что я очень хорошо пишу либерально, но совсем плохо, когда пишу консервативно. Но я имею основание думать, что больше писал либерально, чем консервативно, да и когда писал консервативно, так для того, чтоб очистить место для либерального. На мое несчастье, я не дурак и не имел ни малейшего желания, чтоб меня слопали дураки и спасатели отечества…»

Империя Суворина — издательство, газета, театр — пережили своего создателя ненадолго: в 1917 году ее прибрали к рукам большевики. Архив Суворина — частью остался в России, часть была вывезена на Запад. Дети? Сын Алексей был психически нездоров и впал в увлечение диетическим питанием. Михаил пытался быть таким редактором и организатором печати, как отец, но ничего по существу не добился. Борис, не расстававшийся с бутылкой, из белогвардейского офицера сделался третьесортным романистом, а Анастасия — посредственной актрисой, затем она безуспешно пыталась вымолить у Луначарского причитающиеся ей советские гонорары. Вдова Суворина скончалась в страшной нищете во Франции в 1936 году. Внуки? Всех разметало по белу свету…

Но главное — суворинское творческое наследие и память о его деятельности. «Мне и хочется оставить книжки. Они останутся… в каталогах, и если и в каталогах будешь жить или, вернее, прозябать, то и это утешительно», — писал Суворин в одном из своих писем.

Нет, не только в каталогах…

ИВАН СЫТИН
24. I(5.II).1851, село Гнездилово Костромской губернии — 23.IX.1934, Москва

Иван Дмитриевич Сытин — такая же колоссальная фигура в русской культуре, как Алексей Суворин, только попроще, попрагматичнее, без писательской рефлексии и душевной тоски (крестьянская закваска). Ведомая им газета «Русское слово» к 1917 году имела миллионный тираж. Многочисленные энциклопедии, календари, общедоступные книги были предельно дешевы и продавались по всей России. Товарищество «И.Д. Сытин и К°» в 1914 году выпускало до 25 процентов всей книжной продукции России. Сытина называли народным просветителем, «фактическим министром просвещения», «русским Фордом», нарекли его «почетным гражданином Москвы».

Но пришла новая власть, и вся слава Сытина осталась в прошлом. Для большевиков Сытин был классово чужд — предприниматель, купец, миллионщик. Поэтому Сытин и не попал в книгу «Памятники литературной Москвы» (1959), не упоминается он и в «Литературной Москве» (1997). Трудно

пробивалась к людям и квартира-музей Сытина («Шел к Сытину, а там в его квартире выставка „Саят-Новы“», — горестно писал один почитатель сытинского наследства).

Пятнадцатилетним пареньком, окончив одноклассную школу в костромской глухомани, Иван Сытин приехал в Москву, и в тот же день 13 сентября 1866 года отправился в книжную лавку Шарапова на Лубянке. «Ну что, брат, служить пришел? — спросили Сытина. — Служи, брат, усерднее. Себя не жалей, работай не ленись, раньше вставай, позднее ложись. Грязной работы не стыдись, себе цену не устанавливай — жди, когда тебя оценят. Базар цену скажет…» Такой вот был тогда неформальный кодекс труда.

Иван Сытин воспринял наставления без возражений: и двери отворял покупателям, и сапоги чистил хозяину, и дрова носил, и на посылках бегал. Шарапов вскоре оценил исполнительного и смышленого паренька и определил его вожатым торговцев-коробейников (офеней), разносивших и развозивших лубочные издания по городам и весям России. Кроме книг, торговали галантереей, мануфактурой, всякой всячиной.

Десять лет упорного труда на хозяина и экономии каждой копейки позволили Сытину основать свое дело: он открыл маленькую литографию на Воронухиной горе близ Дорогомиловского моста и небольшую лавочку. Самостоятельную издательскую деятельность Сытин начал с лубочных картинок, очень популярных в те годы в крестьянской среде. Затем занялся книжками, его девизом стало: «Быстро, доступно, дешево». С благословения Льва Толстого открыл издательство «Посредник», выпускал учебники, детские книги, «Библиотеку самообразования» и т. д. Ну, и знаменитые сытинские календари — отрывные и настенные, так называемые «численники».

В мемуарах «Жизнь для книги» Сытин вспоминает: «Мы выработали программу календаря с таким расчетом, чтобы в каждом листке были поговорки, пословицы, практические указания по домашнему и сельскому хозяйству и разного рода житейские мелочи и обиходные советы. Отрывной календарь… печатался в 8 миллионах экземпляров (около тысячи вагонов), и мы едва успевали выполнить целую лавину заказов».

Сытинские календари стали поистине народной энциклопедией. С лета 1891 года товарищество Сытина стало владельцем журнала для детей и юношества «Вокруг света», а к журналу наладили выпуск приложений из книг самых популярных писателей: Гоголя, Жуковского, Загоскина, Бичер Стоу, Жюль Верна, Вальтера Скотта, Майн Рида, Эдгара По, Джека Лондона… Было издано и полное собрание сочинений Льва

Толстого.

Все это требовало хорошей полиграфической базы, и Сытин ее создал — возникли издательские корпуса в районе Пятницкой и Валовой улиц в Москве (сегодня выстроенный Сытиным комплекс называется Первой Образцовой типографией, но, увы, без его имени).

Издательская деятельность Сытина была, разумеется, доходной, но прибыль не была для него самоцелью, почти всю ее он пускал на расширение производства и покрытие нерентабельных изданий. Когда задумал издать Гоголя, его помощники подсчитали: при цене 50 копеек никакой выгоды не будет. На что Сытин сказал: «Пусть так, но зато как красиво: весь Гоголь за 50 копеек! Издаем за полтинник!» Так и хочется воскликнуть: где они, современные Сытины?

«На днях я был у Сытина и знакомился с его делом, — сообщал в письме Суворину Чехов. — Интересно в высшей степени. Это настоящее народное дело. Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не толкают в шею. Сытин — умный человек и рассказывает интересно. Когда случится вам быть в Москве, то побываем у него на складе, и в типографии, и в помещении, где ночуют покупатели…»

Процветало и сытинское «Русское слово». Для редакции Сытин построил специальный редакционный дом, который и по сей день украшает Тверскую улицу. Дом возводил архитектор Адольф Эриксон. Оригинальный и удобный в эксплуатации. На первом этаже находился фирменный сытинский магазин с книжными полками до потолка (сейчас тут, как вы знаете, салон автомобилей). Сам Сытин жил в этом доме на четвертом этаже. Миллионщик Сытин жил чрезвычайно скромно и никакой роскоши не терпел, не любила ее и его жена Евдокия Ивановна, женщина энергичная и властная, которую, по слухам, весьма побаивался Иван Дмитриевич.

У руля «Русского слова» Сытин поставил Власа Дорошевича и не прогадал: Влас Дорошевич, как и все собранные под знамена Сытина журналисты, пахал, как щедринские коняги. Согласно договору, заключенному с Сытиным, Дорошевич: «обязан давать для „Русского слова“ 52 воскресных фельетона в год, а также отдельные статьи по текущим вопросам общественной жизни, числом не менее 52-х в год»… Плюс «общее наблюдение за редактированием „Русского слова“».

19 февраля 1917 года Москва широко отмечала 50-летие издательской и просветительной деятельности Ивана Дмитриевича Сытина. Был специально издан к этой дате

литературно-художественный сборник «Полвека для книги».

За Февралем пришел Октябрь. Все предприятия и магазины Сытина были отобраны, национализированы, квартиру, где он жил на Тверской, уплотнили до клетушки, и лишь за шесть лет до смерти Сытину назначили крошечную пенсию. Однако Сытин не сетовал на судьбу, а смиренно принял то, что ему выпало. В письме к писателю Николаю Телешову Сытин писал:

«Ты меня знаешь давно… знаешь, что я пришел в Москву, что называется, голым… мне ничего не нужно. Все суета. Я видел плоды своей работы в жизни, и довольно с меня. Пришел голым и уйду голым. Так надо».

К месту будет вспомнить слова из «Послания к филиппийцам святого апостола Павла»: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть».

Многие журналисты из «Русского слова» быстренько нашли пристанище в советских газетах, в основном в «Известиях», а сам Сытин довольствовался скромной работой рядового издательского труженика. Он прожил 83 года и нашел успокоение на Введенском кладбище.

К сожалению, не в России, а на Западе издана монография «Русский предприниматель Иван Сытин». Ее написал канадский профессор Чарльз Рууд.

Можно опять обратиться к Библии: нет пророков в своем Отечестве. Ни пророков. Ни издателей.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Литературная энциклопедия

Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь

Биографический альманах «Минувшее»

Биографический альманах «Лица»

Савин С., Семибратова И. «Судьбы поэтов Серебряного века» (М., 1993)

Воспоминания о Серебряном веке (М., 1993)

История русской литературы. XX век. Серебряный век (М., 1987)

Серебряный век в России (М., 1993)

«Дальние берега». Мемуары (М., 1994)

Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей (М., 1994)

Казак В. Лексикон русской литературы XX века (М., 1996)

Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Энциклопедический биографический словарь (М., 1997)

Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XIX вв.

Отдельные тома произведений поэтов, писателей и философов Серебряного века

Многочисленные воспоминания, в том числе дневник К. Чуковского

Газетные публикации

Журналы